

ОТ АВТОРА
МИРОВОГО БЕСТСЕЛЛЕРА
«НЕ УХОДИ»

МАРГАРЕТ
МАДЗАНТИНИ
Рожденный
дважды

Не пытайся вернуть прошлое!
Оно вернется само...



- [Маргарет Мадзантини](#)
- [Рожденный дважды](#)
-
- [Аннотация](#)
-
-
- [Маргарет Мадзантини](#)
- [Рожденный дважды](#)
- [Путь к надежде](#)
- [Нас познакомил Гойко](#)
- [Я окунулась в привычную жизнь](#)
- [Ждем в вестибюле](#)
- [Что я помню о том дне](#)
- [Церковь в центре города](#)
- [В Дубровнике солнце плескалось](#)
- [События развивались молниеносно](#)
- [Мы летим бизнес-классом](#)
-
- [Пьетро ворочается в постели](#)
- [Хозяйка гостиницы](#)
- [За иллюминатором чистое небо](#)
- [Витамины, фонарики, батарейки](#)
- [После дождя на асфальт выползают улитки](#)
- [Пьетро стоит перед зеркалом](#)
- [Дверь открылась бесшумно](#)
- [Позвонили папе](#)
- [Собранные сумки лежат на кровати](#)
- [Мы уезжаем из Сараева](#)
- [День похож на плывущие облака](#)
- [Иду по песку](#)
- [БЛАГОДАРНОСТИ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)

- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)



Маргарет Мадзантини

Рожденный дважды



Название: Рожденный дважды

Автор: Маргарет Мадзантини

Год издания: 2012

Издательство: Азбука, Азбука-Аттикус

ISBN: 978-5-389-02732-9

Страниц: 448

Формат: fb2

Аннотация

Маргарет Мадзантини — знаменитая итальянская писательница, награжденная премиями Стрега (итальянский аналог «Букера») и Гринцане Кавур за роман «Не уходи». Этот без преувеличения мировой бестселлер был переведен на тридцать языков, а суммарный тираж книги приблизился к полутора миллионам экземпляров.

Впервые на русском языке ее новый роман «Рожденный дважды» (получивший в 2009 году премию «Кампьялло»). Это романтическая история, наложенная на жестко прописанный триллер. Героине повествования Джемме дано все: красота, ум, способность к состраданию, материальное благополучие. Но вот однажды, ранним утром, она вместе с шестнадцатилетним сыном покидает Рим. Ей необходимо показать сыну город, где он родился и где погиб его отец, талантливый итальянский фотограф Диего. Это путешествие возвращает героиню в сумасшедшую молодость, заставляет заново пережить невозможную любовь, что выпадает лишь раз в жизни, да и то не каждому. Джемма вновь окунается в атмосферу тех тревожных дней, когда среди руин Сараева, города, оказавшегося в центре бессмысленной войны, она прикоснулась к таинству рождения. Но суждено ли воспоминаниям смыть боль и горечь предательства?

Мадзантини создала удивительный роман-притчу, роман-жизнь, где смешались радужные и трагические краски бытия. Актер и режиссер Серджо Кастеллитто (муж Маргарет Мадзантини) заканчивает съемки фильма по этой книге.

Маргарет Мадзантини

Рожденный дважды

*Посвящается Серджи
и детям*

О человеческая нежность,
Где ты?
Быть может,
Только в книгах?

Изет Сарайлич

Путь к надежде

«Путь к надежде» — выплыло из множества слов, мелькнувших за день. Эти я прочла в аптеке, на прозрачном ящике с прорезью для денег и наклеенной скотчем фотографией ребенка — одного из тех детей, которых необходимо отвезти далеко, чтобы сделать там сложную операцию: вот именно, что «путь к надежде». Ворочаюсь на подушке, тяжело вздыхаю, смотрю на Джулиано, на его неподвижное, тяжелое тело. Он спит, как обычно, на спине, голый до пояса. Время от времени слегка всхрапывает, как смиренная лошадка, отгоняющая мошкар.

Надежда... я думаю об этом слове, в темноте обретающем форму. У нее, у надежды, — женское лицо. Мое лицо, немного растерянное, — ведь я привыкла к невзгодам, но, кажется, достойно выдерживаю удары судьбы. Лицо постаревшей девочки, застывшее во времени, а все из-за моей верности и тайного страха.

Я выхожу на балкон, вижу привычную картину: дом напротив, сомкнутые ставни, темная вывеска бара. Тишина ночного города, ветер развеивает пыль отдаленных звуков. Рим спит. Спят его радости и беды. Спят окраины. Спит римский папа, у кровати стоят его красные туфли.

Телефон звонит ни свет ни заря. Просыпаюсь от громкого звука; спотыкаясь, бреду по коридору. Стараюсь говорить громко, не хочу казаться сонной:

— Кто это?

В трубке шелест, будто в ветвях запутался ветер.

— Могу я поговорить с Джеммой?

Правильный итальянский язык, но слишком отчетливое произношение.

— Это я.

— Джемма? Это Джемма?

— Да.

— Джемма...

Повторяет мое имя и смеется. Внезапно я узнаю этот хриплый отрывистый смех...

— Гойко...

Пауза.

— Да, твой Гойко.

Сколько лет пролежала в земле эта бомба... Бесконечный вакуум вдруг

взрывается осколками воспоминаний. Его лицо, запах, те далекие годы...

— Мой Гойко... — бормочу я.

— Конечно, кто же еще? Три месяца пытаюсь найти тебя через посольство.

Как странно, я вспоминала о нем недавно, просто так, потому что навстречу шел парень, случайный прохожий, который был на него чуть-чуть похож.

Обычный разговор: «Как дела? Чем занимаешься? Жил несколько лет в Париже, потом вернулся домой...»

— Мы готовим выставку в память об осаде... Там будут фотографии Диего.

Холодок от пола поднимается по ногам, останавливается в животе.

— Хороший повод.

Он смеется — это его смех, в нем нет настоящего веселья, скорее, преодоление легкой неизменной грусти.

— Приезжай.

— Я подумаю...

— Не нужно думать, приезжай, и все.

— Зачем?

— Затем что жизнь проходит и мы вместе с ней. Помнишь?

— Как не помнить...

— И жизнь смеется над нами, как беззубая старая шлюха...

Стихи Гойко... жизнь — как длинная баллада. Вспоминаю его привычку трогать нос, читая стихи, мять его, как воск. Стихи он записывал на спичечных коробках, на руках. Я стою босиком, в одних трусах. Гойко жив, да, он жив. Я спрашиваю себя, почему же я не искала его все эти годы? Почему происходит так, что мы забываем прекрасных людей, но сходимся с людьми случайными, с теми, кто нам неинтересен, не приносит нам ничего хорошего, но просто попадается на пути, развращает душу обманом, превращает в кроликов?

— Ладно, приеду.

Ссохшаяся грязь жизни развеивается пылью, и ветер несет ее ко мне. Гойко ликует, кричит от радости.

Ветер дул, когда я уезжала из Сараева. Ледяные порывы ветра поднимали пыль, кружили ее по дорогам, засыпали прошлое. Пыль покрывала минареты, площади, мертвых на рынке, погребенных под овощами, разбитыми прилавками, с которых некогда торговали разными безделушками.

Спрашиваю Гойко, почему он стал искать меня только сейчас, после

стольких лет, неужели соскучился?

— Я давно по тебе скучаю.

Голос пропадает, слышится вздох. Снова шум ветра, дыхание дали. Мне вдруг становится страшно, что разговор прервется и вновь настанет молчание, длившееся долгие годы, — молчание, которое теперь мне кажется невыносимым.

Быстро спрашиваю его телефон. Гойко диктует номер мобильного. Под рукой оказался клочок бумаги, авторучка не пишет. Надо бы поискать другую, но боюсь, что прервется связь, шум в трубке усиливается. Я живо представляю себе, как телефонный провод рвется и падает на землю, искры летят во все стороны... Сколько таких проводов, висящих в небытии, я видела в том городе, отрезанном от всего мира! Цепляю прошлое, царапая на бумаге телефонный номер Гойко, боюсь снова потерять его.

— Перезвоню, когда узнаю про рейс.

Иду к Пьетро, перебираю его авторучки, обвожу выдавленный на белом листке номер. Пьетро спит, из-под простыни торчат длинные ноги. Как обычно, глядя на спящего сына, я думаю, что кровать ему мала — пора покупать новую. Рядом с тапками валяется гитара, машинально поднимаю ее. Пьетро будет злиться, не захочет ехать, придется повоевать, чтобы убедить его.

Принимаю душ, иду на кухню. Джулиано уже сварил кофе.

— Кто звонил?

Отвечаю не сразу, отрешенно смотрю в одну точку. Пока я стояла под душем, моя кожа казалась мне упругой, как в молодости, когда я быстро мылась и выходила из дому с мокрыми волосами. Говорю, что звонил Гойко и что я хочу поехать в Сараево.

— Вот так, сразу?

Кажется, он не удивлен.

— Ты Пьетро сказала?

— Он спит.

— Так разбуди его.

На лице Джулиано утренняя щетина, спутанные волосы свисают на лоб, отчего еще больше видна лысина на макушке. Днем он всегда аккуратен — обитатель городских джунглей, привыкший к строгости казарм и тишине архивов. Этот беспорядок вижу только я, и мне кажется, в этом есть нечто сокровенное, доверительное... ощущается аромат нашей молодости, когда мы сидели на кровати — голые, растрепанные — и смотрели друг на друга. Мы женаты давно — я встретила Джулиано шестнадцать лет назад на военном аэродроме. Когда я повторяю, что он

спас меня, Джулиано мотает головой, краснеет и отвечает, что это неправда. «Это вы, ты и Пьетро, спасли меня», — говорит он.

Джулиано — сладкоежка; пользуясь тем, что мои мысли далеко, он уминает очередной кусок кекса.

— Потом не жалуйся, что у тебя вырос живот.

— Это ты жалуешься, а я с собой в ладу.

Все верно, он с собой в ладу, поэтому всегда такой добродушный. Встает, кладет мне руку на плечо:

— Думаю, ты правильно сделаешь, если поедешь.

Он уловил в моем взгляде сомнение. Я действительно испугалась. Слишком неожиданно обрушилось на меня мое прошлое, моя молодость. А возможно, лишь тоска по ней... Шее холодно, нужно вернуться в ванную, высушить волосы феном. Я снова робкая, нерешительная девочка, которой до старости всего лишь шаг.

— Нужно как-то все устроить, договориться в редакции... даже не знаю...

— Да все ты знаешь.

Говорит, что позвонит мне из офиса, попробует найти по Интернету дешевые билеты.

— Не думаю, чтобы за билетами в Сараево была очередь, — шутит он.

Иду в комнату Пьетро, открываю ставни. Пьетро резким движением натягивает на голову простыню, лежит как мумия. В этом году у него случилась линька: он перерос свое детство, вытянулся и стал похож на большую неуклюжую цаплю. Уходит из дому, ни с кем не прощаясь, и ест стоя, у открытого холодильника. Бродит понурившись, уставившись в землю, будто ищет соколовице. Из-за какой-то глупости провалил экзамены, но вместо того, чтобы поднапрячься и пересдать, демонстративно плюет на все с упрямством, достойным лучшего применения. Оборачиваюсь на его ворчливый бас — сын теперь обращается ко мне лишь затем, чтобы чего-то потребовать, высказать недовольство. Куда подевался нежный голосок, годами звучавший рядом? Раньше мне казалось, что наши голоса созвучны: мне нравилось разговаривать с ним.

Сейчас мне его жаль. Когда сын спит, когда его лицо безмятежно, я думаю, что и он, должно быть, тоскует по тому складному телу, которое, словно какой-то людоед, пожрал переходный возраст. Может, Пьетро ищет его во сне и потому не хочет просыпаться.

Я наклоняюсь, стягиваю простыню, прикасаюсь к волосам, теперь жестким, торчащим во все стороны. Пьетро стряхивает мою руку.

Все-таки он переживает из-за экзаменов. Сейчас лето, он уходит из

дому с теннисной ракеткой, в кроссовках сорок третьего размера, а возвращается, злясь на своих друзей, кричит, что не желает их больше видеть: ведь на следующий год он не будет учиться с ними в одном классе, и получается, будто это они оказались предателями!

— Мне нужно с тобой поговорить.

Он тут же садится на кровати, голый по пояс.

— Есть хочу.

Разговариваем на кухне — он намазывает на печенье «Нутеллу» и заглатывает эти мини-бутерброды один за другим. Рот у него испачкан шоколадом, на столе крошки, пакет с печеньем разорван, но я сдерживаюсь — нельзя же бесконечно его шпынять! Жду, пока он закончит свою трапезу, потом говорю о поездке.

Пьетро мотает в ответ головой:

— Не хочу, поезжай одна.

— Сараево — очень красивый город...

Смотрит на меня с лукавой улыбкой:

— Да ладно, мама, зачем этот пафос? Что там делать, в этой задрипанной Югославии?

Стою, сцепив руки, еле сдерживаю возмущение:

— Югославии больше нет, это другая страна.

Пьетро проглатывает очередной бутерброд. «Нутелла» капает на стол, он подбирает капли пальцем, облизывает.

— Да какая разница!

— Есть разница. — Умоляю его тихим голосом: — Всего лишь неделя, Пьетро, поедем вместе, вот увидишь, тебе понравится.

Никакого интереса во взгляде.

— Чего же там хорошего, мам? Скажешь тоже...

— Поедем на побережье, там великолепное море.

— Тогда лучше на Сардинию.

Чувствую, как слабеют и подкашиваются ноги, а этот идиот размышлял о Сардинии.

Пьетро встает, потягивается, идет ставить чашку в раковину. Я смотрю на его спину, вихор на затылке.

— Тебе действительно не интересно узнать, где погиб твой отец?

— Достала, мам...

Я продолжаю его упрашивать, голос мой слаб и неуверен — так Пьетро говорил со мной, когда был ребенком.

— Пьетро... Пожалуйста, Пьетро!

— Чего тебе?

Я встаю, нечаянно опрокидываю пакет с молоком:

— Что значит «чего тебе»? Это же твой отец!

Пожимает плечами, смотрит в пол:

— Достала меня эта история!

Эта история — его история, наше прошлое, о котором он и слышать не хочет. Ребенком он был храбрее, любознательнее. Забирался ко мне на руки, не боялся спрашивать, рассматривал пожелтевшую фотографию отца, прикрепленную магнитом к холодильнику. Диего на ней совсем юный... Теперь Пьетро вырос и перестал задавать вопросы. Его мирок сжался до мелких, эгоистичных потребностей. Ему не хочется усложнять себе жизнь, задумываться. Для него отец — Джулиано. Это он провожал его в школу, водил в поликлинику. Это он дал ему подзатыльник в тот раз, на море, когда Пьетро нырял на мелководье.

Чищу зубы, иду в комнату сына, на ходу надевая куртку. Он в одних трусах, играет на гитаре, глаза закрыты, плектр скользит по струнам.

«Путь к надежде». Вспоминаю эту фразу, случайно попавшуюся мне на глаза. Думаю о Пьетро. Надежды — достояние детей. Мы, взрослые, когда-то тоже надеялись — почти всегда напрасно.

— Собери дорожную сумку, небольшую.

Ничего не отвечает. Насвистывает.

Едем в машине. Утренний Рим свинцового цвета. Пьетро на заднем сиденье — солнцезащитные очки «Ray-Ban», блестящие от геля волосы.

«Ты, пожалуйста, не расстраивай маму», — сказал вчера за ужином Джулиано.

Пьетро позвонил Давиду, своему другу, предупредить, что не придет на занятия по парусному спорту, потому что уезжает со мной. Должно быть, друг спросил сына, когда тот вернется. Пьетро опустил руку с мобильным телефоном и спросил меня:

— Когда вернемся?

Я посмотрела на Джулиано. Ответила:

— Скоро.

— Скоро, — сказал Пьетро в телефонную трубку.

— До скорого, — говорит Джулиано в аэропорту, целуя меня на прощание. Обнимает Пьетро, потом они упираются лбами и несколько секунд стоят неподвижно. — Будь молодцом.

— Да, папа.

Ставлю сумку на ленту транспортера — и вот мы уже в нейтральной зоне. Идем вдоль светящихся вывесок: «Lancôme», «Prada Eyewear». Колеса моего чемоданчика постукивают в такт шагам. Останавливаюсь,

оглядываюсь назад. Джулиано стоит на том же месте и смотрит нам вслед. Ноги расставлены, руки в карманах, как у таксиста, ожидающего пассажира, — безликая фигура в равнодушной толпе. Кажется, что с нашим отъездом он потерял самого себя. Лицо чужое, неподвижное, с глубокими морщинами. В это мгновение я думаю о том, как он одинок. Заметив меня, он оживляется, машет рукой, улыбается и знаками показывает, что пора идти, надо поторопиться. Смешно округлив губы, посылает воздушные поцелуи.

В самолете гитара Пьетро занимает все багажное отделение над нашими головами. Стюардесса не стала придирааться: салон экономкласса, в отличие от первого, наполовину пуст. Первым классом летят бизнесмены в стильных костюмах — новые богачи из Восточной Европы, разжиревшие на бедах своего народа. Их галстуки разительно отличаются от тусклой синтетики былых времен, они читают финансовые обзоры, заказывают шампанское. Им приносят горячие обеды, а нам — холодные закуски сомнительного качества: два кусочка ветчины, консервированный зеленый горошек, пирожное в полиэтиленовой пленке. Отдаю свой поднос Пьетро — он вмиг проглотил всю еду, просит у стюардессы еще хлеба. На английском. Вполне приличное произношение, что меня поистине удивляет. Мило улыбается стюардессе, глаза у него, как море, изумрудного цвета.

Летим через Адриатику. Пьетро жует и смотрит в иллюминатор на синеву, проплывающую внизу, а я — на его профиль, чуть размытый от яркого света. Стюардесса приносит хлеб. Пьетро благодарит. Его резкий голос кажется мне красивым. Другие матери хвалят моего сына, говорят, что он хорошо воспитан. Вот лицемер! Со мной-то он ведет себя по-другому.

Пьетро откусывает пирожное — маслянистый брусок, покрытый глазурью, — и тут же предлагает мне:

— Мне не нравится. Хочешь?

Я должна за ним доедать, это в порядке вещей. Глазурь тает у него в руке.

— Ну, так не ешь.

Пустые контейнеры Пьетро ставит передо мной, закрывает свой столик, упирается в него коленями, надевает наушники и удобно устраивается в кресле. Поворачивает голову:

— Мам, ты сегодня какой-то тормоз.

Я действительно сегодня немного рассеянная, с самого утра. Куда подевалась сноровка бывалой путешественницы? То куда-то

запропастились посадочные талоны, то я забыла, через какие ворота нам выходить к самолету. Пьетро озирался по сторонам — зоркий, словно рысь, подмечающий все вокруг. Пропажа посадочных талонов его совершенно не волновала.

Я потела, перетряхивая сумку, а ему хоть бы хны. «Тогда поехали домой», — спокойно произнес он, и тут я нашла наконец эти проклятые куски картона и прикрикнула на него: «Шагай!»

Он выпендривался на досмотре багажа — не понравилось, что сотрудник службы безопасности решил проверить его гитару. Я объяснила, что человек выполняет свою работу. Пьетро в сотый раз скорчил недовольную мину. Достали! Потом, идя к самолету, твердил, что все это чушь собачья, что легче легкого пройти контроль вооруженным до зубов. Извел меня, перечисляя места, куда можно спрятать украденные из столовой ножи и вилки, — сразу видно, комиксов начитался.

Спросила, взял ли он в дорогу книгу. Нет, экзамены завалил, ничего не надо читать к следующему классу. «Я отдыхаю», — сказал.

Когда мы поднялись на борт, стал твердить, что самолет старый, давно отслужил свое. Всем известно, что авиакомпании Восточной Европы покупают на Западе списанные самолеты. Неудивительно, что потом они падают. «Вот увидишь, про нас будет ролик на YouTube», — сказал он мне. Я подумала: «Зачем было брать его с собой? С ума можно сойти».

Пьетро закрыл глаза, голова покачивается в такт музыке из iPod. Больше не ворчит, сдался и, кажется, повеселел. В конце концов, он человек увлекающийся. Со своими недостатками, но неапатичный, как многие его сверстники.

Все-таки сон его сморил: рот приоткрыт, голова отяжелела, iPod продолжает что-то бормотать. За окном — белая пена облаков, неподвижное сказочное небо.

Я пытаюсь отвлечься, думаю о предстоящем летнем отдыхе. Мы поедем в гости к друзьям в Лигурию, их дети — ровесники Пьетро. Будем ходить босиком, читать, лазить по утесам, ловить в расселинах крабов. Джулиано зайдет в кузнечную лавку — надо купить болты и петли, починить в доме ставню. С моря будет дуть соленый ветер, прохладный бархат лигурийских ночей скроет наш возраст, и ничто не помешает нам заняться любовью...

Просыпается Пьетро, потягивается, зевая.

Я спрашиваю:

— Что ты знаешь про Сараево?

— Это там убили эрцгерцога?

Я киваю — неплохо.

— А что еще?

— Потом началась Первая мировая война.

— А потом?

— Ну...

— Из того, что я тебе рассказывала?

Молчит, уставился в иллюминатор.

Самолет снижается, я слышу, как выдвигаются шасси. Кажется, что эти колеса, которые вот-вот коснутся земли, выходят из моего живота. Руки и ноги одеревенели. Смотрю вниз, на черный хребет горы Игман. Он все так же лежит, распластавшись, словно спящий великан, убитый зверь, спина которого, как темной густой шерстью, покрыта лесной чащей.

Я помню эти горы, усеянные цветами, — или то были флажки? Маленькие белые флажки, похожие на лилии, размечали олимпийскую трассу и приветствовали с высоты всех, кто приезжал в эту золотую долину, в этот Восточный Иерусалим, где снег падал на черные шпили христианских церквей, на свинцовые купола мечетей, на покосившиеся надгробья старого еврейского кладбища.

Автобус нас не ждет, через летное поле приходится идти пешком. Солнца нет, небо молочно-белое, температура примерно на десять градусов ниже, чем в Италии.

Пьетро в футболке с короткими рукавами, на спине — лист конопли и надпись: «Бог создал траву, человек придумал косяк».

— Холодно тебе?

— Нет.

Здание аэропорта ничуть не изменилось — хрупкая, ненадежная конструкция, похожая на ангар. Я ожидала, что его уже снесли, а его лишь слегка подремонтировали.

На взлетной полосе — самолет с красным крестом на белой плоскости крыла. Конечно же, это не борт санитарной авиации, как я сразу подумала. Это самолет швейцарской компании «Swiss Air» — время сейчас другое, мирное.

Тогда, высаживаясь из военных самолетов, люди, пригнув голову, бежали по открытому пространству туда, где виднелось грязноватое пятно — солдаты в камуфляже. Все кричали, — казалось, вот сейчас, в эту минуту, выстрелят в тебя. Аэропорт... все говорили про аэропорт — единственный путь спасения из осажденного города. Время от времени какой-нибудь отчаянный бедолага ночью пробирался на летное поле. Глупая затея — укрыться негде, даже заурядный снайпер не промажет.

В помещении аэропорта тихо, безлюдно. Гладкие стены, неоновые трубки — унылое искусственное освещение, провинциальная скука маленькой станции.

На бесцветном лице пограничника, проверяющего паспорта, дежурная улыбка.

— Итальянцы...

Я киваю, получаю назад документы.

«Izlaz» — выход, сообщает указатель. Пьетро шагает с гитарой через плечо, рассматривает людей. Мусульманская девушка в ярко-красном платке, сильно накрашенная, обнимает служащего аэровокзала — они целуются посреди людского потока, мешают проходить.

В зале прилета многолюдно, ожидающие прислонились к металлическому заграждению. Пробегаю глазами толпу, вытягиваю голову, чтобы лучше рассмотреть тех, кто прохаживается в отдалении. Многие курят — облако сигаретного дыма висит в воздухе.

Я накрашила губы в туалете самолета, привела в порядок прическу — хотелось выглядеть лучше.

Справа бар, где у высоких столиков пьют кофе, курят. Какой-то мужчина отделяется от круглой стойки и идет ко мне. Я не уверена, что узнаю его, но все же это он! Мятая льняная рубашка черного цвета, рыжеватая борода. Волосы поредели. Слегка располнел. Характерная походка — широко расставляет ноги, даже когда спешит, руки слишком свободно болтаются вдоль тела — не спутаешь ни с кем другим. Стискивает меня в объятиях, прижимает к себе, будто я его собственность, потом вглядывается в лицо. Сперва общий план: лоб, губы, подбородок. И вот уставился глаза в глаза, словно хочет увидеть год за годом всю мою жизнь. Этот взгляд будто волна, которая после долгих скитаний по морю разбивается о берег, обдавая нас брызгами воспоминаний.

Я первая не выдерживаю, опускаю глаза — этот пристальный взгляд меня смущает и раздражает одновременно. В Италии никто на тебя так не смотрит. Рука у меня начинает зудеть, как от чесотки. Две влажные, мясистые и, возможно, не очень чистые ладони обхватывают мое лицо горячей повязкой.

— Красавица!

— Старушка, — парирую я.

— Иди ты к ч-черту, Джемма!

Смеюсь, узнаю эту манеру тянуть звуки, этот насмешливый тон. Гойко целует меня, снова сжимает в объятиях так, что замирает дыхание. Сквозь льняное полотно рубахи я чувствую тепло его тела, слышу взволнованное

биение сердца. Он ощупывает мою спину, как слепой, считает ребра, позвонки перекатываются под его горячими руками.

Теплая шея Гойко пахнет потом. Мне вспоминается уютный запах сараевских домов, накрахмаленных скатертей, ликера из белой черешни, запах офисов, где пепельницы полны тлеющих окурков, а ксероксы всегда сломаны — нужно хорошенько стукнуть по ним, чтобы заработали.

В горле комок, но я стараюсь не расплакаться. Я дала себе слово держаться. Когда тебе пятьдесят три, слезы не заставляют себя долго ждать. Хлопаю Гойко по плечу:

— Толстяк!

— Да, я хорошо ем.

Гойко делает неуверенный шаг в сторону Пьетро, спотыкается, но удерживает равновесие. Они ударяют друг друга по рукам, как в американском боевике. Гойко показывает на гитару:

— Музыкант?

— Дилетант, — смеется Пьетро.

Гойко садится рядом с таксистом, выставляет локоть в открытое окно. Они негромко говорят о чем-то между собой.

— Ты понимаешь их, мама?

— Немного.

— И что они говорят?

— Будет дождь.

— Ч-черт! — присвистывает Пьетро, протягивая звук «ч».

Удобно устроившись на заднем сиденье автомобиля, обтянутом серой тканью, я смотрю в окно. За пыльным стеклом — знакомая дорога, длинный проспект, забыть который невозможно. Я боюсь, что волна воспоминаний захлестнет меня с головой. Не нужно всматриваться — достаточно кинуть беглый взгляд... Если я справлюсь сейчас, значит, справлюсь и дальше. Не позволю этому городу разбередить мои раны.

Пусть образы прошлого останутся блеклыми, как почтовый штампель на старом истертом конверте. Жизнь научила меня, что все можно преодолеть, — даже страх деформируется, исчезает в тумане, становится смешным, абсурдным и потому не воспринимается всерьез... Черные скелеты автомобилей, разбитые стекла, алая кровь смертельно раненного ребенка брызгами на белой стене.

Машинально трогаю мочку уха, тереблю сережку. Нет, я спокойна. Пьетро рядом: его джинсовое колено касается моего, его равнодушный, скучающий взгляд скользит по унылому городскому пейзажу.

Серые дома эпохи соцреализма. Балконы, нависшие один над другим,

напоминают ящички старого, обветшалого каталога в какой-нибудь конторе. Фасады, изуродованные осколками гранат, слегка подштукатурены.

Достаточно небольшой выбоины на дороге, и возникает непроизвольное желание пригнуть голову. Этот проспект со всех сторон простреливался снайперами, машины мчались по нему со скоростью двести километров в час — голова притиснута к коленям, душа ушла в пятки. Красные остовы трамваев, нагроможденные один на другой, — единственная защита от обстрела. Я поворачиваюсь к Пьетро. Меня охватывает страх: *на нем нет бронжилета. Закусываю щеку. Все в порядке. Успокойся...*

Гойко молчит. Обернулся всего лишь раз, — очевидно, решил меня не беспокоить.

Он остался жив, выжил на этой страшной дороге. Ему повезло, он уловил новый ритм — жизнь не стоит на месте, движется вперед.

Странно видеть здесь светофоры и людей, спокойно идущих по пешеходному переходу. Вверх по холму карабкаются сады, белые домики ютятся меж темных елей. Именно оттуда стреляли. Любая щель между домами, любой просвет в зелени деревьев — это снайпер, который мог тебя уложить.

Редакция легендарной газеты «Освобождение» на прежнем месте. Там, где когда-то были одни обломки, появилось небольшое скромное здание. Рядом огромный небоскреб равнодушно взирает зеркальными стеклами окон на развалины старой городской богадельни. На крыше небоскреба красным неоновым светом горят огромные буквы: «AVAZ».

— Это самая популярная газета, ее владелец — из нынешних олигархов. — Гойко проводит рукой по голове. — И ни одной страницы о культуре.

Около клумбы со свежевскопанной землей мужчина ждет, пока его собачка справит нужду. Девушка на велосипеде пересекает проспект. Родители и белобрысые малыши улыбаются с рекламы страховой компании «Сараево Осигуране». На другом рекламном щите — миротворцы из ЕУФОРы. Упитанные физиономии парня и девушки в камуфляжной форме сияют довольной улыбкой. Люди идут по тротуару, обыденно и размеренно вершат свое плотское бытие.

В город вернулись птицы — перелетают с ветки на ветку, с дерева на дерево, проносятся над головами, спускаются на землю, что-то клюют.

Однажды утром я проснулась и увидела огромный черный луч — это улетали птицы. Улетали все разом, спасаясь от несмолкаемого грохота, дыма пожаров, невыносимого запаха наскоро погребенных тел. Они

поднимались к Миляцке, чтобы укрыться в дальнем лесу, там, где летом люди устраивали пикники и спасались от жары у небольших водопадов, сверкающих, как серебряные узелки. Все жители Сараева завидовали этим птицам, потому что они могли оторваться от земли и спокойно улететь.

Я оборачиваюсь. Он там, большой, кричаще-желтый куб гостиницы «Холидей-Инн», сложенный из кубиков поменьше, которые, кажется, можно переставлять местами. Во время осады здание стало убежищем для иностранных журналистов. Фасад обстреливался снайперами из Грбавицы. Выручал служебный вход — машины съезжали по пандусу вниз, в гараж. Попасть туда считалось необыкновенной роскошью, недоступной простым смертным. Там была горячая еда, были спутниковые телефоны. В гостиничных номерах работали журналисты — счастливчики, они приезжали и уезжали, сменяя друг друга.

Вот и центр города. В этом расчерченном на квадраты скоплении старинных австро-венгерских особняков пешеходы переходят дорогу где попало, задевая машины, которые движутся с черепашьей скоростью. Деревца подросли, у молодых побегов нет прошлого. Я смотрю на магазины: рядом со старыми убогими витринами — новые, красивые, но все-таки не столь изобильные, как у нас. Червь потребления пробрался и в этот город, на лице которого еще не зажили шрамы войны. Показались купола мечети — маленькие и темные, будто гладкие речные камни. Улочка, на которой стоит наша гостиница, примыкает к старому турецкому рынку Башчаршия.

Гойко сам расплачивается с таксистом, помогает мне донести сумку. Холл гостиницы по-домашнему уютный. Светлые серебристые занавески, красный с мелкими черными ромбами ковер. В углу — большой горшок с пышными цветами, ясное дело, искусственными. Пьетро все-таки трогает их, хочет лично убедиться, вытирает руку о джинсы. Смотрит на дежурного администратора — девушку за высокой стойкой из темного дерева, пока та ищет в компьютере наше бронирование. Из соседнего холла доносятся мужские голоса. Краем глаза я замечаю плохую обувь, слишком короткие носки. Клубы сигаретного дыма отравляют воздух. Дым поднимается вместе с нами по лестнице, проникает в маленький лифт. Пьетро говорит:

— Если мы останемся здесь больше чем на одну ночь, здоровыми в Рим не вернемся — рак нам гарантирован.

Комната достаточно большая: кровать, синее синтетическое покрывало с оборкой, два новеньких ночных столика. Открываю окно, смотрю вниз: дорога непроезжая, машин припарковано не много, какое-то дерево с красной кроной, широкий водосточный желоб прислонился к железному

навесу с крапинами голубинового помета.

Пьетро со смехом выходит из ванной:

— Смотри, ма...

— Что?

Пьетро показывает мне стакан для зубных щеток, лежащий в пластиковом пакете с надписью: «Hygienic cleaning».

— Ну и что?

— Пакет разорван, а стакан из-под шоколадной пасты.

Улыбаюсь, прошу его поставить стакан на место.

Мою руки, сажусь на кровать, подтягиваю к себе сумку, разбираю ее содержимое: посадочные талоны выбросить, билет на обратный путь положить отдельно. Пьетро бросает свой рюкзак в шкаф:

— Пойдем, мам. Чего здесь делать?

Я бы осталась. В моей сумке лежит банан, немного почерневший, но перекусить можно. Хочется вытянуть ноги и пролежать так до утра. Накануне ночью мысли о предстоящей поездке не давали мне уснуть. Трогаю языком ранку во рту — кровь. Наверное, прикусила щеку в машине, когда сжала зубы, стараясь сдержать нахлынувшие воспоминания. Нужно поставить тапочки под кровать, проверить, закрываются ли жалюзи, хорошо ли работает душ. Кажется, всё. Гойко ждет нас внизу.

— Ладно, идем.

Около семи вечера солнце зашло, мне становится холодно. Прислушиваюсь к звуку шагов — будто цоканье копыт по булыжной мостовой. Эта дорога ведет к мечети Гази Хусрев-бег. Стайка девушек в платках, толкают друг дружку, хохочут. За медресе — дворик, окруженный галереей из невысоких арок: там продают изделия местных народных промыслов. Пестрой занавеской висят на веревке расшитые цветными узорами туники. Какая-то женщина, бледная, в белых одеждах, жестами приглашает меня зайти в ее лавку. На прощание она кланяется, скрестив на груди руки.

Пьетро фотографирует мобильным телефоном мешки со специями, медную утварь.

Мы бродим по старинным улочкам, вымощенным речным булыжником, магазины потихоньку закрываются. За деревянными ставнями гаснет свет. Пьетро останавливается у прилавка, на котором навалены осколки гранат, натертые до блеска гильзы... сувениры для туристов. Крутит в руках одну гильзу, кладет ее на место, смеется, берет другую, потяжелее:

— Сколько человек можно такой уложить?

Мне хочется дать ему хорошего пинка.

Гойко не рассержен, наоборот, он, кажется, настроен шутить:

— Военный мусор — наша чистая энергия.

— Ты воевал?

Гойко кивает, зажигает сигарету, нехотя отвечает глухим голосом:

— Как все.

— Ты был солдатом?

— Нет, я был поэтом.

Пьетро разочарован. Для него поэты — нищий и жалкий сброд, слабаки, рахитичные бедолаги, отравившие жизнь миллионам старшеклассников, нормальных беспечных ребят.

— Я есть хочу, — ворчит мой сын.

Рынок Башчаршия остается позади, мы заходим поужинать на летнюю веранду под деревянным навесом. Убогое заведение похоже на ветхую горную хижину. Из кухни доносится запах лука и жареного мяса — незабываемый запах боснийских блюд. Гойко говорит, что здесь готовят вкусные чевапчичи. Наша официантка несет бокалы, самым бесхитростным образом придерживая их за стенки тремя пальцами. Пьетро просит принести ему кока-колу, спрашивает у Гойко, как перевести слово «соломинка».

Принимаемся за еду. Колбаски чевапчичи очень ароматные, во рту остается приятный мясной вкус. Перец обжигает ранку во рту, но это не важно. Я не чувствую больше усталости; запах, пряный, аппетитный, пробудил во мне воспоминания. Не лишним оказалось вино — бутылка красного черногорского.

— Хоть и не «Брунелло», — сказал Гойко, — но тоже вязкое.

Очевидно, он хотел сказать, что вино *терпкое*, — за исключением редких ошибок его итальянский практически безупречен. Но это правильные ошибки, — в конце концов, вино действительно вязкое... оно медленно, неумолимо затягивает нас в прошлое.

В день нашего знакомства мы тоже ели чевапчичи. Купили их в палатке прямо на улице. Был собачий холод, колбаски жарила женщина в вязаной шерстяной кофте, на голове — поварской колпак. Она с удовольствием наблюдала, как мы уминаем чевапчичи — плоды ее труда, ее гордость. Как сейчас, я вижу это бесконечно доброе лицо — лицо простой труженицы. Несмотря на жизненные невзгоды, ее глаза лучатся счастьем. Случайная встреча с такими людьми — радость, их искренняя улыбка — щедрый дар, который особенно ценишь, сталкиваясь с унынием и малодушием. Сколько счастливых лиц я видела тогда в Сараеве! Румянец

на щеках не только от холода — у людей появилась робкая надежда на возможность перемен.

Сараево принимал зимнюю Олимпиаду. Величественное здание Национальной библиотеки, построенное в неомавританском стиле, — словно город в городе. Там, в одном из залов, где колонны тянутся ввысь, к свету, проникающему через витражные, как в соборе, окна, я и познакомилась с Гойко. Я сидела на хлипком конторском стуле и среди огромных шкафов со старинными книгами чувствовала себя букашкой. Вошел рыжеволосый парень в кожаной куртке, подбитой клочковатым мехом. Передвигался он толчками, как большая механическая кукла.

— Вы — Джемма?

— Да.

— Я ваш сопровождающий.

Мы пожали друг другу руки, я улыбнулась — такой он был высокий и крепкий.

— Вы хорошо говорите по-итальянски.

— Я часто бываю в Триесте.

— Учитесь?

— Продаю йо-йо.

Он шарит в кармане, достает пластмассовую катушку с намотанной вокруг ее оси веревочкой, раскручивает и закручивает ее снова.

— Хорошо идут, снимают напряжение. Из-за этой Олимпиады все нервные стали — пришлось потрудиться... а мы не любим много работать. Город нужно было выдраить до блеска, понимаете? — Смеется, непонятно чему. — Как устроились?

Я качаю головой — маленькая гостиница, где я остановилась, битком набита туристами.

— Вам нравится звездное небо?

— А что?

— Если хотите, можете спать под любым мостом на Миляцке — никто вам не помешает, ни одного пьяницы, ни одного карманника не осталось. Чисто, как при коммунизме. Мы впервые показываем всему миру свою задницу, понимаете?

Я заканчивала писать диссертацию об Андриче,^[1] мне нужен был компетентный гид, а попался какой-то торговец игрушками йо-йо.

Он снова вынимает этот кругляш, играет им так и этак. Интересуется, не хочу ли я купить.

— А что, здорово — продать итальянке йо-йо из Триеста. Друзья оценят.

Я приехала в Сараево недавно. Очарование праздничного города, укрытого снегом, немного не вязалось с моим настроением. Я нервничала, была недовольна, никак не могла привыкнуть. На эту научную работу меня подвиг преподаватель, который собирался использовать мои материалы для своей книги о литературе Балкан. И теперь, после двух дней желудочного расстройства, достаточно было резкого запаха еды, холодного ветра, дыхания этого несчастного провинциала, этого болтуна в дурацкой черной кожаной куртке, подбитой сиамскими котами, чтобы привести меня в ужасное расположение духа.

Я с отвращением посмотрела на его сальные волосы, стянутые в хвост. На ногах у него были остроносые, как у цыгана, сапожки. Пародия на рокера или охотника на волков.

— Послушай, — сказала я ему, — мне нужен человек, который покажет мне места, где бывал Андрич, в Сараеве, в Вышеграде, в Травнике... Не думаю, что ты подойдешь для этого.

— Почему?

— Ты совсем не похож на интеллектуала...

— Ну и что? Зато у меня есть машина.

Я представила себе одну из тех ужасных югославских машин, изрыгающих черный вонючий дым, но у него был вполне приличный, хоть и не очень чистый «фольксваген-гольф».

— Мы здесь делаем сборку, — объяснил он. — Знаешь, почему немцы нам доверяют?

— Нет, не знаю.

Я смотрела в окно. Раннее утро, он пришел вовремя и, судя по его физиономии, спал мало.

— Потому что мы хорошо работаем, хоть и дорого стоим.

Громко смеется, только он один. Проглатывает избыток этого смеха и начинает икать, — должно быть, похмелье после ночной попойки.

— Ты поверила?

Сдерживаюсь, чтобы не крикнуть: «Заткнись!» Я плачу деньги и хочу, чтобы он прекратил. От него воняет мокрой псиной, он икает, испуская смрад сливовицы, к тому же у него скверный характер, это мне становится ясно. Он, наверное, бесится оттого, что я не задаю вопросов, но меня не интересует то, что он говорит.

— Пусть мы и не лучшие работники, но ясно, что работаем за гроши, — говорит он грубо и таким тоном, будто обиделся на меня.

— Я тебе плачу хорошо.

Теперь он не смотрит на дорогу, он уставился на меня:

— Должно быть, ты порядочная сволочь.

Спина моя одеревенела, я боюсь повернуть голову. Мне страшно, но я из гордости храбрюсь. Идеальная жертва для маньяка. Свернуть такой шею — одно удовольствие. У этого здорового югославского парня, который кажется просто огромным в своей зимней куртке, наверное, отказали тормоза, как у их коммунизма после смерти Тито. Кто я для него? Девчонка из капиталистического мира, хоть мне и претит причислять себя к буржуазии. Мои сверстницы, отбросив феминистические предрассудки, снова надели каблуки и стали жить в свое удовольствие.

Вежливо прошу этого парня остановиться и высадить меня. Он что-то кричит на своем языке. Я тоже кричу:

— Закрой свой рот, от тебя воняет!

Смотрит на меня испепеляющим взглядом, но машину останавливает.

Я выхожу, иду по обочине, мы давно уже где-то за городом, страшно. Мимо проносятся грузовики, обдавая меня грязью.

Он ждет за поворотом, курит, выставив руку в открытое окно:

— Садись в машину, хватит.

Я продолжаю идти. Он едет медленно-медленно, поравнялся со мной:

— Машину одолжил мой друг, вечером надо вернуть.

Рука в окне протягивает мне книгу. Это сборник стихов Андрича на сербохорватском.

— Поэзию перевести нельзя.

«Идиот!» — думаю я. Но я устала, на обочине — грязный рыхлый снег, у меня замерзли ноги. Лица шоферов, глядящие на меня из кабин грузовиков, внушают еще меньше доверия, чем лицо этого болвана. Молча сажусь в машину. Он тоже молчит, потом говорит что-то по-боснийски. Глаза возбужденно горят, мне кажется, он сошел с ума.

Я говорю, что не понимаю ни слова. Он отвечает, что надо прислушаться к звуку... что поэзия — это партитура, созвучие невидимых нот... ночи, ветра, тоски.

— Закрой глаза.

«Не стоит этого делать, а вдруг он меня задушит?» Однако он включил отопление для меня, продрогшей, а сам парится в куртке на меху, даже жаль его. Закрываю глаза.

И вдруг я действительно что-то чувствую... сумерки, падают комья земли...

— О чем эти стихи?

— О могильщике, который зарывает в землю поэта, и ругается, и курит на его могиле.

— И плюется?

— Да, и плюется.

— Знаешь, — шепчу я, — кажется, я что-то поняла.

Он одобритительно кивает, протягивает мне книгу:

— На нашем языке все читается так, как пишется...

Смотрит на меня, а я пытаюсь что-то прочесть.

— Много мягких звуков и мало гласных... слова соединяются, согласуются со стоящими рядом; если существительное женского рода — все становится женского рода, такие уж мы галантные.

Он привез меня в Травник, в дом, где родился Андрич. Мы ходили вдоль витрин с рукописями и фотографиями. Остановились у старой люльки, в которой писатель видел свои первые сны. На обратном пути я задремала. Гойко разбудил меня, подув на глаза:

— От меня все еще воняет?

— Нет.

Мы весь день колесили по ужасным дорогам и, конечно же, проголодались. Нашли палатку, где продавались чевапчичи — жареные колбаски в лепешке, начиненной луком. Ничего вкуснее я в жизни не ела! Женщина в вязаной кофте и поварском колпаке улыбалась нам, радуясь нашему аппетиту, нашей молодости.

— Это твой жених?

— Нет, просто друг.

Что стало с ней? Что стало с той шерстяной кофтой, с той плитой, на которой жарились колбаски? Я верю, что эта женщина все еще там, на углу неподалеку от рынка Беджистан, ее улыбка ободряет, вселяет веру в добро.

И даже если в ее палатку попала граната, если взрывная волна разметала ее нехитрый скарб, я все-таки уверена, что она жива. Сегодня вечером она жива, эта простая женщина, жарившая на улице колбаски, — жива в нашей памяти, в наших глазах, влажных от вязкого черногорского вина.

Гойко любил боснийского поэта Мака Диздара, музыканта Брюса Спрингстина и джинсы «Levi's 501» — он мечтал о черных, хотел наповал сразить публику в заведениях, куда ходил напиваться и рисовать на стенах смешные карикатуры. Дальше случилось вот что: Гойко стал везде водить меня с собой, я увидела Сараево его глазами. Он показал мне старые общественные туалеты, дома дервишей, табачную фабрику «Мариин Двор», маленькую мечеть Магрибия, каменные надгробия богомилов... Он знал все закоулки, все легенды. Он затаскивал меня на чердаки, куда вели узкие лестницы и где под низкими деревянными балками суровые

художники выплескивали на холсты свою страсть. Мы бывали в местах, где исполняли севдалинки и фолк-рок и где танцевали, обнявшись, босые девушки. Рядом были брошены сапоги с налипшим грязным снегом. Заходили в лавки, где женщины раскатывали тесто для питы размером с большой таз, а у порога старики в красных фесках играли в кости. Гойко знал практически всех, и, казалось, все любили его. Я шла за ним, перед моим лицом подпрыгивали его волосы, стянутые в хвост — кривой хвост бродячего кота.

Как-то вечером он прочел мне свои стихи.

Держи рот закрытым, парень,
Вплоть до дня, когда кто-то
Не велит тебе держать его
Закрытым.
Тогда возмутись и заговори.
Скажи ему, что ты молод и нетерпелив,
Что луна желтая, как солнце,
Что мать твоя — честная женщина,
Но она ушла
И твоя собака не ела уже два дня.
Скажи ему, что улицы опустели,
Что все ушли спать,
А тебе хочется петь,
Пока не встала старая Анела
Чтобы свернуть шею безмозглой курице,
Которая больше не несет яиц,
Но кукарекает, как петух.

— Что скажешь?

Я раскручиваю йо-йо, но никак не могу справиться с дурацкой игрушкой.

— А кто эта «безмозглая курица»?

— Сараево.

— Интересно.

Он забирает у меня йо-йо, ему, видите ли, нужно, он нервничает. Я все равно не умею, а его раздражает, что у меня не получается. Говорит, что если мне не нравятся его стихи, то я могу прямо об этом сказать. Еще говорит, что я чертова карьеристка, что мне прямая дорога в литературные критики — душить молодые дарования, потому что я ничего не понимаю, я

просто холодная кукла, училка, пиявка-кровопийца.

Мы идем вдоль набережной Миляцки, Гойко показывает на ветку с жалкими остатками листвы:

— Да в каждом из этих листьев больше жизни, чем в тебе!

— Листья опадают... — насмешливо замечаю я.

— Как поэты! Слишком рано становятся удобрением!

У него воспаленные, как у взбесившегося медведя, глаза, и, как всегда, от него разит алкоголем.

И тут я не удержалась. Кричу, что ему надо бы принять душ, что от него пахнет водкой, что на свете много хороших поэтов, которые живут долго, не пьют и регулярно моются. Он обиделся, смотрит на меня, как ребенок. Отвечает, что никогда в жизни не напивался, что волосы у него не грязные, просто он пользуется гелем, что, если я хочу детей, мне нужно научиться запускать йо-йо, потому что маленькие дети без ума от этой игрушки.

Он меня учит. Держит мою руку, показывает, как должно работать запястье, как скользит веревка, как резким движением намотать ее обратно на эту волшебную катушку.

В тот вечер, прощаясь со мной, он сказал:

— Volim te iskreno.

— Что это значит?

— Я люблю тебя искренне.

Делаю шаг назад... всего лишь один маленький шаг. Гойко молчит, стоит на пороге, мнет свой нос, как пластилин.

— Я всегда говорю так маме, когда прихожу вечером домой.

Вижу, как он катится по замерзшей луже, а потом пропадает из виду.

И вот он здесь, наши локти соприкасаются на столе, покрытом клеенкой. Теплый вечер, мы в городе, боль которого, кажется, утихла. На асфальте — мусор, окурки; люди спокойно идут домой. Мы с наслаждением прикончили бутылку, вокруг — мирная жизнь, благодатная повседневность.

Вот еще чудо повседневности — сладкая пахлава, которую мы сейчас делим, упругое слоеное тесто с орешками. Ложки встречаются на тарелке.

— Доедай ты.

Пьетро шумно втягивает через соломинку последний глоток кока-колы. Не так уж скверно он себя ведет — поговорил с Гойко о теннисе, показал подачу Федерера. Попросил мороженое, но здесь подают только боснийские десерты. Гойко показывает куда-то в темноту. Там, внизу, есть кафе-мороженое.

— Как сказать *мороженое* ?

— *Сладолёд.*

— А как назвать, какое я хочу?

— *Шоколада, ванила, пистачи, лимун...*

— А если я скажу *айс-крим*, меня поймут?

Гойко кивает, улыбается, смотрит вслед удаляющемуся Пьетро:

— Он очень милый.

Я гляжу на дорогу, по которой ушел Пьетро, и чувствую пустоту, как и всякий раз, когда он исчезает из виду.

— Точь-в-точь как его отец...

Гойко приоткрыл рот, цокает языком.

— Что? — спрашиваю.

— Ничего, просто смотрю на тебя.

Он берет меня за руку, интересуется, всё ли в порядке.

Да, отвечаю я, все хорошо. Я пытаюсь скрыть волнение и потому отвечаю резко, как будто защищаюсь.

— Можешь звонить мне, когда захочешь, я ведь сплю в кресле, сидя.

— Почему? У тебя нет кровати?

— Не люблю спать лежа, чувствую, как сердце подкатывается к глазам.

Я смотрю в эти глаза, к которым ночью подкатывается сердце. Он щурится, словно хочет улыбнуться, но не может. В конце концов, я и он — мы остались в том времени, между нашим прошлым и настоящим трудно перекинуть мост.

Рассматриваю его руку, по-детски пухлую, в веснушках, обручальное кольцо сильно сдавило безымянный палец.

— Ты женился?

— Да.

— И как она?

— Мне повезло.

Он рассказывает о прошедших годах, когда был беженцем и перебивался случайными заработками — охранник, парковщик, заправщик на бензоколонке.

— Мы, боснийцы, имели преимущество, все нам сочувствовали, везде нас принимали... поначалу, — улыбается Гойко, заказывает две рюмки ракии. — Гостеприимство было недолгим, вскоре Европа перестала чувствовать себя в долгу. У нас плохая репутация, мы очень медлительные, созерцатели по натуре.

Рядом со мной проходит нищенка, очень худая, волочит искалеченную

ногу, будто швабру. Не говоря ни слова, кладет на стол раскрытую ладонь. Гойко дает ей пять конвертируемых марок. Девушка так слаба, что даже не может сомкнуть пальцы. Она поворачивается и уходит, грязные джинсы мешком висят на тощем теле.

— Помнишь ее? Она продавала лотерейные билеты.

Я что-то припоминаю... рука, дурацкая кукла на счастье.

— Одна из самых красивых девушек в Сараеве. Сейчас — наркоманка. — Гойко опрокидывает в себя ракию, щурит глаза. — Оказалось, что было легче бегать под пулями, чем потом гулять по развалинам.

Пьетро вернулся с рожком мороженого, смотрит на девушку — та вжалась в стену, как побитая собака.

— Почему она так хромает?

— Один из тех сувениров, что ты видел на рынке, засел у нее в бедре.

Мой ребенок нервничает, ерзает на стуле:

— Ей можно как-то помочь?

— Нет, нельзя. Как мороженое?

Пьетро облизывает рожок, в воцарившейся тишине слышен только этот звук. Расправившись с мороженым, Пьетро положил голову на ладонь, у него сонный вид.

— Пойдем, — говорит он, — я больше не могу.

Я хотела бы еще прогуляться, обойти весь город, дойти до Илиджа, окутанного летней дымкой. Хотела бы бродить в вечернем тумане, в котором растворяется реальность, и шевелить, как угли в камине, тлеющие воспоминания.

Поднимаю глаза на гору Требевич. Спрашиваю Гойко, что стало с тем баром, где подавали брынзу и горячую водку. Он медлит с ответом, словно припоминает вкус.

— Это ты тянешь меня назад... ты... — шепчет.

Потом резко отвечает, что там больше ничего нет, канатная дорога не работает, кабины подъемника торчат, как гнилые зубы.

— Там полным-полно мин, заложить их — раз плюнуть, а убрать — нужно время и куча денег... но, если хочешь, можем сходить, поднимемся пешком, испытаем судьбу.

В его глазах вспыхивают молнии, он будто бросает мне вызов и ждет моего ответа.

— Спокойной ночи.

Поднимаемся в номер по лестнице, Пьетро не доверяет лифту.

— Этот твой друг, он сумасшедший?

— Боснийцы все сумасшедшие, они этим гордятся.

Я покачнулась на ступеньках.

— Ты пьяная?

— Чуть-чуть.

— Фу!

Я сижу на кровати и жду, пока Пьетро почистит зубы. Он в одних трусах, склонился над раковиной, разинутый рот полон пены, смотрится в зеркало, энергично двигая поднятым локтем. Мой сын помешан на гигиене, но у него уже дважды был кариес, и он не понимает почему. Врач сказал, что это может объясняться наследственностью. Пьетро после попросил меня открыть рот, хотел посмотреть, какие у меня зубы. Я было открыла рот и тут же закрыла. «Отстань, — сказала, — я не лошадь, чтобы смотреть мне в зубы». Тогда он спросил об отце — всего лишь хотел узнать, были ли у отца проблемы с зубами.

Пьетро спит, чуть присвистывая, из приоткрытого рта вырывается легкий ветерок с ароматом зубной пасты. Голый до пояса, соски немного припухли. «Пубертатный мастит» — так сказал врач.

— *Может, у меня титьки вырастут?*

Доктор рассмеялся:

— У парня хорошее чувство юмора, такое сейчас редкость.

Да уж, все считают его милым, веселым, он часто берет вино на себя и выгораживает других. Только со мной ведет себя как паршивец.

Пьетро.

Наверное, это водка, но сегодня ночью даже это имя вызывает у меня слезы.

Здесь широкие подоконники, можно сесть и вытянуть ноги. Я прилипаю к стеклу. Звонил Джулиано, у него был сиплый голос — такой бывает у человека, который долго молчал, о чем-то размышляя.

— Я оставил тебе кучу сообщений. — От усталости, от волнения его голос звучит глухо. — Ты так от меня далеко!

— Я и в самом деле далеко.

Перед глазами возникает знакомая картина: календарь карабинеров у входа, в холодильнике салат, который я оставила для Джулиано, записка для приходящей прислуги, маленькая губка для снятия макияжа.

Сегодня вечером я даже не умылась, под глазами размазана тушь.

Пьетро отдыхает. Его сомкнутые ресницы — аллея темных деревьев на белом снегу... земля, разделенная надвое траншеей.

Я выхожу в коридор, босая, спускаюсь в холл. В ресторане гостиницы, как обычно, курят и пьют завсегда. Прошу сигарету, мне протягивают

две. «Дрина»... старые добрые «Дрина». Я давно не курила, но сегодня буду курить, стоя босиком на тротуаре. Я хочу, чтобы дым проник в мои легкие, хочу почувствовать этот забытый вкус.

Какой-то бродяга роется в мусорном баке, ищет объедки, еще сохранившие вкус, отбросы, которые могут еще пригодиться. Как и я, в сущности.

Нас познакомил Гойко

Нас познакомил Гойко в одном из сараевских ресторанов.

В тот день мы прошли пешком от Быстрика до Неджаричей, удивляюсь, как я согласилась пойти еще куда-то. Над рекой поднялся туман, окутал нас. Миляцка белеет внизу, как молозиво. Моя последняя ночь в Сараеве.

Италия выиграла в санном спорте. И журналисты, и спортсмены, которые должны бы уже спать в своих домиках в Моймило, празднуют олимпийское золото. Многие танцуют на столах, пьют сливовицу прямо из горлышка.

— Пойдем познакомлю тебя с итальянцами.

Сижу в тесноте, локоть к локтю, с совершенно незнакомыми людьми — загорелые лица, глаза отуманены сигаретным дымом. Ресторан — подвал с низкими сводами, на стенах — охотничьи трофеи: головы бурых медведей, горных козлов. С потолка свисают флаги. Устраиваюсь под Восточной Германией.

Он попрощался с друзьями и ушел — ищет свое пальто в гардеробе, набитом мокрой от снега одеждой, но не находит и поэтому возвращается назад. Гардеробщица — коренастая девица со спутанными волосами — ушла выпить пива, и раздевалка осталась без присмотра. Только поэтому он вернулся. Стоит и ждет, пока девица допьет свое пиво.

Его спина, худая, длинная спина в разноцветном свитере из альпаки. Гойко окликает его:

— Эй, Диего!

Он оборачивается, трогает рукой затылок. У него редкая бородка, впалые щеки, детское худое лицо. Это потом он скажет мне, что в висках у него стучало, а глаза просто пылали от снежного вихря — днем он попал в метель. Делает шаг, идет к нам. Это потом он скажет, что сразу заметил меня, несмотря на боль в глазах, несмотря на усталость. Что-то бессознательно влекло его, как быка красный цвет. Я тоже смотрю на него, жду, пока он подойдет. Нельзя сказать, что это такое было... что в точности. Тонкая перегородка и, возможно, плен — с самого начала. Жизнь движется издали по направлению к нам, мы чувствуем ветер, до нас доносится запах. Жизнь до седьмого пота трудилась, сводя нас. И нам предстояло сделать усилие.

Мы застыли, как бабочки на булавах, ощутив это согласное биение. У

меня красные щеки, здесь слишком много дыма, слишком много локтей, слишком много голосов. Все исчезло, осталось только пятно его свитера, которое движется ко мне. В глазах мгновенно вспыхивают и сгорают очертания этого тела. Остается душа, я ее чувствую, вот и все.

Он подходит к столу, гардеробщица выдала ему синюю горнолыжную куртку. Он надел ее и стоит, Гойко через стол тянется вперед, чтобы обнять его. На столе танцуют, катится пустой пивной бокал.

— Уезжаешь? — спрашивает Гойко.

Парень уже надел шерстяную шапочку с помпоном, кивает. Я смотрю на подпрыгивающий помпон.

— Это мой друг Диего, я рассказывал тебе о нем, помнишь?

Не помню.

Костлявая рука Диего задерживается в моей. Сухое рукопожатие обжигает. Это рука Пьетро. Уже его рука. Сильное молодое тело передо мной... но время рвется вперед, жизнь прокручивается, как на киноплёнке, и вот уже другое тело занимает его место. Сын в отце, ребенок внутри ребенка. И этот сын — память, ему будет передан эстафетный огонь.

Я подвигаюсь, освобождая для Диего несколько сантиметров на скамье. Он буквально втискивается между мною и кем-то еще. Смеемся, потому что так тесно, потому что мы рядом. Болтаем неизвестно о чем. У него странное, певучее произношение, вызывающее в памяти море.

— Ты откуда?

— Из Генуи.

Он так и сидит в шапочке, потеет. Капли пота текут по лбу прямо на глаза.

— Тебе не жарко?

— Пойдем прогуляемся.

И мы уходим, уходим вместе, пробираемся через баррикады столов, горы грязных стаканов, сквозь ряд медвежьих голов, сквозь толпу у туалетов. Гойко задерживает дыхание, поднимает руку, словно жезл регулировщика, который приказывает остановиться. После он скажет, что сразу все понял, что и слепому было ясно. Что вспышки молнии заставили драного кота неподвижно сидеть и караулить, поджав хвост.

Диего идет рядом со мной, его синяя куртка напоминает китель моряка. Он очень молод, совсем еще мальчик. Интересно, сколько ему лет?

— Завтра рано утром я возвращаюсь домой, самолет, наверное, будет битком набит. Когда я летел сюда, не было ни одного свободного места. Я здесь по работе.

— Чем занимаешься?

— Я фотограф. Ну и жара в этом баре!.. — улыбается он.

Улыбка такая кроткая.

Я рассказываю ему про диссертацию, про Гойко, великодушно подарившего мне этот город, в который я влюбилась.

— Почему ты не пошла спать?

— Ждала, когда зазвонят колокола, когда запоет муэдзин...

Он говорит, что можно подождать вместе, можно подняться к старой железнодорожной станции, оттуда сверху иглы минаретов кажутся стрелами, пронзающими небо.

Мы все бродим и бродим. Сколько километров прошли мы той ночью? За нами едет уборочная машина, останавливается, рабочие извлекают из снежной грязи пустые пивные бутылки, мятые листовки... длинные черные щетки шуршат по булыжной мостовой. Усталые замерзшие дворники убирают улицу, по которой мы идем, едут дальше, останавливаются снова. Зачем? Скопился на этой улице весь мусор, оставленный туристами во время Олимпиады, мы не заметили бы его. Мы привыкли к грязным городам. А эти руки, которые стараются для нас, мы замечаем.

— Ты работаешь по заданию какой-то газеты?

— Нет, я сам по себе.

Целыми днями он лежал на снегу в Беляшнице и Мало Поле, ловил уникальные кадры бобслея, прыжков с трамплина. Говорит, что глаза совсем накрылись.

— А ты не мог надеть очки?

Смеется, говорит, что снимать в очках — все равно что заниматься любовью в одежде — глаз должен быть внутри объектива.

Он смотрит, а я позволяю его профессиональному взгляду изучать меня.

— По-твоему, я фотогеничная? — наклоняю голову, демонстрируя ему самый выигрышный ракурс, как девочка-подросток.

— У тебя кто-то есть?

У меня есть жених, я собираюсь замуж. Но об этом я не говорю. Говорю только, что у меня роман вот уже много лет.

— А у тебя?

Он смеется, разводит руками:

— Я свободен.

Себиль, фонтан путников, замерз. Мы садимся на бортик. Окоченевшая на морозе птичка скользит по льду. Не боится нас, не улетает. Диего берет ее в руки, дышит на нее, пытается согреть.

— Поедем со мной.

— Куда?

— В Бразилию, фотографировать шахтерских детей в Кумару.

Гойко в своей подбитой мехом куртке неожиданно появляется из-за рыночных прилавков, как будто давно поджидал нас.

— Я обещал синьорине, что отведу ее на холм, где можно увидеть Сараево из окна Андрича, — говорит он, дымя сигаретой.

— Что это за Андрич?

— Так, один поэт. Но ты не волнуйся, Джемме не нравятся боснийские поэты — они пьяницы и воняют к тому же.

В присутствии Гойко я меньше смущаюсь, он как будто защищает меня от бури нахлынувших чувств. Можно сделать вид, что мы просто друзья, просто гуляем по ночному городу.

Ледяной ветер качает застывшие деревья, метель обжигает лицо, запутывается в волосах.

Мы смотрим сверху на острия минаретов среди заснеженных крыш. Сараево — словно лежащая девушка, черные нити дорог — складки на подвенечном платье.

Я уже выбрала себе свадебное платье. Кокон плотного шелка, словно венчик каллы, застывшего в неподвижности цветка.

Ночь на исходе, фонари мерцают в лучах зари, как свечи в морских волнах.

Гойко раскидывает руки, кричит по-немецки:

— *Дас ист Вальтер!*

— Кто это Вальтер?

— Герой одного фильма, нам его показывали в школе. Там фашисты ловят партизана и никак не могут поймать. В конце фильма побежденный офицер СС смотрит с холма на Сараево и произносит такую фразу: «Теперь я знаю, кто такой Вальтер! Весь город — это Вальтер! Душа Сараева — это Вальтер...» Глупость, конечно, но мы плакали.

Мы садимся прямо на землю под навесом старого вокзала. Гойко вынимает из кармана бутылку водки:

— Сначала даме...

Я отпиваю глоток, водка течет в желудок, как раскаленная лава. Теперь очередь Диего... он смотрит на меня, касается губами горлышка, на котором оставили след мои губы. Первое, как бы случайное проявление чувственности... Мне становится жарко, несмотря на мороз; одежда прилипает к взмокшей спине.

— Жаль...

— Ты о чем?

— Жаль, что нет фотоаппарата. Я бы сфотографировал твоё отражение в замерзшей луже.

Гойко залпом, как воду, выпивает остаток водки, бросает бутылку в снег. Бормочет что-то себе под нос, рассуждает о будущем... о стихах, которые напишет, о новой игрушке — чудесной головоломке под названием кубик Рубика. О том, как он станет её продавать и непременно разбогатеет. Мы не перебиваем его, пусть журчит, как ночное радио, как музыкальный фон. Иногда Диего вставляет какую-то фразу, просто так, чтобы казалось, будто мы все-таки втроем. Гойко прикуривает очередную сигарету. Диего толкает его в бок:

— Поосторожнее с зажигалкой! Ты так накачан водкой, что, если рыгнешь, мы все взлетим на воздух...

— Поздравляю! Наконец-то ты усвоил боснийский юмор, — радуется Гойко.

Я смеюсь, хоть щеки совсем одеревенели от холода. Гойко смотрит на меня, и в этом взгляде читается обида. Он встряхивает головой, вялым жестом посылает нас ко всем чертям, укладывается в снег, поворачивается на бок:

— Позовите меня, когда надоест трепаться.

Захмелевший, он мог бы спать дома, в тепле, так нет же, не оставляет нас одних, сторожит, как цепной пес, который только делает вид, что дремлет. Диего берет мою руку — так подбирают забытую на снегу перчатку.

— Так, значит...

Он не заканчивает фразу, белое облачко пара растворяется в холодном воздухе. Я жду.

— ...это ты.

— Что? Я — это что?

Голос его становится сиплым:

— Не уходи, не уезжай.

Он кладет голову на мои руки, закрывает глаза, дышит, как та окоченевшая птичка у фонтана. Я прикасаюсь к его волосам, медленно запускаю в них пальцы, поглаживаю.

— Еще... еще...

— Через месяц я выхожу замуж.

Он резко поднимает голову:

— Тот давний роман?

Я мигом прихожу в себя. Поднимаюсь, отряхиваю снег, говорю, что замерзла, что пора укладывать вещи. Толкаю ногой Гойко:

— Давай, Вальтер, пошевеливайся!

Возвращаемся в гостиницу, медленно спускаемся с холма, каждый сам по себе. Никто не разговаривает, так лучше — за весь путь мы порядком устали. Мне больше не нравится этот худой сумасшедший парень, что шагает рядом со мной, его мрачноватые шутки под стать черному юмору Гойко. Я вдруг понимаю, что эти двое мне противны, что я ненавижу их глупости, их патетику. Оба воздыхателя меня раздражают.

Начинается новый день, рассвет над городом тихо крадется, как большой серый кот. Я злюсь на себя — зачем было мерзнуть, зачем пить водку, лучше бы спала. Крепко стискиваю руку Гойко, опираюсь о его плечо. Он похлопывает меня по спине, старается согреть. И кажется, радуется: пока он дремал, что-то случилось. От него не ускользнуло, что у Диего испортилось настроение. Диего идет впереди, прижимаясь к стене, как побитый пес.

Ну и ладно, Гойко берет реванш. Его не смущает мое непостоянство. Он поднимает с земли палку, кидает в Диего:

— Эй, фотограф!

Диего подпрыгивает, скользит на снегу и падает. Гойко хотел пошутить, он не ожидал, что парень окажется таким слабым.

— Больно, приятель?

Диего встает, отряхивает снег, говорит, что ничего страшного, что он не ушибся. Я чувствую себя виноватой. Почему-то я чувствую себя виноватой. Это я сделала ему больно.

— Увидимся в аэропорту.

Он уходит прихрамывая, не оборачиваясь, машет нам рукой.

Если бы Гойко не придавил чемодан всем своим весом, я не смогла бы закрыть молнию. Я накупила на рынке много ерунды, особенно вышитых скатертей для моего будущего дома. Мы едем мимо Вечного огня, я в последний раз смотрю на этот проспект... новые дома, глупый красноносый волчонок — символ сараевской Олимпиады — рядом с огромным портретом Тито. Белое небо за окном автомобиля. Я совсем не спала, меня тошнит, прошу Гойко выбросить сигарету.

На регистрации много пассажиров — журналисты, телевизионщики, туристы. Группа финских болельщиков идет за девушкой в мини-юбке и желтой куртке с оленями, девушка машет надувным шариком в виде снеговика.

Его нет. Нет, я его не ищу, просто обвожу глазами зал. Покупаю английский таблоид. На обложке — жена принца Чарльза, румяная, с пышными белокурыми волосами, держит на коленях первенца.

Он должен быть здесь, его самолет вылетает на час раньше, чем мой. Может быть, он не услышал будильник, крепко уснул и проспал. Мне кажется, что он как раз из тех, кто любит поспать, что он вообще никуда не торопится.

На мне — свитер из ангорской шерсти с широким воротником-шалькой, джинсовая юбка миди, бежевые сапоги, большие солнечные очки подняты на лоб. Я выгляжу немного старше своих лет. Окончив университет, я стала одеваться как дама, делать «взрослые» прически. Расстегиваю верхнюю пуговицу пальто, закидываю ногу на ногу, кладу сумку рядом. Немного рисуюсь, но на публике все мы так или иначе любим покрасоваться... Кажется, я вхожу в образ той женщины, какой мне хотелось бы быть. Для меня очевидно — я не люблю страдать. Моя жизнь проста и понятна. Я выросла в мире без острых углов, горизонтальном, предсказуемом.

Однако Сараево оставляет в моей душе легкий шлейф грусти. Я вспоминаю торжественное, безупречное открытие Олимпиады, но даже там, на том сверкающем огнями стадионе, чувствовался металлический привкус щемящей тоски. Ни бодрые движения мажореток, ни прыжки юных фигуристов не могли скрасить военную суровость, свойственную всем спортсменам Восточной Европы, — ощущение, что тренировки не доставляли им радости. И что сказать о том парнишке, который продавал жареные орешки у стадиона Зетра? Его глаза — это глаза ребенка или мышонка? Я погладила его по голове, оставила чаевые, а он стоял как каменный, даже не шелохнулся.

Я сказала Гойко, что он может вернуться домой, но он слоняется по залу — занимается коммерцией. Подходит ко мне, выпускает дым прямо в лицо, разглядывает обложку журнала:

— Это кто?

— Жена принца Чарльза.

— Она боснийка?

— Англичанка, естественно.

— Очень похожа на мою маму.

Закрываю журнал, бросаю в сумку.

— Нет, мама красивее.

Как же мне надоел этот наглый босниец, убежденный, что эта дыра — ни много ни мало центр вселенной! Он все время повторяет: «Граница между Западом и Востоком, Восточный Иерусалим... перекресток тысячелетней культуры и авангарда...» — и вот теперь, надо же, его мать красивее, чем принцесса Диана. Черт бы тебя побрал!

Зимой у вас — собачий холод, летом — ужасная жара, вы мрачные пессимисты, вы самонадеянны и вместе с тем смешны. Женщины у вас либо накрашены, как проститутки, либо совсем без косметики, мужики воняют луком, водкой, пропотевшими носками, вы носите плохую обувь. Мне надоели ваши чевапчичи и пита, я хочу макарон и пиццы. Ты достал меня, Гойко, над твоими шутками не посмеешься, над твоими стихами не поплачешь.

Я с наслаждением думаю об Андриче: «И если бы одним словом я попытался выразить то, что гонит меня прочь из Боснии, я бы сказал тебе — ненависть».

— Она в больнице, моя мать...

— Да? А что с ней?

— Должна родить. Она там уже неделю, все никак не родит.

— Сколько же лет твоей матери?

— Сорок четыре. Я родился, когда ей было семнадцать... а сейчас она ждет второго ребенка.

— Это хорошо...

— Это жизнь.

Почему же не объявляют рейсы? Информация на табло не меняется.

— Может быть, забастовка?

Гойко разразился хохотом, хлопает себя по голове. Не может поверить, что я сморозила такую глупость.

В аэропорту толкотня, как в метро в час пик, запах сигаретного дыма становится невыносимым. Я встаю, иду в конец зала, хочу посмотреть на взлетную полосу, приземляются ли самолеты. Упираюсь носом в стекло — за окном ничего не видно... все белым-бело, снег идет. Слышу звук гитарных струн, оборачиваюсь. Диего сидит на полу, в уголке между окном и какой-то дверью, прислонился к стене. Бренчит на гитаре, опустив голову.

— Снегопад.

— Да...

— Сильный.

Я чего-то жду, за окном — белый вихрь, непогода, которая может изменить мою судьбу. Теперь я понимаю: мне хочется, чтобы кто-то за меня все решил. Дышу на стекло, рисую волнистую линию-размышление.

— Ты меня обидела.

Что он там бормочет? Почему говорит так, будто мы с ним близки?

— Иди сюда, садись.

Сажусь — нет, не на пол — на скамью рядом с Диего. На пол — это уж слишком. На мне узкая прямая юбка приличной барышни, смилившейся с

ровной, предсказуемой жизнью — без колючек, без боли, без желаний.

— Тебе нравится Брюс Спрингстин?

Начинает петь...

You never smile, girl, you never speak... Must be a lonely life for a working girl... I wanna marry you... I wanna marry you...

— Я влюбился в тебя. — Он улыбается, тербит волосы.

И снова я думаю, что же в нем привлекательного? Он пугает меня, он кажется мне законченным придурком.

— Ты всегда так делаешь?

— Как это — так?

— Убегаешь... все решаешь один.

— Давай решать вместе.

— Но я совсем тебя не знаю.

Он рассказывает мне всю свою жизнь на одном дыхании. Теперь я знаю, что его отец был портовым рабочим и очень рано умер, что его мама — повариха в столовой больницы Галсини, в детстве он всегда разогревал еду в алюминиевых судках, которые приносила мама, что серая многоэтажка, в которой он живет, напоминает здания эпохи соцреализма, хоть и построена христианскими демократами. На первом этаже его дома есть фотостудия, и он бегал туда каждый день, всем надоедая до смерти.

Снег идет и идет, скрипучий голос объявляет, что все текущие рейсы отменены из-за нелетной погоды.

Диего встает, поднимает гитару:

— Чудесно! Билет есть, гостиницу нам оплатят. Попросим комнаты рядом?

— Я буду ждать здесь.

— Аэропорт закрывается, слышала? Останешься здесь одна.

Я думаю о своих чемоданах, о Фабио, который приедет встречать меня, о маме — она приготовила домашнюю лапшу. Мою жизнь заносит метель, накрывает толстым снежным одеялом. Что ж, думаю я, бояться мне нечего, этот дурачок — всего лишь забавное приключение, несостоявшийся ухажер, как и Гойко. Приходится признать: моя поездка увенчалась успехом, я подцепила двух кавалеров — боснийского поэта и фотографа-генуэзца. То-то Фабио повеселится, скажет, что кругом полно безумцев, кстати, я тоже немного сумасшедшая, за это он меня и любит. И посмотрит... он всегда так смотрит, когда готов броситься на меня, радостный, как кобель, который валяется в дерьме на зеленой лужайке. Зачем я так? К чему этот сарказм? Кто он вообще такой, этот парень?

— Я бы тоже остался вместе с тобой. Будем сидеть взаперти, за окном

— снег. Я согласен. — Руки в карманах, подпрыгивает. — Мне повезло.

— Вот как?

— Очень повезло.

— Сколько тебе лет?

— Двадцать четыре. А тебе?

— Двадцать девять.

Смеется. Думал, больше. Он дал бы мне тридцать. Запрокидывает голову, показывая все зубы. Я смотрю на эту улыбку — слишком широкую на таком худом лице.

Ты снова со мной этой ночью в Сараеве, после стольких лет разлуки! Мне уже за пятьдесят, полжизни прошло. Все мои мысли, все мои поступки проступили на коже. Я все так же нравилась бы тебе, Диего? Тебе нравилась бы эта дряблая кожа на шее, на руках? Продолжал бы ты любить меня с тем же плотским чувством, с тем же восторгом? Однажды ты сказал, что будешь любить меня всегда: даже когда я состарюсь, будешь ласкать мое одряхлевшее тело. Ты сказал это так, что я поверила. И не важно, что нам не хватило времени испытать крепость твоего слова. Где-то за пределами этого мира мы состарились вместе, где-то мы по-прежнему обнимаем друг друга и смеемся.

В темном квадрате окна я вижу только глухой проулок. Но как можно забыть остальное? Этот город — большая лепешка, набитая умершими, невинными жертвами, размолотыми кровавой мясорубкой. Твой сын Пьетро спит, Диего.

У телефонных будок была большая очередь. Гойко с криком «срочно!» проталкивается вперед.

Одно ухо прижимает к трубке, а другое заткнул пальцем. Разговаривает очень громко, потом вешает трубку и орет нам:

— Моя мама родила! Девочка, Себина!

Он хлопает нас по плечам и тянет за собой — мы должны бежать в больницу, должны посмотреть на новорожденную. Машина завалена снегом, ничего, расчистим! Это надо отметить! Гойко счастлив, что родилась девочка, обычно у них в семье рождаются одни мальчишки. Как здорово, что она появилась на свет именно сегодня, потому что рожденных в снегопад ожидает долгая и счастливая жизнь. На кого похожа? Он надеется, что вылитая мать, красавица, что научится готовить суп, вкуснее которого нет во всей Боснии. Гойко обнимает нас, целует, он так растроган! И мы тоже растроганы. Три пары глаз, в которых блестят слезы.

В машине мы поем. Сами не знаем, что подхватываем мелодию из радиоприемника. На обочинах сугробы, низкое гипсовое небо. Машины

едут медленно, с зажженными фарами. Впереди снегоуборочный комбайн чистит дорогу... и сегодня кто-то расчищает нам путь!

Кругом белым-бело, снег глубокий. Гойко решил купить вина, мы смотрим, как он бредет, проваливаясь, к неоновой вывеске магазина. Диего поворачивается ко мне:

— Ты рада?

— Да... я никогда не видела такой метели.

Он берет мою руку, вынимает ее из кармана и сжимает в своей:

— Я хочу тебя фотографировать, сегодня весь день буду фотографировать только тебя.

Возвращается Гойко, весь в снегу, как ездовая лайка. Открывает бутылку шампанского:

— Австрийское, страшно дорогое.

Моя жизнь замечена снегом где-то на аллеях старого парка. Белые хлопья кружатся в свете фар. Длинные пальцы Диего переплетаются с моими, сжимают их... разговаривают со мной, клянутся мне. Это просто рука. Рука юноши, которого я почти не знаю, но она вырывает меня из непроницаемой брони моего тела. Мне кажется, что это рука мальчишки, с которым мы расстались давным-давно, который еще в детском саду дружил со мной и хотел всегда быть рядом. Теплый ветер прошлого. Незаметно смахиваю слезу, повисшую на ресницах.

Внутри больницы жарко. Родильный блок пахнет домашним уютом, свежевыстиранным бельем. В большой палате почти все кровати пустые. Мама Гойко сидит, облокотившись на подушки, смотрит в окно, на снегопад. Гойко наклоняется к ней, стискивает в объятиях. Мы стоим поодаль, он знаком зовет нас подойти.

— *Hvala vam*, — говорит Мирна.

— Мама вас благодарит.

Мы спрашиваем за что. Гойко пожимает плечами:

— Что дали мне работу...

Я поражена — его мама не просто похожа на леди Ди, но в самом деле красивее, чем английская принцесса. Горделивая шея, гладкая белая кожа, тонкие черты лица, ярко-синие глаза и копна золотистых волос.

Мы стоим у кровати прекрасной принцессы, матери Гойко. Какой странный день! Жизнь тасует карты, пророчит будущее, как крик петуха предвещает рассвет. Хоть в палате и тепло, у меня по спине пробегает озноб. Наверное, фотограф из Генуи это почувствовал. Он снял свою шапочку, стоит почтительно, как в церкви.

Приносят белоснежный сверток — запеленатую малышку. У нее

сморщенное, слегка квадратное личико и заостренный подбородок. Она не плачет, глазенки открыты, кажется, что все уже знает. Рот у Мирны при виде дочурки открывается — будто ей, а не ребенку нужно молочко. Гойко не может сдержать слез, крупные капли катятся по его щекам. Он берет малышку за руку, смотрит на это чудо:

— Разрешите представиться, барышня, я — ваш брат Гойко... я буду вам вместо отца.

Отец Гойко совсем недавно умер от рака. У матери, к счастью, хорошая работа, она учительница начальных классов. Мирна родом с острова Хвар, хорватка, очень набожная, а Католическая церковь запрещает аборты.

Мирна кричит хриплым голосом, неожиданным у такой красавицы, чтобы Гойко не трогал новорожденную грязными руками. Тот идет к небольшому умывальнику, висящему на стене, возвращается, с рук капает. Берет сестренку, целует ее, обнюхивает. Пристраивается у кровати и, пока мать кормит новорожденную, так и сидит, положив голову на подушку, затаив дыхание, словно собака, которая боится, что ее прогонят.

Диего зарядил фотоаппарат, снимает это рождество. Мирна смущается, прикрывает грудь рукой. На соседней кровати беременная женщина заваривает терпкий малиновый чай, наливает его в эмалированные кружки и предлагает нам. Замечаю, что ноги у Мирны покрыты красными пятнами. Она ловит мой взгляд, смущенно улыбается и объясняет, что во время беременности у нее началась экзема.

Я роюсь в сумке — у меня всегда под рукой есть крем с арникой, я им часто пользуюсь, у меня то и дело трескается кожа на локтях. Предлагаю Мирне крем и свою помощь, ведь у нее на руках ребенок.

Она отказывается, не хочет, чтобы я мазала ей ноги. Я вижу, она наклоняет голову, принюхивается, — может быть, боится, что я почувствую неприятный запах от тапок, стоящих под кроватью. Но я настаиваю, и она уступает. Ее крепкие голени напрягаются, это ноги женщины, которая много работает, много ходит, сухая кожа хорошо впитывает крем. Улыбаюсь, глядя на Мирну снизу вверх, и она улыбается мне. Пытается объяснить, что уже лучше, что крем действительно чудесный. Оставляю ей тюбик, жаль только, что он неполный.

— *Hoćës li je?* — говорит Мирна на своем языке.

— Что она сказала? — спрашиваю у Гойко.

— Не хочешь ли ты взять на руки малышку.

Мирна протягивает мне новорожденную, от нее исходит тепло материнского лона.

Соседка Мирны, приготовившая чай, рассказывает какую-то забавную историю, все смеются и ненадолго забывают обо мне.

Девочка похожа на старушку. Она хранит запах того колодца жизни, откуда пришла в этот мир. Над раковиной умывальника висит зеркало, я подхожу к нему — хочу увидеть себя с малышкой на руках, примериться к роли молодой мамы.

Диего стоит за спиной, фотографирует мое отражение:

— Ты хочешь детей?

— А ты?

— Очень. Только сыновей.

Он серьезный, почти грустный. Знает, что я ему не верю.

А снег все идет, перестал ненадолго и принялся сыпать с новой силой. На рынке Башчаршия торговцы лопатами расчистили мостовую у своих лавок — вдоль дороги тянется белая траншея. Шесть часов вечера, в сумерках снег становится синим, с холмов спускается дым, пахнет дровами, горящими в каминах, муэдзин поднимается на минарет для вечерней молитвы. Мы шагаем в приподнятом настроении.

Гойко уговаривает нас пойти на показ мод к знакомому стилисту. Убогий свет, югославская диско-музыка. Огромное холодное помещение напоминает зал провинциальной дискотеки. По сцене дефилируют модели — пестрые птицы с ястребиными хохолками, в открытых платьях с множеством блестящих пайеток. От холода тело у девушек покрыто гусиной кожей. Зрители — случайная публика, такое впечатление, что с улицы созвали людей, которые шли с работы: плохо одетые, в грязных сапогах, с мокрыми зонтами, брошенными под ноги на пол. Стилист, друг Гойко, — гладко выбритый толстячок в черной майке-сетке с крупными ячейками — кланяется зрителям до самой земли, как Мария Каллас.

На улице мы не можем удержаться от смеха — ни дать ни взять озорные школьники. Я иду по снегу, покачивая бедрами, подражая этим бедным заочневшим моделям. Диего фотографирует, падает к моим ногам, как будто я — звезда подиума, кричит, что тоже хочет майку-паутину. Гойко называет нас *krastavci*, говорит, что мы — два пьяных огурца. Злится на нас за то, что мы «спелись», за то, что вытворяем глупости. У него снова портится настроение. Резкий, ворчливый, он вышагивает впереди в куртке, подбитой кошачьим мехом.

Мы оказываемся в одном из андеграунд-кафе. Если бы не сливовица, можно было бы подумать, что мы в Лондоне: художники с длинными седыми волосами, пожелтевшими от никотина, в сопровождении призрачных девиц: они ходят враскачку, с полуприкрытыми глазами, веки у

них густо подведены черным и похожи на блестящие раковины мидий. Свет то вспыхивает, то гаснет, играет тяжелая музыка белградской рок-группы «Екатарина Велика». Кажется, что толчки идут из недр земли и заставляют содрогаться столы, пепельницы, пустые стаканы. Гойко знакомит нас со своими друзьями: Драгана работает на гостелевидении, умеет подражать разным голосам, ее парень Боян — актер пантомимы, Зоран — адвокат с серьезным и немного рябым лицом и Младен, художник, который учился в Милане в Академии Брера. Захваченный водоворотом друзей, Гойко куда-то исчезает.

Диего встает около меня на колени:

— Что закажешь, крошка?

— Не знаю... что мы закажем?

Я растерялась: не помню, когда в последний раз я бывала в ночных клубах. Здесь все полуголые, все танцуют, а я в шерстяном свитере и узкой юбке чувствую себя не в своей тарелке.

Мне удалось занять место на гладком кожаном диванчике. Диего возвращается с большой порцией мороженого, одной на двоих:

— Больше ничего не было...

Едим с одной ложечки, он кормит меня, смотрит, как я ем. Мороженое в такой холод... оказывается, то, что надо, — оно медленно тает, охлаждая жар тела. А потом вместо ложки к моему рту приближаются губы Диего. Чувствую его дыхание на своих холодных губах. Он медлит, словно ждет моего согласия. Миллиметр за миллиметром, все ближе и ближе... Может быть, он хитрее, чем кажется. Может быть, он из тех парней, кто досконально изучил науку любви. Поцелуй долгий, нежный, наши языки — две улитки, переползающие площадь.

Почему в ту ночь он так безотчетно доверял мне? Наши губы — комочек теста, мягкого и теплого. Пьетро перевернулся на постели, что-то пробормотал во сне и снова крепко заснул — так гигантский скат манта поднимается на поверхность и снова возвращается во мрак глубин. Я уже давно не сплю с ним на одной кровати, я забыла это напряжение, эту нервную дрожь, будто на гитаре неожиданно рвется струна. Он совсем ничего не хочет знать о своем отце. «У Пьетро защитная реакция, — сказал как-то Джулиано, — он подросток, в этом возрасте они боятся страданий».

Я всегда рассказывала о Диего легко и весело, говорила, какой он был смешной, со страусиными ногами, с редкой бородкой, которую отращивал, чтобы выглядеть старше. Рассказывала, как однажды Диего снял лучший фоторепортаж в своей жизни, а потом заметил, что в камере не было пленки. Как у Диего постоянно сваливались брюки, потому что он был

очень худой — «Как ты», — говорю я Пьетро — и забывал надеть ремень — «Такой же, как ты, рассеянный». И каждый раз я, смеясь, глотала слезы.

Джулиано однажды произнес: «Вот что он почувствовал... твою боль». Это правда, я искала в нем его отца, надрывно, день за днем.

Как-то вечером мы сидели на кухне, Пьетро открыл холодильник, пошарил там и с недовольным видом пробурчал:

— Могла бы купить мороженое.

— Сядь на место, мы не закончили ужинать, ведешь себя как избалованный нахал, — сказала я ему.

— Я схожу за мороженым, бар внизу еще работает. — Джулиано накрыл мою руку своей.

Я рассердилась, начала говорить, что нельзя ему потакать, что Пьетро этим пользуется, скоро он будет вытирать о него ноги. Джулиано встал и вышел, мы остались одни. Пьетро постоял перед фотографией Диего, которая висела на дверце холодильника.

— Какого черта, я ни капельки на него не похож! — обернулся он ко мне. Он смотрел на меня глазами чужого взрослого мужчины. — Я вообще ни на кого не похож.

Так вот, в тот вечер мы только и делали, что целовались. В какой-то норе, наполненной голосами и табачным дымом, на кожаном диванчике, среди разноцветных мерцающих огней, Диего склонился ко мне, я чувствую его запах, его дыхание, растворяюсь в его нежности. Он как удав, который не спеша, с наслаждением заглатывает добычу.

Хочу дать волю эмоциям, хочу танцевать. Извиваюсь, как водоросли, вытягиваю руки, покачиваю бедрами. Плевать, что у меня узкая юбка и что я не умею танцевать. Вспоминаю, как мы веселились в лицее — выключали свет и хохотали, обнимая швабры вместо партнеров. Диего смотрит на меня, подперев рукой щеку, я чувствую в темноте этот взгляд. Уже готов список приглашенных на свадьбу. Мы с Фабио полдня выбирали подарки, продавщица не успевала выписывать чеки. Я думаю о той хрустальной солонке с серебряной крышкой: «Можно подобрать к ней такую же перечницу». Зачем мне эта солонка? Что я буду солить? Салат? Или придется сыпать соль под кровать, чтобы отогнать призрак этого идиота, который смотрит на меня так, как будто я — Мелани Гриффит.

Не важно, ничего уже не поделаешь. Говорю, что уже поздно, пора идти. Наматываю шарф, Диего внимательно смотрит на меня, а я не хочу на него смотреть, смотрю под ноги, на дорогу.

Наша гостиница расположена на окраине, последний трамвай давно ушел. Так что Гойко приглашает нас к себе, место есть, пока мама в

больнице. Обычный многоквартирный дом, двор похож на тюремный. Но в квартире очень мило. Зажигается свет, мы видим уютную комнату: пианино, ковер, книжные полки, белые аккуратные занавески. Гойко уступает свою комнату Диего:

— Простыни чистые, я здесь мало спал...

Мне отведена мамина комната. Гойко показывает, как включить ночник на тумбочке, освобождает для меня стул. У кровати стоит колыбелька из ивовых прутьев.

— Это моя, теперь в ней будет спать Себина, мама поменяла матрас и вышила новую простынку.

Я зачарованно смотрю на вышивку, на кружевной край белоснежного белья.

Мы сидим в гостиной, болтаем. Гойко угощает нас остатками грушевой ракии маминого приготовления. Рядом с семейными фотографиями на стене висит в рамке фотография Тито, как будто маршал тоже член семьи.

Гойко начинает рассказывать об отце, как тот спасся на Неретве, когда маршал приказал взорвать мост, чтобы обмануть немцев.

Я встаю:

— Спокойной ночи!

Диего тоже встает, идет за мной:

— Когда наш партизан уснет, можно, я приду к тебе?

У него умоляющее лицо ребенка, который выпрашивает игрушку. Я, как строгая мать, отрицательно качаю головой.

Слышу, как они разговаривают, но недолго, потом начинает бормотать телевизор. Слышу, как Диего говорит: «Я пошел спать, все равно ни хрена не понимаю», а Гойко повторяет: «Это точно, ни хрена ты не понимаешь...»

Я хочу немного почитать перед сном. Но кажется, «Барышня» Андрича сегодня так и останется в отеле «Европа»... слова повисают, бесполезные, как бельевые прищепки на пустой веревке. Скромная постель, тюлевые занавески, бежевый коврик — аккуратно прибранная комната обычной скромной женщины. Я встаю, заглядываю в шкаф: платье в цветочек, женский костюм, два мужских пиджака, внизу стопками лежат простыни, полотенца. На створке — металлический держатель: два галстука и тонкий лакированный пояс красного цвета. Иду в ванную, умываюсь, мою подмышки.

Зубная паста растворяет вкус поцелуев. Гойко спит на диване, руки раскинуты, пальцы пухлые, как у ребенка. Над диваном повис стойкий

запах выкуренных сигарет и грязных носков.

Слышу голос Диего:

— Эй, привет!

Стоит в дверях, улыбается. На нем какая-то желтая махровая пижама.

— Нашел у Гойко под подушкой...

— Спокойной ночи... — Я улыбаюсь.

— Ты что, хочешь спать? — спрашивает он.

— Да.

— Ни за что не поверю, обманщица!

В этом доме, в чужой обстановке мы чувствуем себя неуверенно. Спящий Гойко смущает нас сильнее, чем бодрствующий.

Диего, в утиной пижаме, с вьющимися, как у ангела, волосами, забавно кривит рот:

— Я крепко закрою дверь... и ты не услышишь, как я рыдаю.

Посылаю его ко всем чертям, мне совсем не смешно.

А потом происходит нечто. Гойко выпускает ветры, издавая долгий и протяжный звук, так что получается целая маленькая симфония. Диего делает серьезное лицо, утвердительно кивает:

— Прекрасные стихи, Гойко, поздравляю!

Я прикрываю рот рукой, корчусь от смеха.

Диего тоже смеется. Поворачиваюсь, направляюсь в комнату, где буду спать или проведу бессонную ночь. Резким движением он отрывает меня от пола, как грузчик свернутый ковер, будто всю жизнь этим занимался.

Мы падаем на кровать, рядом с пустой колыбелькой. Диего мгновенно снимает пижаму Гойко, остается в трусах, в красных нелепых трусах, которые в Италии дарят обычно на Новый год. Мне смешно, а он серьезен. У него тонкие ноги и по-детски хрупкий торс.

— Я ужасен?

— Нет, не это...

Анатомия наших тел: моя обмякшая рука свисает с постели; его ухо — темный колодец; совмещение грудных клеток. Перед тем как войти в меня, он останавливается и, как ребенок, спрашивает разрешения:

— Можно?

Корень прорастает в землю. Диего смотрит на меня, смотрит на это чудо — мы слились в одно целое. Он бережно держит мою голову, будто это корона, гладит волосы:

— Теперь ты моя.

И снова эта постель, рядом — пустая колыбелька, где когда-то спал Гойко и где теперь будет спать его сестра.

Голова Диего на моем плече. Мне спокойно и радостно, этот мальчик все-таки сумел подобраться ко мне, будто только и ждал подходящего момента.

Снегопад давно закончился. С улицы доносятся пьяные голоса, английская речь. Мы выглядываем в окно посмотреть, кто это. Диего прижимает меня к себе, я закрываюсь занавеской. Высоченные парни — спортсмены играют в снежки под окном, потом уходят.

Возвращаемся в постель. Эта ночь утекает капля за каплей. Диего трогает мой сосок, маленький и темный, как гвоздик. Как ни странно, никаких угрызений совести. Ни страх, ни смущение, ни сожаление не тревожат меня. Раскаяние — бессильный старик, ему не взобраться на эту ограду.

Диего берет гитару, подогнул ногу, тихо наигрывает что-то.

— Что ты играешь?

— *I Wanna Marry You*. Наша песня.

Мы, как в бездонный колодец, проваливаемся в глубокий сон. Проснувшись, я ощущаю близость его тела. Он уткнул нос в мои волосы, как будто хочет навсегда запомнить мой запах. За окном бледный зимний рассвет. Еще есть время сжать друг друга в объятиях, слиться в одно целое.

Впервые за эту ночь я чувствую себя усталой. Диего смотрит, как я наклоняюсь, надеваю трусики, ищу свою одежду.

— Я буду скучать по тебе всю жизнь.

Гойко уже приготовил кофе, спустился вниз купить хлеб и молоко. Он заходил в свою комнату и, конечно же, видел несмятую постель. Мы сидим на кухне со шкафчиками цвета голубинового крыла и абажуром, похожим на перевернутый гриб. Гойко смотрит, как мы завтракаем, играет крошками на столе, уставился на мои руки, обхватившие чашку. Не дергает нас, не лезет со своими шутками. А мы — не грустные и не веселые, мы — потерянные.

Беру сумку, открываю кошелек — хочу заплатить Гойко за гостеприимство, за еду, за постель, отдать ему все оставшиеся у меня динары. Он, как всегда, на мели, но решительным жестом отводит мою руку.

Говорю ему, что он должен приехать в Рим, ко мне в гости.

Он смотрит на нас, шумно втягивает носом воздух, пропитанный страданиями:

— Зачем вы уезжаете?

Иду чистить зубы, не могу сдержать слез. Рот, наполненный белой пеной, беспомощно кривится. Стираю остатки макияжа. Возвращаюсь на кухню. Диего играет в йо-йо. Гойко поворачивается, наклоняется над

маленькой мойкой, куда поставил грязные чашки. Из-за спины доносится его бормотание:

— Воблы вы вяленые, вот вы кто...

Спустя двадцать четыре года я завтракаю в Сараеве с сыном. В большом зале слишком низкие потолки, дневной свет сюда не проникает, только искусственное неоновое освещение — ресторан в полуподвале гостиницы. Столики вокруг нас не убраны, за некоторыми сидят люди, которые и вчера вечером торчали в холле, многие курят. Пьетро жалуется на табачный дым и запахи из кухни.

— Здесь нет нормальной еды?

— Что значит — нормальной?

— Например, круассанов, мама.

Встаю, иду за маслом для Пьетро. Изучаю содержимое металлических лотков, жалких, как в студенческой столовой. Беру себе йогурт и кусок вишневого пирога. Как ни странно, я хочу есть. Намазываю Пьетро масло на хлеб, говорю ему, что здешний мед очень вкусный. Из кухни к нам идет девушка в белой блузке, черной юбке и коротком переднике официантки. Пьетро изучающе смотрит на нее. Она очень молоденькая, совсем девочка. Правильный овал лица, светлая прозрачная кожа, большие желтоватые глаза. Спрашивает, что мы будем пить. Я заказываю чай, Пьетро — капучино. Девушка приносит мне чай, ставит перед Пьетро большую чашку темного молока, улыбается. Лоб у девушки покрыт небольшими прыщиками. Пьетро смотрит на это пойло без малейшего намека на взбитую пену, пытается что-то сказать, но не знает, как по-английски будет «пена», поэтому останавливается на полуслове. Девушка улыбается ему. Одна секунда, может, поднос был мокрый... и чайник, соскальзывая, падает на пол. Не разбивается, нет, он металлический, но горячий поток льется на светлые джинсы моего сына.

Пьетро вскакивает как сумасшедший, ему больно, он прыгает, оттягивает мокрую горячую ткань. Девушка застыла от ужаса, с трудом подбирает английские слова. Говорит она с легким акцентом, извиняется, бормочет, что работает здесь недавно. Пьетро расстегивает джинсы, спускает их до щиколоток, стоит в трусах и дует себе на ляжку. Шипит на итальянском: «Дура, растяпа», но — вот ведь лицемер! — на английском произносит: «Don't worry... it's ok».^[3]

Девушка продолжает извиняться, нагибается, чтобы поднять чайник. Из кухни тем временем выходит крепкая тетя в фартуке. Короткие кудряшки у нее на голове подпрыгивают от гнева. Она что-то выговаривает девушке, ни одного слова не понятно, но ясно, что ругается. Щеки у

девушки горят огнем. Пьетро уже натянул джинсы, трогает расходившуюся фурию за плечо и говорит: «It's my fault... the girl is very good, very much good...» И добавляет, непонятно к чему: «Indeed».^[4]

Женщина уходит, Пьетро садится за стол.

— Very much good — так не говорят.

Он возмущается, что я вечно недовольна, всегда, даже тогда, когда он поступает правильно.

Я улыбаюсь — мне нечего ему возразить.

Смотрю, как он ест, его белые, немного кривые зубы вгрызаются в хлебную мякоть. Смотрю на официантку, которая улыбается и благодарит Пьетро легким поклоном.

Прощаемся в аэропорту. Стоим, обнявшись, у стены. Диего просунул руки мне под пальто, ищет тепло моего тела. Я не возражаю. Все пассажиры уже прошли, мы стоим в пустом зале. А потом я поворачиваюсь и ухожу. Вижу, как он стучит но стеклу, будто птица клювом. Я плакала, и теперь он кричит мне: «Улыбайся, постарайся быть счастливой, даже без меня».

Я окунулась в привычную жизнь

Я окунулась в привычную жизнь, как пловец ныряет с головой в реку, и, когда в Обществе слепых собирали старую одежду, отнесла туда длинную ветровку, которую носила в Сараеве. Вместо нее надела модельное пальто, пригнанное по фигуре. Голоса студентов в университетских коридорах отдавались эхом беззаботной жизни, так непохожей на мою. Фабио ни о чем меня не спрашивал, достаточно было сказать, что я устала, что у меня плохое настроение. Удивительно, но он сам находил причины для моей хандры. Объяснял ее тем, что я много работаю, слишком требовательно к себе отношусь. Мы не занимались любовью, на это не оставалось времени — перед свадьбой нужно было объехать всех родственников, раздать приглашения. Он вел машину, а я смотрела на его лицо, ловила озабоченный взгляд. Наши отношения развивались ровно и спокойно. Красивая, незатейливая история. Проектное бюро, в котором работал Фабио, принадлежало его отцу, и отец постепенно передавал сыну все дела. Они вечно с кем-то конкурировали, боролись за государственные подряды, стремились получить заказы на многофункциональные комплексы, зоны зеленых насаждений, социальные центры. В этом бюро, среди кульманов с шуршащей калькой, мы с Фабио впервые занялись любовью. Я была девственницей, он нес сущий вздор про то, что уже приобрел кое-какой опыт. Верилось с трудом. Сейчас я почти и не вспоминала о том пустом бюро, том приюте, где мы регулярно встречались субботними вечерами. Фабио на правах хозяина первым принимал душ. В ванной комнате в смывном бачке унитаза всегда плавала таблетка ароматизирующего очистителя, она окрашивала воду в небесно-голубой цвет. «Ванная свободна, — говорил он и смотрел, как я иду, голая, — у тебя длинные ноги». Или: «У тебя точеная грудь...» — профессиональный взгляд проектировщика.

Итак, я смотрела на Фабио — его взгляд сосредоточен на дороге, а мысли где-то далеко, на стройплощадке, заняты проблемой прокладки канализации. Мне нравился запах его машины, нравилось шоколадное печенье, которое он покупал, — мы ели его после секса. Я никогда не спрашивала себя, почему нам необходимо подсластить рот, почему он так спешит помыться, смыть со своего члена влагу моего тела. Куда лучше мы чувствовали себя одетыми. Фабио водил меня в дорогие рестораны, помогал снять пальто, выбирал вина. Ему тридцать четыре — взрослый,

серьезный мужчина. Мне — почти тридцать, я одевалась как зрелая женщина — по его вкусу. Этот союз предвещал спокойную размеренную жизнь, мы никогда бы не остались без гроша в кармане.

По вечерам мы ходили к священнику. Подготовка к вступлению в брак. Мы оба не были глубоко верующими, но нам нравились эти встречи: особый запах ризницы, дверка, в которую мы стучали, звук шагов священника, его густой голос: «Проходите, ребята, проходите». Священник — крепкий парень, кровь с молоком, затянутый в слишком тесную рясу — еще изучал богословие в Католическом университете. Он говорил с нами как друг, просвещал относительно таинства, которое нас ожидало, — перед тем как задать какой-нибудь нескромный вопрос, всегда извинялся. Там я ощущала себя в безопасности. Чистая скромная комната напоминала мне квартиру Гойко в Сараеве. Я не чувствовала за собой вины. В этом смысле я не имела никаких обязательств в отношении своего будущего мужа. Нож вонзился в мою плоть, но боли не было. Я не испытывала ни малейшего желания поплакать на плече нашего друга-священника. То, что случилось в Сараеве, я запрятала глубоко, это никого, кроме меня, не касалось.

Скучала ли я по Диего? Да, но не собиралась менять свою жизнь. Я сказала ему об этом в одном из долгих ночных телефонных разговоров. Его голос — сплошные рыдания и невозможные просьбы: ему плохо, он постоянно думает обо мне, он не ест, не может фотографировать, не хочет ехать в Бразилию. Умирает. Говорит мне о той сараевской ночи, о нашем «грехопадении».

Я не верю этому голосу, надо остановиться. Мимолетное увлечение, роман без будущего. Он говорит, что его любовь будет длиться вечно. Да, он ненормальный, но я не дала ему времени за меня побороться. Он не мылся несколько дней, чтобы сохранить запах моей кожи. Пытается засмеяться, но смех получается слабый. Спрашивает, все так же ли я пахну. Слезы текут, не могу говорить.

— Замолчи.

— Я жду, — говорит он. — Я здесь.

Он с ума сошел, этот мальчишка.

Ничего не спрашивает меня ни о Фабио, ни о свадьбе. Спрашивает о моих ногах, бедрах, о впадинке за ушами. Он проявил фотопленки из Сараева, те, что со снегом и со спортсменами, которые отдыхают на базе в Моймило, и еще самые последние, со мной. Смеется, говорит, мама спрашивает, кто эта девушка на фоне снега, фотография которой висит у него в комнате, — она там как живая, как будто движется. Шепотом рассказывает, что одну фотографию, самую интимную, он прячет... я стою

у окна, голая.

— Когда ты успел ее сделать?

— Ты не заметила.

Он достает ее ночью, смотрит, когда звонит мне по телефону; когда остается один, кладет себе на живот, спит с ней. Может, еще что-то делает... он дал мне это понять.

Представляю его комнату... все, как он описывал: флаг генуэзской футбольной команды, фотографии детей из индейских резерваций, его друзей — футбольных фанатов ультрас, спартанскую кровать, которую он собственноручно сколотил из деревянных досок. И его — худого, голого. Сидит на кровати, слушает музыку. Ту самую, нашу музыку: подносит трубку к колонкам проигрывателя, просит меня помолчать, послушать вместе.

...To say I'll make your dreams come true would be wrong... But maybe, darlin', I could help them along.

Закрывает глаза, ищет меня.

Когда я видела Фабио, все возвращалось на свои места. Если бы я действительно чувствовала себя несчастной, я бы с ним рассталась, я нашла бы в себе силы сделать это. Но он меня успокаивал — успокаивало ощущение благополучия, которое исходило от него и передавалось мне. Я привыкла к тому, что он — мой парень. Зимние вечера, аромат чая... книги, раскрытые на столике в маленьком кафе, где мы любили готовиться к занятиям, поедая пирожные. Мы вместе росли, вместе закончили университет. Он ходил со мной по магазинам, сидел и терпеливо ждал, давал советы. Я выбирала дорогие вещи, сумки, чулки... все те защитные покровы, которые отстраняли меня от моей наготы, от всего того уязвимого, инфантильного, что представляло собой мое тело. Я не хотела страдать. В детстве мне нравилось воображать себя каким-нибудь несчастным, обездоленным литературным персонажем, но я вовсе не собиралась жить иллюзиями и лить слезы. В этой жизни есть всё, значит, нужно взять как можно больше. И эти любовные истории с их болезненной тоской — тоже часть нашего мира потребления. Глупо верить в бескорыстие, в искренние, светлые чувства. И я успокаивалась, убаюканная благополучием, занятая повседневными заботами.

Та ночь в Сараеве была прощанием с другой женщиной, с наивной идеалисткой, которую я победила и которая больше не живет во мне.

Прошло всего лишь две недели, а казалось — годы, казалось, все случилось только вчера. Мама, наверное, что-то заметила, не могла не заметить — по ночам телефон был занят часами. Но она молчала. Часто

близкие не хотят знать, что с тобой происходит, принимают твою ложь за чистую монету. Моя мама делала так, как поступала всегда, — полагалась на меня. Это у нее я научилась бояться страданий, а еще тому, что для нормальной жизни совсем не обязательно знать правду любой ценой. Можно отступить, отвернуться в другую сторону — смотреть на цветочный горшок, на проезжающую машину. Принести честность в жертву приличиям и спокойно жить дальше. Классический вариант преданной жены-чудовища. Я понимаю, что это звучит мерзко, но как знать. Если бы мой отец был, к примеру, педофилом, она просто-напросто посмотрела бы на свои руки, сняла обручальное кольцо... но потом бы решила: нет, рука без кольца — это нехорошо, — и надела бы его снова с горькой усмешкой, уверенная, что справилась с ситуацией и на этот раз. Но жизнь не дала Аннамарии возможность проверить, до какого предела она могла бы пойти, боясь всего. Мой отец, к счастью, не насиловал девочек. Скромный, честный человек, слишком замкнутый, слишком непонятный. Ему не было места в моей бурной тридцатилетней жизни. Поэтому меня так поразили его слова, прозвучавшие как гром среди ясного неба. После ужина он остановился в коридоре, в руках, как обычно, — книга. С обычным выражением лица:

— Ты хорошо подумала о том, что делаешь?

Я оборачиваюсь — мы с Фабио должны ехать к священнику на последнюю встречу. Фабио ждет в машине.

— О чем ты, папа?

Он показывает на стол в гостиной, там горой возвышаются свадебные подарки: коробки с посудой, столовые приборы, хрустальные графины, серебряные подносы, прочая утварь для дома, для проклятой свадьбы...

— Не переживай, все эти кастрюльки можно отправить назад... еще есть время.

Папа преподает в техническом лицее, его руки пахнут стружкой и клеем, а по вечерам он читает Гомера и Йейтса. Он покраснел и смутился. Он считал, что должен поговорить со мной. Может быть, он это обдумал, а может, и нет. Просто чувствовал, что скоро мы расстанемся, что другого времени спросить не будет, и вот голос прорвался сам, откуда-то изнутри, и так странно прозвучал в этом полутемном коридоре. Мама сидит в своей комнате перед экраном телевизора, тихая, неприметная. Я — такая же, как она, ее копия, только более выразительная, более лицемерная. Я так умею врать, что мою ложь не отличишь от правды.

— Ну что ты, папа! Я всегда об этом мечтала.

— А тот, другой?

На мгновение я вспоминаю Диего и думаю, что он был бы признателен этому честному человеку, который не стал юлить и сказал правду.

Я даже не краснею, рот расплывается в кривой улыбке. Я сама отрекаюсь от Диего, не оставляю ему шанса:

— Другого нет, папа, ты ошибаешься.

Он не спорит.

— Ну хорошо, будем громоздить кастрюльки! — ворчит он с улыбкой.

Обычно застенчивый, он рискнул. Бросил мне спасательный круг, а я за него не ухватилась.

Он уходит, опустив плечи. Он верит мне, потому что я — его дочь. Верит, пусть даже не до конца. Он не будет выведывать мои секреты, как никогда не пытался выведать их у мамы. Женщины для него — существа другой породы, пусть, кто может, разбирается в них. Он уважает силу мысли, вот почему всегда целует меня в лоб. Остальное его не касается, — возможно, он о чем-то догадывается и потому боится за меня.

На следующий день я все понимаю. Понимаю, потому что знаю, и, уже зная, иду за подтверждением в аптеку. На ватных ногах... Покупаю тест. Не помню, как правильно его назвать, не могу вспомнить, говорю: «...Эту штуку, насчет беременности». Продавщица заворачивает коробочку в бумагу, заклеивает скотчем. Кажется, проходит целая вечность.

Захожу в первую попавшуюся забегаловку. Время обеда, много молодежи, все толкаются, идут с подносами по лестнице. Тошнотворный запах еды. В туалете очередь. Девушки подкрашиваются перед зеркалом, болтают о своем. Я чувствую себя в этой очереди очень одиноко, ощущаю, как набухла грудь. В кабинке запах теплой мочи, звуки сливаемой воды.

Читаю листок с инструкцией, полностью опускаю тест-полоску, закрываю крышку. Жду.

Так я и узнала об этом: спина прижата к грязной двери, исписанной скабрзностями и признаниями в любви, одна нога — на унитазе, глаза впились в тест. Голубая полоска проявилась сначала слабо, потом сильнее, рядом другая. Я положила тест в карман пальто. По дороге остановилась у Алтаря Мира, чтобы убедиться еще раз. Полоски были на месте, синие, как море.

Диего позвонил. Тихий ночной звонок раздался как раз в тот момент, когда я хотела набрать его номер. Мы немного поболтали, в Генуе шел дождь. Шум дождя был слышен в паузах между словами. Я сказала Диего, что скоро выхожу замуж, что он не должен мне звонить. Он ответил, что знает, что поэтому и старается использовать эти последние дни. Потом я спросила у него, правда ли...

— Что?

— То, что тебе ехать до Рима несколько часов.

Он не дал мне договорить. Думаю, он орал, прыгал... непонятно, что там происходило.

Он побежит на вокзал, сядет в первый ночной поезд. У него есть для меня подарок. «Какой подарок? Увидишь». Он сказал, что хотел бы раздеть меня и вылизать всю, с головы до ног. Лизать, пока язык не отвалится.

Но все пошло наперекосяк. Выкидыш случился той же ночью. Я практически ничего не почувствовала. Спала как обычно. Утром заметила кровь. Помылась, постояла перед зеркалом. Даже тем утром я не была готова страдать. Я быстро собралась, поехала в больницу, хоть в этом и не было необходимости. Гинеколог, пожилая женщина, осмотрела меня и сказала, что все в порядке, ничего делать не нужно, — очень часто такая беременность проходит незаметно, тело само избавляется от плода. «Это было пустое плодное яйцо, — сказала она, — эмбрион в нем отсутствует». Я поблагодарила ее, встряхнула протянутую мне руку, наверное сильнее, чем следует. Хотела спросить еще что-то, но не знала, что именно.

Мопед остановился на светофоре, я закрыла глаза. Мне вспомнились яйца, которые мама раскрашивала на Пасху, шприцем вынимала из них содержимое, чтобы потом не было неприятного запаха.

Скоро должен приехать Диего. Я зашла перекусить в бар. Взяла круассан — большой, как ухо великана, с повидлом, похожим на ушную серу. Я себя чувствовала хорошо, осмотр гинеколога и ее спокойный голос восстановили мое душевное равновесие. Я даже подумала, что так будет лучше. Хорошо, что семя этого мальчика не осталось во мне. И вся история, случившаяся в Сараеве, стала казаться неправдоподобной, бутафорской, будто спектакль, разыгранный в театре марионеток.

Я увидела его в прибывающем поезде. Голова торчит из окна, длинные волосы развеваются на ветру рваным флагом. Он стоял у самого выхода, готовый немедленно катапультироваться. Искал меня взглядом, как солдат, который возвращается с фронта. Спрыгнул с подножки на своих длинных ногах. Как он был одет? Какая-то странная, похожая на летную, куртка и красные брюки-дудочки, отчего его ноги выглядели еще тоньше. Малолетка, шестнадцатилетний подросток. Один из тех, кто ходит на футбольные матчи или на демонстрации. Я разглядывала его, спрятавшись за большой квадратной колонной на соседней платформе. Хотела прыгнуть ему на шею как девчонка. Но стояла как гипсовая статуя. Бывает, что в тридцать лет мы ведем себя так, будто нам пятьдесят.

Этот дурачок оглядывался, раскрыв клюв. Перрон опустел, а он все

ходил взад и вперед. Зачем я здесь стою? Надо бы поскорее уйти. Интересно, у него все тот же запах? Или воняет поездом? Я осталась, чтобы понаблюдать за ним. Какая-то невеселая игра, как в арт-хаусных фильмах: вокзалы, поезда, взгляды... Герои проходят мимо и не встречаются, а все потому, что проклятый режиссер с самого начала так задумал, обманул наши ожидания, — никаких тебе поцелуев и голливудских хеппи-эндов.

«Надо идти», — говорю я себе. Но не уйду. Присела на мраморную скамью у подножия колонны. Диего продолжает ходить взад и вперед, без конца оборачиваясь, будто я могу неожиданно оказаться за его спиной. Разглядывает людей, снующих по залу ожидания вдали, но с платформы не уходит. Я понимаю, о чем он думает, и, кажется, знаю, что он сделает. У него кожаная сумка через плечо, в руках какой-то стул. Стульчик из зеленой пластмассы. Зачем он ему? Время от времени Диего подпрыгивает, чтобы взбодриться, размять ноги. Перрон вновь заполнился людьми — пришел другой поезд.

Вижу, как он подошел к вагону: уезжает. Но он всего-навсего помог какой-то женщине поднести вещи. Толстуха в белом. Должно быть, американка — они всегда путешествуют с горой чемоданов и ждут, что какой-нибудь хорошо воспитанный парень поднесет вещи. Диего что-то объясняет ей, показывая на карте.

Перрон вновь опустел. Небо потемнело, может быть, дождь из Генуи всю ночь шел по пятам за этим генуэзцем. Диего лег на мраморную скамью, рюкзак под голову, сверху на себя поставил стул. Поднял его, посмотрел, вернул на место.

Подхожу к нему:

— Эй...

Он резко поднимается, как гимнаст. Ни одного упрека в мой адрес. Берет меня за руку, убирает с моей щеки прядь волос:

— Какая ты красивая... я знал, что ты красивая, но не такая... Что ты ела? Яблоки из райского сада?

Где он берет эти выражения? Вот, запрыгал вокруг меня:

— А я как выгляжу?

В этих обтягивающих штанах тореадора...

— Хорошо.

— Я немного похудел.

Протягивает мне стул:

— Держи.

— Что это?

— Подарок. Нравится?

— Да...

— Это мой детский стульчик. Единственное, что я не смог сломать. Из очень прочной пластмассы, потому и уцелел. Хотел подарить тебе. — Садится на стул прямо посреди платформы. — Помещаюсь, видишь? Задница у меня как в детстве.

Подходит ко мне, хочет заглянуть в глаза... тянет губы, чтобы поцеловать, но я немного отстраняюсь, подставляя ему щеку. Он берет меня за подбородок:

— Привет, как дела?

— Нормально, хорошо.

Он слишком близко, я чувствую его дыхание, его открытую, беззащитную любовь. Мы стоим на улице, рядом — суетливый вокзал Термини.

— Пошли.

Я иду впереди, даже не взяв его за руку.

Он несет стул. Что за глупость, таскать за собой детский стульчик!

Я оставила мопед на улице Марсала. Перед нами вывеска одной из дешевых гостиниц, каких много у вокзала. Диего тянет меня за руку, говорит, хорошо бы снять номер. Я говорю, что там убого и мрачно, там селятся нищие иностранцы и подозрительные парочки.

Он отвечает, что обожает заниматься любовью в захудалых гостиницах.

— Я не могу.

— Ничего себе! Наконец-то ты позвала меня, не прошло и года, и?... —

Он делает обиженное лицо. — Что за проблемы? Мне все равно, у меня красные брюки.

В гневе залепляю ему пощечину.

— С ума сошла? — смеется.

Вскакиваю на мопед, убираю подножку, он пристраивается сзади, согнув длинные ноги с костлявыми коленками. Крепко держит меня за талию, щекочет. Кричу ему, что так мы свалимся или попадем в аварию. Он отвечает, что вряд ли, я ведь еле-еле еду и постоянно торможу. Когда мы стоим на светофоре, он целует мне шею, уши. Со стороны можно подумать, что мы беззаботные студенты.

Потом мы сидим в кафе, я рассказываю ему про тест на беременность, про ту забегаловку, про все остальное. Я совершенно спокойна, глаза спрятаны за стеклами темных очков, наблюдаю за посетителями бара. Диего ничего не говорит, он взял себе пива, но не пьет.

— Тебе жаль?

Кивает, улыбается, но улыбка кривая, губы грустно изогнуты, как ржавый рыболовный крючок. Молча, залпом выпивает пиво.

— А тебе?

Пожимаю плечами. Я не успела испытать сожаления, все случилось так быстро. Гинеколог сказала, что яйцеклетка была неправильная — пустая, слепая — не помню.

Он рассказывает, что его бабушка была слепой.

— Она была старше деда на двенадцать лет. Он видел, как она ездит на велосипеде. Однажды она свалилась прямо в море, дед выловил ее и велосипед. Они прожили вместе всю жизнь. Дедушка умер, бабушка еще жива. Живет одна, не хочет, чтобы ей помогали, сама готовит, сама все делает по дому. Когда я приезжаю к ней в гости, она готовит спагетти с соусом песто, ставит на огонь кастрюлю так ловко, как и не всякий зрячий сможет.

— При чем здесь твоя бабушка?

— Ни при чем... просто я хотел сказать, что любовь, которая кажется нелепой, иногда оказывается самой крепкой... что я всего на пять лет моложе тебя, что я такой же надежный, как и мой дед... что я умру раньше, потому что женщины дольше живут... Я хотел сказать, чтобы ты не выходила замуж, крошка. Чтобы ты выбрала меня. Я — твоя пустая яйцеклетка.

Глаза у него небесно-синие, кладет руку на затылок — жест беспомощности, уязвимости, будто непосильная ноша навалилась ему на плечи... жест, который я заметила во время нашей первой встречи, когда Диего обернулся там, в баре, положил руку на затылок и застыл неподвижно. Однажды я пойму, как мучительно остро не хватает мне этого жеста...

Говорю ему, что мы больше не увидимся, скоро моя свадьба, не нужно мне звонить.

Он спросил, можно ли меня сфотографировать. Я остановилась на лестнице Сан-Криспино, разрешила сделать несколько снимков, рядом со мной пристроились два голубя, я прогнала их, взмахнув рукой. Мы немного побродили по городу, съели пиццу, поглазели на витрину, где были выставлены фотообъективы, я встретила подругу, кивнула ей на ходу. Вечерело. Ненадолго брусчатка римских площадей озарилась мертвенно-голубым цветом, и вскоре ночная темнота расплзлась по улочкам, как дым. Я проводила Диего на вокзал. Мопед вел он, гнал как сумасшедший. Сказал, что всегда так ездит, обычное дело. Мопеды он знает — у него

были всякие и разные. Подростком руки не мог отмыть от масла, карманы вечно набиты железками. А сейчас у него — классный мотоцикл, в следующий раз на нем приедет.

Следующего раза не будет. Мы идем по перрону. Он хочет поцеловать меня, я не возражаю. Станный какой-то поцелуй, с привкусом вагонной тоски, одиночества. Я представляю его там, в этом вагоне, в красных штанах, с худыми коленками, в шарфике генуэзского футбольного фаната... вот он клонит голову на оконное стекло, вот идет в туалет, возвращается на место. Вот он берет рюкзак, выходит на вокзале Бриньоле, утренняя дымка, он шагает по направлению к узким портовым улочкам, к своей маленькой фотолаборатории. Вот он проявляет фотографии, на них — голуби, взмах прогоняющей их руки, моей руки. Будто я его прогоняю.

Все, хватит. Жизнь не ждет. Вот, последнее. Прежде чем дверь вагона закроется, я, вскочив на подножку, успеваю крикнуть:

— Будь осторожен, не делай глупостей.

Он похож на мальчишку, который уезжает в летний лагерь.

Я выхожу замуж. Иду к алтарю. Фабио повернулся и смотрит на меня. На нем серый фрак из шанжана, накрахмаленная манишка. Издалека в церковном полумраке он кажется крупным сизарем. Алтарь, знакомый священник, красная дорожка, свадебное убранство — белые розы и каллы. Папина рука, согнутая, напряженная. Как деревянная рука куклы-марионетки. Папа не привык быть в центре внимания. Он идет медленно, не знает, здороваться ли ему с гостями или смотреть вперед, поэтому делает нечто среднее — приветствует взглядом. Чувствую, как он дрожит от волнения. Когда спустя двадцать лет по этому проходу понесут его гроб, ему будет хорошо и покойно, а я с тоской буду вспоминать нелепый день моей свадьбы, его застывшую руку, которая поддерживала меня, как хрустальный сосуд. Все происходило будто в густом тумане. Если бы я тогда сказала ему: «Уйдем отсюда», если бы я шепнула это ему на ухо, он не заставил бы себя уговаривать. Его рука снова стала бы мягкой, из плоти и крови, я сбросила бы туфли на каблуках, и мы выбежали бы на улицу, держась за руки. А эти чопорные болваны остались бы сидеть разинув рты. Моему отцу нравился один маленький ресторанчик на Сан-Джованни. Мы пошли бы туда, заказали бы спагетти с острым сыром, красное вино. Он бы остался доволен. Пир на весь мир! Я — в подвенечном платье, подоткнутом со всех сторон, на соломенном стуле. И папа — глаза блестят, шальные, как у меня. Зачем я об этом? Ничего такого не было. Мама немного подвинулась, папа сел на скамью, откашлялся. Моя мать: напряженное лицо, слишком узкие туфли. Моя свекровь: как и сын, похожа на птицу —

чайка в шелковом оперении, серая головка, веснушки, рассеянный вид. Мой свекор, инженер: крепкий, седовласый, суперэлегантный, со скучающим взглядом.

Так я стала женой своему мужу. Мы произнесли клятву верности. Обменялись кольцами, не уронив их. Нас осыпали градом рисовых зерен. Плохонький фотограф сделал полагающиеся фотографии. В ресторане мы роздали всем гостям бонбоньерки. Все шутили, пели. Я смеялась постоянно, даже когда шла в туалет немного освежиться. Корсаж идеально сидел на мне — жесткий лепесток, маленькая броня. Старики вскоре ушли, осталась молодежь, друзья. Мы танцевали рок-н-ролл на траве босиком. Фабио, с голым торсом, в брюках и цилиндре, вдрызг пьяный, раскручивал меня, как пружину.

Мы поселились отдельно от родителей. Белые стены, паркет, огромный холодильник, минимум мебели и кровать из натурального дерева, которая почему-то воняла птичьим кормом.

Сцены семейной жизни.

Фабио возвращается с работы, я слышу его шаги, слышу, как поворачивается в дверях ключ. Сижусь на диване, не встречаю его, кричу из комнаты:

— Как дела?

Он проходит, не глядя в мою сторону:

— Мне нужно в туалет.

Фабио перед телевизором, в темноте белеет его лицо. Фабио открывает холодильник: «Что будем есть?» Ночь, Фабио стоит у окна и смотрит на дорогу. Фабио в кинотеатре, на носу очки, серьезный вид, очень похож на своего отца. Одежда Фабио крутится за прозрачной дверцей стиральной машины: он принимал душ после пробежки, выходит голый, оставляя на паркете капли воды. Я смотрю на эти капли, на его тело.

— Ты чего? — спрашивает он.

— Ничего.

Ужин у его родителей. Полированный овальный стол, тяжелые портьеры. Фабио в дорогом галстуке синего цвета, они с отцом обсуждают расчеты по какой-то свалке мусора. Мать приготовила заливное из курицы. Улыбаюсь филиппинке, убирающей грязную посуду.

Ужин у моих родителей. Отец молчит, мать постоянно вскакивает. Уходя, прихватываю мешок с мусором. В лифте Фабио ворчит, что из мешка воняет. Говорит, что я делаю глупости, что с ним не считаюсь.

— Ты из-за этого мусора? — Я нажимаю на рычаг, открывая помойный бак.

— Не только из-за этого... из-за всего.

Говорю ему, что у меня нет никакого желания спорить, я устала, весь день работала.

— С утра в университете.

— Это не работа.

— А что, по-твоему?

— За нее не платят.

Я не помню, когда в последний раз мы были близки, в постели мы разговариваем о друзьях, о люстрах, которые надо бы купить, о планах на выходные, о том, как мы проведем целых три дня у моря, в Арджентарио.

Не могу сказать, что это был несчастливый брак. Он остался в моей памяти как бесконечные походы по дорогим мебельным салонам и студиям, где можно долго рассматривать кухонные гарнитуры, сидеть в креслах, на диванах, лежать на кроватях. Таким он и был, этот брак, — без грязных простыней, без разбитой посуды, без царапин на паркете, без ссор. Я вступила в него, подчиняясь какой-то слепой воле. Хотела сдержать обещание, пусть и ненадолго.

Фабио возвращается вечером, садится рядом со мной на диван, бывает, берет меня за руку, а бывает, приходит усталый, сидит, сложив руки на животе. Я не знаю, о чем он думает, не спрашиваю себя об этом. Не знаю, о чем думаю я. Мне приятно находиться в этих стенах, в этой золотой клетке. У нас всё есть, мы красивые, успешные. Мы потратили на душевую кабину целое состояние. Мы, как в рекламе, ходим босиком по паркету. Мы молоды, у нас нет никаких проблем. Холодильник у нас часто пустует. Время от времени мы нагружаем тележку в супермаркете. Фабио неприхотлив, ест все, что я приготовлю. По субботам готовит он: надевает длинный белый фартук, подаренный ему поваром в какой-то гостинице. Мы часто приглашаем друзей, нам нравится ужинать в компании, открыть бутылочку хорошего вина, зажечь свечи.

Скучаю ли я по фотографу из Генуи? Я об этом не думаю. Для него нет места в моей благополучной жизни. Я знаю, что он уехал. Наконец-то решился. Отправился в бразильскую глубинку, куда-то к берегам Амазонки. Он давно об этом мечтал: фотопленки в рюкзаке, на шее фотоаппарат, грязные поезда, грузовики и дети, которых он так хотел фотографировать. Тем лучше для всех, у каждого своя жизнь, на разных концах земли. В университете совсем не платят, за последнее время я не получила ни лиры. Скорее всего, мне придется уйти, так все надоело. Деньги на мою исследовательскую работу не выделяются, Андрич меня больше не интересуется, он в прошлом, как и все остальное.

Мы стоим перед холодильником, я и Фабио.

— Что-то случилось?

— Ничего, просто я недовольна собой.

— Ты всегда собой недовольна.

Я упала с мопеда, его занесло на мокром асфальте. Все в порядке, я жива-здоровая, но не могу подняться, просто не в состоянии, так и лежу на дороге. Мне помог встать какой-то мальчик, — наверное, учится в лицее. На шее бандана, по лицу стекают капли дождя.

— Спасибо.

— Пожалуйста, синьора.

Я — синьора. Несчастливая синьора. Волоку мопед под дождем. Захожу в какой-то бар, беру пиво. Сажу и пью, одна, среди бела дня. Потом иду к родителям, сушу волосы, собираю их в хвост, надеваю джинсы и старый, со времен лица, свитер.

В коридоре сталкиваюсь с отцом.

— Ты пришла? Днем, одна?

Я пришла забрать зеленый пластмассовый стульчик. Я похудела и теперь могу на него сесть. Устраиваюсь на балконе родительского дома. Втиснуться в этот маленький стул становится привычкой: коленки к ушам, рукава свитера натянуты до самых кончиков пальцев. С балкона виден кусочек набережной Тибра: я смотрю на чаек, летящих с моря, на людей, совершающих пробежку. Я снова начала курить, несколько лет назад бросила, а теперь снова курю. В университет больше не хожу.

— Чем ты занимаешься? — спрашивает мама.

— Фигней.

Фабио записался в клуб, по вечерам они играют в мини-футбол. Я его сопровождаю, стою у решетки и курю. Группа жен-болельщиц — каблук застревают в деревянном настиле трибун. Прожекторы освещают поле, где бегают кучка идиотов в спортивных трусах.

— Больше туда не пойду, холодно.

Фабио не возражает. Он собирает рюкзак, показывает мне новые кроссовки, ужасно дорогие, с пузырьками воздуха в подошве из прозрачной резины — для смягчения ударов. Теперь он зациклился на спорте, ему нравится поддерживать форму, укреплять здоровье. А я курю, у меня учащенное дыхание. Он молчит, просит только, чтобы не курила дома.

Как-то вечером я захожу в музыкальный магазин «Рикорди», надеваю наушники, слушаю музыку вместе с молодежью. Что-то покупаю, покупаю и нашу песню... *You never smile, girl, you never speak...* Включаю ее, гоняя

на мопеде по центру. Теперь я гоняю так же, как он. Ветер сдувает с лица слезы, я страдаю, как четырнадцатилетняя пигалица. Дура несчастная. Останавливаюсь на площади Фарнезе. Глубокая ночь, даже наркоманы разошлись. Ложусь на мраморные ступени, курю. Обожаю втягивать этот дым, в нем есть что-то, чего мне не хватает, что заполняет пустоту.

Часто остаюсь ночевать у родителей. «Это близко к университету», — сказала я Фабио. Не призналась ему, что ушла с работы. Мои уже спят, но у меня есть ключи. Они догадались, что не все ладно, однако ни о чем не спрашивают, делают вид, будто всё в порядке. «Поужинаешь с нами?» Мама жарит мои любимые котлеты. Папа открывает вино, разговариваем о политике, о Рейгане и Тэтчер, о нашем пятипартийном правительстве. Папа говорит, что я становлюсь бунтаркой, но это неплохо, просит у меня сигарету. И он снова начал курить. Мама не жалуется — мы курим где хотим.

Ночью, когда во всем доме гаснет свет, я тихо-тихо включаю музыку. Танцую перед открытой створкой шкафа, в зеркале дрожит слабый свет, проникающий через закрытые ставни.

Рассматриваю свою грудь, живот. Огонек сигареты в темноте. Это моя комната. Здесь я училась, плакала, слушала музыку. Здесь остались мои плакаты, мои книги, моя старая одежда в пакетах из химчистки. Здесь мой белый фехтовальный шлем... мое пончо с замусоленной бахромой — я сосала эти кисточки в автобусе по дороге в лицей. Здесь вся моя тридцатилетняя жизнь, все близкое и понятное. Я всегда была одна, заложница своих амбиций, и ни в чем не преуспела в конце концов. Танцую в темноте. Незавершенность, несбыточные мечты — вот моя беда.

— Я нашла работу.

— Какую?

— Смешивать коктейли в баре по вечерам. Мне нравится, я почти научилась.

Муж качает головой, смотрит на меня с улыбкой как на сумасшедшую. Отвечаю, что мы молоды, детей у нас нет, поэтому я могу позволить себе такую странную работу. Как-то вечером Фабио заходит в мой бар в районе Тестаччо. С ним два приятеля из футбольной команды — адвокат и инженер, коллега моего мужа. Фабио смотрит, как я хожу между столиками в мини-юбке и в черном переднике. Я взглянула на мужа один раз мельком: у меня в руках всегда полный поднос. Странно видеть его белобрысую голову среди этих людей. Фабио терпеть не может шума и сигаретного дыма, но остается в баре до самого закрытия. Мы уезжаем вместе. На Яникульском холме он останавливает машину, набрасывается на меня со

страстью молодого любовника. Бормочет, что я ему нравлюсь, что в баре он смотрел на меня не как на жену, а как на чужую женщину... и его друзья так откровенно на меня пялились, что он приревновал. Жаль, что мы больше не занимаемся любовью... но вот сейчас... Он так пьян, что ни на что не способен.

Говорю, что не люблю его.

— И ты тоже меня не любишь.

Говорю, что мы сделали ошибку, что нам не надо было жениться. Он пошел отлить, я слышу, как струя бурлит в трубе. Он говорит, что я все преувеличиваю, драматизирую, что со мной нелегко.

В ту же ночь позвонил Гойко:

— Привет, красавица!

Я скучала по его голосу, по немытым волосам.

— Жаль, что ты так и не приехал в Италию.

— Почему? Я был у Диего в Генуе почти месяц.

— И не позвонил мне?

— Диего сказал, что ты замужняя женщина, старые поклонники тебе не интересны.

— Иди ты к черту!

— Он очень страдал.

— Я знаю.

— Чтобы вернуть его к жизни, пришлось приложить усилия. Я его спасал... не представляешь, сколько потребовалось бутылок.

— Представляю...

Рассказывает, что открыл для себя ликер «Лимончелло» — потрясающий вкус! — и что Диего уехал.

— Я знаю.

— Мы крестим Себину на следующей неделе.

— Почему так поздно?

— Ждали, пока закончится траур по отцу.

— Как Мирна?

— Хорошо. Молока только не было, кормит Себину сухими смесями.

— Поцелуй ее от меня.

— Будешь крестной?

Я улыбаюсь. Он упрасивает, звонит на следующий день. Мирна была бы очень рада, она вспоминает, как я мазала ей ноги кремом. Гойко прикладывает все усилия, чтобы убедить меня. Говорит, что я видела только снег, а сейчас все зеленое, с холмов доносится запах вереска и фиалок, вьется по закоулкам Башчаршии.

Захожу в ювелирный магазин, покупаю для Себины цепочку с крестиком. Фабио не против, вот только не сможет проводить меня в аэропорт, у него проблемы — приостановили стройку, как всегда, нашли какие-то древнеримские развалины.

И вот мы встретились снова. Сидим в аэропорту, у столика кружат голуби. Гойко пьет сараевское пиво, я — боснийскую кафу с густым осадком. Я привезла Гойко блок «Мальборо» и две бутылки «Лимончелло». Он угощает меня ужасными сигаретами «Дрина».

— Здорово, что ты снова куришь...

Заметил, что я остригла волосы. Говорит, что так я выгляжу моложе, что замужество пошло мне на пользу. Спрашивает, как дела в университете. Я отвечаю, что работаю официанткой в баре.

— Хорошие чаевые?

— Нет.

— А ты умеешь правильно вертеть задом?

Вскакивает, показывает, как это делается. Снова садится, читает свои стихи:

Почему твое тело не плывет больше над моим?
Как та баржа, что мы видели на Неретве,
красный туман — твоя грудь,
мои смелые ноги — половодье.
Вышло палящее солнце и высушило даже грязь,
ты, как ленивая корова, терла языком
по бочажкам, где ныли комары.
Я опрокинулся, словно остов,
и все жду, когда твои губы
коснутся моих костей.

— Ты влюбился?

— Она меня бросила. Вышла замуж за другого, — смеется Гойко.

У меня текут слезы, я говорю, что мой брак — это только фарс, я тоже ною, как те комары. Гойко спрашивает, люблю ли я Диего.

— Нет.

— Тогда у меня есть надежда...

Сараево снял свой олимпийский наряд. Нет больше флагов, огромных рекламных плакатов, рассчитанных на иностранцев. Город — как дом, из которого уехали гости. Тихий и скромный, он стал еще красивее.

На следующий день я оказалась в церкви Святого Сердца Иисусова на

крестинах, очень скромных и трогательных в своей простоте. Священник произнес несколько теплых слов, обводя взглядом собравшихся.

На головке у Себины — белый чепчик с оборкой, такой большой, что кажется, будто это нимб, и сама она как маленькая святая с красными щечками. Глубокий, какой-то неземной взгляд.

Милая Себина, я снова думаю о тебе, янтарные лучи играют на стенах собора, совершается таинство крещения, какой странный день. Ты, окруженная мусульманскими родственниками, освобождаешься от первородного христианского греха. Твоя безмятежность рождала покой во всем, передавалась от тебя моим рукам. Ты — божественное сияние, воплощенная мудрость. Ты будешь любить свежую питу и мультфильмы про Симпсонов, у тебя будут рыба-нож бланша, самые неаккуратные в классе тетради и самые быстрые в районе Ново-Сараево ноги.

Чувствую, что рядом со мной кто-то стоит. У меня слабеют ноги, бледнеет лицо, сердце уходит в пятки. Боюсь выронить ребенка. Я не поворачиваю головы, я знаю, что это он. Это его локоть, его запах. Крепко сжимаю Себину, она почти ничего не весит, но я все равно боюсь, что не удержу ее. Это он. Только он может возникнуть из ниоткуда. Он ненормальный, его не волнует, что я могу грохнуться в обморок.

Он придвигается к моему уху и шепчет:

— Я — крестный отец.

Теперь мне все понятно... почему здесь и сегодня. Бархатный, с хитрецей взгляд Гойко. Потом, когда я стукну его в живот, он признается: «Ты не знаешь, как я мучился, чтобы не проговориться. Но я обещал». И мне ясно, что именно этого я ждала, именно этого просила у Бога, просила у каждого, кто входил в эту церковь.

Кровь понемногу приливает к моим щекам, бежит по венам. Теперь я могу повернуться, взглянуть на него... рука, прядь волос, джинсы.

Однако не он крестный отец. Потом Гойко скажет, что ему бы хотелось видеть нас двоих, меня и Диего, крестными Себины, но были кое-какие родственные обязательства. И что Диего попросил выбрать меня, «тогда она точно приедет». Он был не уверен, что успеет, ехал два дня и две ночи, пропах аэропортами, залами ожидания.

Я подхожу к купели, рядом со мной мужчина с пышными черными усами — брат Мирны.

Эти крестины — наш праздник. Когда священник окропляет тело Себины, я поднимаю глаза и встречаюсь взглядом с Диего.

За длинными столами, вынесенными на улицу из небольшого ресторанчика в горах, у входа в который стоит огромное чучело медведя,

мы едим форель и босански лонац, празднуем крещение Себины. Я много говорю, освобождаю горло и сердце. Мы с Диего держимся за руки под столом, украдкой. Эти руки дрожат, обжигают. Наши руки снова вместе. Он удивлен, что я сдалась. Возможно, он мне не верит. Пьет и потеет. Он и представить себе не мог, чтобы с меня так быстро слетела спесь. Смотрит на мою новую стрижку, лицо без макияжа.

— Ты помолодела, а я постарел.

И показывает седые волосы на отросших висках. Он похудел, загрузел на солнце и, может быть, поэтому кажется старше. На несколько месяцев. Наклоняет голову, втягивая носом запах из-под мышек, извиняется: чуть сполоснулся в аэропорту, в туалете, три дня не снимает одну и ту же майку.

— И где ты был?

— На другом конце света.

Он увязал в болотистых реках, рисковал остаться без ног или даже погибнуть посреди колонии безмятежно выставляющих спины кайманов. Фотографировал старого перевозчика в бамбуковой лодке, набитой высушенными под солнцем шкурами. Чувствовал себя хорошо, вроде бы все прошло. Попробовал даже затащить в постель одну девушку-немку. Это было в бунгало, у кровати жужжал вентилятор. Девушка встала, чтобы закрыть дверь, — боялась змей. И пока она шла — всего-то несколько шагов, — он посмотрел на нее и понял, что ничего не получится.

— Обманщик! И что ты ей сказал?

— Сказал, что у меня понос. Просидел в туалете, пока она не ушла.

Смеется. Он думал, что все прошло. Вставал на рассвете, солнце катилось по плоскогорью, красное, «как чупа-чупс, полный красителей», заряжал фотоаппарат, шел в лес, к поселкам собирателей каучука, «серингуэрос». И в голове у него зрела мысль остаться, поселиться там монахом-отшельником. Смотрит на меня, улыбается, встряхивает головой:

— Но я же не монах, крошка...

Когда пришла телеграмма от Гойко, он побросал в рюкзак все свои вещи и побежал прямо под проливным дождем, вытянув руку в надежде, что его подберет какой-нибудь грузовик, попутная машина. В конце концов остановился полицейский джип. В этом джипе он, промокший до нитки, ехал через тропический лес. Его спасители — крепкие смуглолицые парни — больше походили на дьяволов, чем на ангелов-хранителей. «Если она приедет в Сараево, — повторял он про себя, — значит, тоже скучает».

Он бодает меня головой, как бык:

— Гляди на меня, несчастная, тебе никуда от меня не деться! Я тебя украду.

Страдание сделало его более мужественным, более смелым. Повзрослевший хулиган. Тянет меня танцевать на лужайку. У него сильные руки, обнимает меня уверенно, как муж. Берет меня за волосы, будто это не голова, а кукурузный початок, прижимает мои губы к своим, дышит мне в рот. Взгляд угрожающий, как у каймана, — только глаза на поверхности воды.

— Гляди на меня!

— А я что делаю?

— Я тебя люблю.

Он танцует как бог, я в его руках — тряпичная кукла. Плечи отведены назад — ни дать ни взять танцор фламенко. Бедра извиваются, безумные ноги подламываются, как у Майкла Джексона. Куда затащит меня этот сумасшедший? В ад? В рай? Стараюсь не думать об этом, впиваясь губами в его губы.

— Это будет праздник, крошка, каждый наш день будет праздником. Я дам тебе все, вот увидишь.

Вечереет, солнце ушло с поляны, где мы расположились. Себина в мятых одежках, оборочки обвисли — маленькая овечка, перепачканная молоком, — уснула на моем плече, потной головкой прижимается к блузе. Запах ее тельца — сладкий мед в сотах пчелиного улья. Что-то неосязаемое парит в воздухе, вьется за жужжанием пчелы... ощущение, что жизнь — как цепочка, звено за звеном, тянется дальше.

На столе, уставленном пустыми бокалами, Диего и Гойко соревнуются в силе рук, сцепившись кистями. Женщины собирают в горшочки из красноватой глины остатки еды.

Сараево внизу, в своем ложе, высланном среди гор. Солнце гаснет, сполохи последних лучей озаряют небо. Город словно погружен в воду. Словно все — дома, минареты — скопилось там случайно. Словно они, как по волшебству, принесены рекой и могут не сегодня завтра исчезнуть. Как мы, как Себина, как все живое, чье существование для вечности — слишком короткий миг.

Устраиваемся в гостинице «Холидей-Инн», опустевшей после Олимпиады. Поднимаемся в номер, длинная галерея закручивается над холлом. Огромная люстра кажется большой медузой, пойманной в сети. Официанты внизу шевелятся, как морские водоросли. В комнате запах недавнего ремонта, новой мебели, как будто только вчера покинувшей фабрику. Большая кровать, большое окно выходит на проспект. Диего идет в душ, он должен смыть с себя пыль дорог. Я жду его у окна, смотрю на четырехугольник Земальски-музея, краеведческого, на ботанический сад,

рядом крутое, как скала, только что выстроенное здание правительства. Диего целует меня в затылок, капли с его мокрых волос падают мне на шею. Мы сливаемся друг с другом, замираем, не разжимая объятий. В этот раз все по-другому: мы научились страдать, научились сдерживать чувства. К чему безрассудность? Мы боимся расплескать то, что так долго копилось в нас. Так супруги встречаются после долгой разлуки. Диего лежит с закрытыми глазами, возбуждение спало. Говорит, как сильно скучал без меня. Сейчас он так опьянен моей близостью, что не может до конца насладиться этим счастьем.

Он целует мой потный затылок, треплет волосы:

— Вот здесь, чувствуешь... здесь, на затылке, зарождается жизнь. Затылок — это река, это судьба.

— Откуда ты знаешь?

Крепко прижавшись друг к другу, засыпаем. Солнечный свет залил всю комнату, разбудил нас. Заказываем завтрак в номер. Официант стучится в дверь, вталкивает тележку. Вскоре поднос оказывается на полу, рядом со смятыми полотенцами. Мы снова замираем в объятиях. Я лежу на спине, голые груди торчат в разные стороны. Диего фотографирует мой живот, нацеливает объектив на пупок. Ближе к обеду начинаем одеваться. Диего не может найти носки, свешивает голову, смотрит под кроватью. С противоположной стороны свешиваю голову я — так и глядим друг на друга, вниз головой, с разных сторон кровати. В аэропорту он спрашивает:

— Что же мне делать?

— Жди меня.

У него грустное лицо. Рюкзак, набитый грязным бельем, валяется на полу, и Диего пытается застегнуть ржавую пряжку.

— Я знаю, я не нужен тебе, это же черным по белому написано.

— Где написано?

Он идет в туалет и вскоре возвращается, прижимая ладонь ко лбу:

— Вот где написано.

Убирает руку. На лбу у него шариковой ручкой выведено: «МУДАК». Пытаюсь оттереть чернила пальцем, остаются фиолетовые разводы.

— Ты с ума сошел.

— Я больше так не могу.

Возвращаюсь домой, в это время Фабио еще на работе. Собираю свои вещи, складываю их в картонные коробки — не хочу брать чемодан Фабио. Сажусь на диван, закуриваю, включаю телевизор. Идут новости. Глаза диктора скрыты за очками с толстыми стеклами, голова воткнута в маленькие квадратные плечи. За его спиной — университет Ла Сапиенца,

мертвое тело, брошенное в салоне автомобиля. Далее — белая листовка с машинописным текстом и пятиконечная звезда «Красных бригад». Далее — купола собора на Красной площади. Несколько дней назад умер Черненко. На экране появляется лицо нового генерального секретаря КПСС. Симпатичный господин в черном пальто, распахнутом на груди порывом ветра. Улыбается.

Лицо у него круглое, как у пекаря, на лбу родимое пятно, похожее на очертания материка.

Возвращается Фабио, бросает спортивную сумку на пол. Удивлен, что я уже дома. Рассказываю ему все. Он молчит, произносит только:

— Погоди, дай собраться с мыслями.

Смотрит по сторонам: квартира принадлежит ему, оценивает взглядом, всё ли на месте... Кажется, он уже смирился с тем, что случилось, ни о чем меня не спрашивает. Потом он все-таки плачет. Выходит из душа с красными опухшими глазами. Достает из холодильника молоко и пьет прямо из пакета. Я говорю, что надо бы посмотреть срок годности. Он сплевывает молоко в раковину.

— Черт! — говорит. — Оно свернулось. — В глазах тревога, спрашивает, будет ли ему теперь плохо.

— Нет, — отвечаю, — ничего страшного, это как йогурт.

— Я буду по тебе скучать. — Он уже собрался с мыслями, больше не плачет.

Фабио помогает мне снести вещи вниз. Ручейки пота стекают у него по лбу. В дверях лифта его чуть не зажал; пока мы едем вниз, он разглядывает в зеркале свои накачанные руки. Говорю ему спасибо, обнимаю. Как будто прощаюсь с консьержем, надолго уезжая из дому.

Я никогда не вспоминала о нем. Мы встретились прошлым летом случайно. В железном брюхе парома, отходящего на Корсику. Запах моря и нефти. Джулиано, как обычно, встал в очередь, которая продвигалась медленнее остальных, а я, с трудом сдерживаясь, вышла из машины и стала наблюдать за погрузкой. Машины впереди нас блокировал транспорт, заезжающий с другого причала. Джулиано был абсолютно спокоен, читал газету. Мы поссорились. Пьетро, как всегда, принял сторону Джулиано. Даже снял наушники своего iPod и сказал: «Ругаться в отпуске — какой кошмар!» В конце концов мне самой пришлось завозить машину на паром, а они поднялись по пассажирскому трапу. Но Пьетро все же спустился ко мне за своей гитарой. И я, обливаясь потом, стала рыться в багажнике, который открывался не до конца. Рядом стоял Фабио. Он вышел из крутого внедорожника — старая модель, но в отличном состоянии. Те же светлые

волосы — нисколько не поредели; мускулистые руки, — видно, спорт не бросил; жилет со множеством карманов. Мы столкнулись лицом к лицу, невозможно было сделать вид, что мы не знакомы. Он обнял меня, заговорил. Мощный голос раскатами отдавался в железных стенах плавучего гаража. Смотрел... нет, это я смотрела на себя его глазами. Футболка измята от долгого сидения в машине, кожа рук... такая, какой я сотни раз видела ее в зеркале. Я застыла, непроизвольно прижала руки к телу. На висках у меня седина, я не пошла в парикмахерскую, потому что мы собирались на море, — все равно буду ходить в соломенной шляпе. Я чувствовала себя неуютно: бледная, усталая, без макияжа. Он, наоборот, свежий, загорелый, — видимо, из тех, которые с мая купаются.

Говорил в основном он, рассказал о жене, о детях — их у него трое, младший совсем малыш.

— Но уже стоит на доске! — И он указал наверх, на крышу джипа, где были аккуратно закреплены доски для виндсерфинга. — Как твои? Мама, папа...

— Умерли, оба.

Улыбнулся, покивал:

— Конечно... да и мы постарели.

Я бы не назвала его старым. Он выглядел даже лучше, чем прежде. Годы оставили на нем терпкий налет, небольшой беспорядок пошел на пользу этому, в сущности, невыразительному, пресному лицу.

Я представила ему сына:

— Уже пятнадцать.

Пьетро углядел в багажнике джипа Фабио подводные ружья, водолазные костюмы. Спросил, что за мешок с носиком, который я приняла за сдутую волынку. Фабио объяснил, что это переносной душ. Сделан из специальной термоткани. Достаточно налить туда пресной воды, оставить на солнце — и вечером, после дайвинга, можно мыться прямо на пляже.

— Если все делать аккуратно и не лить слишком много воды, могут обмыться четыре человека.

Так и сказал: «обмыться». Задница Фабио маячила прямо передо мной, когда мы взбирались по лестнице. Из кармана свешивался, покачиваясь, брелок с ключами. Пьетро сказал:

— Мама, он гений. Вот кто проведет отличные каникулы. Ты видела, как они подготовились?

Я устала, измучена жарой, с меня ручьями течет пот. Все деньги, которые заплатил за отдых Джулиано, потрачены зря. Пляж, гостиница — все зря. Самое большее, на что способен Джулиано, — насадить червяка на

крючок. А Пьетро хотел заниматься серфингом, подводным плаванием, летать над морем на этих опаснейших парапланах. Он охотно бы пересел из нашей машины в джип Фабио.

Джулиано уже был в ресторане самообслуживания. Занял места и сидел с полными подносами. Делал мне знаки рукой.

Он не сердился — пища приводит его в хорошее расположение духа. Боялся только, вдруг я стану возмущаться.

— Чтобы не стоять в очереди два раза... — нашел он оправдание большому количеству еды. Положил мне в рот ложку оливье. — Попробуй, как вкусно!

Живот у него свешивался через ремень, я немного стыдилась. Подошел Фабио, представил свою жену — блондинка моих лет, спортивная, как и он. Я заметила в открытом вырезе ее майки слишком округлые формы.

— У нее силиконовая грудь, — сказала я Джулиано, когда мы стояли на палубе.

Он показал рукой на белый гребешок пены, едва заметный в ночи:

— Смотри, там дельфины.

Джулиано положил руку мне на плечо, я обхватила его за пояс, за жирок на талии. Мы стояли на палубе корабля, впереди нас ожидал заурядный отпуск. Мой сын вполне мог испортить весь отдых, это чувствовалось. Он пошел осмотреть паром, поискать сверстников, мы ненадолго остались одни, наслаждаться свободой и покоем. На темной морской глади блестела лунная дорожка. Обычные супруги средних лет, не красавцы и не уроды. Довольно милые. Если бы кто-то окликнул нас, мы обернулись бы, улыбаясь, с радостью поболтали бы о том о сем. Часто мы не ценим того, что имеем... Я прижималась к Джулиано, чувствовала запах его одеколona, который смешивался с запахом моря, и благодарила жизнь за то, что послала мне этого замечательного человека.

Мама спросила, как быть со свадебными подарками, только и всего. Думаю, она нервничала и не хотела говорить о более серьезных вещах, чтобы не расстраиваться.

— Я все оставила Фабио, — ответила я на ходу, не задерживаясь в дверном проеме, где она неподвижно застыла.

Папа с виду был серьезен — притворялся огорченным, вел себя так, как, по его мнению, подобает отцу, чья дочь вышла замуж за молодого преуспевающего инженера и через несколько месяцев вернулась домой.

— Ты что? Оставила ему все кастрюли? — Ему было смешно, но мать метнула в него грозный взгляд.

Я укладывала вещи в сумку.

— Куда собираешься? — поинтересовался отец, притворяясь обиженным. Вот хитрец!

— Кое-куда съездить.

— Куда именно?

Я не ответила. Прощаясь со мной на пороге, он попросил привезти ему генуэзского соуса песто и морские ракушки. Улыбался, потому что все понял.

Выхожу из поезда на вокзале Бриньоле, такси на площади нет, иду под дождем, надеюсь по пути поймать машину. У меня есть его адрес, но я не уверена, что в это время он дома. Пусть будет сюрприз. Заканчиваются благополучные кварталы, начинаются городские трущобы. Я спускаюсь вниз, иду на запах моря. Узкие улочки-шнурки, закрытые ставни. Портовый район — кружево тусклых фонарей... на капотах машин спят наркоманы, чувствуется запах подгоревших бобов, мусора, выброшенного прибором. Вдоль ломаной линии побережья — убогие здания массовой застройки. Где-то лает собака. Дождь кончился, но очень сыро. В домофоне женский голос, слабый и хриплый:

— Кто там?

— Я подруга Диего.

Голос в домофоне смолкает, слышен стук ставней, в окне первого этажа появляется голова. Желтоватые, аккуратно причесанные волосы, турецкий халат. Женщина смотрит на меня, кричит:

— Та самая, из Рима?

— Да.

Открывает дверь, впускает меня. Диего нет, он скоро вернется. Пошел фотографировать джаз-банд — его друзья играют в каком-то гараже. Мама у него невысокого роста, такая же худая, как и он, глаза голубые, и нос точно такой же, только пошире. Я прошу прощения за беспокойство. «Никакого беспокойства, — говорит она, — я очень рада». Извиняется за беспорядок в доме, хоть я и не вижу беспорядка. Скромная лакированная мебель. Пахнет чем-то вкусным. Мы идем в гостиную, где, кажется, никто не бывает. Мама Диего предлагает мне поесть. Я отказываюсь, прошу горячего чая. Пока мою руки, она приносит чистое полотенце. Мы сидим за столом, я встаю, она тоже мгновенно вскакивает, как будто боится, что я уйду. Я-то хотела взять маленький подарок, который привезла для нее, — настольные часы в виде фарфоровой маски. Она целует меня:

— Ну что ты, зачем?

Она снова целует меня, я чувствую совсем близко дрожь ее тела.

— Диего мне много рассказывал...

У нее характерный генуэзский выговор, немного нараспев. Зовут ее Розой.

Заметила, что у меня мокрые волосы, настаивает, чтобы я непременно высушила их, дает еще одно чистое полотенце.

Ведет меня в комнату Диего. Плакат с футболистами «Дженоа», проигрыватель, кровать, которую склотил он сам, смятые простыни. И повсюду я. Мой пупок — снимок, лежащий в изножье кровати, у окна. На полу валяются сапоги. Мама наклоняется, чтобы поднять какую-то тряпку, наверное трусы.

— Он не разрешает мне сюда входить...

Слышу поворот ключа, звук открываемой двери. Мы встречаемся в коридоре. Он замер:

— О нет!

Падает на колени к моим ногам, целует туфли, джинсы. Если бы у него был хвост, он бы им непременно вилял.

— Не может быть... не может быть...

Вскакивает, как на пружинке; я прыгаю ему на шею, обхватываю за пояс коленями. Он кружит меня по квартире. Мама прижимается к стенке, прячется за дверь ванной.

— Мама, вот моя женщина! *Моя женщина!* Мать моих детей! Моя мечта!

Роза вытирает глаза рукавом халата. Я говорю Диего, что нельзя так орать, люди спят, весь дом разбудит. Но его мама кричит, что шуметь разрешается, почему другим можно, а им нет, *сегодня ночью наша очередь!* Еще одна сумасшедшая. Видно, у них это в роду.

Мы идем на кухню, что-то жуем — фрукты, печенье. Потом падаем на жесткую кровать аскета, занимаемся любовью тихо-тихо, как подростки, которые боятся, что их услышат родители. Чуть шелестит музыка, светятся в темноте огоньки проигрывателя. Сквозь ставни пробивается молочный свет — луна в самом соку. Смотрю на гигантское фото моего живота, пупок — как кратер вулкана.

— Что ты делал с моим пупком?

— В дартс играл.

Я осталась в этом доме до конца лета. Каждый день я говорила себе, что пора уезжать, и каждый день оставалась. Привычки Диего и его распорядок дня сильно отличались от моих. Спал он до обеда, потом шел в трусах на кухню, открывал холодильник, доставал оттуда алюминиевые судки, которые мама приносила из столовой клиники Галсини, и заглатывал

холодную лазанью, студенистую рыбу и прочее. Так он привык. Мамы почти никогда не было дома, у нее имелся друг, старомодный тип, в двухцветных ботинках, с платком на шее.

Если выдавался солнечный день, мы шли на море. У Диего на какой-то заброшенной пристани была небольшая лодка, парус размером со скатерть. Мы плавали до самого вечера, голодные, мокрые. По ночам бродили по лабиринту генуэзских улочек, сидели в каких-то заведениях, похожих на притоны. Диего был в восторге оттого, что я рядом, перезнакомил меня со всеми друзьями. Странные персонажи встречались среди них — молодые, но уже изрядно потрепанные жизнью. Диего переводил мне генуэзский диалект, украдкой подсматривал, довольна ли я. Они курили травку, передавая косяк друг другу; я отказывалась брать в рот эту замусоленную дрянь, просила и Диего не курить. Мы съездили на причал «Эфиопия», где погиб его отец. Он работал портовым грузчиком, его раздавил контейнер — несчастный случай. Усевшись на битенг, смотрели на море, серое и скучное, как целлофан.

Однажды Диего признался мне, что пробовал героин: «Несколько раз кололся, потом бросил, в Генуе трудно не подсесть на что-нибудь» — и что однажды попал в тюрьму вместе с ультрас, группой футбольных хулиганов из генуэзского пригорода Марасси.

— Ты разочарована?

— Нет.

Говорю ему, что не могу жить вот так, одним днем, что мне нужно вернуться домой. Прощаясь с его мамой, смотрю на нее другими глазами. Кажется, она расстроена и жалеет, что я уезжаю.

— Извини, — говорит она.

— За что вы извиняетесь?

Ждем в вестибюле

Ждем в вестибюле, я и Пьетро. Пьетро смотрит в окно, идет дождь. Лазурные глаза сына потемнели, как это небо. Накинув на голову капюшон флисовой куртки, он развалился на низком диване — ноги вытянуты, голова вжата в плечи. Рядом с гостиницей есть интернет-кафе, он хотел пойти туда, поболтать в чате с друзьями. Я не разрешила. И вот он натянул на голову капюшон, сидит с мрачным и вызывающим видом, как удаленный с поля футболист. Девушка, которая подавала нам завтрак, пылесосит ковер на лестнице. Слишком длинный шнур обматывается вокруг ее ног. Пьетро ухмыляется:

— Она вообще ничего не умеет.

Я говорю:

— Она, между прочим, твоя ровесница и уже работает.

Пьетро вспыхивает, говорит быстро-быстро, глотая слова.

Он тоже хотел работать, но я не пустила. Это правда, он собирался клеить рекламные листовки на лобовое стекло автомобилей за двадцать евро в день. Мне не понравилось, что он будет с утра до вечера дышать выхлопными газами, да еще в компании своего дружка Биффо. У этого хитреца вечно глаза блестят, будто он обкурился. Я могла бы сказать, что это не работа, а так, приработок, что на такую работу можно согласиться только от крайней нужды, что у него есть все: скутер, гитара, модные солнечные очки, счет в банке... но я промолчала, не хотела спорить.

Спрашиваю у администратора зонт. Мне дают какую-то кривую палку с желтой мятой тканью. Девушка на лестнице тем временем все-таки оступилась и упала, быстренько поднялась, робко озираясь, не видел ли кто. В вестибюле только мы. Пьетро прижал кулаки к вискам и крутит головой в голубом капюшоне, не может сдержаться, смеется до слез, до икоты. Девушка смотрит на него с укором. Тогда Пьетро делает вид, что ему плохо, — схватился за живот, корчится, как от боли.

Жестом показывает на пепельницу, битком набитую окурками. Девушка подходит, забирает пепельницу. «*Thank you*», — благодарит ее Пьетро, он пытается сдержать смех, но не может. Глупое зубоскальство так и лезет из него. Девушка чуть наклоняется вперед, от ее дыхания пепел разлетается. Пьетро трясет головой, стряхивает пепел с брюк, потом со смехом поднимает руки. Но смеется уже не так громко:

— Сдаюсь.

Девушка морщит вздернутый носик, спрашивает с серьезным видом:

— *What?*

Пьетро не знает, как сказать по-английски «я сдаюсь».

Говорит:

— *Sorry.*

Пунцовая от смущения девушка приносит чистую пепельницу.

— *You are great,* — говорит она тихо, проходя мимо Пьетро.

Пьетро кашляет, смотрит на меня:

— Что она сказала, ма?

— Ты же слышал, она сказала, что ты *great*, классный.

— Правда?

Он приосанился, смотрит вслед удаляющейся барышне, наконец-то снимает с головы этот мешок, ерошит волосы.

— Она тебе нравится?

Резко поворачивается ко мне:

— С ума сошла? Она просто смешная. Мне нравятся итальянские девушки.

— Почему?

— Потому что я их понимаю.

Входит Гойко, останавливается в дверях, встряхивает головой, как лохматый пес. Как обычно, он без зонта — куртка потемнела от дождя. Ищет меня взглядом, подходит, весь мокрый, обдает теплой волной, приятным запахом мокрого сена, целует. Потом садится, закидывает ногу на ногу, просит принести ему кофе, закуривает. Он опоздал, потому что помогал развешивать работы в галерее, где будет проходить фотовыставка. У него отличное настроение, спрашивает, как мы спали, не хотим ли продолжить экскурсию по местам боев, — он привык, что все туристы приезжают за этим. Предлагает пойти на еврейское кладбище — оттуда стреляли снайперы — или побродить по центру до открытия выставки.

Пьетро говорит, что ему все равно. Потом добавляет, что лучше остаться в центре. Сегодня утром я допустила ужасную оплошность: во сне протянула руку к Пьетро и по ошибке назвала его Диего. Слишком бурно ворвался в эту ночь призрак генуэзского фотографа.

Пьетро отодвинулся подальше, сказал:

— Мама...

— Ага... — пробормотала я в полудреме.

— Как ты меня назвала?

— Не знаю... а как? — Я действительно не помнила. — Извини.

— Ты вообще, ма...

Он бросился в ванную, подальше от меня, от мучительных воспоминаний о прошлом. Когда он вернулся, я заметила, что он смотрит, нельзя ли разъединить кровати. Я сказала:

— Если хочешь, давай поменяем номер, попросим с двумя отдельными... я тоже не хочу спать рядом с тобой, ты все время ворочаешься.

А у самой на глазах слезы.

Дождь, но на улице много людей, особенно молодежи. По проспекту, который ведет к медресе, шагают группами студенты, изучающие ислам. За спиной у них большие рюкзаки — обычные студенты, как и в любом уголке земли. В гостинице мне дали кошмарный зонт — не выколоть бы кому-нибудь глаза! Я остановилась, чтобы купить зонт для Пьетро. Гойко зонт не нужен, только мешает. Говорю, что в определенном возрасте мокнуть под дождем вредно для костей, он ворчит, что в определенном возрасте все вредно, поэтому лучше об этом не думать. Беру его под руку:

— Ты еще пишешь стихи?

Мне хотелось бы послушать, как он читает их своим глубоким чувственным голосом. Гойко наклоняет большую голову, говорит, что с некоторых пор по вечерам снова играет словами.

Я спрашиваю, почему он так долго ждал.

— Надо, — отвечает, — чтобы прошло время, чтобы рана зарубцевалась... Нужно, чтобы Господь был рядом с тобой, не стыдясь твоей измученной души. Нужно, чтобы однажды, без твоего ведома, Он помог тебе восстановить равновесие между добром и злом.

Гойко раскрывает ладонь и, не знаю зачем, плюет на руку.

— Как-то я ехал вдоль луга, красного от цветущих маков, и впервые не вспомнил о крови, а просто любовался этой хрупкой красотой. Он ждал нас, этот луг, прямо за поворотом. Красные пятна на бескрайней равнине, как сердца, упавшие в траву. Я остановил машину, достаточно было порыва ветра — и у нас с женой полились слезы. Сначала заплакал я, потом разрыдалась она, слезы катились у нее градом. Эти слезы вернули нас к жизни, мы снова стали свободно дышать. Мы справились. Вместе со слезами мы проглотили комок горечи, который стоял у нас в горле все эти годы... Спустя два месяца жена забеременела.

Идем дальше. Рядом с Гойко я чувствую себя в полной безопасности. Вспоминаю, как мы бесцельно бродили по городу — молодые, дерзкие, беззаботные, и казалось, что наша жизнь, как зонтом, всегда будет укрыта этой дружбой.

Мимо идет женщина, обычная женщина спешит домой, в руках сумка

с покупками. Но она движется странно, будто полураздавленный жук: бедра под курткой, слишком легкой, не по погоде, выворачиваются одно так, другое этак, будто колеса разного диаметра; негнущиеся ноги похожи на маятники настенных часов. И я вижу, что так ходят многие, храбро стараясь скрыть последствия осколочных ранений.

— Это первое, чему мы научились.

Я смотрю на этих людей, пытаюсь вычислить, сколько им тогда было лет. Были они детьми или взрослыми. Пытаюсь понять, чего лишила их война, прочитав по этим лицам, серым от дождя, по морщинам, по неподвижным взглядам, по дрожащим в мокрых пальцах сигаретам. Все они кажутся мне мертвецами, вышедшими из моря.

— Мы съели слишком много урана... слишком много консервов из гуманитарной помощи. Тушенка валялась у них на складах еще с корейской войны...

Дети — вот кто цел и невредим, говорю я себе. Они ничего не знают, ничего не видели, они не могут помнить... но это не так. Кажется, что они все понимают, подражая шагам взрослых. Это дети, которым повезло родиться, над ними незримо парят души тех, других, которые так и не смогли прийти в этот мир, пройти свой земной путь.

Затылок Пьетро под зонтом. Время от времени сын останавливается перед витринами, разглядывает, но не товары, а цены — ему интересно переводить конвертируемые марки в евро. Говорит, что здесь всё *достаточно дешево*. После некоторого размышления добавляет: *но не слишком*. Спрашивает у Гойко, какие зарплаты у них сейчас. Не думала, что мой ребенок интересуется экономикой.

— Сколько зарабатывает, например, официантка?

— Сто пятьдесят, двести евро.

Я улыбаюсь. Пьетро морщит нос, сердится.

— А ты как думал?

Потоки воды льются из водосточных труб, вода капает с балконов, с крыш.

Проходим по Латинскому мосту, где был убит эрцгерцог Франц Фердинанд.

— Памятную доску сначала убрали, потому что Гаврило Принцип был сербом, теперь вот снова повесили для туристов, стерев слово «герой».

На площади, где играют в шахматы, под зонтами стоят старики. Дождь им не помеха, они нагибаются, передвигая огромных коней и пешек по клеткам, нарисованным прямо на булыжной мостовой. Пьетро достает мобильный телефон, фотографирует. Его поразили эти заядлые

шахматисты.

— Почти все они из деревни, приехали после войны. Город очень изменился за эти годы, окрестянился. Хожу и не узнаю никого...

Дождь постепенно прекращается, вода бежит по стокам. Небо по-прежнему хмурое, но хотя бы не плачет. Пьетро весь мокрый. Он любит ходить под дождем, любит болеть. Я знаю, ночью у него поднимется температура, а наутро он будет чувствовать себя как ни в чем не бывало. Ему захотелось пить — в такую-то погоду! — покупает в палатке ледяную банку кока-колы и тут же выпивает ее. Смотрит под ноги, спрашивает, что это за красные брызги на асфальте.

Это розы Сараева — память о погибших, напоминание о разорвавшихся снарядах. Роза, по которой мы идем, — первое массовое кровопролитие. Эти люди стояли в очереди за хлебом... Гойко бросает на меня взгляд, я хочу что-то сказать, но не решаюсь.

Переходим дорогу, поворачиваем за угол — еще розы, истертые множеством ног красные пятна на оживленной улице, ведущей к рынку.

— Знаешь, говорили даже, что мы сами в себя стреляем, чтобы привлечь внимание мировой общественности, чтобы нас снимало телевидение...

Яркие прилавки, аккуратно разложенный товар... в глубине рынка — длинный перечень имен на серой каменной стене. Люди, вырванные из жизни все разом, в одно мгновение, в тот самый миг, когда ангел смерти взмахнул крыльями. «Где сейчас этот черный ангел, — пронеслось у меня в голове, — улетел далеко или хромает где-то рядом?»

Гойко недавно обронил фразу, от которой у меня по спине пробежала дрожь: «Многие в Сараеве думают, что эта война не закончилась, что всего-навсего наступила мирная передышка».

Поднимаемся по лестнице, ведущей к маленькому ресторанчику на холме. Небольшая площадка с деревянными столами и лавками — терраса нависла прямо над крытым рынком Маркале. Если посмотреть вниз, можно увидеть белые как мел головки сыра. Гойко показывает мне прилавок — единственный, где еще продают свинину, — в самом конце рынка, отдельно от других торговых рядов.

Пьетро интересуется, чем свинина не угодила жителям Сараева. Гойко объясняет ему, что большинство здесь — бошняки, то есть боснийские мусульмане, а мусульмане свинину не едят. Пьетро говорит, что он в курсе, он готовил в школе доклад о трех монотеистических религиях. Но в Сараеве непонятно, кто мусульманин, а кто нет.

— Тут все одинаковые, — смеется Пьетро.

Гойко рассказывает, что в детстве он, как прилежный католик, праздновал дома Рождество, а в конце Рамадана ходил с друзьями раздавать милостыню, закят.

— И это было для нас абсолютно обычным делом. Теперь же в школах три разных языка, а когда записываешь ребенка, нужно сообщить, к какой этнической общине ты принадлежишь.

Заказываем боснийский суп, мне хочется наваристого бульона с мясом и овощами. Пьетро предпочитает плескавицу, нечто вроде гамбургера.

— Почему была эта война?

Гойко смеется, в глазах вспыхивают гневные огоньки.

Кладет руку на голову Пьетро:

— Знаешь, кто может ответить на твой вопрос? Великий комик, несчастный и немой, который, как и мы, вытворял глупости с серьезным выражением лица. Бастер Китон тут нужен. Ты видел «Фильм»?^[6]

Пьетро мотает головой, ему не нравятся старые черно-белые ленты.

Гойко тушит пальцами сигарету:

— Что будешь делать, когда вырастешь, Пьетро?

— Не знаю... может, буду музыкантом.

И естественно, не смотрит на меня, не смеет. Давняя история. Пианино, которое мы взяли для него напрокат, несколько лет пылилось в доме. Пьетро занимался редко, говорил, что это ему не нужно. Два года назад увлекся игрой на гитаре, все делает сам, берет уроки в каком-то джаз-клубе. Я нарочно устранилась, пусть поступает как знает. Всякий раз, когда он чувствует хоть малейшее давление с моей стороны, поступает наоборот, будто мне назло.

Мы снова идем по улице. Дождь очистил асфальт, дороги блестят, как стальные.

Пьетро идет впереди нас, специально шлепает прямо по лужам. Шагает по красным розам на мостовой как по обычной римской улице, равнодушно, расхлябанно, — есть в этом даже что-то оскорбительное. С тех пор как мы здесь, все делает мне наперекор. Злится, чувствует, что в нашей поездке есть нечто большее, но отказывается это признавать. Я хотела бы взять его под руку, прижать к себе. Но у меня не хватает смелости подойти. Если Пьетро суждено что-то понять, почуять какой-то след, он должен сделать это сам, без моей помощи. Впрочем, он очень похож на своего отца — такой же радар, способный улавливать слабые сигналы.

— Он похож на Диего, правда?

Гойко смотрит на меня, а не на Пьетро:

— Хочешь, скажу тебе правду?

— Да...

— Он похож на тебя... та же походка, та же улыбка, так же, как у тебя, часто меняется настроение...

Гойко обнимает меня, наваливается всем своим весом, я чувствую его дыхание.

— Ты просочилась в него, Джемма. Ты всегда умела это — забираться под кожу... побеждать, не прилагая усилий. Я говорил, что по уши был в тебя влюблен?

— Нет, никогда.

— Ты так любила его... вы так любили друг друга...

Мы входим в какой-то двор рядом с мечетью. Две длинные одинаковые комнаты, в которых расположена выставка, со стеклянными стенами на белом металлическом каркасе, похожи на оранжерею. Какая-то девушка, худая и высокая, как модель, — на голых ногах болтаются толстые черные гетры, — поправляет работы, подвешенные на маленьких стальных тросах. Идет нам навстречу, толкает Гойко в плечо, шарит у него по карманам, вытаскивает сигарету, смеется, целует его в губы.

Спрашиваю, не она ли его жена? Девушка хохочет, она хоть и не знает итальянского, но поняла, о чем речь. Мотает головой. Гойко знакомит нас: это известная художница, гениальная и сумасбродная.

Останавливаюсь у ее фотографий: мужчины и женщины, выжившие в концентрационном лагере Омарска. Объектив фотоаппарата выхватил поблекшие лица, изможденные голодом, страхом. Крупным планом старики: ввалившиеся щеки, кривые борозды морщин, скорбный рот. И глаза... Кажется, что они смотрят в одну точку, в некое темное пространство, скрывающее страшный отрезок их земного пути. Напряженный взгляд в камеру, словно они хотят что-то спросить у поймавшего их объектива, получить ответ, которого не знает никто.

Фотографии Диего в следующем зале. Присаживаюсь на стул, чтобы рассмотреть их. Для посетителей выставка будет открыта позже. На столе, покрытом бумажной скатертью, раскладывают маленькие бутерброды. Я знаю все эти фотографии, не было необходимости приезжать сюда только затем, чтобы увидеть их. Они занимают всего одну небольшую стену за колонной. Вот женщина бежит от снайперской пули — растрепанные волосы, нога согнута в колене, как сломанное крыло. Вот чугунная ванна посреди обломков, на краях — мыльная пена, в воде — мертвое тело, накрытое зеленым мусульманским покрывалом. Вот старуха снимает с веревки белье, идет снег, руки тянутся через оконную раму без стекол. Вот

кот спит в кресле сгоревшего автобуса. Вот детская коляска, нагруженная бутылками с водой, которую тянет улыбающаяся Себина.

Пьетро слоняется по залам, рассматривает фотографии. Я жду его, и постепенно ко мне возвращается покой.

Дома на антресолях у меня хранится целая кипа фотографий Диего. Многие годы они помогали мне жить. Я ждала, когда заснет ребенок, испытывая душевный подъем, возбуждение, как будто спешила на встречу с любовником. Случалось, что несколько дней, а то и месяцев я не вспоминала о них. Как о сексе, к которому я всегда относилась очень неровно — то внезапная страсть, то полное отсутствие интереса. Ближе к вечеру все двери в доме наводили на меня тоску — дверь коридора, дверь полутемной гостиной. Джулиано часто дежурил в ночную смену, я оставалась одна. Непонятная вязкая тяжесть опускалась на плечи. Из ниоткуда, из темного квадрата окна, из дыхания сонного ребенка возникал образ Диего, мысли о нем крутились в моей голове неотступно, до боли в висках.

Я закрывалась в комнате, доставала с антресолей коробки. Слабый свет ночника очерчивал пространство, вне которого больше ничего не существовало. Фотографии разбросаны на кровати, на ковре. Я на четвереньках ползла по глянцевой дорожке, плакала, смеялась, скулила, как собака на могиле хозяина.

Как-то утром Джулиано нашел одну фотографию, случайно оставшуюся под подушкой. За ночь она изрядно помялась. Джулиано старательно разгладил ее руками и вернул мне: «Держи, милая, наверное, это твоя... Красивая очень».

Он сидел на кровати, плечи опущены, живот мешком. Я подошла, взяла его руку, сиротливо лежащую на простыне, прижала к лицу и заплакала. Он тоже стал всхлипывать. Я подумала, что ему еще более одиноко, чем мне, ведь мужчины, что ни говори, острее, чем женщины, чувствуют одиночество. Плакать вместе — есть в этом что-то символическое... сострадать, чувствовать, как боль другого сжимает твоё горло. Ты и весь мир жалеешь, и себя самого, кусок мяса, проклятая колбаса, мешок никчемный. Ты плачешь, и твой живот трясется. Убирайся, жалкий болван, окопайся где-нибудь в глубинах дома или распахни окно и прыгни вниз, но, уж если решил остаться, скажи что-нибудь нам в утешение.

Джулиано сказал тогда: «Мне так жаль, что этот мальчик умер, ты не представляешь себе, как мне жаль...»

Я улыбнулась: «Пожалуй, ты мог бы его арестовать, он был из тех, кто

попадает за решетку».

Пьетро подошел, настороженный, как мышь у мышеловки, — хочется полакомиться, несмотря на опасность.

— Вот эти?

— Да.

Рассматривает фотографии. Взгляд скользит снизу вверх, потом снова вниз, два движения глазами — и все.

— Нравятся?

— Где кот — нравится, круто... А ты... ты тоже была с ним?

— Нет, не все время.

Садится рядом, стульев больше нет, поэтому он прислонился спиной к колонне, присел на корточки, как большой воробей.

— А я где был?

— Ты еще не родился.

— А ты не боялась?

— Чего?

— Ну, ты же была беременной, ты не боялась, с животом-то, на войне?

Я киваю, шмыгаю носом, говорю ему, что, наверное, простудилась, промочила под дождем ноги. Пьетро, посмотрев на мои туфли, идет к столу с закусками. Вижу, как он берет один бутерброд, потом второй. В зале собираются посетители.

Небольшие группы из двух-трех человек. Люди прохаживаются с бокалами вина в руках, останавливаются перед работами, разговаривают. Я наблюдаю за ними из своего укрытия за колонной. Фотографии, которые я хорошо знаю, развешенные здесь, на стенах галереи, совсем по-другому действуют на меня.

Я рассматриваю детали: чья-то рука, темное пятно — птица в небе, бампер автомобиля отлетел на обочину. Смотрю на Себину: круглые глаза-пуговицы, тонкие губы с утолщением по центру — яркий смешной рот. Узнаю это выражение лица — атаманша, гроза района — и не могу сдержать улыбку.

— Иди-ка сюда, *Bijeli Biber*.

Так я звала ее, *Белый Перец*...

Она подходила — глаза опущены, маленькая ямочка на подбородке, такая круглая, что, кажется, там должна лежать жемчужина. Я сжимала в кулаке леденец, протягивала обе руки — она всегда отгадывала, в какой конфета.

— *Bijeli Biber*, тебе учиться надо, понятно?

Она кивала и стремилась поскорее удрать. Я советовала Гойко

присматривать за ней, говорила, что улица ее испортит.

— Кем она вырастет, если не будет учиться?

Гойко находил шалости сестры милыми и очаровательными.

— Артисткой. Она умеет кататься на коньках, ходить по канату... и врать.

Иногда она бывала ужасно грубой, не здоровалась, упрямо играла с какими-то громыхающими шарами, которыми после йо-йо безуспешно пытался торговать брат. Никто не понимал причины ее плохого настроения. Однако мне удавалось докопаться до сути. Повод для грусти всегда оказывался смешным, пустяковым, нелепым... но я понимала ее. Точно так же, как и Себина, в детстве я была ужасной перфекционисткой, вечно недовольной собой.

Она вела себя резко, даже нагло. Убегала во двор, сидела, прислонившись к стене, посасывала кончики волос, грубила всем, кто к ней подходил. «Эй, Белый Перец», — прижимала я ее к себе. Как будто снова ощущала собственную раздутую гордость, ясно видела наименее привлекательную часть себя самой. Мне казалось в детстве, что из-за этих острых углов никто и никогда не сможет по-настоящему полюбить меня. То же самое испытывала и Себина — то же ощущение одиночества. Высокомерные дурочки — что она, что я. Девочка обнимала меня за шею, и я несла ее домой, к маме. Ноги Себины свешивались до самых ступенек. Все прошло, грусть рассеялась. По правде говоря, я никогда не возилась с детьми, у меня не хватало терпения, я не умела сюсюкать. Но Себина — особый случай. Она была дарована мне Богом как предвестие любви. Я снова вижу этот лестничный пролет, площадку между этажами, на которой останавливаюсь, чтобы перевести дыхание. В узком длинном окне — серый двор в сумерках... ее руки на моей шее, ее теплое дыхание, ее тайна.

Пьетро остановился за колонной:

— А эта, ма?

Рядом с выходом — фотография, которую я не заметила.

— Эта тоже Диего?

Отвечаю, что не уверена...

— Здесь внизу его имя.

Странная фотография, размытая, с трещинами. Может быть, кусок стены с темным пятном, вокруг которого — красные рваные лепестки... наподобие розы.

— Что это?

— Не знаю.

Пьетро нравится эта фотография, он долго рассматривает ее.

— Непонятно, что это, но классно!

Он считает, это могла бы быть крутая обложка для CD-диска.

А для меня это — осязаемая боль. Ее странная материализация. Мне кажется, что в этом красном пятне ощущение войны сильнее, чем в других фотографиях.

Протягиваю руку, чтобы дотронуться до зернистого отпечатка:

— По-моему, это сделал не папа, они ошиблись.

Диего появился в Риме рано утром. Только он был способен проехать на мотоцикле пятьсот километров. Всю ночь летел по автостраде, обгонял в слепящем свете фар одну за другой большегрузные фуры, не останавливался ни на минуту. Позвонил нам в домофон, в руках букет подсолнухов, купленных в круглосуточном цветочном магазине. Я вышла на улицу в ночной рубашке, брезжил рассвет, жалюзи соседнего бара были еще опущены.

— Ну, вот я и собрался!

Беру у него подсолнухи, они плетьюми повисли в моих скрещенных на груди руках. Я смущена, рассержена — только вчера я вернулась из Генуи, даже сумку не успела разобрать, и вот, пожалуйста, он уже здесь — волосы примяты шлемом, красные от ветра щеки.

— Я не могу пригласить тебя, ты же в курсе. Я ушла от мужа совсем недавно, представь, что скажут мои, если я приведу в дом другого мужчину...

— А где этот другой мужчина? — Диего оглядывается по сторонам. Улыбается. — Не волнуйся, мне есть где остановиться.

Ему показалось, что меня нельзя оставлять одну в такой сложный период. Лицо невинного ягненка, а глаза смеются. Даю ему пинка, он хохочет, больно мне самой: у меня на ногах вьетнамки, а на нем — жесткие мотоциклетные штаны. Он глядит вверх, машет кому-то рукой. Я поднимаю голову и вижу, что на балкон вышел папа, он в пижаме, курит. Папа тоже машет Диего, в руке сигарета.

— Здравствуйте! — кричит снизу Диего.

— Здравствуйте, — отвечает папа.

— Это я, Диего.

— Армандо. Папа. Как дорога?

— Ничего, ровная.

Я знаками велю отцу уйти, вернуться в дом. Но он спускается вниз, в пижаме и тапках, которые я подарила ему на день рождения, подходит к нам. Они пожимают друг другу руки. Папа рассматривает мотоцикл:

— Ого! «Триумф Бонневиль Сильвер Джубили», прекрасный выбор.

Позднее я узнала, что они за время моего замужества успели несколько раз поговорить по телефону. Обо мне, о фотографии, о путешествиях. Уже тогда они почувствовали взаимную симпатию. Вот сейчас стоят друг против друга, и сразу понятно, что станут приятелями. Что еще одна любовь зародится на этой заре. Странная штука жизнь. Хотя, может быть, в этом нет ничего странного — Диего очень рано потерял отца, а мой папа всегда мечтал о сыне. К зятю, моему мужу, папа никогда не испытывал теплых чувств.

Диего спрашивает отца, не хочет ли тот прокатиться на мотоцикле. Папа готов, застегивает пуговицы пальто, наброшенного на пижаму, но под моим испепеляющим взглядом смущается, бормочет: «Ничего, попробую в другой раз, когда буду лучше одет».

Папа предлагает зайти в бар, который тем временем открылся. Мы переходим дорогу, отец так и идет, в пижаме и в тапочках. Ждем, когда бармен разложит круассаны и включит кофеварку. Диего проголодался в дороге, ест с аппетитом. Папа пьет кофе, выкуривает еще одну сигарету. Мы стоим за высоким столом, смотрим в окно, на дорогу, на первые шаги нового дня.

— Замечательно... — говорит отец.

— Ты о чем, папа?

— Замечательно, когда что-то начинается.

— Далеко еще?

— Это где-то внизу, на реке.

Мы бродим по задворкам рынка. У Диего в руках мятый листок с адресом и связка ключей. Спускаемся по ступеням из травертина, ведущим к дамбе среди кочек мха и пустых бутылок. У реки холодно, ноги скользят по сырой земле. Мутно-желтая вода плещется вокруг зеленых островков, покачивает прибитый к берегу мусор. Здесь не слышны звуки городской суеты, только плеск воды да хриплые крики чаек. Я оглядываюсь по сторонам, но ничего не вижу.

— Ты уверен, что это здесь?

— Нет.

Мы идем вдоль плотины, возвращаемся назад. Под мостом, своды которого почернели от копоти, валяется брошенный ящик.

— Бог есть.

Я поворачиваюсь. На стене среди разных граффити большими красными буквами выведено: «БОГ ЕСТЬ».

— Ты веришь?

— Во что?

— В то, что Бог есть под этим мостом?

Пожимаю плечами, вздыхаю:

— Если так думает местная шпана...

Диего не верит в Бога. Как-то во время наших ночных разговоров он поведал мне о космической энергии, которая окружает нашу вселенную и защищает ее как огромный колпак. Души плохих людей никогда не попадут туда, они запятнали себя земными грехами, они умирают и превращаются в пыль, растворяясь в космической тьме. Души хороших людей, наоборот, взлетают, как ракета, ввысь. Там они возрождаются после земных трудов и, при возможности, посылают на землю положительные энергетические заряды. Я удивилась тогда этому бреду и подумала, что, наверное, он выкурил косяк. Я же, как и многие, верю в Бога лишь изредка, когда чего-то боюсь.

За мостом берег реки становится чище. В зарослях камыша — спортивный комплекс: два теннисных корта и небольшая заброшенная площадка для детей. Рядом пришвартована баржа.

— Вот, нашли.

Этот недавно закрытый плавучий бар принадлежит его другу-музыканту, они познакомились в одной из поездок.

— Здесь покуривали «травку», у моего друга начались проблемы...

Диего говорит, что летом заведение снова откроется, а сейчас конец сентября, поэтому друг разрешил ему здесь перекантоваться — может жить сколько захочет, если не боится речной сырости. Я молчу, не могу поверить в происходящее.

Открываем ключом большой ржавый замок, деревянную дверь нужно хорошенько толкнуть плечом. Внутри темнее, чем снаружи. Матовые от пыли стекла кое-где покрыты плесенью. Огромное помещение, на полу линолеум, имитирующий паркет. В центре под большим светильником в виде штурвала — барная стойка, у стены громоздятся металлические столы, лавки и стулья. Я растираю плечи — холодно. Диего в восторге, щелкает шпингалетом круглого окна, по реке в байдарке плывут двое.

— Ты серьезно намерен остаться здесь?

— Тебе не нравится?

Я рассматриваю прозрачную дверцу пустого холодильника и диван из искусственной кожи, испещренный надписями шариковой ручкой. Диего нагибается и громко читает какую-то глупость. Хохочет как полоумный.

— Отпадное местечко...

Он возбужден, глаза с темными кругами горят как у одержимого.

— Ты снова под кайфом?

Он не обижается.

— Да, — соглашается, — он тащится от меня, я лучше героина, потому что кайф очень длительный, долго сохраняется в крови, меня не вытравить никаким стрихнином. Он хотел бы заняться любовью прямо сейчас, немедленно. Я прошу не трогать меня, даже близко не подходить. Мне не нравится это место, здесь и сесть некуда — все сырое, все грязное...

Он открывает сумку — книги, кассетный магнитофон, минимум одежды, проложенной между фотоаппаратами. Подарок для меня — баночка генуэзского соуса песто, завернутая в трусы, на которые пролилось масло.

Напевает, раскладывая свои вещи. Вешает одежду на сушилку для бокалов. Стоит голыми ногами на линолеуме, покрытом коркой застарелой грязи. Спускается по лестнице, возвращается со шваброй и полным ведром воды, которую тут же выливает на пол. Трет линолеум, как палубу. Я забираюсь с ногами на диван. Рассматривая непристойные надписи, думаю о том, что наши отношения обречены, что этот парень сумасшедший, вечный скиталец, он может спать где придется, даже в туалете, сидя на толчке в аэропорту какого-нибудь африканского города.

Смотрю на свои спортивные туфли, которые еще совсем недавно были белыми... и представляю, как бы вытянулось лицо у Фабио, если бы он меня здесь увидел. В небольшой нише в стене — плита с двумя конфорками. Диего возится с газовым баллоном, трясет его, проверяя, осталось ли что-то внутри.

— Приглашаю тебя на ужин. Придешь?

Иду. На часах девять вечера, я застегиваю молнию на черном платье-футляре. Диего настоял, чтобы я оделась элегантно. Провожу помадой по губам, ощущая мягкую негу этого жеста. Я спросила его, не надо ли захватить что-то к ужину, но он ответил, что газ есть, об остальном он позаботится. Я решила принести вино. Магазины уже закрывались, в последний момент я забежала купить новые чулки. И вот я в такси, скрестила ноги в этих дурацких чулках с резинкой... машины скользят по набережной Тибра, свет фар пляшет на моем лице... я чувствую себя маленькой глупой феей...

Теннисные корты освещены для любителей ночных турниров. Баржа на противоположном берегу сияет огнями, раскачивается от оглушительной музыки, — наверное, там какой-то праздник, день рождения или свадьба.

Наша баржа погружена в темноту, лишь тусклый свет где-то внутри пульсирует, как светлячок, как плывущий по воде фонарь. Вокруг — река с

ее звуками, дымка над водой, тихая заводь.

Он появляется из темноты, лица не видно, только майка, белое пятно на груди. Я слышу его легкие шаги.

— Добро пожаловать.

Подает мне руку, притягивает к себе. От него чудесно пахнет.

— Что это?

— Можжевельник, гель для душа, — смеется Диего.

Я тоже смеюсь, мы оба немного смущены. Сегодня особый вечер, праздник по случаю нашей помолвки. Диего останавливается в дверях, смотрит на меня... скользит взглядом по блестящим чулкам, по черному платью с глубоким вырезом, покрашенным губам...

— Круто!

Он тоже элегантен по-своему: черные облегающие брюки в полоску, узенький галстук надет поверх футболки.

— Я забыл в Генуе рубашки.

Из-за его спины пробивается мягкий свет и... аромат еды.

— Прошу, любимая, заходи.

Оглядываюсь по сторонам — и не узнаю это место... что он сделал с ним? Расставил столы и стулья, как в настоящем кафе, ожидающем посетителей... На всех столах зажжены маленькие свечки, а на полу, островками там и тут, — пивные кружки, из которых торчат цветы — маленькие клумбы. Поднимаю глаза... фотографии: мы в Сараеве, мы в Генуе, мое лицо, мои губы, мой живот — две веревки с бельевыми прищепками протянуты через всю баржу, как гирлянды. Из маленького магнитофона доносится музыка, она едва слышна в таком большом помещении. Рядом со стеклянной дверью накрыт небольшой стол: белая скатерть, высокие бокалы... в полумраке даже жуткий диван кажется элегантным.

— Ну как? — смеется Диего.

— Как же ты...

Слезы наворачиваются на глаза. Никто и никогда в жизни не делал для меня ничего подобного... никто и никогда больше не сделает для меня ничего подобного. Я смотрю на длинный ряд столов и свечей.

— Это в память о мертвых, — шутит Диего.

Приносит мне выпить. Шампанское со вкусом персика.

Он купил его в супермаркете, а еще гель для душа, дуршлаг для макарон, овощи и свечи.

В жизни не ела таких вкусных макарон с генуэзским соусом песто! Он приготовил и немного мяса, но оно недожарено: духовка вышла из строя.

Смотрит, как я ем, поднимает бокал, говорит тост... Я сбилась со счета, сколько раз мы поднимали бокалы.

Спрашиваю, удалось ли ему немного отдохнуть. Отвечает, что он так счастлив, так взволнован, что не может спать. Теперь мы вместе, и это его окрыляет, заряжает невероятной энергией. Его энтузиазм меня немного настораживает и пугает... по-моему, долго это продолжаться не может. Однажды утром он проснется и увидит меня такой, какая я есть, обычной женщиной со своими слабостями. Возможно, скоро я ему надоем.

— Невозможно, — отвечает он, — я люблю тебя. Ты родишь мне много детей.

— Детей! — смеюсь я. — У нас нет ни лиры. Мы не можем себе позволить даже завести собаку. Как ты собираешься жить в Риме?

Он говорит, что будет обращаться в разные агентства, будет снимать свадьбы. Или пойдет искать старушек, как уже делал, когда был совсем на мели.

— Им нужны хорошие фотографии на могильную плиту, они надевают свои лучшие серьги, долго усаживаются передо мной... Еще и кофе предлагают.

Я смотрю на него... радостный и беззаботный, как школьник, как удравший от хозяина пес... этот галстучек — ошейник с поводком. Что нас ждет? Скорее всего, мы потонем вместе с этой баржей.

— Как тебе удастся быть всегда таким веселым?

— Очень просто, я ненавижу грусть.

Кричит во все горло: «А-ха-ха-ха!» — и падает на пол, словно сраженный выстрелом. Я забросила ногу на ногу, и он увидел кусочек голого тела выше ажурной каймы. Кричит, это убийственно, он слишком слаб, чтобы выдержать подобное зрелище. Ползет ко мне, снимает туфли, гладит мои ноги, целует их через нейлон чулка. Шепчет, что пора приниматься за дело, если мы хотим много детей... нужно время, работа пойдет неспешно, как строительство метро в Генуе.

Мы падаем на тот самый диван, измаранный признаниями в любви, изображениями гениталий и пронзенных сердец.

А потом я лежу, свернувшись калачиком от холода. Диего накрывает меня своим свитером, убирает со стола грязную посуду. Босиком, голый, смешной, галстук почему-то так и болтается у него на шее... Первый раз я вижу в нем мужчину. В моменты близости я чувствую родство наших душ, чувствую его надежность. Эта старая баржа кажется мне теперь лучшим местом во вселенной.

Закрываю глаза, знаю, что он тихо-тихо садится рядом, объектив его

фотоаппарата крадет мой глаз, руку, уголок рта, мочку уха.

Свечи догорают, огоньки тонут в горячих лужицах воска. Мне пора, думаю я, надо встать и одеться, но вместо этого замороженно смотрю на угасающий свет. Баржа погружается в темноту. Время замедлило свой сумасшедший бег, потекло ровно и безмятежно. А я спокойно щиплю траву, как отбившаяся от стада овечка.

Домой я пришла лишь рано утром, чтобы собраться и снова уйти. Мать ждала меня, на лице — плохо скрываемое недовольство.

— Кто этот парень?

— Так... один...

— Ты уверена, что правильно поступаешь?

— Нет, мама, я ни в чем не уверена.

Я спускалась по ступеням, скользким от сырости, меж старых лип. Диего ждал меня внизу у реки. То, что он живет там, казалось мне теперь совершенно естественным. Стайки диких уток качались на волнах, город пропадал из виду, оставался где-то далеко... Когда шел дождь и в стекла стучала вода, баржа напоминала подводную лодку. Я полюбила это место, мне нравился берег, поросший камышом, пронзительные крики чаек. Иногда Диего незаметно ускользал ранним утром, после дождя отправлялся на охоту за лужами. Он мог часами фотографировать дом, ветку дерева, светофор, вернее, их отражение в воде. Я шла за ним, складывала отснятые пленки в карман, помогала заправлять в фотоаппарат новые. Он ловил кадр, стоя на коленях. Мимо проносились машины, обдавая нас грязными брызгами, но он, казалось, этого не замечал. Напротив, ему нравилась рябь на воде, искаженная, разорванная картинка. Фотографии он не печатал, пленки штабелями громоздились на барной стойке баржи. Иногда это делала я. Приносила желтые конверты «Кодак», подавала знак Диего, бросив в стекло камень. Диего радовался, разбрасывал фотографии прямо на полу. Ходил вокруг них, раздвигал босой ногой, чтобы вытащить нижние. Иногда не признавал свои снимки, не желал их рассматривать. Как будто нужна была некая дистанция, чтобы отдалиться от себя самого. Вынимал две-три фотографии, закреплял их на веревке бельевыми прищепками, остальные складывал в конверт и бросал на стойку рядом с пленками.

Мы были довольно необычной парой, за продолжительность наших отношений никто бы не поручился. Страсти свойственно остывать, и тогда отношения лопаются как мыльные пузыри. Мы были совершенно разные. Он — легкий, беззаботный, я — серьезная, в строгом пальто, с темными кругами под глазами. Но дни бежали вперед, а мы ходили, держась за руки,

спали вместе, чувствуя себя двумя половинками одного яблока.

Наступил новый год, новый виток жизни. Я попробовала себя в журналистике, начала сотрудничать с различными газетами.

Диего прожил на барже всю зиму. Часто простужался, ходил с красным носом. Я ложилась спать в шерстяном свитере. Когда становилось нестерпимо холодно, мы забирались в спальный мешок. Диего купил ящик виски. Чтобы согреться, мы постоянно пили, как бомжи.

И вдруг судьба преподнесла нам подарок. За небольшие деньги мы сняли жилье у одной религиозной организации. Ночью отправились посмотреть дом, пытаясь в темноте сосчитать наглухо закрытые окна. Мы даже представить себе не могли, что их так много: целых шесть больших окон на втором этаже красивого старинного особняка. Уладив с агентом все формальности, мартовским утром мы поднялись по лестнице нашего дома. Казалось, что этот дом ждал именно нас. Домá тоже ждут своих жильцов, скучают где-то вдалеке, а потом распахивают окна и двери двум сумасшедшим влюбленным, которые не могут поверить своему счастью. Я вспоминаю сердце, да, сердце, нацарапанное гвоздем на стене парадного. Стрела показывала на дверь нашей квартиры. Консьерж сказал, что в этой квартире долгое время жили пожилые бездетные супруги. Кто нацарапал сердце? Их племянник? Мальчишка, живущий в доме? Или нищий, получивший щедрое подаяние от живущих здесь старичков? Не знаю, да это и не важно. Важно, что сердце было на стене и осталось бы там, если бы стену не оштукатурили заново. Я тогда разозлилась, но ничего не поделаешь — в тот день, когда рабочие замазали сердце, меня, к сожалению, не было дома.

Диего достает чековую книжку и выписывает чек, прижав ее к стене. Авторучка не пишет. Диего весь красный, вспотел. Оплачиваем залог и за три месяца вперед.

— Ты уверен, что у тебя хватит денег? — спросила я, когда мы спускались.

— Надеюсь.

Наше новое жилище хранило дух прежних хозяев, тихих, скромных людей, из бережливости рано гасивших свет. Когда нам дали ключи и оставили в квартире одних, она показалась нам храмом. Мы гладили стены, прижимались к ним щеками, целовали их, словно дом был живым существом. Отныне эта штукатурка, эти кирпичи будут нас защищать.

Единственный предмет интерьера, оставшийся в пустой квартире, — старое пианино молочного цвета, с маленьким букетом, выгравированным на верхней части панели, — инструмент для барышень. Старьевщик,

который забрал из квартиры всю мебель, должен был вернуться за ним позднее. Диего поднял крышку, стал что-то наигрывать. Он никогда не учился, играл на слух. Пианино было ужасно расстроено, но мне показалось, что это лучшая музыка, какую я слышала.

— Что это?

— То, что я немного помню... Дебюсси, Леонард Коэн.

Его лопатки двигались под коричневой футболкой, на полу плясали солнечные блики. Где-то внизу осталась городская суета. А здесь — маленькое белое пианино и руки, оживившие его. Эхом в пустых комнатах отзывалась мелодия — увертюра к нашему будущему.

Со старьевщиком мы сговорились, заплатив ему небольшую сумму. Пианино осталось у нас.

Мы перекрасили стены, поменяли старую ванну, привели в порядок паркет, часами с феном в руках высушивая стыки.

В обед располагались прямо на полу, ели, как работяги, хлеб с колбасой и баклажанами, запивая вином. Ничего вкуснее не ела в жизни. Как-то ночью мы занялись любовью на разостланных газетах. Типографская краска оставляла следы на наших разгоряченных телах. Спину Диего украсила татуировка — советский солдат в Афганистане.

Я подарила Диего плакат, который очень ему нравился: Жорж Брак в своей мастерской, снятый Маном Реем. Оформила несколько фотографий, выбрав их на свой вкус: ультрас, футбольные фанаты, — друзья Диего, грустное шествие антарктических пингвинов, плот на Меконге, над которым тучей кружат синие жуки. И еще фотографии из Сараева... малыш, спящий в деревянном ящике на овощном рынке.

Телефонная компания наконец-то подключила нам давно пылившийся в углу аппарат.

— Как дела, поэт?

— А вы как, голуби?

Прокуренный голос Гойко доносится по проводам:

— Бодры и веселы, как слышу.

— Верно.

— А кто-то в этом мире работает на вас.

— Кто же?

— Один поэт...

— Посылаешь нам добрые мысли?

— Мои мысли... не знаю, добрые ли...

Смех у него в горле рокошет так, будто где-то сваливают металлолом.

Мы купили светлый диван на колесиках, чтобы удобно было двигать

его по гостинной. Диего выписал очередной чек, хотел оплачивать все сам. Потом я узнала, что у него кончились деньги и мама из Генуи перевела на его пустой счет немного средств из пенсии, которую она получала за потерю кормильца. Моя мама принесла нам медную подставку для зонтов, сказала, будто извиняясь:

— В хозяйстве может пригодиться...

Диего с искренним восторгом расцеловал ее в обе щеки. Мама, не привыкшая к такому обращению, покраснела, застыв неподвижно, как кукла.

— Ты уверена, что он совершеннолетний? — прошептала она мне, улучив минутку.

— Нет. Он не показывает паспорт. Потерял.

Папа подошел к окну, ему нравится вид: трамвайные рельсы разрезают дорогу, между платанами громоздятся торговые палатки. Ему нравятся даже стаи вездесущих голубей. Он любил старые дома, но всю жизнь жил в самой обычной квартире, в шестидесятые годы приобретенной в тогдашней новостройке, как хотела мама.

Запах краски еще не выветрился, мама кашляла и оглядывалась по сторонам, чувствуя себя пленницей, не отпускала отца ни на шаг, не позволив ему заглянуть в нашу спальню. Босой Диего ходил взад-вперед, расставлял на столе закуски. Мама смотрела на него заворожено и испуганно, как на неизвестное науке животное. Макароны плавали в соусе — Диего перестарался с томатами. Подливка брызнула отцу на сорочку. Мама покачала головой, приложила к ярко-красному пятну уголок бумажной салфетки.

— Чем вы занимаетесь? — спросила она Диего.

— Я — фотограф.

— Понятно. — Она кивнула. Прожевала кусочек и вновь вернулась к теме: — А что вы снимаете? Реклама... свадьбы...

Диего улыбнулся, махнул вилкой, на которой были наколоты макароны, в сторону одной из фотографий на стене:

— Лужи.

Я расхохоталась: два бокала вина — и я счастлива, ведь сама прибила паркет, покрасила стены. Мама тоже попыталась засмеяться. Мне стало жаль ее, — это напряжение, эта скованность были мне хорошо знакомы.

Папа надел очки, решил взглянуть на фотографии Диего. Позвал маму:

— Аннамария, подойди посмотри...

Аннамария подошла. Так они и стояли рядышком, мои старики, уставившись в стену... пытаюсь найти в фотографиях Диего ту частичку

меня, которая незаметно ускользнула от них.

В конце концов мама смягчилась, стала часто, даже слишком, приглашать нас на ужины. Теперь она сама подставляла Диего щеки для поцелуя, по-детски ласкового и теплого. По правде говоря, мы с отцом не баловали ее своим вниманием, считая себя выше, умнее, а на самом деле в нас говорило высокомерие. Она прониклась нежностью к этому худому порывистому парню, который постоянно вскакивал, чтобы помочь ей. Накладывала ему огромные порции.

Купила для него свитер, но стеснялась отдать, поэтому положила в мою сумку, стоящую в коридоре.

— Что это, мам?

— Так, свитер... Если вам не понравится, подарите кому-нибудь.

Диего немедленно надел его, свитер был из толстой шерсти, с высоким воротом.

— Отличная штука, будет носиться лет десять, не меньше.

Лицо у мамы зарделось, она радовалась, что угадала размер, цвет... что Диего такой покладистый в отличие от меня.

— Идем домой, милая.

— Пока, пап, пока, мам...

Я спешила к лифту, а Диего все мешкал, целуя стариков на прощание:

— Пока, ребята, до встречи!

Вот именно, он называл их *ребята*...

Так началась наша совместная жизнь. Я боялась, что рано или поздно нас затянут житейские будни, рутина повседневности и что однажды в серый непогожий денек к нам в дом вместе со смогом проникнет разочарование. Казалось, что и нас не минует прозрение, когда иллюзии рассеиваются, с глаз спадает пелена влюбленности и все недостатки другого становятся очевидными. Совместная жизнь станет в тягость, каждый будет думать о себе, о своих проблемах. Такое происходит сплошь и рядом, случилось это и с моими родителями. Отец радовался возможности утром убежать на работу, мать облегченно вздыхала, оставаясь одна. Однако они уважали и по-своему любили друг друга.

Мы же принадлежим к другому поколению, — наверное, более смелому и, без сомнения, более беспорядочному в любви. Мы слабохарактерные, изнеженные, в нашей среде показное благополучие стало единственным мерилем всех достижений.

Многих старых друзей я потеряла из виду, после нашего с Фабио разрыва они исчезли как по мановению волшебной палочки. Немногочисленные знакомые пары тридцатилетних, наших ровесников,

представляли собой грустное зрелище. За короткое время они успели сойтись-разойтись, задыхались от ритма современной жизни... в кафе и ресторанах, в раздевалках спортклубов громко разговаривали о деньгах и о сексе. Не о любви, а именно о сексе, выставляя напоказ свою интимную жизнь. Стыдливость исчезла, уступив место сарказму.

Если я уговаривала Диего пойти со мной на вечеринки, он соглашался.

— Нельзя же все время жить в изоляции, — говорила я ему.

Он устраивался в уголке, наливал себе вина. Разговоры не поддерживал, молчал, но настроен был дружелюбно. Да и о чем он мог говорить с этими молодыми карьеристами, у которых на лице написана вся жизненная программа?! Они попали в мясорубку погони за благосостоянием, сами о том не подозревая, ничего и никого не видя вокруг себя. Тогда я считала их друзьями. С годами стало понятно, что они собой представляют. Некоторых из них я видела потом по телевидению — стильные очки, носки в полоску под черными брюками. Пустышки, лицемеры, прикрывающиеся притворной добродетелью. Не знающие ни в чем недостатка, дети «тучных лет», благополучия, измеряемого деньгами, квартирами и машинами.

Я тянула Диего в тот мир, который казался мне интеллектуальным, утонченным. Думала, куда мне до них! Я — дочь обычного преподавателя, входившего в класс с пилой и фанерой. От меня несло благородством и книжной пылью. Смеялась шуткам, участвовала в играх для умников — определить книгу по первым предложениям, угадать, какому философу принадлежит высказывание, изобразить сцену из малоизвестного фильма.

Однажды на какой-то вечеринке я увидела, как Диего стоит у самого дальнего окна, игнорируя общее шумное веселье. Он смотрел на дорогу. За окном шел дождь.

— О чем ты думаешь? — спросила я Диего.

— Об отце.

— Об отце?

— Дождь. Когда идет дождь, мне вспоминается Генуя, отец в брезентовом плаще...

Я слушала невнимательно: там, на диване, продолжалась игра. Я вернулась к своей команде: меня радостно приветствовали, потому что я знала ответ. Речь шла о бестселлере, очень популярном в тот год. В год, когда чернобыльское облако надвигалось на Европу. Один наш приятель, специалист по вопросам питания, составлял список зараженных продуктов, говорил, что даже хлеб может быть опасен.

А Диего все стоял у окна и смотрел на дождь. Мне вспомнилось, что

его отец погиб под проливным дождем. Грузовой контейнер оторвался от стального троса.

Я подошла к нему, положила руку ему на плечо. Так мы и стояли, молча. И в этой тишине было слышно биение его сердца... его детские шаги. Он бежал вместе с мамой, спешил на помощь. Тело отца лежало в луже, красной от крови.

«Первая фотография, которую я себе представил, — говорил он мне тогда, в Генуе. — Первая лужа... она всегда со мной, в каждой пленке».

Мы ушли с вечеринки, хоть и было еще рано, хоть и шел дождь.

— Пойдем.

— Ты уверена?

— Да. Я устала.

Домой мы вернулись промокшие до нитки. Занялись любовью прямо на полу, стаскивая друг с друга мокрую одежду, закрывая своими телами ту, никогда не снятую фотографию, тот образ отца — искалеченное контейнером тело в красной луже.

— Спасибо, — сказал Диего.

Я обхватила его голову руками, языком вытерла его слезы.

— Я хочу сына. Хочу, чтобы он был похож на тебя, чтобы он был таким, как ты... хочу вернуть тебе отца... вернуть все. Хочу, чтобы кончился этот дождь...

Тогда он, не сдерживая рыданий, заплакал, уткнувшись лицом в мои колени. Заплакал по-детски безутешно, как плакал под ливнем, который унес жизнь его отца.

Как-то в душный июльский день я пошла вместе с Диего в Центр гуманитарной помощи, куда прибыли первые группы детей из Чернобыля. Я помогала ему — заправляла пленки в фотоаппарат. По правде говоря, я боялась радиации, чувствовала себя скованно, неудобно среди этих детей, которые, наверное, светятся в темноте, как фосфоресцирующие игрушки. Я даже двигалась осторожно, стараясь не приближаться к ним. Диего же, напротив, брал их на руки, вспоминал какие-то русские слова. Он вовсе не собирался во что бы то ни стало снимать этих детей. Сделал несколько снимков, положил фотоаппарат и стал играть. Я поняла, что заработать денег на этом репортаже нам не удастся, что он не собирается «ловить» нужные кадры, что для него важнее просто доставить детям радость. Действительно, он повесил фотоаппарат на шею одному из них и разрешил отщелкать всю пленку. Естественно, и речи быть не могло о том, чтобы продать куда-то такие снимки. Мы жили только на мою зарплату, ребенок был бы для нас непозволительной роскошью. Я ничего не говорила Диего,

но продолжала принимать противозачаточные таблетки.

Каждое утро, даже в самые тяжелые дни, он энергично вскакивал с кровати, благодарил меня за то, что я все еще рядом. Он был... как кот. Есть такие коты — большие, ласковые, ходят за тобой следом, улучив момент, забираются на колени, лизут лицо ласковым шершавым языком. До поздней ночи он просиживал в своей фотолаборатории, я замечала, что у него красные глаза, а пальцы потрескались от проявителя. Утром я старалась не шуметь, тихо-тихо открывала шкаф. Но он хотел быть рядом, готовил кофе, писал мне записочки, которые я потом находила в карманах пальто. Во дворе, садясь на мопед, я оглядывалась, махала рукой — он всегда смотрел на меня из окна кухни. Без меня он не ел, ни к чему не притрагивался. Ближе к обеду тоже выходил из дому, с сумкой через плечо, — отправлялся на поиски удачи, надеясь продать хотя бы один из своих снимков. Уверенно шагал на своих тощих ногах по чужому равнодушному городу. И никогда не отчаивался.

Мелочи, ничего не значащие детали... но именно они остаются в памяти. Остается в памяти лестница нашего первого дома, ступени из белого и черного мрамора, большие лестничные пролеты, перила, за которые я держалась. Я не хотела ждать лифт, поднималась пешком. Сумка падала с плеча, шарф волочился по ступеням, в руках — пакеты с продуктами. Проходила на кухню прямо в пальто, выкладывала на стол еду, доставала тарелки, высокие бокалы — чтобы каждый день был как праздник.

Я нашла работу редактора в небольшом научном журнале, который выходил раз в месяц. Штат сотрудников — всего пять человек, я занималась всем понемногу: переводила статьи с английского, делала верстку, вела архив, организовывала распространение и подписку, звонила в общественные организации и коммерческие фирмы для привлечения рекламы. Работа была без гарантий — каждый месяц журнал мог закрыться, — без особых доходов и без внятных перспектив. Меня, по большому счету, не очень интересовали радиальные векторные поля, энергия глубин, молекулярная медицина и волновая теория света, но мне нравилась атмосфера в редакции этого небольшого издания. Нравился офис в центре города — небольшое помещение в полуподвальном этаже старого здания, где когда-то находились конюшни. На столбах арочных перекрытий кое-где еще виднелись бороздки от лошадиных спин, а от пола тянуло селитрой. Мне нравились железные шкафы с многочисленными папками, чайник в углу, пакетики с заваркой в плетеной корзинке. Нравились разговоры с коллегами за чашкой горячего чая.

Иногда Диего заходил за мной, стучал в окно, которое было вровень с асфальтом. Спускался к нам, заглядывал в приоткрытую дверь — живые глаза, открытая улыбка, слишком большая для его худого и бледного лица. Была зима, он носил ту самую смешную шерстяную шапочку с помпоном, отчего голова казалась еще меньше.

— Какая ты красивая...

Я не считала себя красивой. Обычная женщина, уставшая после рабочего дня, проведенного в офисе, где недоставало дневного света и свежего воздуха. Мешки под глазами, сиплый голос. Обитательница мегаполиса, такая же, как все, завернутая в кокон своих забот.

Мы шли по Риму, обнявшись, мимо гаснущих витрин, мимо спешащих по делам прохожих. Рядом с Диего я чувствовала себя спокойно. Магазины, рестораны, в которых не найти свободного места; машины, припаркованные в два ряда вдоль дороги; таксисты, ожидающие у вращающихся дверей пятизвездочных отелей; роскошные автомобили, женщины в длиннополых шубах. Мы шли мимо этого показного благополучия. Казалось, что здесь всем найдется место... но так ли это? Люди шли по зыбучим пескам этой иллюзии. Иногда мне вспоминался Гойко, его торчащая колом кожаная куртка. Я скучала по Сараеву. Скучала по его простым и гордым жителям, по запаху питы, по аромату древесной смолы от горящих в каминах дров.

Однажды Гойко приехал к нам в гости. Оценил наше жилище, оценил вино. Посмеялся над галстуком Диего — тонкой полоской из грубой шерсти. Возможно, наша жизнь показалась ему блеклой, он ожидал увидеть нечто невообразимое... а увидел меня в фартуке, моющую на кухне посуду. В комнате, где мы его поселили, стояло только старое кресло-кровать. Гойко тоже изменился, стал молчаливым, погрузился в прозу жизни. Не продавал больше йо-йо и контрафактные джинсы «Levi's», работал на радио — вел передачи о поэзии, был обозревателем по вопросам культуры в одном журнале, а по выходным продолжал водить по городу туристов.

Как-то вечером он достал из бумажника потертую газетную вырезку, которую таскал с собой из злости, как ржавый гвоздь. Перевел нам кое-что из статьи, написанной одним из его друзей, белградским поэтом. Тот вспоминал героические страницы истории, сражения с турками, погибших в боях солдат. Все это было изложено так воинственно, с таким пафосом, что становилось смешно.

Диего задумчиво смотрел на Гойко. Наш мир уже одряхлел, наша жизнь вся сосредоточилась в суетливом, ненасытном настоящем.

Незажившие раны, нанесенные историей, национальная, этническая принадлежность, казалось, не имеют к нам никакого отношения. Но Диего, выросший рядом с генуэзским стадионом «Марасс», возможно, уловил в бредовом тоне статьи тот примитивный кодекс, по которому живут все крайние течения, все ультрас.

— Беспкоишься?

Гойко пожал плечами:

— Нет... дерьмо, фашистский подпевала.

Он скрутил трубочкой статью своего друга, щелкнул зажигалкой, прикурил от вспыхнувшей факелом бумаги.

Диего познакомился с одним владельцем художественной галереи и наконец-то сделал выставку своих фотографий, посвященных ультрас. Я заметила, что даже на трибунах стадиона он искал одиночества — затылок, торчащее ухо, развевающийся, как знамя, шарф. Эти черно-белые фото были маленькими шедеврами — впадины кричащих ртов, лунные кратеры широко распахнутых глаз.

Выставка прошла успешно, из галереи она переместилась в стены сначала одного, потом другого лица. Кое-что даже удалось продать. Деньги были потрачены немедленно. Диего принес домой белый трюфель и приготовил его, как заправский повар.

А вот снимки, сделанные в метро, никому оказались не нужны. Диего провел в подземке три дня, отснял не один десяток пленок, на которых — ноги людей, ожидающих поезда. Кадры были склеены в длинную цепочку. Ботинки, кроссовки, туфли... Бодрые и энергичные утром, усталые и пыльные вечером. Символ разобщения и одиночества в большом городе. Почему бы не повесить их дома? Бесконечная вереница чужих ног протянулась по нашему коридору, обогнула гостиную, добралась до кухни — совершенно незнакомые люди составили нам компанию.

Диего боялся, что мне наскучит его назойливость. У него была физическая потребность во мне: он хотел, как ребенок, постоянно быть рядом, хотел ко мне прикасаться. Спал он, приклеившись к моей спине, зарыв лицо в мои волосы. Я думала, что через какое-то время это пройдет, он станет спать на своей половине кровати. Но нет, если он и откатывался, то лишь случайно, или я сама отталкивала его в жаркие и душные ночи. Как только он чувствовал, что меня нет рядом, возвращался на прежнее место. Ложился поперек кровати, клал голову мне на живот — счастливый, будто ребенок, забравшийся в постель к родителям. Иногда я его прогоняла. Мы жили вместе уже три года.

Настали тяжелые времена. Диего брался за любую работу. Какое-то

время работал в магазине электроники. Потом фотографировал туристов на площади Испании и у фонтана Треви — делал снимки и бежал печатать фотографии в магазинчик неподалеку. Часто туристы уходили, не дождавись его. Он приносил домой фотки каких-то улыбающихся незнакомцев, бросал их на кухонный стол, смеясь, показывал мне, рассказывал забавные истории, которые с ним приключились. Я спрашивала себя, не кроется ли в этом оживлении неудовлетворенность и грусть.

— Почему бы тебе не уехать? — интересовалась я. — Ты же любишь странствовать по миру.

— Зачем? Я самый счастливый человек на свете.

Иногда папа пытался подкинуть мне немного денег, но я упрямо отказывалась. Папа тоже купил фотокамеру «Nikon», советовался с Диего насчет объектива, света. Теперь Диего брал Армандо с собой в качестве ассистента — нумеровать отснятые пленки, заправлять новые. Если выдавалась свободная минутка, папа заходил к нам домой. Он не навязывал свое общество, тихо устраивался где-нибудь в уголке. Более того, папа помог нам навести порядок: выбросил бракованные снимки, собрал валяющиеся повсюду пленки и отнес напечатать с них пробники. Целыми днями сидел с лупой и отбирал лучшие фотографии.

Благодаря отцу Диего наконец-то нашел агентство. Папа надел твидовый пиджак и отправился в Милан с папкой фотографий под мышкой. В одном агентстве ему удалось убедить даму, одетую во все черное, с короткими пепельными волосами, на вид его ровесницу, заключить хоть какой-нибудь контракт с молодым талантливым фотографом.

Диего выглядел растерянным, читал и перечитывал пункты договора, выискивая зацепку, которая позволила бы ему пойти на попятную. Потом взял авторучку и нацарапал свою фамилию, — возможно, потому, что придаться было не к чему, а возможно, и потому, что отец стоял перед ним, скрестив руки на груди, как полицейский комиссар:

— Подписывай!

Так Диего обрел свою первую серьезную, регулярно оплачиваемую работу. Нужно было снимать новую линию обуви для крупной торговой сети. Босоножки напоминали античные котурны с серебристыми ремешками, усыпанными стразами. Диего надел их на усталые ноги танцовщицы из школы Пины Бауш. Балерина должна была танцевать обнаженной, в одних босоножках, в заброшенном фабричном здании, посреди разбитого стекла и сорной травы. Диего катался по полу, снимая балерину, которая взлетала над ним, как раненая птица. Контраст

трагически худой фигуры, арки ребер изогнутого тела и этих причудливых сандалий получился потрясающим. Снимки задумывались не в фокусе — размытые, искаженные широкоугольным объективом движущиеся пятна, словно на изображение вылили полное ведро воды. Рекламный объект едва различался — был виден расстегнутый ремешок, блестящая подошва. Но в роскоши этих сандалий, пропадающей на задворках старого заводского цеха, украшающей наготу страдающего тела, была какая-то крайность, даже оскорбительная, что понравилось молодому дизайнеру, выпустившему новую линию обуви. Фотографии были выставлены в длинной галерее торгового центра, одна за другой, как кадры, запечатлевшие один прыжок. Диего получил хороший гонорар, а я в подарок эти босоножки, которые совершенно нельзя было носить.

Диего пригласил меня на ужин в ресторан с двумя мишленовскими звездами. Я надела черное платье. Он купил на блошином рынке американский смокинг сороковых годов, на два размера больше. Подвернул обшлага, кусок подкладки все равно торчал. Мы сидели в этом ресторане как аристократы, ели черт знает что — соленый пудинг, мясо с мороженым. И пили за все подряд.

Что я помню о том дне

Что я помню о том дне? Дождь лил всю ночь, яростно хлестал в оконное стекло, раскаты грома не давали уснуть. Наутро город весь размок, свинцовые облака затянули небо.

— Пойдешь фотографировать лужи? — спросила я Диего, уходя из дома.

Он отрицательно покачал головой — нужно было закончить срочную работу, то есть провести целый день в темной камере фотолаборатории. Пришел папа, принес киви, чистил их на кухне. Эти мохнатые плоды с нежной зеленой мякотью были тогда в новинку. Папа говорил еще, что в них содержится много витамина С, это прибавит нам сил.

Меня вытошнило на работе, зеленые сгустки падали прямо в корзину для бумаг.

В обеденный перерыв я вышла на улицу, дождь перестал. Есть мне не хотелось, я зашла в музыкальный магазин, решила купить в подарок Диего сборник его любимых старых композиций «Doors». Подходя к кассе, я вдруг обнаружила, что денег в кошельке хватит только на диск. Не знаю почему, но именно в тот момент до меня дошло, чем была вызвана утренняя тошнота. Я разволновалась. Из-под застегнутого пальто поднялась горячая волна, обожгла щеки. Люди проходили вперед, оплачивали покупки. Чей-то локоть случайно коснулся моей груди — и я машинально закрылась обеими руками. Пропустив свою очередь на кассе, я растерянно думала: если куплю диск «Doors», у меня не останется денег ни на что другое. Я толком не понимала, что происходит, скорее, интуитивно чувствовала изменения в своем теле. Рассматривала огромные плакаты, вывешенные над кассой, — Джоан Баэз и Джимми Хендрикс в клубах сигаретного дыма... Потом положила диск «Doors» и вышла на улицу. Не пройдя и двух шагов, наткнулась на аптеку.

Подождала, пока не уйдет покупатель, стоящий передо мной, и хриплым голосом быстро проговорила:

— Тест на беременность, пожалуйста.

На белом халате аптекарши вышит красный крестик с золотой каймой. Она протягивает мне продолговатую упаковку ярко-синего цвета. Деньги падают на пол, я наклоняюсь, чтобы поднять их... грустно улыбаюсь. В моих глазах страх.

Страх, что это может оказаться неправдой.

Иду в ближайший «Макдоналдс». В полумраке туалета читаю инструкцию. Моча течет прямо на полоску. Этот дождь на улице... Второй день льет как из ведра. Город пропитан водой.

Жду. Рядом с первой синей полоской проявляется вторая — сначала блеклая, потом все ярче. Я беременна.

Прошло больше года с тех пор, как мы с Диего перестали предохраняться. Мне почти тридцать четыре. Каждый день я замечаю, что время не проходит бесследно. Я слежу за собой, делаю макияж, возможно, выгляжу даже лучше, чем в двадцать лет, но определенный рубеж уже пройден, хоть я и стараюсь не обращать на это внимания. Я по-прежнему веселая, энергичная, грань между молодостью и зрелостью придает мне очарование. Однажды, рассматривая свое лицо в зеркале лифта, я обратила внимание на множество мелких, едва заметных морщинок. И я поняла, что эпицентр взрыва — это тревоги и заботы, которые изнутри подтачивают нас. Оттуда идут трещины, паутина трещин, как на стекле, в которое попал камень. Мы стареем не день за днем, мы стареем внезапно. Какая-то искра попадает в нас, выжигает болью, оставляет горький след на лице.

Синяя полоска на белом прямоугольнике — знак исполнения тайного, невысказанного желания. Теперь я не боюсь, что время обрушится мне на плечи, не боюсь постареть, потому что в той точке, откуда начинают расходиться трещины морщин, сосредоточена не горечь, а долгожданный подарок. Теперь все будет по-другому: мое лицо — лицо матери, на котором годы оставляют следы. В этих морщинах скроются заботы материнства, грусть угасающей любви, создавшей свое продолжение.

Я сложила тест-полоску и убрала ее в карман. Вышла на улицу. Небо и впрямь походило на перевернутую лужу. Хмурые облака висели низко, как густой дым. Из телефонной кабины я позвонила Диего:

— Что делаешь? Чем занимаешься?

Он ответил, что собирался пойти на встречу с владельцем арт-галереи. Спросил, почему я не в редакции.

— Захотелось прогуляться.

— Дождь кончился?

— Да.

Я решила ничего не говорить ему, по крайней мере по телефону... на этой шумной улице. Лучше сказать дома, вечером, отбросив все дневные заботы, обнявшись в тишине нашей уютной квартиры.

Я вернулась в редакцию, но работать не могла. Сидела и смотрела на экран компьютера, заставить себя на чем-либо сосредоточиться было выше моих сил.

Диего был дома. Еще подходя к двери, я услышала музыку. Осторожно повернула ключ и тихо вошла. Он играл на пианино, босой, длинные руки в рукавах старого, заношенного пуловера. Вот она, мелодия нашей любви — любви, которая не потускнела с годами... нота за нотой, бесконечные звуки разбиваются о стены, резонируют в просторной квартире. Я тихонько села в кресло за его спиной и погрузилась в музыку... Диего остановился, засунул палец в нос, как ребенок.

Я стала насвистывать прерванную мелодию, но получилось фальшиво. Он обернулся:

— Любимая... ты пришла...

Мы оба устали. Усталость накапливалась, выматывали будничные заботы, сумасшедший, беспощадный ритм большого города.

Диего подошел ко мне, посмотрел как-то по-особенному, возможно что-то почувствовал. Я протянула ему полоску теста:

— Держи, отец, это первая фотография твоего сына. Жаль, что не ты ее сделал.

Он рывком стащил с себя свитер, прямо-таки сорвал его с тела, будто хотел сбросить всю накопившуюся боль, освободить место для радости. Возбужденно зашагал по квартире, радостный, голый по пояс, колотя себя в грудь кулаками, как победивший всех соперников самец шимпанзе. Стал беспокоиться, как настоящий муж: я должна быть осторожна, должна беречь себя. Почему не позвонила, он бы приехал за мной в редакцию, мне не стоит ездить на мопеде, на дорогах столько выбоин! Сходил на кухню, принес бутылку красного вина и два бокала. Вина мне не хотелось, я сделала пару глотков, Диего пил один. Когда бутылка опустела, он взял ее, как новорожденного, покачал на руках.

— Пьетро, — произнес он с нежностью. — Пьетро...

Это имя мы давно придумали для нашего сына.

— А если будет девочка?

— Тогда Пьетра.

Я смеялась. Радость озаряла наш дом, прогоняя усталость. Тихий, уютный вечер, в комнате тепло, от Диего пахнет вином.

Мне захотелось принять ванну. Диего пошел за мной, потрогал льющуюся из крана воду, в другой руке зажата полоска теста.

— Ты уверена, что эта штука срабатывает?

Я позвонила своему гинекологу, она посоветовала утром сдать кровь, проверить содержание гормона бета-ХГЧ. Диего забрался в ванну вместе со мной, поджал ноги. Вода выплеснулась через край.

— Я тебе мешаю?

— Нет, нисколько.

Мы выключили свет, зажгли свечу, мягкий неверный свет скрадывал очертания ванной, отражался изумрудными блестками на кафельной плитке. Мы лежали, погруженные в тающую мыльную пену, в наше бесконечное счастье. Мелькание дней, череда забот, наши тревоги — все остановилось, улеглось, успокоилось в безмятежности этой воды. Мы держались за руки, наши пальцы переплетались — вот так слились во мне наши клетки, маленькие и беззащитные.

— Я уже люблю этого ребенка.

Диего с головой погрузился в воду, вынырнул. Мокрые кудри прилипли к голове, смешные уши — большие плоские тарелки. Несомненно, малыш будет похож на него.

Мы упали на постель мокрые, разгоряченные, провалились в сон. Разбудила меня музыка, играл Диего. Я лежала и рассматривала длинную вереницу ног на стенах нашей квартиры. Теперь мне казалось, что они маршируют в полутемном коридоре, идут к нам в комнату. Вот они сбрасывают ботинки, туфли, сапоги, сбрасывают груз печали и принимаются плясать босиком под звучащую музыку, разделяя нашу радость.

Запахло кофе. Диего был на кухне, я подошла к нему, обняла. Нам захотелось выйти на улицу, насладиться тишиной. Ночь тянулась бесконечно, словно канун большого праздника.

Край неба на востоке посветлел, предрассветный полумрак рассеивался. Открылась витрина бара. Стал оживать рынок, продавцы суетились возле своих прилавков. У меня было ощущение, что мы в отпуске, путешествуем по незнакомому городу. Ожидая открытия медицинской лаборатории, мы зашли в кафе, кофеварка только нагревалась.

Рукав свитера закатан, выше локтя — резиновый жгут. Я отвернулась, чтобы не видеть, как шприц наполняется кровью.

Первые покупательницы катят сумки-тележки вдоль рыночных рядов. Мы идем обнявшись, удерживая в этом объятии нашу тайну.

— Купим что-нибудь? Брокколи, например.

На крепких зеленых кочешках в большом ящике блестят капельки росы.

— Хорошо, давай купим брокколи.

И еще пучок редиски, свежей, только что с грядки. И гроздь бананов.

Мы остались дома. На обед Диего приготовил брокколи, мы ели прямо из сковородки, обмакивая в теплое масло кусочки хлеба, которые тотчас же становились зелеными. А потом Диего сходил за результатами анализов. Я,

в трусах и его свитере, надетом на голое тело, ждала у окна. Диего увидел меня, помахал белым конвертом. Улыбнулся широко, во весь рот.

Гинеколог сказала, что всё в порядке, что уровень хорионического гонадотропина низкий, но на ранних сроках беременности это нормально.

Дни потекли, полные безмятежности. Диего то и дело звонил мне в редакцию, спрашивая о моем самочувствии, спрашивал, поела ли я, не слишком ли много курят коллеги. Я, не изменяя своим привычкам, ездила на мопеде, забегала наскоро перекусить в бар.

Диего клал ухо на мой живот, только ухо, не хотел давить головой. Согнувшись в таком неудобном положении, он к чему-то там прислушивался, на лице блуждала глуповатая улыбка.

Мои родители, когда мы сообщили им новость, просто онемели. Я заметила, как заблестели и увлажнились их глаза. Отец инстинктивно взял маму за руку. Как давно я не видела этого жеста!

— Мы думали, что вы не хотите... что ты, Джемма, не хочешь... — сказала мама.

— Но почему?

— Так... Потому что и я была такой... слишком мнительной...

Папа бросил курить, стал бегать по утрам. Заходил за Диего к нам домой, и тот плелся за ним, вялый, сонный, в старых кроссовках без шнурков.

То, что происходило в моем теле, казалось мне настоящим чудом. Где-то внутри бушевал ураган клеток. Моя походка неожиданно обрела медлительность и плавность. Стали раздражать громкие звуки — звонки редакционного телефона, голоса коллег. Я не участвовала в их бурных дискуссиях, тихо сидела на своем рабочем месте, отгородившись от всех бумагами и папками. Между мною и окружающим миром образовался какой-то невидимый зазор — небольшой и тем не менее ощутимый.

Я радовалась, когда Диего заходил за мной после работы, прижималась к его худому телу. Он брал меня за руку, согревал ее в своем кармане. По дороге домой мы останавливались у витрин детских магазинов. Любопытство смешивалось во мне с наивным страхом — я совсем ничего не знала об этом мире. Внутри мы не заходили: что-то мешало мне, какая-то непонятная тревожность. Диего подвел меня к витрине кулинарии, где лежали рисовые биточки, жаренные в масле.

— Купим эти рисовые шарики? — Диего захотелось есть.

Мне хватило одного кусочка, чтобы почувствовать приступ тошноты. Диего доедал мою порцию, рот набит рисом, на лице блаженная улыбка.

Белая безмятежность ожидания, бесконечные мечты в сладкой

полудреме. Когда я закрывала глаза, передо мной возникали яркие расходящиеся круги. Так бывает, когда смотришь на солнце сквозь сомкнутые ресницы и вдруг чувствуешь усталость, полуденную знойную тяжесть...

Откуда появилась змея? Чешуйчатая лента пересекла белое поле умиротворения, оставляя за собой влажный след.

Стоял чудесный день, мы гуляли по парку. Аромат осенней листвы, красный ковер под ногами, кроны деревьев в пронзительно-синем небе. Змею заметила только я. Обыкновенный безвредный уж прополз по моей ноге. Странно, что он оказался в этом парке, посреди города, где к тому же выгуливают собак. Мгновение — и он исчез в густой траве.

— Ты видел?

Нет, Диего ничего не видел. Он пошарил руками в траве под кустарником, нашел палку и пошевелил ветви. Там никого не было. Мы пошли дальше, я старалась больше не думать о той змее.

Мы в кабинете врача. Первое ультразвуковое исследование, маленькая темная комнатка. Гель неприятно холодит живот, оставляет скользкую дорожку. Я снова вспоминаю змею, которая проползла по моей ноге. Лицо врача неподвижно. Он двигает инструмент ниже и ниже, к лобку. Зародыш есть, темная точка в матке, но сердцебиение... ударов сердца не слышно. Как пишут в книгах, ударов, напоминающих стук копыт скачущей галопом лошади. Врач спрашивает, будем ли делать вагинальное УЗИ. Я соглашаюсь, не до конца понимая, что от меня требуется. Я хочу только одного: хочу услышать это сердце. Диего рядом со мной, смотрит то на монитор, то на плотно сжатые губы врача. Зонд входит в мое тело, что-то там исследует. Вот он появляется наружу вместе со стерильной целлофановой перчаточкой, смазанной гелем. Обычный медицинский инструмент — инструмент, причиняющий боль...

Сердцебиение не прослушивается.

— Возможно, срок еще маленький, — говорит врач. — Может быть, вы ошиблись, зачатие произошло позднее, чем вы думаете.

Он что-то пишет в карточке, просит прийти на повторное обследование через неделю, приглашает следующую беременную. У женщины большой живот — не меньше шести месяцев.

Мы заходим в бар, заказываем чай. Неприятный запах пригоревшей еды. Шумная компания отмечает какой-то праздник... Диего улыбается, чтобы ободрить меня, но выходит не улыбка, а некое подобие улыбки, горькое сожаление. Накрыл мою руку, лежащую на грязном столе, как будто хотел задушить мои мысли.

— Змея... Проклятая змея... — Я постоянно думала о ней.

Чай был отвратительный, с привкусом стирального порошка, воду для него, кажется, взяли из кофеварки. Диего сходил к стойке бара, вернулся, жуя пирожное, подбородок испачкан сахарной пудрой. Пощекотал меня, положил мне в рот кусочек:

— Ешь. Все будет хорошо, вот увидишь.

Через день я снова сдала кровь на гонадотропный гормон плаценты. Медсестра колола мне вену, а я разглядывала стену, белую каталку, банку спирта и ватные шарики. Мы вышли на улицу. Из переполненных автобусов на остановке, ругаясь, вывалились люди. На лицах этих бедолаг застыли горечь и обида. Мы зашли в бар, наскоро позавтракали у стойки. Диего встретил знакомого рекламщика — болтливого здоровяка. Они обнялись, завели разговор о работе, о каком-то проекте. Знакомый Диего казался человеком жизнерадостным, говорил громко, с напором. Мы же — как два лемура... жалкие призраки, случайно оказавшиеся на земле. Диего смеялся нарочито и как-то неестественно, скорее, чтобы подбодрить себя. Я представилась здоровяку, протянув маленькую сухую ладонь.

Мы вернулись домой. Ближе к вечеру Диего пошел за результатами анализов. Я видела из окна, как он возвращается... переходит дорогу, идет через рынок, где продавцы убирают свой товар. Лицо напряженное, в руках — конверт. Мы вскрыли его, сидя на диване. Я позвонила гинекологу. Уровень гормона оказался слишком низким.

Ребенка я потеряла через два дня. Я была на работе, когда вдруг почувствовала между ног теплую волну. Испугавшись, вскочила и пошла в туалет. Стянула с себя колготки и все остальное. Небольшое пятно крови и сгустки, которые продолжали из меня выходить... я попыталась остановить кровь бумажными полотенцами. Так и стояла, согнувшись, в этом тесном туалете, под полками с кипами бумаг и авторучками, не понимая, что со мной происходит. В крошечном зеркале отражалось мое опрокинутое лицо. Я испугалась, но полностью осознавала происходящее, как человек, впервые совершивший убийство в приступе гнева, по неосторожности... Я пыталась скрыть улики. Красная вода стекала в раковину, в биде.

Бумажные полотенца я зажала между ног, прислонилась к двери, ожидая, что кровотечение остановится. Бумага тут же сделалась ярко-красной, кровь сочилась на пол, салфетки пришлось менять несколько раз. Столько крови я еще никогда не видела.

— Забери меня!

— Что-то случилось?

— Забери меня!

Я ждала его на улице, присев на ступеньку, где обычно устраивался бомж, но сегодня он куда-то подевался. Диего бежал, я слышала звук его шагов. Бросилась ему на шею, уткнув лицо в куртку:

— Я потеряла его. Я потеряла его. Я потеряла его.

Больница занимала большой старинный особняк в центре города. Внутри очень тихо. Лестница залита теплым светом, широкие мраморные ступени потемнели от времени. Медсестры в ординаторской курили, сидя вокруг радиоприемника. До Рождества оставалось совсем немного, все носились за подарками, больница выглядела полупустой. Плакать навзрыд я уже не могла, слезы бессильно катились по щекам, словно последние капли дождя.

Меня осмотрели, сделали УЗИ. Дежурный врач, коренастый и плотный, с зычным голосом рыночного зазывалы, улыбаясь, протянул салфетку. Я вытерла гель. Врач сказал, что мне повезло, что кровотечение спасло меня от выскабливания. Что касается всего прочего... это не просто выкидыш.

— Яйцеклетка пустая. Тело освобождается от нее естественным образом, — объяснил доктор.

Еще он сказал, что я молода и здорова, что можно, не откладывая, попробовать забеременеть снова.

— К сожалению, такое часто случается.

Так мы вернулись домой, с пустыми руками, с пустым животом... однако слова доктора вселили в нас надежду. Ничего не поделаешь, нужно бороться с силами, нужно жить дальше. Включили в квартире свет. Диего принес вино, припасенное для особого случая, хотел заглушить эту боль. Открывая бутылку, он вдохнул аромат: черт, ну и вино! Вино действительно оказалось прекрасным. Яркое, густое, оно согревало, утешало. В том, что случилось, никто не виноват. Да и можно ли назвать ребенком эту комбинацию клеток, этот жалкий сгусток, вышедший из меня вместе с кровью. Смерть без похорон, без гроба. Траур, которого быть не должно.

В конце книги, посвященной беременности и родам, мы нашли маленький словарь. Термина «пустая яйцеклетка» там не было. Книгу мы забросили в дальний угол. Диего хотел рассмешить меня, принялся дурачиться, устроил игру в жмурки — надел повязку, расставил руки, чтобы меня поймать.

— А вот и я, я — твоя пустая яйцеклетка...

Но скрытую в глазах грусть спрятать не удалось.

— Значит, это был не наш ребенок. Если детям суждено появиться, они появляются, не волнуйся.

Больше мы к этой теме не возвращались. Я начала заниматься спортом, мое истощенное тело нуждалось в физических нагрузках, это помогало освободиться от переживаний.

Наша грусть потихоньку проходила, уступая место привычному ритму жизни. Дни шли один за другим по мраморной лестнице, по нашей квартире, где никто уже не открывал пианино, где мой шарф висел в прихожей рядом с мотоциклетной курткой Диего. Мы снова окунулись в наполненную приятными мелочами размеренную жизнь, где было место и чудесам. Как в день нашей первой встречи.

Еду на мопеде по набережной Тибра, стою на светофоре, с лицом, напряженным от повседневных забот, и вдруг вижу его. Он идет к зебре, переходит дорогу, на плече тяжеленная сумка. Я сигналию, он оборачивается, но меня не замечает, ускоряет шаг. Тогда я, пропустив поток машин, подъезжаю ближе, медленно следую за ним, окликаю:

— Диего...

Он оборачивается, бросает сумку на асфальт.

— Я как раз думал о тебе! — кричит он, обнимая меня. — Я думал о тебе, и ты появилась.

Удивительно, что мы расстались утром, несколько часов назад, а кажется, будто не виделись годы, — такая неожиданность, приятный сюрприз.

Мы идем по набережной Тибра, держась за руки, как туристы. Мы пережили нелегкие дни, заботы не прошли бесследно — на лбу у меня появилась глубокая складка недоумения, да так и осталась. Работа меня больше не радует, я страдаю от неуверенности в себе, не могу избавиться от уныния, ем себя поездом. Ребенок, которого я потеряла так быстро, теперь далеко от меня, но, может быть, он остался здесь, в этой морщине.

Обычный день, случайная встреча — что может быть лучше? Я крепко сжимаю руку Диего. Его глаза лечат мою боль.

— Куда ты направлялся?

— Никуда. Возвращался домой, к тебе.

— Любимый...

— Любимая...

— Так больно видеть, что ты грустишь...

— Не буду...

— Я живу только тобой.

Мимо пролетает машина, едва не задев нас. Все могло бы закончиться так нелепо, в одно мгновение...

Мы спускаемся к реке, на грязный берег, который помнит нас совсем

молодыми и глупыми. Туда, где мы были счастливы, где танцевали обнявшись, сбросив на пол всю одежду.

Куда уплыла наша старая баржа? Куда улетели маленькие ласточки, которые садились на ее ржавые борта? Здесь, у воды, можно забыть обо всем. Город с его заботами остался наверху, за черной стеной. Тяжелые воды реки уносят с собою все.

Той ночью чувственное влечение вновь овладело нами. Мы могли бы заняться любовью прямо на берегу, на размякшей от воды земле. Но я не решилась — холодно. Наверное, старею. И мы вернулись домой, оставив на реке закат, запах стоячей воды и наши воспоминания. Обнявшись, мы шли по городу — он отнимает у нас столько сил, опустошает нас, порой лишает чего-то важного... но это наша жизнь.

Ты все еще любишь меня?

Люблю. Всегда. Только тебя.

Тебе не кажется, что я изменилась? Стала неуверенной, жалкой? Что замкнулась в своих мелких проблемах?

Мне кажется, что твой запах будет преследовать меня всю жизнь.

В эту ночь впервые за много месяцев к нам вернулась надежда.

Я часто вижу во сне этого ребенка... всегда его. Лица не разглядеть, он сидит на перроне какого-то железнодорожного узла, свесив ноги со старой деревянной скамьи. Он, маленький начальник станции с жестяным фонарем, освещающим туман, дает команду, отправляя поезда.

Мы уехали в Париж. В Национальном центре фотографии была выставка Йозефа Куделки, которую Диего хотел посмотреть. Мертвая птица на проводах, ангел на ослике. Вышли притихшие, оглушенные. Посидели на открытой веранде кафе напротив Центра Жоржа Помпиду, заказали десерт «снежки» в ванильном креме. Огромные часы отсчитывали секунды, оставшиеся до наступления нового тысячелетия. Ветер свободы, цыгане на фотографиях Куделки разбудили желание бросить все, уехать из Рима куда глаза глядят. Эта мысль возникала у нас и раньше. Зачем жить в городе, где нет настоящих друзей? Где для того, чтобы почувствовать себя живым, настоящим, надо спуститься к реке и пройти вдоль грязного берега?

На обратном пути я купила в аэропорту тест на беременность. Диего ничего не знал. Я зашла в аптеку, вернулась с упаковкой французского аспирина. Старалась не думать об этом. Дома первым делом разобрала

чемодан, загрузила стиральную машину. Тест пролежал в моей сумочке до самого вечера, пока я действительно о нем не забыла.

Дождалась вечерней тишины. С опустевшей улицы доносятся голоса — люди вышли из ресторана, остановились поболтать у припаркованной неподалеку машины. Я закрылась в туалете, помочилась прямо на тест-полоску. Положила ее на край ванны, умылась, почистила зубы и только после этого посмотрела. Я снова беременна.

Бурной радости не было. Теперь я многое знала: знала, какие анализы необходимы, какой должен быть уровень гормонов. Могла оценить свое состояние с медицинской точки зрения. Я старалась не заикливаться на себе, хоть такая потребность и была очень сильной.

Новость мы никому не сообщили, хранили ее как тайну, делая вид, что наша жизнь идет своим чередом. Результаты первого анализа на уровень гормонов оказались хорошими. Вскоре после этого я сделала УЗИ. Сердцебиение не прослушивалось. Напрасно зонд блуждал по моему телу, жизнь внутри меня замерла.

Врач зажег лампу над письменным столом, взял свои бумаги, авторучку:

— Может быть, рановато... возможно, вы ошиблись со сроками зачатия.

Мы не могли ошибиться, с того самого дня мы не занимались любовью, опасаясь повредить слившимся клеткам..

Домой я вернулась в полном безразличии. Упала на кровать, натянула одеяло на голову:

— Хочу спать, дай мне поспать...

Скинула туфли, сорвала с себя одежду... к черту, все к черту! Еще одна «пустая яйцеклетка», замерший эмбрион, зародыш без сердца. Разглядывая трещины на паркете, я думала, где, в каком месте прячется злой рок?

На этот раз пришлось делать выскабливание матки.

Диего проводил меня до стеклянной двери. Шел рядом с каталкой, не выпуская мою руку.

Я была спокойна — смирилась с этой несправедливостью. Диего, взволнованный, бледный, громко говорил, шутил с медсестрами, которые меня везли.

— Не волнуйся, малышка, я здесь. Я никуда не уйду... я здесь.

Он гладил мои волосы тяжелой, негнущейся рукой. Глаза у него какие-то странные, темнее, чем обычно, зрачки расширены.

Позже он признался, что выкурил косяк. Пока ждал меня, спустился на первый этаж, зашел в пустую больничную часовню, сел перед пластиковым

изображением Богородицы. Он и какая-то монашка, больше никого. Диего и молитвы-то ни одной толком не помнил, монашка подсказала ему «*Аве Мария*».

Я вышла оттуда с застывшим взглядом.

— Не хочу больше видеть, как ты страдаешь, любимая.

Дни бежали за днями, бесполезные, как пустые вагоны.

Я обновила свой гардероб: купила узкие сапоги, пальто-редингот с широким поясом, который стягивал слишком тонкую талию. Коротко обрезала волосы, захотелось ощутить свой череп. Теперь на моем лице выделяются глаза, сверкают, как у раненого зверя.

Диего смотрит на меня со страхом — ему так нравились мои волосы! Говорит, что я по-прежнему красива, так лучше видна прелесть черт. Но теперь рядом с ним другая женщина — маленькая лисичка с узенькой мордочкой, в удлинённых глазах которой застыла скрытая боль.

Делиться этой болью мне не хотелось.

Между тем дела у Диего шли неплохо. По утрам он преподавал в частной школе фотографии, уходил из дому рано — в половине девятого начиналось первое занятие. Студенты боготворили его, ходили за ним по пятам. Если выдавался солнечный денек, они шли на натурные съёмки. Диего ненавидел постановочные фото. Они ездили по городу на мопедах, снимали в городских парках, на набережных Тибра. Студенты подражали Диего во всем: падали вместе с ним на землю, ловили перевернутое, искажённое изображение. Студентки смотрели на него с обожанием, многие из них были симпатичные, но с какой-то нарочитой эксцентричностью. Иногда мы договаривались вместе пообедать. Диего опаздывал, подходил ко мне, смеясь, в окружении своих учеников.

— Вон та ничего... — говорила я, по-лисьи сощутив глаза.

Он рассеянно кивал, не выказывая никакого интереса. Женщинами он вообще мало интересовался. Даже в баре, рядом со своими студентками, которые пили кофе и крутили косяки, он смотрел не на них, а на проходящих за окном собак. Ему нравились охотничьи породы — узкая морда, гладкая шерсть с подпалинами, вислоухие уши.

Я не хотела заводить собаку и находила тысячу банальных причин, чтобы отговорить Диего. Собаку нужно выводить гулять, мы не сможем распорядиться своим временем, не сможем возвращаться домой, когда нам удобно. На самом деле я не желала признаваться в том, что нам вдвоем становится немного грустно, что нам необходимо ещё одно живое существо, которое нарушило бы тишину дома, наполнило бы собой мои мысли... его мысли. Мысли о ребёнке, который так и не появился на свет.

Я очень хорошо помню конец 1989 года. Случилось три события: рухнула Берлинская стена, умер худой как щепка Сэмюэл Беккет и в один день с ним ушла из жизни Аннамария Альфани, моя мать. Тихая, неприметная смерть, как, впрочем, и вся ее жизнь. Как-то утром у нее на теле появились гематомы. Она стала бледной — белее мела, а на ногах и на животе расцвели темные пятна.

Болезнь была недолгой, мне ничего не удалось для нее сделать. Единственное, о чем она меня просила, — мягкий сыр страккино. В обеденный перерыв я заходила в гастроном, потом бежала домой, кормила маму с ложечки, вытирала ей рот. Садилась рядом с ней на кровать и смотрела телевизор. Шла какая-то викторина, нужно было угадать, сколько фасолин помещается в стеклянной банке. Однажды мама сказала: «Три тысячи семьсот двадцать три» — и угадала. Она смотрела на свое угасание точно так же, как смотрела в экран телевизора. Без настоящего интереса, думая о чем-то еще. Такому стоит поучиться.

Она ушла безмятежно, сама сложила руки на груди. Она часто так складывала руки, ей это нравилось.

Отец исхудал — кожа да кости. Я приглашала его к нам поужинать, но он не хотел. Тогда я шла что-нибудь ему приготовить, пробовала делать котлеты, как мама. Армандо приходил на кухню, усаживался в уголке и почти ни к чему не прикасался.

Гойко натягивает на голову куртку — снова начинается дождь. Переходит на другую сторону улицы, чтобы купить сигареты, закуривает — сигарета быстро намокает под дождем и гаснет. Он оборачивается ко мне, я вижу прилипшие ко лбу мокрые волосы, сверху куртка как покрывало. Сейчас он похож на женщину, похож на свою мать.

Вместе с небольшой группой людей мы идем из выставочного зала в ресторан. Боль железными тисками сжимает сердце, мне страшно.

Я хочу, чтобы Гойко больше не оборачивался, не искал меня, хочу исчезнуть, раствориться в этом городе. Останавливаюсь у витрины небольшого ювелирного магазина, смотрю на серебряную брошь в виде розы...

— Тебе нравится?

Пьетро стоит у меня за спиной, а я не заметила. Он здесь, рядом, пар от его дыхания оседает на стекле витрины. Его синий капюшон удивительно подходит к цвету глаз, которые сейчас кажутся темнее обычного. Пьетро тычет пальцем в центр витрины, в розу, лежащую на маленькой бархатной подушечке:

— Тебе нравится?

— Что, милый?

— Брошка, вот... роза.

— Да, красивая, — киваю я.

Такой же вопрос задал мне Диего у витрины неподалеку от этой. Серебряную розу тончайшей работы он приколот мне на блузку в подвальчике какого-то пивного ресторана...

Пьетро смотрит на меня, я едва стою на ногах.

— Ты устала, мам?

— Нет-нет...

— Это из-за фотографий, правда?

Я поворачиваюсь к сыну, у него худое вытянутое лицо, совсем как у отца.

— Тебе они понравились?

Отвечает не сразу, крутит головой, покусывает нижнюю губу:

— От них больно, мам...

Впервые за последнее время мне кажется, что он говорит искренне, без вечной своей насмешливой улыбочки.

Беру его за руку, она совсем холодная.

— Мне жаль, Пьетро...

Чувствую, как он проглатывает комок.

— Диего молодец, он классный был.

Пьетро сосредоточенно рассматривает витрину — розу на темном бархате.

— Я не похож на него, да?

— Ты — его копия.

— Привет, малышка... — Диего, широко улыбаясь, заходит в приемный покой частной клиники.

Здесь холодно, как в гигантском аквариуме. Я сижу на кожаном диване жемчужного цвета, напротив меня — точно такой же. Рамы на окнах железные — индустриальный антиквариат. Большая абстрактная композиция во всю стену... красные пятна, пузыри, наполненные кровью, плывут по темному фону.

Наконец-то Диего пришел. Я ждала его, смотрела на приоткрытую дверь, чувствуя себя очень неуютно. И вот он здесь, его худое лицо склонилось надо мной, волосы примяты.

— Я опоздал?

— Нет, я сама пришла недавно.

Садится рядом, целует меня в щеку. Он принес с собой запах городских улиц — ехал сюда через весь город. В руках у него

мотоциклетный шлем, он снимает кожаные перчатки, гладит меня по спине, легонько встряхивает за плечи. Я изображаю жалкое подобие улыбки.

— Ну что, снова мне придется дрочить? — со смехом спрашивает он.

Пытаюсь засмеяться и я, но слезы так и катятся из глаз.

Врач-генетик уже сделал заключение по результатам анализов Диего: «К счастью, у вашего мужа прекрасная спермограмма, так что необходимо сосредоточиться на вас».

Слезы тихо катятся по моему неподвижному, без эмоций, лицу. Диего молчит, он привык к этим слезам. Одна и та же сцена повторяется почти без изменений.

— Хочешь, уйдем отсюда?

Диего то и дело повторяет: «Если тебе это так тяжело, давай все бросим». Но я настаиваю, снова и снова записываюсь на прием к разным врачам.

— Ты откуда? — спрашиваю его.

— Из студии.

— Тебе нужно вернуться?

— Не беспокойся, меня подождут.

Сейчас он снимает только для рекламы. Подчиняется вкусу заказчика, никаких размытых изображений, делает только то, о чем его просят, фотографии четкие и ясные, кристально чистые. Работа не творческая, поэтому нравится ему. Говорит, что включает автопилот.

Лечение требует денег. Прошел целый год — самый тяжелый год моей жизни. Еще одна чистка, разведенные в стороны ноги, расширители, иглы...

Мне вводили гормоны для стимулирования овуляции, потом брали яйцеклетки на анализ. У них оказалась плохая форма, неправильная последовательность нуклеиновых кислот. Сгустки образовывались там, где, по сути, не должны были образовываться. Мне вводили кортизон, антикоагулянты, потом снова стимулировали овуляцию. Яйцеклетки стали лучше, некоторые из них вполне подходили для оплодотворения. У Диего взяли сперматозоиды и попробовали подсадить сперматозоид в яйцеклетку. За первой попыткой последовала вторая. Зачатие произошло, беременность стала развиваться, сердцебиение у плода было... но через пятнадцать дней прослушиваться перестало. Еще через неделю я упала с мопеда, мне наложили пять швов на подбородок. Врач-генетик сказал: «Что-то мне не нравится...»

Сделали гистероскопию. Генетик улыбнулся:

— У вас перегородка в матке, вы знали об этом?

— Нет, а что это?

— Это кусочек мембраны, который разделяет полость матки и препятствует закреплению зародыша.

Я нашла лучшего специалиста по этой части. Пришлось ехать в Милан — поезд, гостиница. В частной клинике на меня надели зеленый халат. Перегородку убрали. Диего поддерживал меня под руку, мы шли по длинному коридору, покрытому лаком; я еле переставляла ноги, держась за низ живота. Мы дошли до стеклянной двери детского отделения, увидели белый стерильный инкубатор, полный темных головок. Я стояла как каменная. Диего крепко обнял меня, и тогда я решила: я хочу, и я сделаю это.

Снова стимулирование овуляции, гормональные препараты профази 500 и пергонал 150. Я начала толстеть, у меня испортился характер, либидо причалило к Антарктиде. Я соблюдала все предписания врачей, бросила курить. И вот я здесь, в ожидании очередного искусственного оплодотворения.

Наконец-то нас приглашают пройти. В просторном кабинете — огромный стеклянный стол, на стене мрачноватая картина, как будто Альберто Бурри. Доктор очень любезен, у него усы и животик, как у семейных врачей прошлого века. Он шевелит пальцами, я рассматриваю его обручальное кольцо, кустики черных волос.

За ширмой снимаю юбку, забираюсь на кресло. Доктор включает монитор, вводит наконечник, копается во мне. Я жду.

Он, в конце концов, честный человек. Чешет в затылке, разводит руками. Мы снова сидим у стола, мое лицо — мордочка затравленной лисички. Доктор смотрит на меня, переводит взгляд на Диего, качает головой. Ему действительно очень жаль, но в нашем случае все попытки обречены. Несмотря на гормональную терапию, яйцеклеток у меня мало, даже меньше, чем в прошлый раз. Голос у доктора не такой, как обычно, кажется, что каждое слово дается ему с трудом. В моем случае не поможет даже донорская яйцеклетка, потому что матка у меня неэластичная, плохо развита... *преждевременно состарилась*, после удаления перегородки остался большой рубец. Такое, к сожалению, случается.

Голос у доктора дрожит, когда он произносит:

— У вас бесплодие... стерильность девяносто семь процентов... согласно медицинским показателям это полная стерильность.

Я киваю, побелевшие кисти рук сжаты в крепкий замок.

Диего встает, потирает руками колени, садится снова:

— А три процента?

— Чудо... только чудо. Мы, итальянцы, привыкли верить в чудеса, — разводит руками профессор.

Выходим из кабинета, профессор провожает нас до приемной, до самой входной двери. Он очень сожалеет. Проводил нас, как добрый пастырь, отлучающий заблудших чад от церкви.

— Спасибо...

В этот раз он даже не взял с нас денег.

Спускаемся по лестнице, я держусь за гладкие перила. Здание красивое, сороковых годов, белое, легкое, словно корабль.

Боли нет. Я так много страдала, что сейчас чувствую облегчение. Мне никогда не быть матерью, мое тело никогда не потеряет форму, я высохну, постарею, меня ждет одинокая старость. Нам не выполнить библейскую заповедь: «плодитесь и размножайтесь». Семя не будет брошено, нам не увидеть всходов. Бога нет. Где искать оправдание нашему убогому существованию? По какой дороге идти, чтобы найти смысл жизни? Я чувствую себя так, будто уже умерла. Покой и безмятежность, как в загробном мире.

Путь в царство мертвых — здесь, на улице, которую я перехожу как обычно. Я словно обреченная на казнь, с табличкой на груди: «БЕСПЛОДНАЯ ЖЕНЩИНА».

Распахиваю все окна, мне кажется, что в квартире темно. Может быть, стены потускнели от пыли и копоти, проникающей с улицы. Самая дальняя комната у нас пустует, мы редко пользуемся ею, разве что развешиваем белье в плохую погоду. Там мы планировали сделать детскую.

У нас длинный коридор, по нему можно кататься на велосипеде, можно играть в мяч...

В этом пальто я напоминаю жандарма. Иду в редакцию привычным путем.

К коллегам по работе, особенно к женщинам, я стала относиться настороженно. Все знают, что у меня были проблемы, но никто не в курсе, какой мне вынесен приговор.

Мы ждем, когда кофе выльется из автомата в пластиковые стаканчики. Виола говорит мне, что беременна. Я обнимаю ее вполне искренне. Она касается меня животом, и между нами пробегает электрический разряд. Я улыбаюсь: может, это из-за одежды, из-за синтетики... Виола кивает, закуривает. Говорит, что сделала уже два аборта, на этот раз решила сохранить ребенка, — все-таки ей тридцать семь.

— А то потом срок годности выйдет, как у йогурта.

Позже я украдкой смотрю на ее живот. Виола мне нравится, она из тех

людей, которые вечно впутываются в какие-то истории и к которым ты невольно проникаешься симпатией. И все-таки сейчас мне неприятно находиться с ней в одной комнате, она кажется мне безалаберной, глупой.

Перевожу с английского статью о мужской импотенции. Мужчина, у которого берут интервью, говорит: «Если ты слепой, ты можешь попросить жену описать тебе мир, увиденный ее глазами... если ты импотент, ты не можешь попросить ее заняться любовью вместо тебя...». Плачу.

Мир разделен надвое. Я принадлежу к мертвой части, как сгоревшие леса, как моря, задыхающиеся от водорослей, как женщины Чернобыля.

Диего заходит за мной. Беру его под руку, скованная, напряженная. Неожиданно замечаю, что в этом городе полно беременных женщин. Раньше я не обращала на них внимания, а теперь вижу на каждом шагу. Стараюсь не смотреть, если какая-нибудь беременная проходит рядом со мной. Я, как собака, чую их за версту. Украдкой слежу за Диего.

Делая маникюр в салоне красоты, рассматриваю девушку, которая склонилась над моими руками. Обычная девчонка с римских окраин, пышная грудь, детородное чрево, — наверное, предохраняется, занимаясь любовью со своим парнем, который выбрасывает семя в презерватив... и чувствует себя счастливой. Не то что я. Оставляю ей хорошие чаевые, толстые губы растягиваются в улыбке. Упругая кожа, дерзкий взгляд. Может, я ее ненавижу. Ненавижу плодовитость бедняков. Ненавижу сомалийку, которая моет лестницу в нашем доме. Иногда она берет с собой дочку. Девочка сидит в уголке, листает журнал или тихо играет. Я прохожу и улыбаюсь этой козьявке.

Наступило Рождество. Мы оставили Рим с его праздничной суетой, магазинами и рождественскими вертепами, нашли тихую гостиницу в горах, похожую на пряничный домик. Мы погружаемся в термальные воды, обмазываемся зелеными грязями, запахищаемся в роскошные белоснежные халаты. После ужина сидим в холле. Освещенные окна гостиницы отбрасывают на снег теплый желтый свет. Такое очарование... и такая тоска. Поднимаемся в номер — большая кровать, шоколадка на подушке. Из открытого крана течет вода. Если бы у нас был ребенок, я бы беспокоилась о том, что вода утекает зря, что запасы воды в мире не беспредельны, что всем нам угрожает жажда. Этот запоздалый медовый месяц кажется мне отвратительным, никчемным.

Следующим вечером мы идем играть в боулинг. Диего на этом настоял, чтобы немного развлечься. Атмосфера как в американском фильме. Много подростков. У входа стоят ботинки с налипшим снегом. Мы пьем горячий шоколад из больших стаканов, едим хот-доги. Черные шары катятся по

гладкой дорожке, с ужасным грохотом сбивают кегли. Мне нравится этот шум, нужно кричать, чтобы что-то сказать друг другу. Мне нравится кричать. Мы хохочем, как подростки, — сделали шаг назад, и это неплохо. Чтобы не страдать, нужно немного поглупеть. Щеки у меня горят, в глазах пляшут огоньки. Диего обнимает меня, целует в шею. Он помогает мне удержать равновесие, правильно кинуть шар.

Я смотрю на кегли, выстроенные в ряд в конце дорожки. Думаю о детях, о том, что они появляются неожиданно, порой там, где их не ждут, где им не рады. Кидаю шар со всего размаху, вложив всю свою злость в этот бросок.

Диего сидит на кровати и ест шоколадку, поворачивается ко мне:

— Почему бы нам не усыновить ребенка?

Он может позволить себе великодушие, ведь не он бесплоден. Мне хочется ударить его, но я улыбаюсь, жду, пока не утихнет гнев.

Я боюсь чужих детей. Боюсь заложенного в них генетического набора. Чтобы решиться на такой шаг, нужно иметь смелость. Я не уверена в себе. Пусть этот мир тешится своими детьми, я буду тешиться своей бесплодностью.

— Мы не женаты, но мы можем усыновить ребенка на расстоянии. Знаешь, существует дистанционное усыновление — будем посылать ему деньги, писать письма.

На расстоянии...

Церковь в центре города

Церковь в центре города. Барочная позолота, закопченные своды, фрески, мрачные аллегории, на которых пляшут лучи света.

Великий пост, приближается Страстная неделя, время покаяния. Я сижу на небольшой скамеечке в боковом приделе. В полумраке церкви видны фигуры — две старые девы, вот уж кто не беспокоится за свое жалкое тело, не приносящее плодов!

Я стыжусь этой отдающей средневековым веры. Я знакома с научной теорией происхождения жизни, я знаю, что жизнь зародилась в воде, куда попали микроорганизмы, я читала труды агностиков, рассуждения самых вольнодумных мистиков... я путешествовала, знала плотские утехи, вышла замуж и развелась, в конце концов, я современная женщина, без предрассудков. Что я делаю здесь, вместе с этими ханжами? Вечер среды, всюду продаются шоколадные яйца, дети ждут подарков, Его ждет Голгофа.

Мне неуютно на этой скамеечке, чувствую, что я здесь некстати, я присваиваю чужое, как те туристы, которые, дожевывая бутерброд, разглядывают фрески через объектив фотоаппарата. Хочу уйти сейчас же, немедленно, но остаюсь, сижу и плачу.

Я всегда считала, что могу управлять своей жизнью, контролировать каждый свой шаг. Долгое время принимала противозачаточные таблетки. Смешно!

На этот праздник жизни меня не пригласили. Наверное, нужно смириться. Я знаю, не всем дано иметь детей.

Сижу, вцепившись в сумку, — там бумажник, раздутый от кредиток, документы, паспортные данные: глаза голубые, волосы каштановые, пол женский. Чрево мертвое.

Разум сыграл со мной злую шутку. Мой рационализм оказался никчемным. Почва, на которой, казалось, я крепко стояла, уходит из-под ног.

Мне не хватает храбрости уверовать. Простодушия во мне тоже нет. Бог со своей высоты всего лишь потворствует человеческим недостаткам.

Врач говорил о чуде, о последней возможности, не постижимой разумом. Я, по правде говоря, пришла сюда за чудом. Сделала нелепую попытку и ухожу, поджав хвост: нет надежды на воздаяние, когда вера настолько слаба. Хочу встать, но что-то меня удерживает, заставляет склонить голову, смириться.

«Может быть, я и не верю в Тебя, но Ты, Всемилостивый, наверное, веришь в меня...»

Я научилась молиться.

«...Дай мне прочесть добрый знак в судьбе, которой я покоряюсь, больше ни о чем Тебя не прошу...»

Осеняю себя крестом. Передо мной Благовещение — сцена, полная смятения: стремительный архангел Гавриил и Мадонна — маленькая, раздавленная знамением. Испытанием.

После тренировки долго растираюсь разными кремами. Теперь я предаюсь любви истово, боюсь возвращаться к действительности. Сосредоточенно ищу внутри себя наслаждение, чреватое одиночеством. Но мне мешает любая мелочь, малейший шум. Диего опускается рядом, мы — два отдельно существующих тела. Он смотрит на мою спину, говорит, что можно просто полежать рядом, обнявшись...

Скольжу взглядом по нагому телу Диего, по его мошонке с плодоносным семенем. Набрасываюсь на него, хочу, чтобы он ответил насилуем, но Диего на это не способен.

Если мы занимаемся любовью, значит, мы пара. Иначе кто мы, что нас ждет?

От тренировок мой живот стал плоским и крепким, как доска. Диего больше нравилось, когда у меня был мягкий, теплый животик, об исчезновении которого он вспоминает с сожалением. Ну и пусть! Пусть привыкает. Эти мускулы меня защищают: я никогда не стану матерью его детей, я всегда буду только любовницей. Прекрасно, секс без последствий.

Меня раздражает взгляд Диего, его тоска. Раздражают фотографии на стенах. Иногда мне кажется, что все эти ноги, все эти лужи сменяются надо мной, над моей неполноценностью. Может быть, беда затаилась в этом доме.

У прежних жильцов тоже не было детей.

«Но они очень любили друг друга», — сказал как-то раз консьерж. Должно быть, мы повторим их судьбу. Я думаю о том, что нас ждет... о старости, о нашем одиночестве.

Девушка из римских предместий, которая делает мне маникюр, интересуется, почему у меня нет детей. Так и тянет ответить ей, чтобы она не лезла не в свое дело.

— Мой друг не хочет, — поясняю, уткнувшись в журнал.

Девушке довольно такого ответа: социологические опросы, говорит она, показывают, что многие мужчины не хотят детей, боятся, что жены им станут уделять меньше внимания.

Уходи от меня, мальчишка. Уходи, Диего.

Иногда я думаю, что он мог бы найти себе другую, кого-нибудь из своих студенток, у которой здоровые яйцеклетки и матка без шрамов.

Если бы он не любил меня, все было бы значительно проще.

Прохожу мимо фотостудии в надежде увидеть, как он выходит с какой-нибудь девушкой, хочу подсмотреть, как они будут целоваться в темной подворотне, истекая страстью. Боюсь и в то же время хочу это увидеть. Хочу спастись из ада, надавать ему пощечин посреди улицы, выкрикнуть в лицо, что я была права...

Но вот он идет — один или с кем-то, не важно. Длинный, нескладный. Худое лицо, шерстяная шапочка с помпоном. Прощается, подходит к своему мотоциклу. Ремень от сумки прочерчивает по диагонали его сутулую спину.

Мы сидим за столом, локоть к локтю. Стол большой, за ним могли бы уместиться как минимум два малыша. Но некому пачкать скатерть, никто не сорит и не шумит. В этом доме порядок, чистота, достаток. Убираю две тарелки в посудомоечную машину, закрываю, загорается красная лампочка, тарелки слегка дребезжат.

— Вот увидишь, в конце концов ты найдешь другую... у вас будет ребенок...

Говорю это, стоя к Диего спиной, закутавшись в черный кашемир, в свое одиночество.

— Я тебя пойму, я ведь люблю тебя, — пробую улыбнуться, поправляю новую прическу: пряди слиплись, как перышки у мокрого воробья.

Диего берет меня за затылок, с силой поворачивает к себе:

— Я не просто люблю тебя, дурья башка, я жить без тебя не могу.

У многих наших друзей уже есть дети, их дома пропахли пеленками и молочными смесями. Выдумываю предлоги, чтобы не навещать их. Стараюсь убедить себя, что с ними скучно, от них несет отваром ромашки, они закоснели в семейной жизни. Покупаю новое платье: тратить деньги — маленькая мимолетная радость. В примерочных моя худоба — большое преимущество, ткань обтягивает плоский живот, я с наслаждением топчусь по тряпкам, которые мерю и бросаю.

Наверное, теперь я стала намного сексуальнее. Иногда, стирая макияж, смотрю на себя в зеркало и представляю, как кто-то бьет меня в лицо, огромная боксерская перчатка расквашивает мне нос, оставляет синяки под глазами.

Мы ходим в кино, на концерты, в кафе для богемы — людей, которые

думают только о себе. Оставляю в гардеробе пальто от «Armani», иду на высоких каблуках к столику.

Изысканный ужин, хорошее вино. Представляю себе, что сейчас вот в эти стеклянные двери войдет террорист и начнет стрелять из автомата. Шквальный огонь — по всем столикам, по барной стойке... Брызги вина и крови. Я встаю навстречу смерти. Живот продырявлен пулями. Умираю смеясь, как злодей Джокер из «Бэтмена».

Решаю пойти к психоаналитику. Выбираю мужчину, боюсь, что женщина окажется нормальной, плодovитой.

Врач произносит несколько слов — этого достаточно, чтобы убедиться: он никогда меня не поймет. Я больше не верю в разум, я верю в природу, в ее цикличность. Психоаналитик — хороший профессионал, он сдержан, он не хочет меня подавлять, просто хочет дать инструмент, помочь мне самостоятельно разобраться с проблемой. Мне не нужны его инструменты, я и без них понимаю, что существует типовое решение, какой-то способ, который обычно срабатывает. Но не в моем случае. Представляю красные зернышки граната... собака-сучка рождает... я слегка раздвигаю ноги, как будто рожаю сама... Ассоциативные образы, о которых надо рассказывать, но мне не хочется.

Встаю, ухожу и больше не возвращаюсь.

Мне не нужен психоаналитик.

Иногда я нарочно прохожу рядом с мусорными баками, разглядываю на задворках рынка перевернутые ящики. Может быть, там брошенный младенец? Смеюсь над собой, что за глупости... Я схожу с ума? Безумие меня не пугает. Настанет день, когда все пройдет, я перестану думать о детях. Многие живут без детей, не хотят их. В супермаркетах полно продуктов для одиночек — полуфабрикаты, салаты в контейнерах.

Но мы не такие. Мы выносим во двор еду для котов. На нашем балконе устроила гнездо голубка. Повсюду перья и птичий помет. Надо бы прогнать ее веником, выбросить яйца.

Птенцы вылупились, мокрые, черные, некрасивые. Диего хлопочет, делает заграждение из картона — чтобы они не упали вниз, чтобы их не сцапала кошка. Подросшие птенцы улетают вместе с родителями, остается лишь белый ковер помета, который мне приходится отскребать.

Как-то вечером мы заходим в зоомагазин, случайно попавшийся на пути. В клетках сидят собаки, часто дышат, высунув красные языки. Диего берет на руки щенка таксы, гладкого и блестящего, как лакированная туфля. Щенок лижет ему лицо, Диего смеется. Впервые за долгое время я вижу, как он смеется. Трогаю прутья клетки — облезлый попугай с желто-

зеленым хохолком. Запах грязных опилок, птичьего корма... моя жизнь пахнет совсем по-другому. Диего трогает меня за плечо, он вернул щенка на место, в клетку, где скулят его сородичи.

— Пойдем.

— Ты не возьмешь его?

— Подумаем.

Я затеяла ремонт, пригласила рабочих побелить стены, ставлю новую ванну, с гидромассажем. Решила поменять на кухне кафельную плитку, выбираю самую яркую. Бегаю туда-сюда с цветовыми палитрами, образцами ткани для занавесок, для изголовья кровати. Чувствую себя проворной, как стрекоза, мне снова хочется жить.

— Тебе нравится новый диван?

Диего кивает, для него и старый был хорош, даже удобнее нового. Ему нравились дряблые подушки, засаленные подлокотники... я знаю, он ничего не стал бы менять. Ему тридцать один, лицо у него по-прежнему детское, но он стал медлительнее, не такой порывистый. Когда он раздражен или взволнован, заходится сухим кашлем.

Как и прежде, он теряет свои вещи — очки, пленки... но теперь упорно, до изнеможения, разыскивает их. Рыщет по всему дому.

Мой папа тоже участвует в игре «найди сокровище», заглядывает под диван, осторожно открывает шкафы... нет, не из любопытства, просто хочет помочь. Вот он нашел фотопленку, возвращает ее Диего, но тут обнаруживается, что пропали ключи от машины.

— Что, старость не радость? — говорит со смехом папа, обращаясь к Диего.

Папа все понимает. В тот вечер, когда я призналась, что не могу иметь детей, он закрыл мне ладонью рот, не хотел, чтобы я говорила, чтобы страдала. Потом поцеловал свою руку, замершую на моих губах, благословил мою судьбу, наш род, который должен на мне прекратиться. Поцеловал мою рану. Когда я была ребенком, он целовал мои разбитые коленки: «Все прошло, доченька, больше не болит».

Кашель Диего меня беспокоит, мы идем на рентген. Все в порядке, даже бронхита нет. Голос у него стал сиплым, из-за кашля воспалились голосовые связки. Этот гнусавый детский голосок терзает мне душу.

Покупаю ему толстый шарф, готовлю раствор для полоскания, словно заботливая мамаша. Он полощет горло, смеется:

— Я — старая развалина.

По-моему, он не против побыть старой развалиной. Ему нужна моя поддержка, моя ответная улыбка.

Елка в горшке, выставленная на балкон после Рождества, засохла. Выбрасываю ее на помойку вместе с комом сухой земли.

Пустую комнату мы превратили в спортзал — это была задумка архитектора. Большие зеркала, гимнастическая стенка, беговая дорожка в центре. Ночь. Я бегу по движущейся ленте, в темную комнату проникает свет уличных фонарей. Ручейки пота текут по лицу, попадают в рот... горький привкус, привкус ярости — выделения зверя, вымершего миллион лет назад. В темном зеркале контур моего тела движется сам по себе, один: эта комната предназначалась нашему ребенку. Внизу, на улице, кто-то смеется... лента движется быстро, я сбиваюсь с ритма, падаю.

Скрыв под рукавом белый бинт на вывихнутом запястье, иду в роддом проведать Виолу. Она уже родила, лежит на постели в мятом халатике, лицо ничуть не изменилось — я привыкла видеть ее такой на работе или за чашкой кофе в баре. Немного обвис живот, на руке лейкопластырем закреплена капельница. Цветная женщина по соседству с Виолой слушает радио через наушники.

Виола лежит в этой жалкой больничной палате, спокойная, умиротворенная, одна нога согнута, лицо желтоватого цвета, волосы растрепаны. Увидев меня, улыбается:

— Как хорошо, что ты пришла!

Я осматриваюсь: почему она не выбрала другую больницу? Но Виола непредусмотрительная — у нее отошли воды, она вызвала «скорую помощь», и ее привезли туда, где было место.

— Покурим?

— А тебе можно?

— Да ну их всех к черту...

Мы стоим у перил, почерневших от смога, на балкончике размером с половичок. Снизу поднимается тошнотворный запах столовской пищи.

Виола курит, жадно затягиваясь. В больничном дворике прогуливаются пациенты, приходят и уходят посетители.

— Ты довольна?

— Да.

Ветер обдувает ее осунувшееся лицо.

Она рассталась со своим парнем, татуированным балбесом, будучи беременной. Решила, что справится сама, хотя характер у нее не такой уж сильный. Никакой романтики, никакой любви — сплошной реализм. И все же есть в этой молодой женщине какое-то очарование.

Помогаю ей протереть шею гигиеническими салфетками, немного прибираюсь в металлической тумбочке: опрокинутый пакет сока,

прилипший глянцевого журнала. Виола благодарит меня. Спускаюсь вниз, покупаю для нее пачку сигарет, мороженое. Как странно, что женщина, недавно родившая, сейчас совсем одна.

— А где твоя мать?

— Отдыхает на море.

Все, что я вижу, расходится с моим представлением о материнстве, с тем приторным сиропом, который, как я полагала, придется непременно проглотить. Виола такая одинокая и беспомощная, что я успокаиваюсь. Она совсем не похожа на молодую мать, кажется, что она оказалась в больнице потому, что упала с мопеда и сломала ногу.

Медсестра приносит ребенка. Виола тотчас вручает его мне, будто передает папку или бутерброд.

— Как он тебе? — спрашивает.

Крошечный, черненький, нос приплюснут, выражение лица — как у взрослого. Совсем не похож на итальянца, скорее, на афганца — своего отца.

— Ему бы еще галстук — вылитый директор... такой пойдет домой своими ногами.

— Ты права, это так... к счастью, — смеется Виола.

Афганец не плачет, тихо лежит.

— Пусть поспит.

— Молоко у тебя есть?

Виола прикладывает ребенка к еще не разбухшей груди. Фыркает. Медсестра говорит:

— Если ребенок не будет сосать, молоко не придет.

Когда медсестра уходит, Виола посылает ее ко всем чертям.

Я не знаю, как это делается, но пытаюсь помочь Виоле... Подкладываю подушку, придерживаю головку малыша, щекочу подбородок, чтобы он открыл ротик.

Виола говорит, что у меня получается лучше, чем у медсестры. Я смеюсь, краснею.

Мы обнимаемся на прощание, Виола плачет и смеется сквозь слезы:

— Это гормоны падают.

Медсестра относит малыша в детское отделение, я иду за ней. Смотрю из-за стеклянной двери на эти кровати — белое поле с беззащитными всходами. Семена, прорастающие в снегу. Несколько дней назад я прочла в газете историю одной женщины, которая похитила ребенка в родильном доме... далеко она не ушла, присела на скамейку в нескольких кварталах от больницы. Когда к ней подошли полицейские, она была рада отдать им

младенца — он плакал, а она не знала, как его успокоить. Она не представляла себе, что он может так плакать, что может быть голоден. Она ни о чем не подумала — ни о том, какой шок испытает мать, ни о том, какие будут последствия. Она это сделала инстинктивно — так собака обычно тащит кость. Когда-то я не обращала внимания на подобные новости, пролистывала их без всякого интереса, а сейчас не могу. Я думаю о глазах той женщины, которая не в силах совладать с собой.

Спускаюсь по лестнице, сажусь в машину. Скорее всего, Виола не станет хорошей матерью — она слишком бедна, слишком несчастна. Но как знать, возможно, я не права. Я должна смириться с мыслью, что дети — как трава, растут там, где придется, куда ветер занесет семена.

Из Румынии приходят письма от двух детей, усыновленных нами на расстоянии. Я не читаю их, мне не интересно устанавливать с этими детьми эмоциональный контакт. Заполняю на почте бланк, отправляю деньги — всё, хватит.

Диего красным карандашом отмечает фотографии для отправки в Милан. Худящая модель одета в какие-то лохмотья Из маскировочной ткани. На ней солдатские сапоги, кепка с козырьком. Лицо вымазано черной краской, как у солдата, пробирающегося по лесу.

По телевизору показывают массовые убийства в Руанде. Новости смотрит только папа. Черные мундиры в потоке красной грязи... Я подхожу ближе.

— Что это? — спрашиваю у отца.

— Трупы.

Смотрю на эти тела со вспоротыми животами, отрубленные головы. Братья, которые в один прекрасный день принялись убивать друг друга. Выключаю телевизор, по спине пробегает дрожь. На экране был номер расчетного счета, я списала его, пошлю деньги и этим африканским сиротам.

Отец пьет виски, Диего спит. Нынче вечером голос у него был писклявый, как у евнуха.

Неожиданно отец спрашивает:

— Послушай, Джемма, почему бы вам не усыновить ребенка?

Отвечаю ему спокойно, без эмоций, что двух детей мы уже усыновили дистанционно, этого достаточно.

Он кивает и продолжает:

— Вы оба молоды, у вас доброе сердце...

— К тому же мы не женаты, папа.

— Об этом я не подумал.

Он одевается, идет к входной двери, потом возвращается.

— Ты что-то забыл, папа?

— Может быть, вам пожениться?

— Спокойной ночи, папа.

Мы поженились. Расписались в муниципалитете, были только близкие родственники и свидетели: Дуччо, новый менеджер Диего, костюм в полоску, красные подтяжки, и Виола с маленьким афганцем на руках. Был самый обычный день, кажется четверг. Мы не готовились к этому событию, все произошло очень быстро и без особого желания с моей стороны. Когда истек положенный месяц с момента подачи заявления, нам назначили день, и мы явились к парадному залу муниципалитета с двумя бронзовыми гербами у входа, над которыми печально свисал итальянский триколор. Вместе с нами ожидала пара лет под пятьдесят, оба разведенные, вступают в брак вторично. На мне был серый костюм, слишком строгий, в нем я похожа на свою маму. В последний момент, перед выходом из дому, я повязала на шею цветной платок — он немного оживил мой наряд. Диего в том самом велюровом пиджаке, который проносил всю зиму. Единственный праздничный атрибут — галстук-бабочка горчичного цвета — криво прицеплен поверх спортивной рубашки.

На улице Виола достает из сумки вакуумную упаковку риса. Ждем, когда она разорвет пакет зубами, отсыплет всем по горсти. Наконец нам в лицо летит град рисовых зерен. Сомнительное удовольствие — получить заряд шрапнели в лицо. Сейчас это кажется смешным, а тогда я злилась...

Диего снимает: установил фотоаппарат на мраморной колонне — бежит ко мне и к гостям. Я не помню, получились ли у него эти фотографии.

Свадьбу отмечали неподалеку от Капитолия в ресторанчике, забитом немецкими туристами. Я плохо помню тот день, мое скверное настроение испортило праздник. Диего поднял бокал, повернулся к столику немцев, произнес тост. Свист и поздравления на немецком... Соединенные Штаты бомбили Ирак. Накануне ночью мы сидели у телевизора и смотрели, как бомбардировщики «В-52» и истребители «Wild Weasels» сбрасывают снаряды...

— ...Они говорят, что целятся в стратегические объекты... а попадают в больницу, в автобус... и потом извиняются на пресс-конференции, попивая минеральную водичку... — Папа размахивал руками. — Знаешь, что написано у них на ракетах? Парни из батальона «Апаш» развлекаются... на одной пишут: «Это для твоей задницы, Саддам», на другой: «Это для задницы твоей жены».

Он выпил лишнего, сидел грустный, о чем-то думал, что-то жевал. С некоторых пор мир нравился ему все меньше и меньше. Раньше мама могла уравнивать его настроение, обращала его к мелочам и банальностям. После ее смерти Армандо восстал, дал волю своим мыслям.

У меня недовольный вид, на безымянном пальце — новенькое обручальное кольцо. Мы поженились для того, чтобы усыновить ребенка. Наши имена начинают совместное странствие по бесконечным коридорам итальянской бюрократии. Я боялась, что это юридическое признание нашей любви что-то отнимет у нас. Поставив свою подпись рядом с подписью Диего, я не испытала никакой радости, — наоборот, почувствовала горечь поражения. Этот брак окончательно утверждал мою неполноценность.

Задумчиво крошу за столом хлеб. Диего время от времени кладет голову мне на плечо. Папа поднимает бокал, стучит вилкой по стеклу, привлекая к себе внимание. Он хотел бы произнести тост, однако молчит, стоит с открытым ртом... Пауза слишком затягивается, становится какой-то театральной. Папа смотрит вокруг: убогий стол, кучка друзей, современных, раскованных. Папа щурит глаза, сдвигает брови, как он обычно делает, чтобы собраться с мыслями, затем выдает короткую речь:

— Желаю молодоженам здоровья, согласия... чтобы дом — полная чаша... и... и что Бог даст...

Папа смотрит на меня и Диего как на единое целое. Комок в горле не дает ему договорить — он делает вид, что икота одолела, закрывает рот салфеткой, *пардон*.

— Мне не хватает Аннамарии... — бормочет.

Виола недовольна тем, что мясо жесткое.

— Закажи что-нибудь другое, — сухо отвечаю я.

Дуччо не дождался десерта — вернулся к своим моделям.

Галстук-бабочка Диего лежит в кармане его велюрового пиджака — я нашла его там через несколько дней после свадьбы.

В ту ночь мы не занимались любовью. Диего открыл шампанское, припасенное в холодильнике. Пьем на брудершафт, проливаем шампанское друг другу на шею, на одежду. Смеемся, болтаем о пустяках. Тишина нас пугает... мы боимся своей наготы, своего поражения.

Разбудил нас телефонный звонок. Это Гойко, насвистывает в трубку свадебный марш. Предполагалось, что он будет одним из свидетелей, но нужно было ходить в посольство, оформлять документы, а мы все трое были ленивы и ненавидели бюрократию, так что в итоге ничего не вышло.

— В любом случае ты — единственный настоящий свидетель, —

сказали мы ему.

— Я знаю... жаль, что только свидетель. Я бы предпочел быть убийцей, — смеется он. Спрашивает нас про медовый месяц в своей неповторимой манере: — Под каким заморским небом будете трахаться?

Диего улыбается, потирает лоб, смотрит на меня:

— Останемся в Риме, надо работать.

— Ты в своем уме, дубина? После свадьбы нужно хватать жену и уезжать...

Не знаю, что он себе вообразил. Может быть, одну из пышных свадеб, что устраивают у них, — невеста вся в вышивках, в окружении гостей, накачавшихся сливовицей. Конечно же, он и представить себе не мог, что у нас все было очень скромно, что в нашем доме поселилась печаль, а мы сами, сонные, скучные, валяемся в постели.

— Бери свою жену и вези ее в гостиницу.

— Хорошо, попробую, — улыбается Диего.

Он кладет трубку, смотрит на меня, выключает свет:

— Закажем номер люкс в Гранд-отеле...

— Деньги на ветер бросать... — ворчу я, как и положено экономной жене.

Диего ворочается на кровати, потом встает. Утром я обнаруживаю его на диване перед включенным телевизором — какой-то усатый дядька на экране продает картины в стиле art naïf. Рука у Диего свесилась на ковер, одеяло сползло, открыв голый торс. На полу валяется пустая бутылка из-под шампанского. Подбираю подушку, тапку. Иду на кухню, смотрю из окна на проезжающие машины, на рыночные прилавки. Принимаюсь лбом к стеклу — вся картинка превращается в какую-то кашу грязного болотного цвета.

Спустя два дня мы представили наш запрос об усыновлении в ювенальный суд. Так началась волокита — хождение из кабинета в кабинет, кипы документов. Моей беременностью стали бесконечные анкеты, заключения, выписки. Эта бюрократия даже радовала меня — время шло, проблема переместилась из моего тела в канцелярские бумаги, в министерские кабинеты. Я вечно спешила куда-то, бросала мопед в переулках, избегала по лестницам. Почти сдружилась с охранниками и с неприветливыми, надменными чиновницами.

Папа подписал у нотариуса согласие на передачу наследства. Диего поехал в Геную, у него была судимость: он проходил по делу ультрас из Марасси и был осужден за хулиганство.

Нас вызвали в полицейский участок. Мы оказались перед

следователем — полноватым молодым человеком с плоским невыразительным лицом и приплюснутым носом — ни дать ни взять камбала.

Он все время крутил в руках золотой брусок зажигалки. Говорил низким голосом, постоянно облизывал губы и почти не смотрел на нас.

Диего, улыбаясь, вошел в кабинет. На нем все та же шерстяная шапочка с помпоном. История в Генуе представлялась ему далекой и несерьезной, будто из другой жизни. Следователь вздернул подбородок:

— Будьте добры, снимите головной убор.

Диего снял шапочку, извинился.

Через какое-то время этот тип раздраженно попросил:

— Перестаньте дергаться.

Диего во время допроса раскачивался всем телом, напрягая память, пытаясь вспомнить то время...

Он замер, выражение лица у него изменилось, взгляд потемнел. Теперь он сухо отвечал на вопросы. Следователь становился более настойчивым, продолжал облизывать губы. Под его невыразительной бледностью крылся садизм. Неожиданно мы почувствовали себя преступниками. Он знал о нас все, знал о наших поездках в Сараево. Я что-то бормотала про мой первый недолговечный брак, словно оправдывалась. Вялые, рыбы глаза этого типа скользили по нашим растерянным лицам. Я заметила, что его взгляд остановился на моей груди, поправила блузку. Диего встал. Следователь заметил, что беседа не закончена.

— Вы что, нас арестуете? — спросил Диего.

С того самого дня у нас возникло ощущение, что за нами следят. Полицейская машина, время от времени проезжая мимо нашего дома, замедляла ход.

Врач-психиатр из районной больницы был любезным пофигистом. Мы шли пешком в эту психиатрическую клинику, красивое здание двадцатых годов с трещинами по фасаду, окруженное одичавшим заброшенным садом. «Белые халаты» курят на подоконниках, по саду бродят наркоманы. Рядом с нами сидит заторможенная тетка с мятым пакетом из универмага «Упим».

Когда мы вошли в кабинет, психиатр улыбнулся нам, продолжая говорить по телефону. Закончив разговор, стал задавать вопросы, заполнил анкету. Даже не взглянув на нас, написал положительное заключение.

Наконец мы пришли на первое собеседование с психологом. Психолог, которому досталось наше дело, — крепкая тетка, она ожидает нас в дверях кабинета, беседуя с девушкой из социальной службы. У девушки невыразительное лицо, на ней мужской жилет и галстук. Тетка-психолог

кладет на стол наши бумаги, смотрит куда-то мимо нас. Густые волосы, глаза обведены черной тушью, на груди в несколько рядов — крупные гремящие бусы. Должно быть, в молодости слыла красавицей... Я смотрю на ее мясистые губы, на белые зубы, которые она то и дело открывает в улыбке. У нее слишком чувственный, скорее, вульгарный рот. Она меня возненавидит, я это сразу понимаю. Есть женщины, которые меня попросту ненавидят. Я научилась определять это с первого взгляда. Я научилась защищаться — стараюсь не думать об этом, не чувствовать себя жертвой, отвечаю на заданные вопросы. Голос у нее могучий, как она сама, гулко раздается в кабинете, по стенам которого развешены плакаты с изображением детей, переплетенных рук. Психолог улыбается, как бы ободряя меня, но в действительности делает все, чтобы меня смутить. Ее взгляд перелетает с меня на Диего, как теннисный мяч. Я чувствую себя уязвимой, теряю уверенность в себе. Знаю, она взвешивает наши недостатки. Диего моложе меня, это же очевидно. Я сижу сгорбившись, обхватив себя руками, будто у меня болит живот. Сразу понятно, что это я бесплодна. Говорю о каких-то пустяках, ухожу от ответа на вопросы. Я не могу открыть правду. Правда в том, что я хочу иметь ребенка, похожего на мужчину, которого люблю. Эта женщина, тархтящая, как ее бусы, все понимает — я напрасно лукавлю. Но для меня это последний шанс. Если бы я могла родить ребенка, я не сидела бы здесь, перед ней. Не желание сделать добро привело меня сюда. Я боюсь потерять Диего, хочу привязать его к себе этим ребенком, посадить под замок. Я бодрюсь, но кто знает, чего мне сейчас стоит не заплакать, не упасть головой на этот стол, заваленный папками, в каждой из которых — трагедия других людей...

Я думала, что психолог сможет переубедить меня, думала, что здесь, как в церкви, тебя возьмут за руку и поведут. Но эта тетка делает свою работу — исследует будущих родителей. Она говорит мне, что это долгий путь, тяжелое испытание для нашей психики.

— Даже пары, у которых есть полное взаимопонимание, которые осознанно делают этот шаг, зачастую не могут избежать сильных потрясений.

Чувствую, что у меня взмокли подмышки, — это выходит мое смятение, моя боль.

— Корова! Чертова толстуха! — возмущаюсь я дома.

Такое ощущение, будто меня публично раздели и высекли. Как будто чья-то рука забралась внутрь и выскоблила мое чрево, убирая последние сгустки крови.

Диего закрылся в своей лаборатории. Ну и пусть. Когда он проходил

мимо, я хотела вцепиться ему в волосы, разорвать свитер. Он меня бросил, не защитил. Я что-то говорила там, у психолога... а она вдруг повернулась к Диего и спросила: «Как вам кажется, ваша жена говорит откровенно?» Диего ничего не ответил, даже рта не раскрыл. Потом кивнул... автоматически, по инерции, как те игрушечные собачки в машинах.

На следующую встречу я не пошла. Проблемы в редакции. Смешная причина, но я действительно не хотела идти и публично позориться.

Мы не предполагали, что это будет так сложно. Мы мечтали, что возьмем ребенка, — и все. Теперь мы знаем, что нужно долго ждать, отвечать на бесконечные вопросы. Знаем, что новорожденного малыша нам не дадут, — у нас нет опыта.

Наверное, Диего тоже боится.

Мы читали в книжке, что первые два года жизни малыша самые важные. В это время он — мягкий податливый материал, который потом неизбежно твердеет.

Один рекламщик, с которым Диего познакомился в агентстве, приглашает нас на ужин. У них приемная дочь Людмила — милый, нежный белокурый ангел. Как фея Динь-Динь из сказки про Питера Пэна.

Современная, хорошо обставленная квартира. Тарелки из темного стекла, в центре кухни — высокая барная стойка. Мать — англичанка, светловолосая, как и приемная дочь. Людмила в самом деле похожа на своих приемных родителей, — может быть, поэтому они ее и выбрали, промелькнула в голове подлая мыслишка. Я знаю, что это так, я теперь смотрю в корень. Все приготовлено со вкусом: красное вино в высоких бокалах, цветная капуста, запеченная под соусом бешамель. Кажется, что у этой пары полная гармония, — так заботливо они относятся друг к другу. Отец семейства, надев толстую перчатку, открывает духовой шкаф, мать кормит девочку — той почти шесть лет, но сама она ест плохо. Позже Людмила прощается с гостями — мать ведет ее в постель. В руках у Людмилы кукла, с которой она не расстанется. Мать возвращается, подает заварной крем в чашечках, закуривает. Вскоре появляется девочка, она хочет пить, просит воды по-русски. Она всегда говорит на своем языке, когда устает. Мать гасит сигарету, дает Людмиле воды, снова ведет ее спать. Девочка возвращается, она не напилась. Теперь с ней идет отец, но она опять прибегает. Личико у нее уже не такое ангельское. За этим столом последней модели чувствуется убийственное замешательство... папа — итальянец, мама — англичанка, русский ребенок. Мало-помалу рушится замок семейной идиллии. Девочка, которая падала с ног от усталости, сейчас не хочет никуда уходить. Родители переглядываются, они в

замешательстве. У рекламщика побагровели щеки, как будто он хочет закричать, но не может, потому что во рту кляп. Его жена закуривает очередную сигарету, искра падает на кофту. Она отряхивает рукав, смотрит на прожженное место. Супруги извиняются перед нами, улыбаются смущенно — все-таки мы гости. Разрешают ребенку делать все что угодно. Людмила бросает на пол подушки, прыгает, заводит какую-то ужасную говорящую игрушку. В одно мгновение девочка разрушает эту близость, эту теплоту, уничтожает рекламную картинку. Отец встает, что-то шепчет девочке на ухо. Подошедшую мать Людмила пинает. После маленькой семейной неурядицы на столе появляется портвейн. Ребенок вскоре засыпает перед телевизором, на экране бегают друг за другом Том и Джерри. Мы тоже поворачиваемся на слишком громкий звук. Мать вынимает видеокассету — ей хочется поделиться со мной наболевшим. Она начинает с лирического вступления о поездке в Россию, о встрече с Людмилой в детском доме и постепенно подходит к настоящим проблемам. Девочка ее не признаёт, она помнит свою настоящую мать, поэтому, когда сердится, кричит: «Ты не моя мама». С отцом ведет себя лучше, но все равно ребенок очень агрессивный. Это хорошо, значит, она выплескивает свою боль, свою злость.

— Ты даже не представляешь, в каких условиях они там живут... Эти кровати с решеткой, как в тюрьме... — Голос у матери дрожит. Потом она произносит фразу, правдивую и страшную: — Я люблю Людмилу... но, если бы можно было вернуться назад, не знаю, как бы я поступила. Мы взвалили на себя такую ношу... приняли столько чужой боли!

У нее светлая кожа, милое, наивное лицо. Наверное, она постарела за эти два года.

Неправда, что ты усыновляешь ребенка. Ты усыновляешь боль всего мира. Это лакмусовая бумага твоего бессилия.

На пятой встрече с психологом лед тронулся. Я не могу говорить, у меня текут слезы. Психолог замечает, что слезы — это хорошо.

Через неделю начинаю рассказывать о матери, о том, что я никогда не видела ее голой, что она брызгала мои кеды дезодорантом, кормила меня из пластиковых тарелок. Лью слезы ни о чем. Об этих пластиковых тарелках, об этой стерильности.

Спустя два месяца признаюсь, что усыновление ребенка для меня — выход за неимением другого. Я не уверена, смогу ли полюбить его всей душой, смогу ли вообще кого-нибудь полюбить. Мне понравилось говорить правду, в этом есть вкус, в этом есть дерзость. Признаюсь, что мне страшно. Я боюсь потерять Диего, потому что он моложе меня, потому что

я стерильна, а у него «отличная сперма». Рассказываю обо всем том ужасе, что мне пришлось пережить, — иглы, мертвые яйцеклетки. Я больше не плачу, я спокойно смотрю на себя со стороны.

Теперь плачет Диего, дрожит, заходится в кашле.

Психолог вышла, чтобы мы успокоились. Вернувшись, предлагает нам мятные карамельки — свежий вкус действует благотворно.

Рука Диего лежит в моей руке. Мы — дети, малыши, которые встретились в детском саду и полюбили друг друга так сильно, что любовь эта больше их самих. Смотрю на Диего.

— Хочу, чтобы у моего сына были его глаза, его затылок. Как вы думаете, такой ребенок есть? — спрашиваю я у психолога.

— Есть, — кивает эта крепкая, плотно сбитая женщина.

Я обнимаю ее. Теперь она — моя мать, настоящая, та, которая меня удочерила.

На следующей встрече Диего рассказывает про своего отца, про машинное отделение, причал, усеянный опилками.

На последней встрече психолог говорит:

— ...В этих детях всегда находят то, что хотят найти. И ты, Джемма, найдешь затылок Диего. А ты, Диего, найдешь своего отца.

Она говорит, что мы научились искать.

Мы с Диего идем, обнявшись, куда глаза глядят. Идем к нашей старой барже, где теперь — модный бар и не осталось ничего нашего. Нет дивана из искусственной кожи со скабресными надписями, на котором мы сливались в любви. Вместо грязного линолеума — новенький паркет. Мы едим вяленую говядину, плачем от любви над этим сухим темным мясом. Но мы-то живы, кровь бежит по нашим венам. Я смотрю на реку — мутно-желтая вода ничуть не изменилась. Изменились мы. Диего говорит:

— У нас вся жизнь впереди.

Возвращаемся домой. Перед нами — затылок, ребенок так близко, что можно до него дотронуться.

Теперь психолог нам доверяет, ободряет нас. Нам не вручат кота в мешке. Будет возможность выбора, состоятся предварительные встречи.

— Мы не будем выбирать, — сказал Диего.

Первый ребенок, который сюда войдет, который посмотрит на нас, будет нашим. Детей не выбирают, это не рыба на прилавке.

Мы готовы к отцовству и материнству.

Прощаемся с нашим психологом в пиццерии. Пицца отвратительная, моцарелла с дерьмом, в жизни не ела ничего противнее. Плачем все трое.

— Никогда не встречала таких славных ребят, таких искренних, как

вы, — грустно говорит психолог.

Наш запрос отклонен. Мы не можем быть усыновителями. Из-за судимости Диего. Этот следователь с рыбьими глазами основательно подошел к делу.

Папа принес мушмулу — Диего ее очень любит. Помыл, разрезал плоды.

— Уедем отсюда. Поедем жить в Исландию.

Диего стоит у окна. Я смотрю на его затылок.

Я выросла. Странно, но я чувствую: что-то нас ждет. Хотя сегодня вечером эта вера в будущее кажется особенно нелепой.

Гойко в плохом настроении. Он выглядит старше своих лет, постариковски волочит ноги, размахивает руками, раскрыв большие ладони. Напоминает мне старую заброшенную мельницу, какие стоят вдоль берега Дрины. Приземистый корпус из потемневшего кирпича, крылья сломаны — того и гляди упадут... но она по-прежнему с надеждой смотрит в небо, ждет ветра.

— Я не думал, что зло так живуче, что мое поколение будет ворошить прошлое, откапывать погибших во Второй мировой, в сражениях с турками... только затем, чтобы снова сеять ненависть... не могу в это поверить, у нас вся жизнь была впереди... концерт «U2», любимая девушка, чего нам не хватало? Почему мы выбрали худое семя, отравленные колодцы, гниющие останки?

Мы сидим на автобусной остановке под навесом из матового пластика — три усталых туриста, которые потерялись, но им на это наплевать, потому что они никуда не спешат. За нашей спиной — металлический диск крытого бассейна, из-за переплетенных черных труб он похож на скелет какого-то доисторического животного. Перед нами — широкая пустая дорога, дождь недавно закончился, оставив на обочинах грязь. За проехавшим стареньким «опелем» тянется темный шлейф дыма. Пьетро закрывает рукой нос.

— Что, в Риме жить лучше? — смеется Гойко.

— Да... пожалуй, — бормочет Пьетро.

— А здесь тебе все кажется убогим, тусклым... — Хриплый голос Гойко звучит угрожающе, и даже лицо его кажется мне сердитым.

Пьетро пожимает плечами, смотрит на пустую дорогу, на облезлый ствол дерева, согнувшийся, как удилице.

— Ну почему... площадь с шахматами мне понравилась.

— На той площади встречаются старики и беженцы. Лучше бы ты сидел на Пьяцца Навона, где-нибудь в баре напротив фонтана Бернини...

тебе повезло, ты итальянец.

Хочу успокоить Гойко, кладу ему руку на колено, но в этом жесте чувствуется испуг, я напирая слишком сильно. Боюсь, что он скажет Пьетро лишнее. Может, не нужно было на него полагаться... ему столько пришлось пережить, его спокойствие, наверное, скрывает затаенную обиду.

— Спроси у своей матери, каким этот город был до ВОЙНЫ.

— Очень красивым, — быстро отвечаю я.

Я давно не видела Гойко таким сердитым.

— Ты знаешь, что здесь она встретила твоего отца?

Пьетро кивает, понутив голову.

— Он был очень симпатичный, а твоя мать — немного высокомерная, но такая красивая, что могла себе это позволить...

Пьетро скребет по джинсам длинными ногтями, отрастил, чтобы играть на гитаре. Он тоже нервничает.

— Прекрати! — прошу я. — Меня это раздражает.

Он не возмущается, перестает скрести.

Двое ребят в акриловых спортивных костюмах с надписью «OLIMPIK SARAJEVO» на спине играют в мяч на площадке перед металлическим диском бассейна. Гойко возвращает им мяч, который случайно залетел к нам. Потом встает, идет играть с мальчишками... Он не потерял сноровку, умело ведет мяч.

— Давай уедем, ма... давай вернемся домой.

— *Italijan!* — кричит Гойко, указывая на Пьетро. — Эй, Дель Пьеро!

Ребята подходят к нам. Они похожи, как братья, — одинаковые глаза, одинаковые красные пятна на щеках.

Пьетро улыбается, мотает головой — к футболу он всегда относился более чем прохладно. Бормочет, что у него неподходящая обувь, однако не заставляет себя упрашивать.

Вот они с Гойко сражаются за мяч. Гойко, в отличие от Пьетро, воспринимает игру всерьез, но его азарт кажется смешным — так бывает, когда старики хотят потягаться с молодежью.

Один из сараевских мальчишек повалил Пьетро на землю и увел мяч. Пьетро поднимается, отряхивается, прыгает на одном месте. Он надел на голову капюшон — это у него защитная реакция, я-то знаю.

Другой подбегает, обводит мяч вокруг Пьетро, но Пьетро мяч перехватывает и бьет по стене с криком: «Гол!» Ребята свистят, кричат: «Мимо!» Гойко разводит руками. Есть в нем что-то, что делает его похожим на этих двух ребят, какая-то жестокость. В их игре нет красоты, они словно хотят причинить боль. Пьетро прихрамывает, брови под капюшоном

нахмурены, смотрит на мяч как на врага. Вот именно, как на врага. Их четверо, каждый играет за себя... и все-таки кажется, будто все играют против Пьетро. Действительно, я замечаю, что он один против всех. Смотрю на его долговязую фигуру — он красиво движется, на нем дорогие джинсы и ботинки... весь он какой-то изящный, светлый... Он обходительный по натуре, да и воспитывался так. Джулиано водил его на дзюдо к мастеру старой школы, на водное поло и теннис. Он привык к честной борьбе, он не из тех, кто сдается, но специально причинять боль, обижать кого-то он не будет. Я смотрю на него чужими глазами — глазами этих мальчишек, которые сейчас кажутся мне злыми, хмурыми.

Их дешевые акриловые куртки, щеки в красных пятнах, неподвижные глаза, которые переполняет зависть. Наверное, они его ненавидят. Это дети войны, судя по их возрасту. Их матери умирают от рака, а безработные отцы спиваются. Они коренасты, грубо играют, бьют моего сына по худым голням.

Всех не пожалеешь... Мне не нравятся эти мальчишки, не нравятся их потные лица, сделанные как будто из низкосортного материала... из каких-то пыльных отходов.

Мой сын не такой, он вырос в другом мире. Руки прочь от него, отребье, грязные свиньи!

С этого холма стреляли снайперы, издевались над жертвами, простреливая руку, ногу... Некоторые целились в яички, в женскую грудь — убить всегда успеется, времени предостаточно, вот они и развлекались.

«Это как в кроликов стрелять...» — говорил в интервью один из них. Он не чувствовал за собой вины, даже не понимал, откуда такой интерес к его персоне. При этом он не был сумасшедшим, или садистом, или кем-то еще. Просто у него пропало ощущение ценности жизни.

Жалость умирает с первым убитым тобой человеком...

Тот снайпер тоже умер, потому и улыбался.

На обратном пути звоню Джулиано. Иду, прижав к уху мобильный телефон, закрыв другое ухо рукой, — здесь оживленное движение, на улице очень шумно.

— Привет, любимый.

— Привет, любимая.

Прошу его поменять билеты на обратный рейс, мы хотим вернуться раньше. Он говорит, что попробует.

— Разве вы не хотели поехать на море?

— Погода плохая, еда скверная, Пьетро жалуется.

Неубедительные доводы, мелкие, как страх в моем сердце.

Джулиано это чувствует, повисает пауза.

— Джулиано?

— Я здесь.

«Подожди...» — думает он, я знаю; я вижу его лицо, его глаза, слегка прищуренные, знаю, какое выражение лица бывает у него, когда он думает обо мне.

— Где ты сейчас?

— На улице.

— Что там... что ты видишь перед собой?

Не понимаю, о чем это он.

— Дорога грязная, много машин, витрина с сотовыми телефонами, булочная... памятная доска с именами погибших...

— Не спеши уезжать, не убегай.

Прощаемся с Гойко на пороге гостиницы, смотрю куда-то в сторону. Он чувствует мою отстраненность, закрытость.

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

— Какие планы на завтра?

— Пospим немного.

Поворачиваюсь и чувствую, как в спину впивается его властный, пронзительный взгляд.

Пьетро жадно пьет воду прямо из пластиковой бутылки. Переводит дух. Мы включаем телевизор, он хорошо ловит только один канал, немецкий. Идет игра, мы видели ее и в Италии — так называемая форматная программа, подходит для любой страны — те же кнопки, те же шкатулки с деньгами.

Мы лежим на кровати, без всякого интереса смотрим на этот светящийся квадрат, в котором двигаются и смеются какие-то люди, мелькают бутафорские монеты — большие и блестящие, словно из сундука пирата.

Я никогда не смотрю таких игр. Но сейчас это именно то, что мне нужно, — эти мелькающие кадры помогают расслабиться, возвращают в настоящее.

Однажды я спросила Диего, что он чувствовал в юности, когда пробовал героин.

«Мерзкая рожа казалась вполне приличной, стадион «Марасси» выглядел, как Маракана в Бразилии, моя «веспа» мчалась не хуже «харлея Дэвидсона»... Я смирился с этим миром, только и всего».

Смотрю на экран, картинка мелькает, не затрагивая ни ум, ни

сердце... и вскоре я уже ни о чем не думаю. Голова моя свободна, окутана туманной полудремой.

Пьетро сползает вниз, устраивается на своей половине, обхватывает подушку. Я выключаю телевизор, комната погружается в темноту. Нога Пьетро касается моей, странно, что он не отдергивает ее. Что с ним сегодня? Мне кажется, сегодня он какой-то другой, не такой бешеный, как обычно.

— О чем ты думаешь?

— Ни о чем, мам.

Голос у него совсем не сонный. Вижу в темноте его голову, протягиваю руку, глажу его по волосам. Дома он оттолкнул бы меня, отстань дескать, но сегодня ночью здесь, в Сараеве, ему нужна моя нежность. Незаметно он придвигается ближе, сворачивается клубочком, прижимаясь к моему животу. Обнимаю его, как обнимала раньше, когда он был маленьким и беззащитным. Мне кажется, он взволнован событиями сегодняшнего дня, растревожен этим городом, где он родился, как он считает, по стечению обстоятельств, поскольку его отец был фотографом и много ездил по миру. Дыхание у Пьетро становится ровным, наверное, уснул.

Незадолго до смерти мама рассказала мне свой сон. Ей приснилось, что я снова внутри ее. Сон был таким явственным, что утром она никак не могла прийти в себя. Она лежала чуть ли не на смертном одре и трогала свой живот, отказываясь верить, что он пуст.

— Какая глупость! — сказала я, не понимая, что этими словами причиняю ей боль.

А потом нечто похожее случилось и со мной. Пьетро был маленький, у него начался гнойный отит, поднялась температура.

Всю ночь я держала на руках ребенка, пылающего в жару. В какой-то момент задремала. Мне приснилось, что я рожаю — рожаю своего сына. Не было ни боли, ни крови. Я проснулась от собственного крика.

Джулиано включил свет, глаза испуганно бегают.

— Что, что случилось?

Пьетро спал, температура начала спадать.

— Сон приснился, — успокоила я мужа.

— Страшный?

— Завтра расскажу.

Сегодня мой взрослый сын спит рядом со мной. Сегодня в этой гостинице, в бледном свете фонаря, проникающем в комнату через окно, я боюсь услышать то, что может поведать нам Сараево своим тихим голосом.

Прислушиваюсь к дыханию Пьетро.

— Наверное, когда-нибудь я расскажу ему все, — прошептала я в тот раз Джулиано. — Расскажу, что не я его родила.

В Дубровнике солнце плескалось

В Дубровнике солнце плескалось в каждой частичке неба, расплавленное золото стекало на красные черепичные крыши старого города, на белое ребро крепостной стены. Мы зачарованно смотрели на причал. Наконец-то настоящий отпуск — первый за долгое время.

Спускаемся на автомобильную палубу забрать машину. Кормовые ворота парома открылись, и в нос с силой ударила вонь моторного топлива, принесенная вместе с черным дымом. Гойко ждал нас. Белые брюки, солнцезащитные очки, загорелое лицо. Одной ногой упирается в толстый канат для швартовки кораблей — помогает машинам съезжать с парома, знаками показывает, как выровнять колеса, и одновременно болтает со стоящим рядом офицером в белой форме.

Диего высунулся из окна машины и громко свистнул, вставив в рот два пальца.

Гойко обернулся, широкая, во весь рот, улыбка обнажила кривые зубы — ни дать ни взять треснувший перезрелый арбуз. Подбежал к нам, с кошачьей ловкостью перепрыгивая через капоты впередистоящих машин. Прижал к груди голову Диего, вопя от радости. Целует, смотрит на него, снова целует. И снова орет:

— *Dobro došli, Diego! Dobro došli!*

Подходит к моему окну. Я пытаюсь увернуться от этого натиска, но он буквально вытаскивает меня из салона автомобиля, как щепку:

— *Dobro došli u Hrvatsku*, красавица!

Гойко садится за руль, и мы съезжаем на берег. А потом мы с ним бродим, обнявшись, как брат и сестра после долгой разлуки, по улочкам, бегущим к морю. Гойко выбрал для меня кепку с красно-белым флагом Хорватии. Я надела ее, посмотрелась в зеркальце: отличная кепка... я в ней выгляжу симпатичнее, моложе...

Диего от нас отстал, он фотографировал порт сверху, со старой крепостной стены. Гойко бросил на него взгляд поверх моей головы:

— Он тебя обижает?

У Гойко типичные глаза балканца — глубокие, грозные, полные векового достоинства.

— Нет... он здесь ни при чем.

Больше Гойко ни о чем меня не спрашивал.

— У нас будет время, — сказал. Повернулся и прокричал Диего: — Эй,

фотограф, щелкни меня с твоей женой!

Эта фотография сохранилась... Гойко с наигранно страдальческим лицом, и я в хорватской кепке, тонкие ноги торчат из шорт. Лица у меня нет — Пьетро в детстве случайно капнул на фотографию маслом.

Мы сидим в баре маленькой гостиницы неподалеку от улицы Страдун. Над нами — навес из гибискуса, перед нами — бутылка вина и тарелка с маленькими черными оливками. Соревнуемся, кто дальше плюнет косточку. Побеждает Диего. Он всегда побеждал: откуда такая сила в этих впалых щеках!

Отчего-то Гойко заинтересовался обувью Диего. Диего со смехом бросает ему свой шлепанец. Гойко долго и с отвращением рассматривает его, потом возвращает хозяину. Наклоняется, снимает с одной ноги мокасин и, не скрывая своего ликования, показывает внутри надпись: «Diog». Мы притворно сокрушаемся:

— Где ты их украл?

Гойко закуривает, говорит, что на провокации не поддается, и предлагает выпить еще.

Солнце скрылось за навесом, море внизу темно-синее, неподвижное. Мы уже изрядно напились.

Гойко надел мокасин, подмяв ступней задник; эти туфли, наверное, были ему узки и не налезали на потную ногу. Недалеко от порта стояли два танка.

— Почему они здесь? — спросила я у Гойко.

— Это наша *Armija*, время от времени они проводят рекогносцировку.

Гойко уставился на море через американские солнечные очки. Уже были беспорядки в Краине, были убитые в Борово Село. Одно из четырнадцати тел было возвращено с выколотыми глазами, другое — с отрезанной рукой. Диего что-то спросил. Гойко улыбнулся:

— Ссоры между соседями, ерунда.

И с гордостью продемонстрировал нам одну штуковину — полуобнаженная фигуристая барышня с прищепкой вместо головы. Оказалось, это своеобразная «рамка» для фотографии — можно приставить к роскошному телу любую голову. Гойко порылся в карманах, вынул маленькую фотокарточку, какие обычно делают на документы, и прикрепил ее прищепкой. Я ее узнала — это была моя фотография с пропуска во Дворец спорта на время Олимпиады.

Поставил сексапильную куколку с моей головой на стол.

— Ты была рядом со мной всю зиму...

Диего с силой дал ему в бок.

Остров Корчула окаймлен виноградниками, которые начинаются сразу за изрезанной береговой линией. Маленькая гостиница, где мы поселились, напоминала венецианскую. Мы спускались через заросли кустарника по белым скалистым уступам к небольшому пляжу, который сразу стали считать своим. К обеду не возвращались. Целый день плавали в море. Я часами могла нырять. В морской воде, прозрачной как стекло, ко мне подплывали маленькие бесстрашные рыбки. Галька на берегу в течение дня постоянно меняла цвет. Камни словно двигались под лучами солнца, стараясь расположиться в известном только им порядке. Рано утром казалось, что ты идешь по бесконечному гнезду, маленькие яйца в котором вот-вот треснут. На закате галька становилась мраморной, с синими прожилками, и была похожа на спинки ползущих насекомых. Ночью белый фонарь луны высвечивал прибрежные скалы — на гальке плясали серебристые отсветы потухших углей.

Гойко где-то достал автомобильную камеру. Так он и плавал, усевшись внутрь, положив локти на черную резину, читал книгу. Иногда прерывал чтение и распевал во все горло:

— *Kakvo je vrijeme... Vrijeme je lijepo... sunce sija...*

Лоб у него обгорел, он залеплял этот солнечный ожог клочком мокрой газеты. Устав плавать, он оставлял свой водный плацдарм и шел под палящим солнцем к дальнему ларьку, где продавали напитки. Возвращался покрытый потом, приносил для всех холодное пиво и рыбу. Диего фотографировал соленые лужи, которые казались лицами, погребальными масками античных воинов. Диего исполнился тридцать один, годы красили его. Лицо у него было худое, аскетичное и в то же время выражало чувственность. На подбородке ямочка, как у ребенка, а в глубоко посаженных глазах несвойственная его возрасту грусть. Мне было тридцать шесть, тело еще сохраняло упругость, но маленькие мимические морщинки на худом лице скрыть было невозможно — загар еще больше обозначил их. Свет в ванной комнате нашего гостиничного номера был таким ярким, что я избегала включать его. Красилась, сидя на кровати, в полумраке комнаты, глядя на себя в зеркальце компактной пудры. Ужинали мы в маленьких прибрежных ресторанах, заказывали креветки, мидии, душистый сыр из молока здешних коз, которые объедают кустарники. И конечно же, местное вино. Я заметила, что некоторые девушки, сезонные официантки, извлекающие выгоду из туристического бума, не раз и не два проходят мимо нашего столика и украдкой посматривают на Диего. Его загорелое лицо казалось вырезанным из гладкого темного дерева. В конце концов, нас всегда видели втроем, и меня вполне можно было принять за

жену Гойко. Я склонялась к Диего, целовала его, чтобы отвадить этих искательниц приключений.

Где-то уже шла война... но этим летом я ничего о ней не знала, не думала. Гойко целый день плавал в своем круге из черной резины, царапал стихи и между делом продавал разный хлам. После ужина он куда-то исчезал — в поисках легких развлечений, доступных тел... однако, как я сейчас думаю, в него уже проникла война. Она была в этом жадном, безудержном стремлении взять от жизни как можно больше. Возможно, он старался для нас — хотел, чтобы его итальянские друзья вдоволь насладились морем, вином и мидиями. Урвать добычу до того, как опустится тьма. Сегодня я понимаю, что бесшабашность Гойко, его тяга к земным радостям были порождением его мрачных предчувствий.

— В Загребе все сербы стали четниками, а в Белграде все хорваты — усташами... — Гойко плевал виноградные косточки в море. — Пропаганда... телевидение... пропаганда делает историю...

Он, смеясь, рассказывал о лидерах, имена которых мы слышали впервые, как о кучке идиотов: они укладывали волосы феном и гримировались перед выступлениями на телевидении. Милошевич, как выживший из ума могильщик, возит повсюду останки святого сербского князя Лазаря, а Туджман хочет поменять меню в ресторанах и все дорожные знаки. Серьезного разговора не получалось. Гойко пожимал плечами, рисовал карикатуру: Туджман представляет другу свою жену. В облачке, вылетающем у него изо рта, написано: «ОНА НЕ СЕРБКА, НЕ ЕВРЕЙКА, НЕ ТУРЧАНКА. К СОЖАЛЕНИЮ, ОНА — ЖЕНЩИНА». Газет Гойко не покупал:

— Все они сами с собой разговаривают: пукнут — и радуются, что собственная жопа приветствует их!

Его юмор защищал нас, рядом с ним мы чувствовали себя в безопасности.

Он часто бывал на взводе, его нервозность порой меня раздражала. Этим летом Гойко был точь-в-точь как это море: когда наступал прилив, волны вздымались, разбивались о скалы. Но иногда вечерами, когда начинался отлив и вода уходила, оголяя песок, он походил на тех маленьких крабов, которые оставались на берегу и стремились забраться под камни, беззащитные, как дети.

Как-то ночью, устав от его раскатистого смеха, звучавшего слишком громко и навязчиво на пустынных улочках, которые вели нас к гостинице, я сказала ему, не подумав: «Ты просто дурак». Потом в пустом гостиничном холле он забрался в своих мокасынах «Diog» и с бокалом траварицы в руке

прямо в фонтан, облицованный плиткой, как в турецкой бане, и принялся орать:

— Я дурак, это правда! Все поэты дураки, они глупы, как мухи на оконном стекле! Бьются о невидимую преграду, чтобы ухватить хоть немного неба!

В соседнем с нами номере поселилась немецкая пара с двумя ангелоподобными малышами. Мы встретили их в коридоре, возвращаясь с пляжа. Мать — молодая, но уже увядшая женщина, совершенно непривлекательная, — шла впереди меня. Ее распухшие ноги загорели пятнами и были покрыты паутиной темных вен. Отец — в пластиковых сандалиях, с пивным пузом. Они улыбнулись нам, я улыбнулась им и их чудесным малышам.

— Вырастут и станут такими же безобразными, как родители, — смеясь, сказала я, заходя в комнату.

Диего посмотрел на меня, задетый этим язвительным замечанием. Немцы были очень скромные, никого не беспокоили, говорили тихо. На соседнем с нашим балконе сушились их купальные костюмы. Один из них, детский, с голубыми цветочками, ветром сбросило вниз. Я смотрела на этот купальник, упавший во двор, прямо на тротуар, по которому дворник таскал мешок с мусором.

Между нашей комнатой и соседней была дверь, закрытая на ключ, побеленная вместе со стеной, через нее и доносились звуки. Глубокая ночь, дети уже спят. Мать вымыла им ножки, уложила в постель. Мы всегда возвращаемся поздно, у соседей в это время тишина. Но сегодня немцы решили заняться любовью, соединить некрасивые тела, которые все-таки стремятся друг к другу. Я прислушиваюсь... характерный звук, сопровождающий сексуальную близость. К горлу подкатывает изжога. Рыбный бульон за ужином был слишком приправлен специями. Меня тошнит от этой еды, от слишком крепкого вина, от этих уродливых, неуклюжих тел, которые трутся друг о друга в соседней комнате. Сейчас мне противен секс вообще: втыкать и втыкать до самой смерти, искать и искать дырку. Я представляю себе мужчину, толстяка с огромным пузом... женщину с ее некрасивыми ногами, разведенными в стороны... Лежу и слушаю этот звук, скрип старых пружин. В конце концов, это их отпуск, их деньги. С немецкими марками очень выгодно отдыхать на хорватском побережье. Будет ли война? Может, да, а может, нет... сейчас июнь. Сезон для матерей с детьми. Сегодня ночью эти двое совокупаются. Доламывают и без того старую кровать. Они поужинали, прогулялись рука об руку по гладким булыжникам старых улочек, купили детям вертушки.

Вернулись в гостиницу довольные, уложили своих херувимов спать — те сейчас посапывают, светлые локоны прилипли к потным лобикам. Наверное, прежде, чем лечь в постель, прихлопнули пару надоедливых комаров. Сразу видно — настоящая пара, знают, как доставить друг другу удовольствие, не поднимая шума. Звуки минимальные — скрип старой кровати, бурное дыхание... никаких криков, непристойностей. Я хочу встать, потому что мне жарко, потому что у меня несварение желудка, потому что Диего спит и ничего не слышит. И тут раздается вскрик — так кричит морская птица, когда бросается в воду.

Это кричит один из ребятишек. Теперь плачет навзрыд. Я слышу ласковый голос матери. Совокупление прекратилось, пузатому немцу пришлось извлечь свое орудие. Она встала с постели, чтобы успокоить ребенка своим горячим и влажным, словно у коровы, дыханием.

Значит, вот какво заниматься любовью, когда рядом спят дети. Наспех, скомкав вождеделение, спешить к малышу, склониться над ним, утешая его, прогоняя его страхи. Эта немка — хорошая мать, я слышу, как она поет колыбельную. Она молода, но некрасива, выглядит гораздо старше своих лет. В ней нет ровным счетом ничего привлекательного, но ребенок любит ее, для него мать — щит из плоти, крепость любви. Для своего малыша она — прекраснейшая из женщин, он зарывается носом в тяжелый запах ее волос, ее пота — запах знакомого тела, запах материнского лона.

Светает, я стою на балконе. Сон как рукой сняло. Небо густого кобальтового цвета, воздух неподвижен и свеж.

Откуда во мне столько ненависти? Так отчетливо, так явно возникло это чувство к плачущему ребенку, к незнакомой женщине. Но главное — к себе самой, что меня утешило.

Диего взял за завтраком пончики в меду, к которым пристрастился.

— Я не хочу на море, — сказала я.

Середина отпуска — это всегда кризис, ненасытность первых дней сменяется утомлением. Диего с улыбкой ответил, что тоже немного устал и с удовольствием составит мне компанию.

— Ночью плакал соседский ребенок, я не могла уснуть.

— Давай поменяем номер.

— Да... давай.

В коридоре встречаю немку, при виде меня она краснеет, — может, ей неловко, она догадывается, что я все слышала. Спрашиваю ее на английском:

— Что случилось, отчего ребенок так кричал ночью?

Объясняет, что купальник потерялся, поэтому дочка плакала. Она и на

пляже рыдала, а ночью, во сне, должно быть, вспомнила о пропаже.

— Он старый был, но ей очень нравился...

Я думаю об этом купальнике, упавшем во двор, о дворнике, который его поднял и бросил в свой огромный мусорный мешок. Я хотела крикнуть ему, чтобы он оставил купальник, я знала, что он упал с соседнего балкона. Но не сделала этого, желчь переполняла меня. Кажется, мне было даже приятно видеть, как дворник бросает в мусор эту выцветшую тряпочку.

По правде говоря, у нас троих были причины для грусти, поэтому мы и старались изо всех сил выглядеть веселыми. Природа, проникая в нас, возвращала нас к самим себе. Дни бежали своим чередом, морская вода лечила мое тело, соленый ветер восстанавливал силы. Я обгорела, меняла кожу, как змея. Диего теперь мало купался, говорил, что соленая вода разъедает глаза. Он предпочитал прибрежные скалы. Я плелась за ним, надев хорватскую кепку. Под палящим солнцем, босые, мы забирались на самые вершины. Я слышала дыхание Диего, смотрела, как ловко, по-звериному, он карабкается по камням. В расщелинах жили морские чайки, мы видели их гнезда. Внезапно они отрывались от земли, планировали вниз и летели прямо над морской гладью, высматривая добычу. Диего ловил объективом фотоаппарата тот самый миг, когда рыба появляется на поверхности воды, а птица погружает клюв, чтобы схватить добычу. Вздох моря — хищная птица, рискующая жизнью, бросает вызов чуждой стихии. Потом, в небе, серебристая вспышка... Жизнь птицы, смерть рыбы. Одно мгновение.

Диего держит меня за руку; день сегодня яркий, солнечный. Кажется, все вокруг покрыто лаком — сверкающая копия реальности. Острова буквально лежат на воде.

— Я хотел бы жить здесь... Когда-нибудь мы все бросим и вернемся сюда.

Сегодня вдалеке видна Италия. За кромкой островов темнеет линия горизонта.

— Это так близко от нас...

Гойко подглядывает за мной... я чувствую, как по мне скользит его взгляд, скрытый за темными стеклами очков. Подолгу молчу, повторяю одно и то же движение — набираю горсть песка и медленно, как в песочных часах, высыпаю.

Они появляются около двух, когда жара становится нестерпимой. Местные мальчишки выскакивают из зарослей, как молодые кабанчики, и бросаются к морю. На худых фигурках — заношенные, изъеденные морской солью плавки.

Один из них, самый маленький, иногда отстает от группы, идет к нам, останавливается, присаживается на корточки и сидит, слегка покачиваясь, будто большое яйцо.

Скорее всего, он хочет денег, как те ребята, которые ныряют в порту, когда приходят паромы из Дубровника. Сколько ему лет? Семь, максимум восемь. Его вьющиеся волосы, спутанные от соли, напоминают козий мех. Мне кажется, что сегодня он подошел к нам ближе обычного. Смотрит на нас большими, как две блестящие черные пуговицы, глазами. Я засыпаю, просыпаюсь. Ребенок все еще тут. Мои ноги слегка разведены в стороны... он смотрит на треугольник бикини, на припухлость лобка. Я сдвигаю ноги, поправляю купальник. И откуда он здесь взялся?

Теперь он стоит по пояс в воде, замер, смотрит на волны вокруг себя. Не понимаю, что он делает. Вдруг он резким движением погружает руку в море, пытается схватить рыбу. Диего идет к скалам. Ребенок поднимает взгляд от воды.

Остальные мальчишки окружили Диего, рассматривают фотоаппарат. Их слишком много, они толкаются, тянут руки. «Будь осторожен, — сказала я Диего, — того и гляди стащат твой фотоаппарат или бросят объектив на песок, просто так, шутки ради». Но Диего не боится, хотя как минимум двое в этой компании — достаточно взрослые, коренастые парни, с хорошо обозначенной мускулатурой. У одного из них на лице красное пятно, как от соуса, у другого — у единственного из всей компании есть ласты, черно-желтые, — точно такие были у одного французского туриста, он долго искал их перед отъездом. Парень не плавает, но и не снимает ласты — смешно ходит в них по камням, как пингвин.

Диего фотографирует у скал группу этих ребят, я вижу, как они позируют и дурачатся. Тот маленький, кажется, сам по себе, никто на него не обращает внимания. Он все еще в воде, неподвижный, как столб. Все остальные собрались вокруг Диего. Я вижу, как он присел на песок — Христос, окруженный кучкой жалких апостолов... Снял объектив, что-то объясняет, не знаю, правда, на каком языке. Фотоаппарат болтается теперь на шее у парня с красным пятном, он фотографирует. Диего смеется.

Возвращается ко мне. На загорелом лице играет улыбка. Убирает фотоаппарат в кожаный чехол.

- Они меня не отпускали.
- Снял что-то интересное?
- Не знаю.

Он никогда не знает, хорошие ли получатся снимки. Один интересный кадр, всего один, стоит рулонов изведенной пленки. Когда он снимает, он

видит все наоборот: то, что кажется ему шедевром, потом оказывается хламом. Красота возникает неожиданно, как всегда в этом мире.

Вечером следующего дня ребенок снова на прежнем месте. Диего загорает под лучами заходящего солнца. Он любит такое солнце, потому что оно красное, потому что оно кроткое, как и все, что вот-вот угаснет. Диего снял солнечные очки, чудесный вечерний свет ласкает его лицо. Он бесшумно, как змея, подползает к чехлу, достает фотоаппарат и наводит объектив.

Ребенок сидит в своей обычной позе, как яйцо. Я не заметила, когда он появился, еще недавно его не было. Он появился вместе с этим угасающим светом, выскочил из кустов, как заблудившийся ягненок. Диего подползает к нему, подтягивается на локтях. Теперь ребенок стоит в море, занят своим делом. Пытается поймать рыбу голыми руками, ладошка в воде, словно клюв голодной птицы. Диего щелкает затвором фотоаппарата... всего одно мгновение. Мальчик схватил рыбу, в то самое мгновение он ее и схватил. Я вижу эту фотографию: мальчик-чайка и рыба, парящая в воздухе, в лучах заходящего солнца. Может быть, этот снимок и есть неожиданная красота.

Всего миг — и рыба снова нырнула в глубину, а мальчик убежал. Солнце зашло, небо стало матовым, однотонным, казалось, что солнца на нем не было никогда.

Я вижу, как Диего падает навзничь, тяжело дышит, сжимая свою «Лейку», и думаю, что иногда спускается ангел, который сожалеет о нас, о том, что уплывает из рук и не остается в глазах.

Настанет день, когда Гойко, глядя на эту фотографию, скажет: «Теперь я знаю, что такое искусство... — И, переведя на меня затуманенный, проникнутый пониманием взгляд, добавит: — Это Бог, который тоскует по людям».

Гойко вот уже несколько дней где-то пропадает, спускается к морю только к вечеру. Вечно у него какие-то отговорки: то дела в старом городе, то голова болит от солнца, то стихи приходят на ум. Наверное, устал от нас. Наверное, ему с нами скучно. Его мокасины от «Dior» окончательно превратились в стоптанные тапки; заметно почерневшие белые брюки спереди поблескивают масляными пятнами. Отпуск подходит к концу.

Постепенно мы возвращаемся к обычной жизни. Диего звонит из гостиницы в Рим, разговаривает с Дуччо — на следующей неделе нужно сделать два фоторепортажа. Я начинаю укладывать чемодан. Гойко ни с того ни с сего спрашивает:

— Почему у вас до сих пор нет детей?

Ветер приносит мелодию скрипки. Гойко встает и уходит туда, откуда

она звучит. Возвращается, напевая. Походка у него шаткая — пропустил пару стаканов в компании друзей — студентов музыкального училища из Сараева. Группа музыкантов разместилась у самой кромки воды, в бывшей казарме егерей, большом, полуразвалившемся доме, окруженном темной, как скалы, каменной стеной.

Когда меняется ветер, оттуда, из старого дома, доносятся звуки настраиваемых инструментов. Готовятся к концерту, как сказал нам Гойко.

Этот ребенок, он искал нас — будто почувствовал, что мы скоро уезжаем. Он появляется в шумной ватаге мальчишек, как обычно, дичится, рассматривает нас издалека.

Поднялся ветер. Около двух мы с Диего идем к палатке, где можно перекусить под навесом. Берем огурцы, сыр.

Ромка навеса хлопает на ветру, навес раскачивается. Ветер усилился, высокие крепкие волны разбиваются о берег.

Мы возвращаемся за вещами: ветер унес пляжные полотна на скалы. Хорватская кепка тоже слетела. Спешим в гостиницу.

Этот крик мы могли бы и не услышать — шум ветра был таким сильным, будто бежало стадо бизонов. Ветер нес белый песок, кружил его по тропинкам. Еще немного, и мы поднимемся в город, вот-вот покажутся дома, кусты диких гераней, желтая стена рыбного рынка. Еще несколько шагов, и мы никогда не услышим этот крик: «Анте! Анте!»

Там, внизу, мальчишки мечутся у темной кромки моря, выкрикивая это имя. Одно мгновение — и Диего устремляется к ним, босой, катится вниз по камням, выбирает кратчайший путь, прыгает по скалистым уступам. Я вижу, как его пятки мелькают на берегу. Не останавливаясь, он бросает на гальку рюкзак и фотоаппарат:

— Подожди!

Но куда там, когда я добегаю до пляжа, голова Диего, маленькая, не больше птичьей, подпрыгивает на волнах далеко в море. Мальчишки, молчаливые и растерянные, сбились вокруг меня, как овечки. Я тоже молчу. Где же самый маленький, тот, что вечно сидит, обняв колени, и раскачивается на пятках? Ищу его глазами и знаю, что не найду.

Хватаю черно-желтые ласты, которые мне велики, прыгаю в воду, пытаюсь вслед за Диего преодолеть плотную стену прибоя... но волна с силой отбрасывает меня назад. Я нахлебалась воды и, кажется, тону. Мне приходит в голову, что с самого начала этого странного отпуска каждый из нас троих, по очереди, хотел умереть.

Мокрая, несчастная, всматриваюсь в даль, пытаюсь различить в волнах голову Диего. Время идет. Время остановилось. Мальчишки вокруг меня

приуныли, в глазах тревога. Кажется, я увидела, как голова Диего поднялась еще раз на гребень волны и вновь погрузилась в море. Я подумала о птицах, которые кружат над водой, рискуют жизнью, чтобы выхватить рыбу.

Подбежали музыканты из серого дома. Парень с красным пятном на лице поднял тревогу, на берегу собрались люди. Гойко тоже здесь, ширинка расстегнута, рубаха нараспашку. Наверняка затащил в койку очередную музыкантшу — от этих девиц пахнет соленой килькой и дешевой косметикой. Волосы у него всклокочены, а лицо мрачное, как у драматического актера.

Он обводит взглядом берег, скалы... вижу, как он лезет по уступам, скрывается за скалой. Вскоре появляется снова, мокрый и усталый, как матрос с потерпевшего кораблекрушение судна. Рядом — Диего, он держит ребенка, рука у мальчика безжизненно свесилась. Он идет с этим маленьким живым трофеем. Я бегу к ним.

Диего с трудом переводит дыхание, но улыбается мне. Их отнесло течением в небольшую бухту за скалой, там они смогли выбраться. Анте весь синий — Диего трет ему спину, Гойко вливает в рот несколько капель водки. Мальчишки окружили товарища плотным кольцом, смотрят, как он дрожит, как зубы выбивают чечетку, смотрят на руки, сморщенные от воды, и фиолетовые губы. Смотрят и смеются. Смотрят, как на невиданную рыбу, запутавшуюся в сетях. Анте приходит в себя, выплевывает морскую воду, вскакивает на ноги и убегает, исчезает в зарослях кустарника.

Мальчишки крутят у виска, объясняют нам, что этот сопляк странный, немного не в себе...

Возвращаемся в гостиницу. Сегодня вечером зябко. Ветер стих, но воздух все еще холодный. Падаем на постель, обнявшись, так и не смыв с себя морскую соль.

Анте больше не приходит на пляж. Ребята говорят нам, что мать его наказала — выпорола веревкой, какой обычно привязывает на ночь коз в хлеву. Море спокойно и прозрачно, как стекло. Парень с пятном на лице шлепает по воде в черно-желтых ластах, украденных у французского туриста. Диего лежит на животе, смотрит на скалы, на заросли кустарника. Он скучает по мальчишке, черт побери... ищет его глазами. А вот и Анте — выглядывает из-за кустов, наблюдает, но боится выйти из зарослей. Ребята кидают в него камни, кричат, что видели его, дразнятся.

Диего встает, уходит, повесив на шею фотоаппарат. Хочет посмотреть на гнезда чаек, не вылупились ли птенцы, сделать последние снимки перед отъездом.

Вскоре и я иду следом, обдирая ноги о колючие кусты. Спешу, чтобы не потерять его из виду. Он идет быстро, как будто хочет кого-то догнать. Проходит мимо дома музыкантов, их инструменты лежат под большой шелковицей, которая, кажется, дремлет, утомленная жарой и тяжестью своей кроны. Я замедляю шаг, вижу в окне Гойко — глаза у него закрыты, рука лежит на голой спине какой-то женщины. А потом я вижу их, Диего и Анте. Мальчик не убегает, Диего фотографирует его.

Поднимаюсь до самой вершины. Там, на краю отвесной скалы, где заросли становятся реже, стоит дом, сложенный из камня. На крыльце сидит женщина, очень худая, на ее усталом лице выделяются светлые, глубоко посаженные глаза, неподвижные, как у слепой. Она смотрит на Диего и как будто кланяется ему. Я вижу, как он заходит в дом.

Вечером мы сидим на балконе, пьем белое сухое вино из поселка Лумбарда, закусывая сыром, — надоело ужинать в ресторанах.

— Этот мальчик... — говорю я Диего, — он чем-то похож на тебя. Может быть, его ноги... его привычка убегать...

На следующий день я купила две футболки и кроссовки для Анте, иду наверх, к его матери. У ее груди, дряблой, как вымя больной коровы, висит еще один малыш. Женщина жестами дает мне понять, что ребенок нездоров, не может глотать. Я возвращаюсь с полным пакетом еды для них, оставляю под пустой пивной бутылкой все деньги, что были у меня в кармане. Женщина безрадостно улыбается — нехороший оскал, как у бездомных собак, которые рычат на того, кто их кормит. Она не говорит по-итальянски, но понимает. Она беженка из Краины, вернулась сюда, потому что здесь родилась, здесь есть эта лачуга, здесь живет ее мать. Эту старуху, одетую во все черное, мы часто встречали, когда лазили по скалам, — она пасет коз, у нее угрюмый вид, от нее пахнет спиртным.

Сегодня Диего ведет Анте за руку. Мать разрешила ему пойти с нами на пляж.

— Спасибо большой, — сказал мальчик, когда мать отвесила ему подзатыльник прямо при нас, чтобы он заговорил.

Так мы впервые услышали его голос. Хриплый клекот морской птицы.

Теперь он с нами. Эти немногие оставшиеся дни он проведет с нами. Диего берет его за руку, вешает ему на шею фотоаппарат. В обед я покупаю кальмаров на тоненьких палочках, мы едим их прямо на пляже. Анте голоден. Теперь он болтает без умолку... его голос дрожит, взлетает вверх, дыхание прерывается. Мы не понимаем и половины из того, что он говорит, но очевидно, что он счастлив. Когда он смеется, его жалкое худое личико преображается, в глазах светится благодарность. Теперь он учит Диего

ловить рыбу голыми руками — стоят вдвоем, как мачты, большая и маленькая. Да, они чем-то похожи, я отметила это, когда впервые увидела, как Анте сидит на корточках, обхватив колени, замкнувшись в собственную скорлупу, будто яйцо.

Когда мы вели мальчика домой, встретили Гойко. Мы идем мимо шелковицы, мимо казармы егерей, музыканты репетируют, звучат в унисон флейта и виола. Гойко представляет нам свою сезонную пассию:

— Это Ана.

Черные волосы, подстриженные по моде, лесенкой, обрамляют круглое лицо. Кожа такая белая, что сразу понятно — эта девушка не любит бывать на солнце.

Гойко недоуменно смотрит на мальчика, не понимает, зачем мы таскаем его с собой. Он знает, что это сын той женщины, живущей наверху, которая слегка не в себе.

Однажды вечером я ответила Гойко на его вопрос. Мы сидели на широких ступенях какой-то церкви, озаренных закатным солнцем. Диего побежал в турагентство — мы решили продлить отпуск еще на несколько дней. Клиент в Риме недоволен, Дуччо орал как ненормальный. Мы перестали ему звонить.

— Я бесплодна, Гойко. Мы не можем иметь детей.

Он не знал, что ответить. Обычно слова у него находятся, но сейчас он смотрит в сторону и мнет нос большим пальцем. Достает из кармана скомканный листок, читает свои стихи:

...И жизнь смеется над нами,
как беззубая старая шлюха,
когда мы вгоняем ее вслепую,
мечтая о цветущей, как лилия, жопе... —

Тупо, неподвижно смотрит куда-то:

— Мы — поколение неудачников, Джемма.

Он хлопает меня по спине, крепко обнимает. Я держу его руку, разглядываю ногти, слишком маленькие для таких толстых пальцев.

— Мы привязались к этому ребенку.

Словно плотину прорвало — я рыдаю у него на плече.

— Помоги мне... поговори с его матерью, найди адвоката из местных, найди кого-нибудь... Вдруг получится усыновить его... оформить опеку... мы можем заплатить его матери...

Возвращается Диего, ему удалось поменять билеты, на лице улыбка.

Видит мое зареванное лицо. Поднимаюсь со ступенек:

— Я все ему рассказала.

Мы обнимаемся, втроем, на этой белой площади перед церковью.

Гойко отправился поговорить с матерью Анте, прихватив с собой бутылку грушевой ракии. Они сидели во дворе, окруженные стойким запахом козьего дерьма. Мать оскалилась, как обычно. Сказала, что сама думала об этом.

— А ты что ей ответил?

В тот день мы взяли напрокат лодку, отправились на остров Млет. Плыли через соленое озеро к монастырю бенедиктинцев. Анте был с нами. Диего посадил его себе на плечи, — казалось, отец и сын. Мы с Гойко шли позади.

— Я сказал ей правду, что у тебя не может быть детей, что вы займетесь ребенком, дадите ему образование...

— Ты сказал, что мы можем дать ей денег?

Он нагнул голову, почесал рыжеватую шевелюру:

— Хочешь купить его?

— Я хочу сделать все, что в моих силах.

Смотрит на меня внимательно, ловит мой жадный, нетерпеливый взгляд:

— Бедняки тоже имеют право оставлять своих детей при себе.

— Эта женщина плохая мать, она не любит ребенка, бьет.

Я подбежала к Анте, задрала футболку, чтобы показать засохшие струпья.

Гойко покачал головой:

— Это Богу решать.

Тогда я сказала, что он проклятый хорватский ханжа, и послала его ко всем чертям.

Мы поднимались в гору на следующий день и еще через день. Женщина улыбалась нам, принимала подарки, пожимала плечами.

— Отэц... — говорила она, то есть все решает отец.

Начались бесконечные телефонные переговоры, мы звонили из гостиницы. Ее мужа, который остался в Краине, никогда не было дома, отвечали какие-то родственники. Анте поднимался в наш номер, валялся с нами на кровати. Я учила его итальянским словам, мыла его под душем.

На площади у старой дамбы установили детский автодром, весь вечер мы катались там, смеялись от души, сталкиваясь на маленьких машинках. Когда Диего врезался в машину Анте, мальчик кричал: «Круто!» — как кричал бы любой генуэзский парнишка.

В тот вечер, когда мы прощались, он плакал.

На следующий день нам удалось застать по телефону его отца. Мать позвала Гойко в телефонную кабину. Я смотрела на него через стекло, он как-то обмяк, потом говорил, молчал, снова что-то долго говорил.

Вышел он обессиленный. В кабину зашел Анте — отец хотел поговорить с ним.

Мальчик не произнес ни слова, только один раз кивнул. Когда он вышел, лицо у него изменилось, стало шире, как мне показалось. Большие ясные глаза смотрели на нас.

— *Moram íći za ocet*, — сказал он хрипло.

— Я должен ехать к отцу, — перевел нам Гойко.

В сентябре Анте должен вернуться к отцу, в Краину. Отец служил в отрядах хорватской территориальной обороны. Он не отказывался от своего ребенка, ругал мать последними словами. Чем оставлять мальчишку с этой мерзавкой, он лучше возьмет его с собой воевать.

Анте попрощался, не проронив ни слезинки. Протянул нам маленькую шершавую ладонь.

— Это и есть твой Бог, который решает? — спросила я Гойко.

Я побросала в чемодан наши тряпки, мы растянулись на кровати — завтра в этом номере поселятся новые жильцы, здесь будет их запах, не наш. Отправляемся прогуляться по маленьким улочкам в центре, идем в сторону гавани. Гойко сидит в ресторане, где его друзья-музыканты играют симфонию Гайдна, выстроившись на бревенчатом помосте.

— Хорватская музыка очень сильно повлияла на творчество Гайдна... — шепнул мне Гойко.

«Плевать я хотела на это», — думаю я.

Ана, подружка Гойко, единственная ни на чем не играет — она переворачивает ноты виолончелисту, старичку с длинной бородой, загибающейся кверху, как язык. Ветер развеивает у музыкантов одежду, волосы... музыка льется над морем, и на какое-то мгновение кажется, что она может утешить нас. К тому же мы были немного навеселе — выпили последнюю бутылку вина из Лумбарды, и пусть все катится к чертовой матери. В какой-то момент мне стало плохо, не помню, что я тогда сказала. Диего положил руку мне на плечо, я сбросила ее: «Дай мне выговориться».

В концерте объявлен перерыв. Ана под села за наш столик и, подперев кулаком лицо, принялась рассматривать меня, как пейзаж за окном. Я не могла оторвать взгляда от ее ярко-красных ногтей. Не знаю почему, может, спьяну, может, из-за тошноты, я начала рассказывать ей о своих мучениях. В Риме я никогда и ни с кем об этом не говорила, а сейчас изливала душу

совершенно незнакомому человеку. Может, все дело в ногтях, покрытых красным лаком... они плыли ко мне, как золотые рыбки. Ана закурила. На плохом итальянском произнесла:

— Можешь искать какую-то женщину.

И, выпуская кольца дыма, она рассказала мне про свою знакомую-австрийку, у которой не было матки, но был ресторан в Белграде, и эта женщина позаимствовала на время утробу одной жительницы Косова.

Я смотрела на губы Аны, на ее маленький точеный рот, ярко-красный, как и ногти, на ее круглое, без скул, лицо. Кто она, добрая фея или злая ведьма? Я отошла к утесу — меня вырвало прямо на камни.

На следующий день рано утром мы стояли у дебаркадера — солнечные очки, чистые футболки. Обычные туристы, которые возвращаются из отпуска. Мы приехали слишком рано, расположились в баре, взяли апельсиновый сок. Анте не показывался. Мы ждали его, хоть и боялись себе в этом признаться. Беспокойно озирались по сторонам, было ощущение, что мальчик притаился за одной из этих розовых стен и наблюдает за нами. До самой последней минуты мы стояли на берегу. Прибежал Гойко, мы услышали стук его мокасин, превратившихся в шлепанцы. Это было странное прощание. И странными были стихи, которые он посвятил нам.

Хватит ли белой нитки рассвета,
чтобы отделить нас от ночи?
Увидимся ли еще?

Мы поднялись на паром. Стоим, облокотившись на белые поручни. Анте появился на причале, когда корабль уже отплывал. Мы видим, как он идет по берегу, но останавливается, потому что дальше — море, а он не умеет плавать. Он был чуть выше, чем железные битенги. Изо всех сил махал нам рукой. Эта рука так и стоит у меня перед глазами маленькой черной точкой.

Когда он совсем скрылся из виду, мы вошли внутрь. Особый корабельный запах — запах влажного пола и машинного топлива, морской соли, въевшейся в обшивку. Работал телевизор, на экране мелькали какие-то полоски, вместо звука — невнятный шум.

— Я в туалет, — сказал Диего.

Я нашла его за подвешенной спасательной шлюпкой, он сидел, обхватив колени, и покачивался на пятках, будто большое яйцо. Я глядела на море и представляла, как беру Диего за руку и мы прыгаем вниз, туда, за

белый гребень волны. Кто знает, может быть, под всей этой толщей воды есть другая жизнь. «Рыбы, — подумала я, — мы просто рыбы... наши жабры качают воздух, как мехи... а потом прилетает чайка, хватает нас, но перед тем, как съесть, подбрасывает нас в небо, и мы летим... может быть, это и есть любовь».

Какой-то гул раскалывает тишину. Инстинктивно пригибаю голову, закрываю уши руками. Это военные самолеты летят довольно низко над морем... Летят прямо к парому на бреющем полете, почти задевая волны. На мгновение мне показалось, что они целятся в нас. На палубе появляются моряки, у них землистый цвет лица. Самолеты поднялись в воздух с военной базы в Дубровнике, одновременно с ними взлетели эскадрильи из Сплита, Риеки и Пулы. Мы узнали об этом позднее, когда заработал телевизор перед барной стойкой. Диего развалился в кресле: одна нога заброшена на спинку кресла спереди, на носу — солнечные очки. Туристы, в шлепанцах, с сумками на поясе и чашками кофе в руках, окружают телевизор, изображение на экране то появляется, то снова пропадает. Собрались все матросы, даже капитан уставился на экран, пьет пиво прямо из бутылки.

— И кто же, интересно, ведет наш корабль? — спрашиваю у Диего.

Он улыбнулся, притянул меня к себе.

Разговариваем по-английски с норвежским репортером. Он снимал танки федеральной армии, размещенные вдоль границы, а потом, конечно же, использовал командировку, чтобы съездить на острова. У этого норвежца был на затылке овечий хвостик из светлых волос, репортер то и дело подмигивал, очень быстро говорил. Он был скептик, пессимист. Брал интервью у Милошевича, который несколько раз повторил, что «каждый кусочек земли, где есть хоть одна сербская могила, это Сербия...».

— В Хорватии полным-полно сербских могил... — ворчал норвежец.

Военные самолеты улетели. Диего смотрел на море сквозь стекло, грязное от соленых брызг. Солнечный луч скользил по его лицу.

События развивались молниеносно

События развивались молниеносно. По телевизору показывали бомбардировки Загреба, Задара, а потом и Дубровника, где мы были летом. Иногда мне казалось, что я узнаю эти места, эту стену, вдоль которой я шла в сандалиях, лакомясь липким банановым йогуртом. Мы сидели на новом диване. За окном текла обычная римская жизнь, стоял октябрь с его прохладой и щедрым солнцем. Я грызла ногти, вспоминая тот день в Дубровнике.

Ворота Пиле, от которых начинается Плацца — главная пешеходная улица города... фонтан Онофрио. Дальше, вниз, к часовой башне, к колонне Орландо.

Диего не сделал ни одного снимка городских достопримечательностей, он фотографировал людей на улицах, стулья в баре. В одном телерепортаже мы увидели эти самые стулья, разбросанные по земле.

Так началась для нас эта война. Началась с опрокинутых стульев среди развалин разрушенной кофейни... той самой, где мы сидели совсем недавно. Там Гойко вытащил из кармана пышнотелую красотку с моей фотографией вместо головы. Теперь мы часто ему звонили. Он успокаивал нас. Его родственники из Загреба были вынуждены оставить свою квартиру.

— Повезло... отдыхают теперь в Австрии...

Не знаю, виной ли тому гордость либо что-то еще, но теперь он избегал разговоров о своей стране, которая взрывалась, зернышко за зернышком, как горсть попкорна на раскаленной сковороде.

В редакции, как я отметила, тоже никто не интересовался войной, а впрочем, наш журнал имел научную направленность. Выбирая бутерброд в баре, Виола сказала:

— Балканы... черт их разберет, эти Балканы. — Жалуетса, что хлеб сухой, тунец несвежий — надо было взять со шпинатом.

— И всем наплевать, естественно... — вставляю я.

— Почему «естественно»?

— Да кому все это нужно...

Виола пожимает плечами. Она по-прежнему добрая, навязчиво заботливая. Показывает на тостер, возмущается вместо меня, что мой бутерброд сейчас сгорит.

— Как твой малыш?

— В яслях.

Каждый вечер мы видим войну по телевизору. Она совсем рядом, на расстоянии нескольких морских миль, и в то же время где-то очень далеко — мелькание кадров на телеэкране.

Было восемнадцатое ноября, я хорошо помню дату — это папин день рождения, я приготовила торт. Когда мы провожали Армандо, я заметила, что в последнее время он прощается так, словно мы больше никогда не увидимся. Рано утром он снова зашел к нам, принес манго. Теперь у него страсть к манго, он чистит их, режет. На столе остатки торта, я слизываю с пальца крем. Диего щелкает пультом телевизора. Голос диктора произносит: «После восьмидесятишестидневной осады подразделения Югославской народной армии и отряды сербского ополчения взяли город Вуковар».

Мужчина на экране бежит, прижимая к себе ребенка. Телеоператор следует за ним. Ребенок весь обмяк, ноги свисают, как у куклы. Может быть, он ранен и отец несет его в больницу. У мужчины спущены брюки, видна задница... У него нет ремня, — наверное, он спал, в спешке одевался. Почему-то мой взгляд прикован к этой детали — спадающие брюки и рука, которая кое-как их придерживает.

Когда мы выключаем телевизор и экран гаснет, сохраняя на несколько мгновений слабое свечение, эта картинка так и стоит у меня перед глазами. Мне кажется, что в ней заключается вся трагедия этой войны — мужчина, который пытается спасти своего сына и в то же время не хочет остаться с голой задницей.

Про мальчика с остова Корчула мы больше не говорим. Мы пережили эту боль, она постепенно ушла. Ушла тихо и незаметно. Но Анте остался с нами. Думаю, что, когда ты обретаешь ребенка, как бы там ни было, он остается с тобой. Случается, что родители теряют детей, однако продолжают находить их каждый день — на фотографиях, в шкафу с одеждой... Так и мы — все время находим его где-то. На картине в Галерее современного искусства. На шоссе, где заяц испуганно приседает, ослепленный фарами, и смотрит на нас так, будто хочет что-то сказать. В затылке Диего, потому что там остался этот ребенок как прикосновение любви. Иногда я наблюдаю, как Диего, сидя на диване, запрокидывает голову и долго сидит так, не говоря ни слова.

— О чем ты думаешь? — спрашиваю я его.

И знаю, что он думает о том мальчике, о машинках, сталкивающихся на детском автодроме.

Зима идет своим чередом, один холодный день сменяется другим.

Выхлопные газы отравляют воздух, оседают на белье, развешанном на балконах домов, что стоят вдоль Римской окружной дороги. Каждый день я проезжаю мимо них на мопеде по пути на работу. В редакции холодно, включаю обогреватель. На столе нахожу записку от директора — желтый листочек, где маркером выделено «срочно». Скатываю из него шарик; и бросаю в корзину. Что за срочность может быть у статьи про магнитный эффект нового синтетического волокна, которое произведет глобальный переворот в домашней уборке? Наш журнал давно уже стал рекламным каталогом под видом научной информации. Когда-то я думала, что это будет временная работа — несколько месяцев, и привет. Но в итоге меня назначили главным редактором. Каждый день, в одно и то же время, я встаю, иду к кофейному автомату. Жду, пока коричневая жидкость не нальется в пластиковый стаканчик, и думаю, что никуда отсюда не денусь... Я хорошо, а главное, быстро справляюсь со своей работой, поскольку меня совсем не интересует то, что я делаю. И это замечательно. Увлеченность выбивает меня из колеи; если что-то мне дорого, я не могу соизмерить свои силы. Меня охватывает тревога, я даже начинаю чесаться, как будто кровь ускоряет свой бег по венам и обжигает кожу. Как-то случайно я наткнулась на свои заметки, сделанные для диссертации. В те далекие дни мне казалось, что я буду учиться вечно. Я подумала об Андриче, о его патологическом одиночестве, параноидальной оторванности от мира. Из последних интервью видно, что его раздражают вопросы, что ему осточертело его творчество... будто бы он поведал слишком многое о себе самом и пожалел об этом. И мне показалось, что я поняла нечто такое, чего не понимала раньше. В старости человек вдруг становится скупым, неохотно делится собой с миром, потому что никто не возместит ему его даров.

— Интересно, как там сейчас, в Сараеве...

Диего облокотился о балюстраду на холме Пинчо. Мы встречаемся в семь вечера, обмениваемся поцелуями и идем, обнявшись, в маленький уютный ресторанчик выпить красного домашнего вина и закусить золотистыми гренками с соусом. Садимся на лавку у окна, которое выходит на улицу — по тротуару идут, куда-то спеша, люди... мы смотрим на них так, будто они из пепла.

Держимся за руки, улыбаемся официанту. Нет никакого желания разговаривать о работе, Диего больше не приносит домой отснятые пленки — у него есть ассистент, который делает всю черновую работу. Теперь, когда у Диего появилось больше свободного времени, он не уходит по утрам с фотоаппаратом на шее фотографировать лужи, он сидит и дремлет

на диване. Крышка пианино не открывается месяцами.

Нет, мы не грустим, мы как бревна, плывущие по течению, — покачиваемся себе на волнах, и горя мало. Мы не ходим в гости, всегда подыскиваем повод, чтобы отвертеться. Нам нравится наше одиночество. После того странного отпуска мы еще больше любим друг друга. Но это совсем другая любовь. Я читала в газете, как одна пара бросилась с эстакады. Последним их видел хозяин ларька, где они покупали бутерброды с ветчиной и пиво. Они были спокойны и даже веселы. На небе появились тучи, продавец сказал, что к вечеру будет дождь, а те двое улыбнулись, глядя на небо, на дождь, который их уже не намочит. Так и мы сидели в этом ресторане, обессиленные, растворенные друг в друге, словно нам нечего было терять, не на что надеяться. Словно мы вот сейчас должны пойти и броситься с эстакады.

Возможно, это и есть любовь, достигшая своего пика. Подобное разочарование испытывает альпинист, добравшийся до вершины, когда дальше идти некуда, дальше начинается небо. Итак, мы смотрим через стекло на улицу, на мир, где мы начали свое восхождение, и эта точка отсчета кажется нам очень далекой. Мы достигли вершины, мы стоим на ней в полном одиночестве.

Рука Диего лежит на столе, хрупкое белое запястье.

Он видел толпы беженцев, живые щиты на дорогах, безутешного старика на пороге хлева с убитой скотиной, женщину с одной сережкой в единственном ухе, сорок слепых детей из Вуковара, которые не видят войну, но чувствуют ее своими незрячими глазами. Наверное, ему хотелось быть там, среди этих людей, захватить с собой только фотоаппарат да пару старых кроссовок.

Идем домой, слегка пошатываясь — вино ударило в ноги. Идем, сцепив руки, покачивая ими в такт шагам. Так легче возвращаться — включить свет, увидеть эти комнаты, все наши вещи, которые целый день провели в одиночестве и пропахли тишиной.

Включаем телевизор, ночью новости идут дольше. Когда дети уже спят, показывают изуродованные трупы, показывают людей, которые нажимают спусковой крючок, заряжают орудия, разрушают сделанное другими людьми. Что за опьянение испытывают те, кто в один миг может смести огнем строения, возводимые веками, уничтожить плоды человеческого труда? Это и есть война — превратить все в безликое ничто, уравнивать в небытии: развалины общественного туалета и древнего монастыря, мертвый человек рядом с мертвым котом.

Диктор замолкает, камера продолжает фиксировать события. Теперь

слышен голос войны. Узнаваемый треск и скрежет, будто тарелки стучаются друг о друга в раковине, наполненной водой. Тишина разорвана то здесь то там, как ткань, искромсанная сумасшедшим портным. Глухой стук шагов бегущего человека. Пулеметная очередь, совсем не страшная, будто бусины раскатились. А потом — жесткий удар артиллерийского орудия. Телекамера дрожит в руках у оператора. Объектив забрызган грязью. Шум голосов, как будто ребята галдят на школьном дворе. Из сгоревшей машины выглядывает голова, маленькая и проворная, как у едва вылупившегося птенца.

Между тем мы заняты своими обычными делами. Я мажу лицо ночным кремом, Диего открывает окно, смотрит на дорогу, на упорядоченное ночное движение — красный и белый свет фар.

Ночью легче дозвониться. Набираем код, номер, ждем, пока сигнал пройдет через пустоту, перепрыгнет из одной страны в другую, преодолев километры расстояния по суше и по воде... но он не проходит, связь прерывается. Кажется, будто это растянутая резинка, которая вдруг рвется и летит назад. Пробуем еще и еще, наконец-то раздаются гудки — линия свободна. Мы представляем, что это кошка бежит вдоль телефонных проводов, которые идут через леса, через тополиные рощи, через поля, желтые от подсолнухов, через реки, берущие свое начало в горах, через горы Зеленгора, Височица, Беляшница и наконец достигают Сараева. Кошка добегают до розового дома, до серого «министерского» телефона, который стоит на буфете, украшенном маленькими зеркальными ромбами, под портретом Тито.

Голос Гойко слышен так хорошо, как будто он разговаривает из телефонной будки, что видна из окна нашей кухни. Он кричит маме, чтобы та убавила звук телевизора. Я стою рядом с Диего, положив голову ему на плечо, как собака. Диего спрашивает, как у них дела, интересуется, в чем они нуждаются. Гойко отвечает, что ему не помешал бы ящичек «Брунелло ди Монтальчино».

— Брось свои шуточки. Что тебе нужно? Я тебе отправлю, привезу...

— Будь спокоен, ничего не надо.

— Как твоя мама? Как Себина? Может, хотя бы ее забрать сюда?

— У нас нет войны.

— А если будет?

Гойко считает, что не будет. Никто не посмеет тронуть Сараево.

Режу пармезан, беру грушу и иду с тарелкой в комнату. Так мы теперь едим — кусочничаем, я кормлю Диего, как ребенка.

В нашем доме слишком много лишних вещей. Хорошо бы все

выбросить, оставить только диван, или нет, оставить пианино, а сидеть на полу, прислонившись к стене, как раньше, когда мы были молодые.

Полуголый Диего фотографирует телевизионные кадры. Выхватывает фотоаппаратом эпизоды войны. На экране — больница в Вуковаре, восковые тела, рты, раскрытые в последнем вздохе. Странно наблюдать войну, сидя в прибранной квартире, среди привычных вещей, белых занавесок, милых безделушек — всей этой будничности, смешанной с гневом и раздражением.

Диего берет широкоугольный объектив, садится на пол, снимает наискосок, захватывая края телекадра. Потом он будет печатать голубоватые снимки, длинные, с искривленным, как на широком экране, изображением. Черная рамка телевизора и дымка телевизионного свечения сопровождают эти образы смерти.

— Хватит, иди сюда.

Минуты близости. Диего на мне, легкий как пушинка. У него худая задница бродячей собаки, и сам он весь — кожа да кости. Падает рядом, глухо и отрывисто кашляет. Когда он улыбается, вокруг глаз разбегаются лучики морщин, а лицо по-прежнему мальчишеское.

Он возвращается к телевизору, там реклама автомобиля. Следом показывают повешенную девушку в красном свитере, ноги раздвинуты, короткие и толстые, как у коровы.

Это случилось в парикмахерской, в салоне, где воздух, нагретый фенами, пахнет шампунем и краской для волос.

Мне нравилось заходить туда, класть запрокинутую голову на мойку, установленную прямо в зале. Девушка массирует мою голову, смывая грязь с волос и с моих мыслей... На какое-то мгновение кажется, что все может утечь вместе с водой в этот слив за моими плечами. Поднимаю голову, завернутую маленьким черным полотенцем, и иду по огромному зеркальному салону, похожему на нью-йоркский лофт. На стенах — никакой рекламы бальзамов для волос, никаких девушек с модными прическами, только картины сероватых оттенков. Разглядывая эти ускользающие морские пейзажи, начинаешь верить в удивительное будущее, которое придет, когда обычные люди вымрут и в мире останутся одни стилисты.

Сидя с мокрой головой, жду Ванни — хозяина этого приюта для волос, испорченных городским смогом и всевозможными стрессами. Время сейчас обеденное, поэтому в салоне оживленно. Богатенькие папины дочки под колпаками фенов, бухгалтерши и адвокатши, элитные проститутки в ожидании какого-нибудь политика — парламент всего в двух шагах. Один

из юношей, одетый во все черное, кладет передо мной пачку журналов:

— Хотите что-нибудь почитать?

Вообще-то, у меня есть книжка. Но мне совсем не хочется думать, хочется купаться в этой обволакивающей атмосфере, плавать в роскошном аквариуме. Листаю журнал, пробегаю глазами: реклама одежды, косметики, восстановление девственной плевы, реклама бюстгальтеров, репортаж о поездке в Лондон, письма женщин, разочаровавшихся в мужчинах. Задерживаю взгляд на фотографии женщины с ребенком. Заголовок красными буквами: «АИСТ ПРИЛЕТАЕТ ИЗДАЛЕКА».

Читаю интервью с одной французенкой, которая не могла иметь детей после противораковой терапии. Она получила яйцеклетку от своей сестры, клетка после оплодотворения в пробирке была помещена в матку третьей женщины, венгерки, того самого «аиста». Это называется «суррогатное материнство». Я думаю о своей матери, о суррогатных бульонных кубиках, которые она покупала.

Ванни целует меня в щеку, жуя американскую жвачку. Он гей, крепкий, атлетического телосложения парень. Ходит босиком прямо по волосяному ковру, как на палубе корабля. Приподнимает пряди моих волос, смотрит в зеркало вместе со мной, прикасается к волосам осторожно, как художник, начинающий картину. Под его опытной рукой материализуется стрижка.

— Тебе нравится?

— Да, нравится.

Он бросает взгляд на журнал, берет пепельницу, курит, стоя рядом со мной, продолжая жевать свою жвачку. Мы говорим о статье, он произносит:

— Если подумать, то и Пресвятая Дева сдала свое чрево в аренду Господу Богу...

Дождь идет. Одна капля крупнее других течет по стеклу, я слежу за ней. Эта длинная полоса разрезает ночь. Собственное дыхание кажется древним дыханием земли, а эта капля — слезой, разделяющей наш мир и ту эпоху.

Сегодня утром папа принес мандарины. Он всегда заходит на рынок по пути к нам. Ему нравится этот район, он говорит, что здесь последний оплот человечности, островок, на котором люди держатся вместе. Все прочее — одиночество. Теперь у него есть собака, похожа на легавую, потрепанная. Хороший повод выходить на прогулку, дышать воздухом. Папа кладет на стол коричневый бумажный пакет, кухня наполняется свежим запахом фруктов.

— Вот, принес немного витаминов.

Мы сидим на кухне втроем, чистим мандарины. Диего ест и корки, он их любит.

Рядом лежат открытые чемоданы, Диего достал с антресолей свой старый рюкзак — залез на стремянку и чуть-чуть не упал, бросил рюкзак на пол. Поднял его и понюхал, вспомнив запах путешествий, ночевок в аэропорту, надежд и терзаний.

— Моя старая кожа... — сказал Диего.

Собака отца крутится вокруг рюкзака, обнюхивает его.

— Она не напишет на наши вещи, папа?

— Иди сюда, Булка, лежать!

— Что это за имя — Булка?

— Я шел по улице и ел бутерброд, кинул ей кусок булки, она пошла за мной.

Папа гладит подошедшую собаку, та вытянула морду, как сирота, которой хочется ласки. Все мандарины съедены. Папа смотрит на чемоданы. Он все время на них смотрел.

— Как там погода, дождь? — спрашивает он, хватаясь за мешок с мусором.

— Папа, оставь, не нужно, мы сами.

— Мне не трудно.

— Оставь.

Он сильнее меня, упрямее. Сердится, но не выпускает пакет из рук:

— Господи, дай же мне хоть что-нибудь сделать!

Папа настоял на том, что утром сам отвезет нас в аэропорт. На такси было бы удобнее, быстрее. Но такой уж человек мой отец. Встал ни свет ни заря, ждет нас в машине, задолго до условленного времени, как усердный водитель. Звонит в домофон:

— Я уже здесь, внизу, не торопитесь.

Ему нравится это раннее утро, он счастлив, как будто собирается на рыбалку. Побрился, даже галстук надел. От него пахнет кофе и одеколоном. Я смотрю на седой затылок, такой знакомый, и вспоминаю детство. Отец отвезил меня в школу. Мне плохо давалась математика, я очень переживала. «Списывай, садись с тем, у кого можно списать». Я краснела, такой совет бил по моему самолюбию. «Ты ничего не понимаешь, папа!» А он все понимал. «Учись только тому, что тебе нравится, Джемма, прочее оставь другим, не упорствуй».

Он ведет машину сосредоточенно и очень осторожно, как будто хочет дать нам знак, чтобы и мы были внимательны. Кажется, что он предварительно изучил маршрут: знает, куда ехать, у какого терминала нас

высадить. Открывает багажник, идет искать тележку. Спешит попрощаться, не хочет обременять нас своим присутствием. Сегодня он — водитель, довез куда надо и поехал по другим делам. Нет у него никаких дел, но он притворяется, будто спешит. Садится в машину, кивает, стиснув зубы. Произносит всего одно слово:

— Звоните.

Может быть, он задержится в городке Фьюмичино, погуляет до полудня по пляжу, пойдет обедать. Он любит жареную треску. Представляю, как он заказывает большую порцию и съедает всё. Выпьет вина целую бутылку, щеки у него раскраснеются. Пока никто не видит, расстегнет ремень, я-то знаю. Всю жизнь он старался подавать мне хороший пример, а до меня это не доходило... Я смогу оценить, какой замечательный у меня был отец, лишь когда его не станет.

Хлеб лежит в пластиковой корзинке, какие обычно ставят на столы в приморских забегаловках, на него садятся мухи. Мой отец наслаждается едой и вином, соленым ветром, морской синевой. Оттуда можно увидеть взлетающие самолеты, которые, прежде чем взять курс, делают круг.

В одном из этих самолетов сидим мы, отец поднял голову, провожает нас взглядом. Совсем недавно мы были на земле, стояли рядом. Отец прикидывает расстояние от земли до неба, от его стареющего сердца до белой, тающей в облаках полосы за хвостом самолета.

— О чем ты думаешь? — спрашивает Диего.

Самолет наклоняется на одно крыло, открывая бесконечный горизонт, залитый солнцем.

— Так, ни о чем...

Папа привиделся мне на крыле самолета, которое кажется неподвижным.

— Ты что-то скрываешь от меня, Джемма?

— О чем ты, папа?

— Не важно; если не хочешь — не говори.

Мы летим бизнес-классом

Мы летим бизнес-классом — широкие сиденья, стеклянные бокалы, тканевые салфетки. Мне не хотелось лететь в экономклассе, по крайней мере на этих обшарпанных самолетах... не хотелось тесноты, не хотелось видеть стюардесс, которым до тебя нет никакого дела. Я хочу вытянуть ноги, хочу сделать наше непростое путешествие более-менее приятным. Так бывает, когда болеешь, — если можешь позволить себе, выбираешь платную клинику, отдельную палату, медсестру, похожую на горничную в гостинице, окно со шторой, которую можно задвинуть и отстраниться от мира. Я надеялась, что самолет будет пустым, — кто же захочет пролетать над странами, где идет война! Но пассажиров много. Итальянские мужчины, очевидно, летят с определенной целью — посетить ночные заведения, где мерцает приглушенный свет и танцуют нежные, совсем юные девочки. Распродажа в самом начале, торопись, чтобы первому урвать непорочность. Эти мужчины потом, как обычные туристы, повезут назад в дорожной сумке банку икры или матрешку. Еще летят русские — возвращаются домой. Вот, например, двое бизнесменов неподалеку от нас. Черные портфели положили под сиденье, контролируют их наличие начищенными до блеска итальянскими ботинками. Интересно, что они продают? Свою страну, развалившийся на куски Советский Союз... нефтепроводы, шахты, ядерные боеголовки? Воображаю, что у этих русских в портфелях стреляющие авторучки, ампулы с ядом, как у шпионов в американских фильмах. Но холодная война уже в прошлом, как и многое другое. Эти двое, скорее всего, везут итальянский сыр пармезан.

Занавеска, отделяющая салон экономкласса, отодвинута. Русские пьют шампанское бокал за бокалом, при этом выражение лиц и тон разговора у них совершенно не меняется.

У стюардессы, которая нас обслуживает, пухлые щеки и вздернутый нос. Пилотка, венчающая ее начес, — словно лодка, плывущая по волнам, такая маленькая, что вот-вот упадет. Девушка разливает напитки, ее жесты при этом не лишены очарования — она грациозно протягивает полную руку, не проливая ни капли:

— *More, please.*

Я так ждала этого момента, а сейчас не знаю зачем. Я сделала все возможное, чтобы полететь на этом самолете, но сейчас я думаю, что, если какой-то безумец вздумает открыть люк, я шагну вместе с ним в белую

пену облаков, в ледяной холод за бортом.

Решение созрело неожиданно. Я купила билеты, проверила, не просрочены ли наши паспорта. Поедем, посмотрим, подумаем... что нам стоит?

«Мой шаг был продиктован любовью, — говорила женщина в той статье, что я читала в парикмахерской, — я была рада помочь такой же женщине, как я сама. Я стала не инкубатором, я стала аистом». Пью шампанское. *More, please.* Пью и размышляю, нет, скорее, занимаюсь самобичеванием. Если наш шаг продиктован любовью, почему мы летим в бедную, неустроенную страну? Эти шумные римляне, которые летят вместе с нами, какая разница между мной и этими развратниками? Я тоже ищу бабу, ищу чрево.

— Послушай...

Диего протягивает мне маленький наушник. Слушаем вместе американскую рок-группу «R. E. M.» *Losing my religion.*

...That's me in the corner... that's me in the spotlight...

— Не беспокойся, все будет хорошо.

Диего засыпает, я смотрю на его руку. Что такое рука?

Кто скроил ее так?

Женщина, сидящая неподалеку, открывает багажное отделение, достает дорожную сумку. Чуть не падает на меня — мы летим в зоне турбулентности:

— Извините.

У нее приветливое лицо, ее муж тоже спит: большая голова с редкими седыми волосами, рот приоткрыт, под головой подушка, которую дала стюардесса в начале полета.

Женщина заняла свое место в следующем за нами ряду, через какое-то время трогает меня за плечо:

— Вы не боитесь летать?

— Нет, я боюсь земли.

— Как вы сказали?

«Господи, что я несу... Это все шампанское...»

— Я боюсь приземляться, — уточняю.

Женщине явно хочется с кем-то поговорить.

— А я приземляться не боюсь — видишь все ближе и ближе дома, деревья...

Через проход от моего кресла есть свободное место, женщина пересаживается туда. Она не молодая и не старая, среднего возраста. У нее обаятельная улыбка. Достает что-то из сумки. Сначала гигиеническую

помаду: «В самолете сохнут губы, вы замечали?» — а потом какую-то коробку. В коробке лежат кроссовки с розовым кантом — для девочки.

— Вам нравятся?

Я киваю.

— Муж купил в Нью-Йорке, он часто летает туда по работе. — Женщина подносит кроссовки к носу, нюхает их, гладит. — Смотрите, тут сюрприз...

Она улыбается, и я начинаю думать, что с головой у нее не все в порядке, — возможно, одурманивает себя психотропными препаратами.

— Огоньки зажигаются, видите?

Вставляет руки в кроссовки, наклоняется к самому ковру и передвигает руками, будто идет. Действительно, сбоку на прозрачной резиновой подошве кроссовок загораются огоньки.

— В Италии таких еще нет.

— Это для вашей дочки?

Женщина отвечает не сразу, снова подносит кроссовки к носу, — наверное, они пахнут клубникой.

— Она пока нам не дочь...

Думаю, женщина только этого и ждала. Такие в поездках всегда высматривают жертву, ищут, кого бы до смерти заговорить. Сегодня попалась я. Ее муж преспокойно спит, у него защитная реакция: вдавил голову в подушку — и все. Терпеливо выслушиваю ее историю. Два года подряд они с мужем брали на лето девочку-сироту из Чернобыля: таких детей посылают в другие страны, чтобы организм очистился от радиации. Они с мужем подарили детскому дому холодильник и диапроектор, подружались с директрисой. Им не дают усыновить ребенка, потому что они уже немолоды, но они надеются хотя бы оформить опеку. Сейчас вот летят проведать девочку, Аннушку, везут ей в подарок кроссовки.

— Наш адвокат разговаривал с украинским адвокатом. Деньги... все упирается в деньги. Там деньги решают все. — Она складывает пальцы в щепоть, потирает ими.

* * *

Аннушке семь лет, а они могут усыновить ребенка не моложе девяти. Женщина вытягивает два пальца, размахивает ими, как ножами, приглушенно сетует:

— Два года... что такое два года?

Снова трогает кроссовки, два раза раздраженно качает головой, мне кажется, что у нее нервный тик, что она пытается прогнать какую-то назойливую мысль... Мне знаком этот жест. Есть что-то общее в

несостоявшихся матерях.

— Два года... Я даже хотела подделать документы, и мне не стыдно сказать об этом... тебя просто вынуждают идти против закона...

Теперь мне кажется, что она — искаженная копия с меня самой.

Заказываю еще шампанского, спрашиваю себя, неужели я стану такой же? А что, если судьба нарочно преподнесла мне эту встречу? Если жизнь — это путь, помеченный огоньками, как эти проклятые кроссовки, как световое табло, указывающее выход из самолета.

Женщина все говорит и говорит...

— ...Аннушка, когда приехала, никогда не видела шкафа, она испугалась, залезла под кровать. Мы разобрали шкаф, разрешили ей вешать одежду на стул, как она привыкла. Этим летом она вспомнила про шкаф, мы достали его из погреба, снова собрали. Мой муж взмок, чуть не сдох, пока ставил этот шкаф. Это был самый лучший день в нашей жизни. Аннушка смеялась, ей было не страшно, она пряталась там, а мы ее искали...

Женщина наклоняется, снова «шагает» руками в кроссовках по дорожке в проходе, на подошвах загораются огоньки. И мне кажется, что я знаю эту Аннушку. Я вижу, как она бежит в американских кроссовках поздним вечером, огоньки мигают, чтобы Аннушка не потерялась. Вспоминаю день, когда Диего фотографировал черномыльских ребятишек, которые только что приехали в Остию, в летний лагерь... мне еще показалось, будто они светятся от радиации.

— А вы? — спрашивает женщина.

Провожу рукой по старому креслу, на подлокотнике черная дырка от сигареты.

— У вас есть дети?

— Нет, пока нет.

— Вы молодые, у вас все впереди. — Она улыбается, вздыхает.

Диего открыл глаза, смотрит на часы, потягивается.

— Ваш муж как мальчик...

Диего улыбается.

— А куда вы летите? — спрашивает женщина.

— В отпуск, — отвечает Диего над моей склоненной головой. И добавляет с улыбкой: — На Черное море.

В аэропорту Киева нас ждет переводчица Оксана, худая высокая девушка. Стоит не двигаясь, как часовой, среди толпы встречающих, лицо серьезное и сосредоточенное. На табличке, которую она сжимает в руках, авторучкой написана наша фамилия. Мы идем к ней, протягиваем

руки для приветствия. При виде нас она слегка улыбается, делает едва заметный кивок, слегка наклоняется. Волосы у нее собраны в хвост резинкой, рукава синего пальто немного коротки — не закрывают запястья, плетеная сумка через плечо. Спрашивает, как мы долетели. По-итальянски она говорит хорошо, с акцентом, который кажется нам немного смешным. Ее хвостик мелькает впереди, мы проходим мимо каких-то плохо одетых личностей, которые вовсе не собираются никуда улетать, греются у решетки радиатора. Я спрашиваю Оксану, что это за мешки брошены у выхода.

— Почта...

— А почему ее не доставляют?

— Доставят когда-нибудь...

Из старенького микроавтобуса «Фиат» выглядывает усатый мужчина, подает назад, выходит, чтобы помочь нам погрузить вещи. Для нас двоих в салоне слишком много места. Оксана о чем-то негромко разговаривает с водителем, затем садится напротив нас:

— У вас есть доллары?

— Да.

— Хорошо, доллары пойдут.

— А лиры?

— Лучше доллары. — Оксана смущенно улыбается, не хочет обидеть нас. Ждет вопросов. В ее скованности — строгая грация танцовщицы классического балета.

— Сколько километров нам ехать?

— Чуть больше ста.

Меня интересует только одно: когда мы сможем встретиться с врачом?

— Прямо сегодня.

Я смотрю на Диего:

— Давай заедем в гостиницу, бросим вещи и поедем...

— Да.

Он тоже рассматривает Оксану, ее серьезное лицо, обращенное к нам, высокий чистый лоб.

За окном мелькают грузовики, тракторы, автобусы. Дорога идет через белесую степь, затем через бескрайние поля, кое-где зеленеют озимые.

— Это пшеница?

— Да. Чечня — наша нефтяная скважина, Украина — наша житница, — улыбается Оксана. — Это еще Сталин говорил.

Диего спрашивает ее о Горбачеве, о будущем. Оксана качает головой:

— Кошмар... просто кошмар.

— Естественно, пройдет еще лет двадцать, прежде чем все наладится...

— Двадцать лет... как мне. — Оксана кивает, согнув лебединую шею.

— Тебе только двадцать?

Я думала, что ей тридцать, — может, потому, что она слишком худая, слишком серьезная.

Поля закончились, теперь вдоль дороги тянутся старые заводские корпуса. Кажется, что у этого города нет центра, — сплошные окраины. Оксана первая выходит из машины, провожает нас в гостиницу, разговаривает с портье.

Комната оклеена блестящими обоями небесно-голубого цвета, бумага такая плотная, что похожа на пластик. Занавески, покрывало на кровати того же цвета. Оставляем вещи, моем руки и уходим.

Больница находится через несколько кварталов от гостиницы — строгое массивное здание в советском стиле. Лифт поднимает нас на третий этаж. Ожидаем в узком коридоре, пол которого покрыт светлым линолеумом. На стенах развешены какие-то свидетельства в рамках под стеклом, наглядные пособия, как в аудитории медицинского факультета. На одном — мужские репродуктивные органы, на другом — женские. Розовый мешочек мошонки, семенные каналы, трубы и бесчисленное множество красных и синих нитей кровеносной системы. Я рассматриваю огромный пенис в разрезе, вялый, как повисший хобот, ярко-оранжевое влагалище, похожее на внутренность мидии. В животе у меня противно холодеет, холод поднимается к затылку. Я бросаю взгляд на Диего: он вдумчиво, как студент, изучает плакаты, улыбается своим мыслям.

Стройная невысокая женщина, в плотно облегающем халате, приглашает нас пройти в кабинет. За столом, слишком большим для скромного кабинета, сидит врач. Зеленоватое стекло на крышке стола, позади — белая ширма, в рамках на стене — почетные грамоты.

Врач встает, протягивает нам руку для приветствия, жестом приглашает сесть.

— Прошу, — говорит он по-итальянски.

Оксана садится рядом со мной, объясняет, что доктор Тимошенко, к сожалению, не говорит по-итальянски, знает лишь несколько слов, но хочет выучить язык — в последнее время к нему приезжает много итальянцев.

— Мы достигли больших успехов... в этой области.

Оксана переводит уверенно, не моргнув глазом. У меня складывается впечатление, что она знает эту речь наизусть и произносит ее всегда с одной и той же интонацией. В кабинете по стенам развешены фотографии

— на руках у счастливых матерей смеющиеся дети... Здесь, похоже, как на бальнеологическом курорте: сначала тебя погружают в холодную воду, затем в горячую, сначала массаж камнями, затем втирание масел. В коридоре ты видишь репродуктивные органы, а потом попадаешь в уютный кабинет с вышитыми занавесками, как в деревенском доме, видишь этих матерей... Тем не менее я чувствовала себя неуютно, мне казалось, что здесь кроется какой-то подвох.

На докторе Тимошенко опрятный, слегка посеревший халат, у него широкие монгольские скулы, зализанные волосы с проседью. Он разрешает нам курить в кабинете.

— Мы не курим.

Он закуривает сам, внимательно смотрит на нас.

Я начинаю говорить, рассказываю нашу историю. Оксана время от времени трогает меня за плечо, чтобы я остановилась, — ей надо перевести. Пытаюсь понять, хорошо ли она справляется со своей работой. Резким жестом требую у Диего, чтобы он достал бумаги — кипу анализов, заключений, ультразвуковых исследований... потраченных денег. Показываю доктору фотографии матки и прочее.

— Непродуктивная... — говорю я. — Непродуктивная матка...

Жду, пока переводчица подберет нужное слово. Доктор открывает папку, перебирает бумаги, кивает. Я смотрю в окно, рот у меня кривится. Там, на спортивной площадке, одиноко висит старый железный круг баскетбольной корзины, сетка оборвана... я смотрю на этот пустой глаз и плачу.

Доктора не смущают мои слезы, — должно быть, он привык к рыданиям, судорожным всхлипываниям.

Я иду к окну, Диего за мной, обнимает меня. Мы стоим спиной к врачу и Оксане, не стесняясь незнакомых нам людей. Смотрим на стадион, вдалеке виден ряд одинаковых домов без крыш, они напоминают кабинки на пустом пляже.

Успокоившись, возвращаюсь на место. Боль утихла, как приступ почечных колик, — когда обострение проходит, чувствуешь только усталость, больше ничего. Какая-то необъятных размеров женщина приносит чайник с кипятком, пьем чай. За чаем узнаем, что врач говорит по-французски, продолжаем разговор без помощи Оксаны, затем доктор снова переходит на русский. Достает лист бумаги из ящика письменного стола.

Рисует три круга — А, В, С, над ними — треугольник Х. Ставит карандаш на треугольник:

— Это — ваш муж. — Доктор с улыбкой смотрит на Диего. — Берем у матери А донорскую яйцеклетку, она будет оплодотворена семенной жидкостью треугольника X и помещена в матку суррогатной матери В.

Карандаш чертил линии, соединял круги и наконец дошел до меня, до круга С.

«Слишком много кругов, — подумала я, — слишком много матерей...»

— Я бы хотела только одну... одну другую женщину.

Доктор отвечает, что все можно устроить, но будет стоить дороже.

— Суррогатная мать не имеет никаких прав на ребенка, который генетически ей не принадлежит, а вот биологическая мать...

Я знала, что рискую, но я хочу видеть лицо этой женщины, видеть, как она улыбается, хочу познакомиться с ней.

Оксана переводила, а я смотрела на доктора, на его большие руки, на движение губ, на маленькие ярко-синие глаза... и думала, можно ли ему доверять, пыталась найти добрый знак.

Он пригласил нас осмотреть больницу. Мы зашли в палату, там стояла небольшая железная кровать, в шкафу лежали какие-то ампулы и прочие медикаменты, банка с ватой, еще одна — с расширителями, старый пластиковый контейнер с ручкой — он напоминал переносной холодильник, с которым ходят на пляж. Может быть, в нем хранятся яйцеклетки или семенная жидкость...

Доктор присел на кровать и непринужденно начал разговор о деньгах. Его интересовала только валюта — доллары или немецкие марки. Никаких административных расходов, ни трат на содержание суррогатной матери во время беременности, ни оплаты адвоката. Обо всем они позаботятся сами.

— А если мать передумает?

— Не передумает. Эти женщины сами предлагают свои услуги, — перевела Оксана.

Меня не оставляла мысль, что у этого человека лживый взгляд, что в его словах нет ни малейшей правды.

В гостиницу мы возвращались пешком. Шел дождь. У Оксаны был зонт, она шла позади и настойчиво укрывала нас. Мы сказали ей, что найдем дорогу сами, что она может идти. И все-таки мы потерялись. Все надписи на кириллице, никто не говорил ни на каком другом языке, кроме русского. Многие магазины были закрыты, мы видели облупленные надписи «Продукты», полупустые витрины. Заглянули в булочную. На деревянных полках, как надгробные камни, сиротливо лежали караваи. Редкие прохожие удивленно смотрели на нас.

У серой цементной стены неподвижно стояла старушка, Диего захотел

сфотографировать ее. На тротуаре прямо возле ног старушки была огромная лужа. Диего, как всегда, интересовало отражение в грязной воде — он встал на колени, чтобы сделать снимки. Старушка не шелохнулась, выражение ее пергаментного лица нисколько не изменилось. Диего поднялся, колени у него намокли, он пошарил в карманах и вынул десятидолларовую купюру. Старушка стала низко кланяться, целовать Диего руки. Он пытался удержать ее, остановить эту чрезмерную благодарность. Поцеловал бабушку в макушку, в цветной платок.

Смеркалось, дождь прекратился. Как раз за серой цементной стеной показалась наша гостиница.

Я решила принять душ, он был намертво прикручен к стене, вода брызгала из забитых дырочек рассекателя в разные стороны, в основном на занавеску, а не на мое тело. Мы попытались сдвинуть две узкие кровати, скрежет железных ножек больно отозвался в ушах. Простыни, мешком натянутые на матрас, напоминали смирительную рубашку. Диего помылся, не жалуясь на душ. Стоял у окна и фотографировал длинную серую стену напротив. По верху стены шли витки колючей проволоки, как в тюрьме.

Мы спустились в ресторан. Там царило оживление, пела какая-то женщина в платье с красными чешуйками пайеток, было много одиноких мужчин и несколько пар. По залу, как пингвин, вальяжно расхаживал пузатый официант в черном костюме и белой рубашке. Мы сели за столик, нам дали толстое меню с французским и английским переводом. Мы прочли, подозвали официанта. Дальше был разыгран настоящий фарс: всякий раз, когда мы называли блюдо, пингвин качал головой, разводил руками и отвечал по-русски «нет»...

Был борщ, мы его заказали. Потом официант вернулся, вынул из-под полы какую-то баночку и показал ее нам украдкой, как бы скрываясь от метрдотеля. Десять долларов за икру нужно было заплатить прямо ему, наличными. Мы взяли баночку, отдали деньги. Еще одна купюра в десять долларов ушла за бутылку особой водки.

Теперь и метрдотель улыбался, с легким поклоном проходя мимо нашего столика навстречу новым клиентам. Заходили женщины с высокими начесами, в мини-юбках и остроносых сапожках, мужчины в блестящих пиджаках. Блины с икрой и сметаной были очень вкусными... Одна черная икринка приклеилась Диего на кончик носа, я, смеясь, смахнула ее пальцем. Диего с вождением посмотрел в вырез моей шелковой рубашки, мы вдруг почувствовали себя любовниками на тайном свидании. Закончив ужин, остались сидеть в зале. Диего поднял стопку с водкой, обращаясь к певице. У нее были влажные глаза, густо намазанные

зелеными тенями. Эта увядающая дама, в своем красном платье похожая на русалку, спела для нас итальянскую песню.

Мы смеялись и аплодировали.

Поднялись в номер. Занялись любовью, кровати чертовски скрипели. Нам нужно было разрядиться, по крайней мере, чтобы почувствовать, что мы живы.

— Даже если все зря, плевать... — вздохнула я. — Все-таки съездили, развеялись.

Диего на фоне темного квадрата окна настраивает объектив.

— Что ты собираешься фотографировать?

— Свет.

Должно быть, белый свет прожектора из той казармы напротив.

Утром спускаемся к завтраку. Два бойлера с кипятком, вареные яйца, сладкие пирожки. Из кухни волнами запахи крепкого мясного бульона.

Пришла Оксана, наливаем ей чай, она греет озябшие красные руки. Такая же бледная, волосы все так же собраны резинкой в хвост. Говорит, что нужно подождать, — доктор подыскивает для нас подходящую кандидатуру, после обеда сообщит, как обстоят дела.

Мы решили прогуляться. Диего фотографировал деревянную церковь, памятник воинам у голубого пламени Вечного огня. В центре города царили нищета и запустение, а еще странная тишина.

Оксана пришла за нами, как и обещала, после обеда. Мы сели в такси — «шкоду» сливового цвета, без бампера. Доктор нашел женщину, которая нам подойдет.

— Кто она? — поинтересовалась я.

Оксана сидела рядом с водителем, показывала дорогу. Повернувшись к нам, сказала, что это проверенный вариант.

— Она уже была суррогатной матерью.

Я думала о женщине, с которой мне предстояло встретиться, о том, что она за деньги давала детям жизнь... Профессионально... я убеждала себя в том, что это хорошо, лучше и не придумаешь... Рука Диего, сжатая в кулак, лежит на сиденье. Неподвижная и вместе с тем беспокойная, — казалось, что эта рука сжимает невидимый гвоздь.

Перед поездкой мы с Диего долго обсуждали, насколько нравственна наша затея. Диего сказал: «Есть только один закон — это наша совесть. Мы должны быть перед собой честными, оставаться самими собой. Иначе нужно вернуться назад и забыть об этом».

Я втянула его в эту авантюру от отчаяния, после бесконечной ночи переживаний и слез. Теперь, глядя на его серьезное лицо, задумчивый

взгляд, я испытывала досаду.

Когда мы вошли в кабинет, женщина сидела на стуле, спиной к нам. Доктор встал нам навстречу, она не шелохнулась. Я скользнула по ней бессильным взглядом. Мы сели, и только позднее, когда доктор о чем-то долго говорил, я смогла по-настоящему рассмотреть ее. Украдкой я разглядывала, если не сказать пожирала ее глазами: рука, ухо, короткая мужская стрижка. Обычная женщина, одетая скромно, но с достоинством. Вытянутый овал худого лица, правильный нос. Она прижимала к себе сумку из кожзаменителя. Я смотрела на ее костлявые лодыжки, удобные ботинки со шнуровкой — такие иногда носят монахини. Она кивала в такт словам врача. Оксана переводила.

Я чувствовала запах травы, золы. Спросила, откуда она, эта женщина, — первый вопрос, который пришел мне в голову.

Чуть заметная улыбка в мою сторону, отвечает, глядя на Оксану. Живет в деревне, километров двадцать отсюда. Поговорили еще о чем-то незначительном. Вошла толстуха с чайником, налила всем чай. Женщина пила, глядя в чашку, старалась отхлебывать бесшумно, не проливать на блюдце.

Затем она встала и слегка поклонилась. Оксана перевела, что женщина должна идти, потому что боится опоздать на автобус, который отвезет ее домой. Она протянула мне руку — холодную и мягкую, практически бесплотную.

— Спасибо... — сказала я.

Диего встал. Он не произнес ни слова, тоже протянул ей руку и поклонился, будто был перед ней в долгу. Она в ответ покровительственно похлопала Диего по руке, как мать сына.

Ушла, не оставив после себя следов, унесла свою искусственную сумку и запах золы.

— То, что надо, — сказал доктор, — серьезная, необщительная...

Вторая встреча с ним была короткой и неформальной, такова, видно, практика. Поговорили ни о чем.

— Еще будет время, — сказал доктор. — Возвращайтесь в гостиницу, хорошенько все обдумайте.

— Сколько ей лет? — спросила я.

— Тридцать два.

— У нее есть свои дети?

— Трое.

— А муж?

— Конечно есть. — Доктор рассмеялся.

— Мы можем быть уверены, что... — Мне неловко было продолжать.

Врач понял. Казалось, все вопросы он знал заранее, потому что отвечал на них уже тысячу раз.

Оксана перевела, что после инсеминации женщина на некоторое время останется в клинике, где врач понаблюдает за ней и подтвердит, что оплодотворение состоялось, только после этого она сможет вернуться домой.

— Ваши интересы — это наши интересы, — улыбнулся доктор. Он провел рукой по зализанным волосам и добавил строго: — Наши женщины скромны и послушны, они не ищут выгоды для себя. Своего-то ребенка они никогда не отдадут в чужие руки, можете быть спокойны...

Мы снова ели икру, но не так жадно, как в прошлый вечер. Чувствовали себя потерянными, разные мысли вертелись в голове. Иногда мы обменивались парой фраз. Певица была в том же красном платье, что и вчера, тот же бархатный взгляд, тот же хриплый голос. Я не могла выбросить из головы женщину, которую нашел доктор, вспоминала нашу встречу. Она опрятна, в глазах застыла покорность, на лице пушок, брови широкие, пинцетом она явно не пользовалась. Прическа, ботинки — как у монашки. Доктор прав: она то, что надо... Я уже выпила несколько рюмок водки, по телу разлилась теплота.

— О чем ты думаешь?

— Мне кажется, она — неплохой вариант.

— Значит, остановимся на ней...

— Потанцуем?

Танцуем среди неуклюжих мужчин и толстозадых женщин, надушенных слишком сладкими духами... танцуем обнявшись, одинокие и растерянные.

Врач заехал за нами сразу же после обеда. Мы сели в синий лимузин с кожаными сиденьями, из салона еще не выветрился запах моющего средства. На дорогах было мало машин, слишком мало, даже в населенных пунктах. Белые домики с темными крышами стояли вдоль дороги, которая шла по бесконечной степи. Радио что-то бормотало, время от времени звучала музыка. Мы поняли, что речь идет о войне, попросили Оксану перевести. Она повернулась к нам:

— Подписано соглашение о прекращении огня в Хорватии.

— Это у них игра такая — подписывать, а потом не соблюдать соглашения, — засмеялся доктор.

Мы проезжали какую-то огороженную зону, металлические столбы тянулись по степи на сотни километров. Внутри были видны массивные

строения, расположенные полукругом.

— Что это? — спросил Диего.

— Это рудники... — повернулась к нам Оксана.

Доктор сурово взглянул на нее в зеркальце.

— Старые заброшенные рудники, — объяснил он нам на своем нескладном французском.

Мы съехали на грунтовую дорогу, машина замедлила ход. Обычный деревенский дом, только что прошел дождь, вокруг было грязно. У стены сарая — металлическая сетка от кровати, детский велосипед.

Нам навстречу вышел коренастый мужчина с темным лицом, одетый в свитер с красными и коричневыми ромбами. Вряд ли ему было больше сорока, хотя Он выглядел значительно старше. Женщина ждала нас в доме. Поздоровалась, сухо предложила присесть. Поставила на стол поднос со стаканами и графин с красноватой жидкостью — вишневый сок. Ткнула пальцем себя в грудь, показывая, что сама его приготовила. Послышался плач. Женщина вышла и вернулась с годовалым малышом на руках. Дала ему чайную ложечку и села. Говорил муж, размахивал руками, рубя воздух как ножом. Он разговаривал с доктором по-русски, несколько раз я слышала слово «доллары». Оксана перевела для Диего:

— Первый взнос — в начале беременности, второй — на пятом месяце, третий — при получении...

Оксана учила итальянский язык на заочных курсах, она использовала сухие бюрократические термины, совершенно не задумываясь, что нас это ранит.

— Хорошо... Мы согласны... — сдавленно проговорил Диего.

Ребенок был бледен, как и мать, и глаза у него такие же карие, потухшие, как у нее. На нем были шерстяные линялые штанишки неопределенного цвета.

— Я хочу спросить, рада ли она будет чужому ребенку... выносит ли его с любовью, для нас это очень важно.

Ржавым от никотина голосом за женщину ответил ее муж.

Оксана перевела, что они очень рады, что жена рада нам помочь.

Мужчина встал, предложил нам осмотреть дом. Комнат не много, но все прибраны, на полу — плитки одинакового винного цвета, занавески на окнах, лампы с кружевным абажуром, шкафы из светлого дерева. Мужчина открывал двери, а мы заглядывали. Везде было убого, но чисто, везде чувствовался одинаковый запах.

Я хотела остаться с женщиной наедине. Скромная по натуре, она избегала меня, — очевидно, слишком назойливый муж контролировал

каждый ее шаг.

Женщина пошла за дровами, я — следом. Я отметила, что во дворе беспорядок: везде валялись какие-то инструменты, громоздились строительные материалы. Оксана шла за нами. Я наконец-то спросила у женщины ее имя. Мы поговорили о погоде, о деревенских работах. Тереза рассказала, что училась на инженера, но потом была вынуждена бросить. Она почти все время смотрела себе под ноги, лишь иногда поднимая глаза на Оксану, чтобы та перевела. Это постоянное посредничество в разговоре мне очень мешало, не позволяло сблизиться.

— Послушай, Тереза, я хотела бы знать, делаешь ли ты это по своей воле? Может быть, муж заставляет тебя...

Тереза отрицательно покачала головой, повторила, что рада помочь нам, что она согласилась бы и бесплатно, но деньги нужны, чтобы дать образование детям. Еще она сказала, что беременность ее не тяготит, наоборот, эти гормоны приводят ее в хорошее расположение духа.

— Что же ты скажешь потом своим детям?

Смеется, открывая сломанные передние зубы:

— Они ничего не заметят, я слишком худая, одежду ношу всегда просторную. — И она трогает платье, болтающееся на тощем теле.

— А для тебя? Не будет ли тебе сложно расстаться с ребенком? — не могу не задать ей этот вопрос.

Мне кажется, она не хочет отвечать, ковыряет грязь носком резиновой калоши и делает вид, что не расслышала.

— Она поняла, что я спросила? — обращаюсь к Оксане.

Как властно звучит мой голос! Обычно так разговаривают с детьми или стариками — словом, с теми, кто от нас зависит.

— Не будет, — переводит Оксана, — она относится к этому нормально, она же знает, что это не ее ребенок.

Наконец-то Тереза на меня посмотрела.

— Я — просто дом, — говорит она по-русски и показывает на свое платье, на живот, истощенный тремя беременностями. Наклоняется и достает из соломы два теплых куриных яйца, уговаривает меня взять их. Пить свежие яйца полезно.

Я опускаю их в карман пальто — так и стою, положив руку на теплую скорлупу.

Помолчав немного, Тереза произносит:

— Ты не думай, я не плохая женщина.

На крыльце стоит муж, он ищет Терезу и как-то странно посвистывает — так обычно подзывают кур. Тереза спешно возвращается в дом. Я

смотрю на ее спину, ягодицы, бедра — так смотрят на скотину. Она неплохо сложена, у нее развитые мышцы, тонкие лодыжки, никаких физических недостатков. Она никакая... именно никакая. Не веселая и не грустная, не красивая, но и не безобразная, в ней нет большой теплоты, но нет и злости... она из тех неопределенных созданий, которые не оставляют следа, овечка из стада. Она только что ушла, а я уже забыла ее лицо. Она то, что надо, как раз то, что надо: ведь она — никто, просто кружок, нарисованный на бумаге.

Я еще немного походила около дома одна. Вынюхивала, высматривала, прикидывала, на скольких метрах земли будет жить Тереза с нашим ребенком в утробе. Наклонилась, убрала ржавый железный прут, как заботливая мать...

Когда я вернулась в дом, Диего фотографировал малыша. Тот стоял в стареньком манеже, вцепившись ручонками, впившись губами в пластик. В объектив фотоаппарата он смотрел без всякого интереса. Он был какой-то бесцветный, безучастный ко всему, как и его мать. Никакой детской жизнерадостности. Застывший, как ископаемая букашка в янтарной смоле. Было в этой убогости что-то вечное... тщетное существование, многократное повторение жизни — человек рождается, потом умирает, ничего не оставив после себя. Возможно, именно это и растрогало Диего, заставило его взять фотоаппарат — неизменность, predeterminedность человеческой судьбы.

— Пойдем...

Меня раздражало, что он фотографировал этого ребенка. Иногда меня действительно раздражало, что он так бережно, с такой заботой держал в руках фотоаппарат, словно это пульсирующее сердце, вырванное из его груди, и Диего прижимает его к себе, чтобы прожить еще несколько мгновений.

— Пойдем...

Меня раздражало выражение худого, будто у миссионера-подвижника, лица Диего. Такая любовь означала поражение. Однажды этому придет конец. Настанет день, когда он будет фотографировать только нашего сына, только его, а все другие дети в мире попросту исчезнут, перестанут существовать.

За всю обратную дорогу Диего не проронил ни слова, он дремал, прислонив голову к оконному стеклу.

— Что же дальше?

Оксана переводит, что завтра Тереза должна прийти в больницу на анализ крови. Доктор оценит деятельность фолликул, овуляция должна

наступить очень скоро, может быть, в ближайшее время. Учитывая, что женщина детородна, не потребуется никакой дополнительной стимуляции яичников.

— Конечно, если вы не хотите двух или трех близнецов, — обернулся к нам доктор.

Давно я так не смеялась, до слез... Мне начинал нравиться этот врач — грубоватый, прямолинейный, настоящий казак, волею судьбы обслуживающий бесплодных супругов.

Диего не смеялся. Я взяла его за руку.

Я совсем не хотела разбираться в причинах его плохого настроения, мучиться вместе с ним угрызениями совести. Меня больше волновала та женщина, мой «дом», как говорила она по-русски. Конечно, я бы оставила ей денег сверх условленной суммы... я бы присылала ей витамины и минеральные соли, магний, железо... Оплодотворение казалось мне теперь мелочью, медицинской процедурой, которая будет выполнена в считанные минуты в том самом кабинете с вышитыми занавесками.

На обратном пути доктор расслабился, разговорился. Он отвечал на все наши вопросы, в который раз твердил, чтобы мы не беспокоились. Женщина будет находиться под постоянным наблюдением, нам в Италию отправят все результаты ультразвуковых исследований и анализов, мы можем в любой момент решить, требуются ли дополнительные обследования. Советовал мне пожить на Украине последние месяцы беременности.

— Так вам не придется ничего объяснять: при желании можно сделать вид, будто вы рожали за границей. Очень важно, чтобы вы присутствовали при родах, держали руку на животе суррогатной матери, чувствовали шевеление плода. Это вам поможет, вы испытаете сильные чувства, даже недомогание. Бывает, что женщина в момент родов чувствует то же самое, что и суррогатная мать, у нее начинаются самые настоящие схватки...

Я подумала, что вот-вот начну по-настоящему жить.

Диего слушал, глядя в окно. Иногда что-то фотографировал: трактор в поле, человека на велосипеде. Он давно ничего не снимал, а сейчас фотографировал это безобразие — эти ужасные поля, это пыльное небо...

Снова показалась металлическая сетка забора с колючей проволокой, ограждающая рудник, вывески с непонятными словами. Диего через стекло сфотографировал и их. Он снова спросил, что там добывают, в этом бункере. Оксана, не поворачиваясь, едва заметно пожала плечами.

Сегодня вечером певица сменила наряд: во всем белом она походила на большое облако. Метрдотель принес икру, получил свои чаевые. Водка

опустилась в желудок, развязала язык.

— У нее выбиты зубы... у той женщины выбиты зубы.

— Ну и что. — Я попыталась улыбнуться.

— Неужели ты не заметила?

— Что не заметила?

— Отметина под глазом, похоже синяк... — Диего поднес руку к лицу, показал на скулу.

Да, я видела какой-то круг у нее под глазом, когда она повернулась ко мне и сказала: «Я — просто дом».

— Наверное, ребенок. Стукнул случайно чем-нибудь... или сама ударилась.

— Да, может быть... — кивнул Диего.

Неприятный запах в гостиничном номере не давал мне уснуть. На батарее сушилось пальто. Я совершенно забыла, что у меня в кармане лежат эти чертовы яйца, и, естественно, раздавила их. Пришлось выбросить скорлупу в унитаз, вывернуть карман и кое-как застирать его под краном. От батареи шел запах сохнувшей шерсти и яичницы.

— Муж ее бьет... ты это имел в виду?

Диего тоже не спал.

— Не нравится мне этот человек, и ребенок у них очень грустный.

На следующий день мы поднялись рано. Оксана зашла за нами в гостиницу, мы пригласили ее позавтракать. Она шла пешком, замерзла и по сравнению с предыдущими днями выглядела усталой. Уткнулась в чашку с горячим чаем, прижала ее к побелевшей щеке. Когда Диего пошел заряжать фотоаппарат, я неожиданно обратилась к Оксане с вопросом:

— Правда, что у вас мужчины бьют женщин?

Оксана не улыбнулась, как обычно. Сказала, что женщины, встречаясь на улице, пристально разглядывают друг друга, делятся своими бедами.

— Работы нет, мужики напиваются до полусмерти.

Голос ее звучал глухо, она без конца терла свой красный нос, посиневшие губы никак не могли обрести свой цвет...

— Мой брат служил на корабле, потерял работу. Теперь он возвращается домой, я открываю ему дверь, а он сделает два шага и падает. В кого он превратился...

Я взяла ее за руку, окликнула:

— Оксана...

Раньше она казалась мне замкнутой, такой отстраненной, и вот вся ее надменность куда-то вмиг подевалась.

— Казимир, наш сосед, ему было восемьдесят лет, выбросился из

окна... нечего было есть... и такое случается... — Она плачет, не меняя выражения лица, потом смеется. — Мой двоюродный брат Епифан работает на заводе, им выдают зарплату рулонами туалетной бумаги... целые горы туалетной бумаги... вот уж в чем у нас дома нет недостатка.

Я хотела помочь ей, но так, чтобы не обидеть. Увидев, что я беру сумку, Оксана метнула на меня гневный взгляд:

— Нет!

Пришлось солгать — я сказала, что ищу гигиеническую помаду.

После обеда мы вернулись в больницу. Тереза была там, уже сдала анализы и одевалась. Не спрашивая разрешения, я подошла к ширме, за которой она стояла. Я увидела ее спину, лопатки, худые, как крылья оципанной курицы. Ниже шеи виднелся синеватый след. Я повернулась. Муж Терезы стоял в углу кабинета, потом направился к нам. Когда Тереза вышла из-за ширмы, я внимательно посмотрела на ее глаз — синяк потемнел и припух. Врач сказал, что все в порядке, овуляция уже началась. Муж Терезы потер руки о грубую ткань своих брюк. В жизни не слышала звука отвратительнее.

— Нет! — единственное слово, которое я могла сказать по-русски.

Доктор замер и как-то весь согнулся.

— Она нам не подходит. Извините.

Прямо посреди улицы, в глубокой кастрюле кипит, потрескивая, растительное масло. Сегодня суббота, базарный день. Девочка с косичками уплетает пышку темного цвета. Старушка под мокрым навесом продает разнокалиберные стопки и латунный подсвечник. За ночь похолодало. Трава на обочине побелела от инея. Ледяной ветер обдирает лицо. Еще одна бабуля стоит прямо под снегом, предлагает толстые вязаные носки, у другой на перевернутом ящике лежит свекла и старая резиновая игрушка, кролик. Торговля идет плохо, старушки неподвижны, как те сосульки, что свисают с крыш. Диего сегодня не фотографирует, просто покупает все подряд и, бросает в рюкзак. Достает из кармана карбованцы, которые совсем обесценились, отправляет бабушек домой, к печке.

Снова икра. Сегодня суббота. Певица взяла микрофон и ходит по залу, между столиками, пробирается к нам... может быть, она заметила, что я плачу. Она гладит меня по голове, садится за наш столик. Вблизи она кажется гораздо старше.

Диего хочет одного — вернуться в Италию; я настаиваю на том, чтобы остаться.

— Пожалуйста, еще один день...

По дороге я смотрю на женщин: вот заправщица на бензоколонке, вот

маляр... Я впираюсь в них глазами, задерживаю взгляд на теле, на животе... трую мордой о то, чего нет у меня.

— Так не пойдет... — начинает Диего.

— Оставь меня в покое, — обрываю я его.

Оксана идет за нами, из воротника синего пальто торчит белая точеная шея.

— А ты бы могла это сделать? — спрашиваю я ее.

Оксана не отвечает... Делает вид, что не поняла вопроса.

Диего крепко, до боли, сжимает мне запястье.

Доктор продолжает поиски, он назначил еще одну встречу. Диего странно выглядит сегодня, лицо у него какое-то перекошенное. Он спал, отодвинувшись от меня, на этой белой простыне, натянутой, как смирительная рубашка.

Женщина сидит на том же стуле, на котором сидела Тереза. Она моложе, пышнее телом. Встает нам навстречу, и я отмечаю, что она выше ростом, чем Диего. Улыбается, обнажив совершенно целые зубы. Если от Терезы ничем не пахло, то от этой исходит сладкий, густой запах дешевых духов. В белой блузке, скрепленной на груди брошью, и в темной юбке она напоминает школьницу-переростка. Скорее всего, нарядилась специально для встречи и сейчас хочет понаблюдать за нашей реакцией — живые глаза так и стреляют по сторонам. Кожа у нее, кажется, в порядке. Обесцвеченные волосы темнеют у корней. Лицо какое-то странное, как у клоуна без грима. Я не сразу заметила, что вместо бровей у нее лишь выступающие надбровные дуги, и от этого она напоминает незаконченную картину.

Диего смотрит в окно, на спортивную площадку, на одинокое баскетбольное кольцо без сетки.

По дороге я спрашиваю Диего, что он об этом думает.

— Ты действительно хочешь знать?

— Конечно!

Он не смотрит на меня, идет, касаясь рукой бетонных столбов, будто считает их.

— Мне кажется, она проститутка. — Останавливается, чуть покачивается, улыбаясь. — Я думаю, что все это мерзко, милая...

В машине, которая везет нас в аэропорт, Оксана рассказывает наконец про рудник. То был урановый рудник, и маленький поселок рядом с ним до последнего времени не обозначался ни на одной карте, попросту не существовал.

— Моя подруга потеряла ребенка... А вот моей бабушке почти

девяносто, и она всю жизнь прожила там. У нее огород, она говорит, что от урана капуста хорошо растет.

Мешки с почтой так и лежат в аэропорту, потрепанные и грязные.

Прижимаюсь на прощание щекой к лицу Оксаны, мой подбородок касается воротника ее синего пальтишка. Диего отдает ей все доллары, какие у нас остались, и на этот раз она берет деньги, прячет их в свою плетеную сумку.

Летим в Рим с пересадкой в Белграде, у нас есть два часа между рейсами. Заказываем в баре чай. Мужчина рядом с нами уминает толстую красную сардельку, из которой брызжет сок. Диего отодвинул чай, тоже взял себе сардельку и кружку пива.

Смотрю, как он разрывает зубами мясо. Молча заглатывает этот ужас. Говорю: «Пойдем прогуляемся», отвечает: «Иди одна». Я качаю ногой так, что качается вся скамейка. Как будто хочу растрясти пепел после пожара.

— Не качай...

Продолжаю дергать ногой.

— Пожалуйста!

Подбородок у него лоснится от жира, смотрит на меня угрюмо, мыслями он где-то далеко, хоть и сидит рядом.

— Наверное, нам надо расстаться...

Он встает.

— Ты куда?

— Пописать.

Но в туалете его не было. Я походила среди ожидающих свои рейсы пассажиров, в сверкающих бутиках дьюти-фри прошла вдоль полки с бутылками и сигаретными блоками. Его нигде не было. Я спрашивала себя, когда, в какой момент мы начали терять друг друга? Вернулась в туалет, ополоснула лицо, пошла к выходу на римский рейс. Девушка в униформе собирала посадочные талоны.

Я села в одно из кресел, соединенных между собой в цепочку. Кто-то положил мне руку на плечо — я обернулась и увидела женщину, которую мы встретили на пути в Киев. Цветная русская шаль покрывала ее голову и спадала на плечи.

Девочку, над которой они надеялись оформить опеку, усыновила другая семья.

— Французы...

— Сожалею.

— Взяли и младшего брата, ему три годика... теперь дети вместе, им повезло. Нам никогда бы не дали усыновить двоих... а французы, они

молодые...

Я крепко прижала ее к себе, она вся дрожала.

Диего примчался, когда зал уже опустел, сел рядом со мной.

— Разве ты не бросил меня?

— Я вернулся.

— Самолет улетел.

— Чьи это кроссовки?

— Той женщины, которая летела с нами. Она мне подарила.

— Зачем?

— Не знаю. У них огоньки зажигаются.

Я надеваю маленькие кроссовки на руки и шагаю по металлическим трубкам сидений, на подошвах загораются огоньки. Диего взглядом следит за этими светлячками. У него усталые глаза, волосы взъерошены, борода растрепана. Достает свою «Лейку»... Я улыбаюсь, топая по креслу руками, одетыми в кроссовки.

— Так, значит, это правда... — шепчет он.

— Что?

— Что жизнь, как и фотография, разговаривает светом... Знаешь, кому мы подарим эти кроссовки?

Он помогает мне встать.

Чувствую в груди толчок, как взмах веника, который, подметая, царапает прутьями.

— Скоро вылетает рейс на Сараево, я пришел тебе об этом сказать.

Полупустой аэропорт, малочисленные пассажиры внутренних рейсов да несколько рабочих. Две-три сумки едут по кругу багажного транспортера, никто их не забирает. Лента конвейера время от времени останавливается. Австралийский оператор с камерой на плече снимает на улице какого-то мужчину. Это таксист дает интервью, прислонившись к своей машине. Худое лицо, типичное для жителя Сараева, — кости, обтянутые кожей, пожелтевшей от никотина. Рядом стоит Гойко, переводит. Увидев нас, он краснеет, мнется в нетерпении и разводит руками, как бы говоря, что оказался случайно втянут в эту историю. Очевидно, ему не нравится то, что приходится переводить.

— ...Они сказали, что оставят нам немного земли, столько, чтобы хватило для могил. Вот что они сказали... в нашем парламенте...

— Нигилист хренов... Да пошли они все... — Гойко адресует это таксисту, а заодно и австралийцу. Целует нас, обнимает так, что хрустит грудная клетка. Его длинные вялые руки вдруг становятся сильными, как клещи. — ...Красавица и тощий фотограф...

Никто из нас троих и подумать не мог, что мы встретимся этим мартовским утром. Прошло девять месяцев с нашей поездки в Хорватию — срок беременности, срок войны.

Гойко притягивает наши головы к себе, прижимается лбом к нашим лбам. Спрашивает, как мы отважились прилететь.

— Тяжелее оставаться там.

Он обнимает нас снова и снова, я замечаю, что на его медовые глаза навернулись слезы.

— Да, из поэтов тоже иногда льется. — Он делает характерный жест, будто отливает, смеется.

Диего распрямляет плечи, вдыхает полной грудью. Воздух еще холодный, но чувствуется, что уже весна.

Мы идем к машине, Гойко с гордостью демонстрирует нам свою куртку, непромокаемую, «Gore-tex»:

— Немецкая! Поменялся с журналистом из агентства Рейтер.

Он хочет, чтобы мы попробовали, какая она легкая, — снимает куртку прямо на улице, а под ней только майка.

— Она меня спасает, в ней совсем не холодно, даже ночью при минус десяти...

Болтает без умолку, рассказывает о преимуществах ткани «Gore-tex», о литературном журнале, в котором публикуется, о своей работе на радио, куда он нас непременно отведет, там все бойкие, энергичные, головы у них работают быстро, как компьютер. Я смотрю на дорогу, обсаженную липами, на свинцового цвета дома. Почему же мы не приехали сюда раньше? Этот город для нас — спасение. Забраться в него, словно в карман, и чувствовать тепло, идущее изнутри.

Голос Гойко — тягучий, как смола. Он рассказывает, что в Сараево приехало много журналистов, проводится Международная конференция по Боснии и Герцеговине под эгидой Европейского сообщества, что он снова стал подрабатывать переводчиком, как во время Олимпиады.

Диего спрашивает о войне. Гойко выбрасывает окурок из окна.

— Весь мир на нас смотрит, у нас ничего не случится.

В кафане около рынка Маркале, куда он нас привез, играет боснийский блюз. Гойко снова курит, лицо у него, пожалуй, немного опухшее. Он наклоняется и целует мою руку, лежащую на столе. Диего оставил на лавке фотоаппарат — Гойко подтягивает его к себе, качает головой, — у Диего все та же заслуженная «Лейка», которой он снимал те давние репортажи.

В этом баре над лавкой, где мы сидим, висит первая фотография Диего: мы с Гойко в обнимку... он поднял руку, развел указательный и

средний пальцы — буква «V» перед нашими смеющимися лицами.

— Вы все еще любите друг друга? — шепчет мне Гойко.

— Да, — отвечает Диего.

— Жаль.

Выходим на морозный воздух. Люди заняты обычными делами. Лавки Башчаршии открыты — белые туники с расшитыми золотом краями, горы специй, медной посуды.

Какие лица были у евреев, когда они глядели на надвигающуюся беду, но не могли распознать ее? Скорее всего, такие, как у этого старика, который выделывает кожу, или как у этой девушки в платке и джинсах, выходящей из медресе с книгами, перехваченными резинкой.

Мы на трибунах крытого стадиона, построенного к Олимпиаде. Себина стоит рядом с грудой синих резиновых ковриков к нам спиной, у нас есть время понаблюдать за ней исподтишка, пока она не обернулась. Она не сильно изменилась, разве что немного вытянулась. Ее голые ноги — белые как воск, крепкие, с заметно выступающими, как маленькие сардельки, мускулами. Она босая, на плечах — шерстяной платок для разогрева мышц. Я видела, как она сняла его перед упражнениями, а потом надела снова, как делают опытные спортсмены. На стадионе полумрак, две неоновые трубки освещают площадку внизу, трибуны практически в темноте.

Увидела нас. Подняла глаза и удивленно смотрит. Интересно, узнала ли она меня? Мы часто разговаривали по телефону, я на фотографиях видела, как она растет. Каждый год на Рождество я отправляла для нее игрушки и немного денег, а она присылала мне поздравительные открытки и ангелов, вырезанных из бумаги. Себина не бросает тренировку, не бежит к нам — дисциплинированная. Но все, что она будет сейчас делать, она будет делать для меня. Я вижу ее на брусках, на бревне, вижу, как она, держась за ручки коня, прыгает, вытянув спину, и смотрит в нашу сторону. Она рассказывала в письмах о своем увлечении, но видеть ее на стадионе — совсем другое дело. Не зафиксировала положение, соскакивая с коня, падает. Но потом делает колесо каскадом, через всю площадку, стремительная, как маленькое пламя, и приземляется на идеальный шпагат.

Встречаемся в коридоре, рядом с раздевалками. Себина шла меня искать, я ее окликнула. Оборачивается, бежит ко мне. То же лицо, слегка сплюснутое с рождения, тот же рот — верхняя губка заметно выступает, как у грудного младенца. Я поднимаю ее на руки; скорее, мы поднимаем ее вместе с Диего. Соперничаем, кто первым вдохнет этот запах — запах нежной кожи, запах пота.

— Милый мой человечек...

— Джемма... Диего...

— Себина...

Что такое радость? Этот полутемный коридор, этот пол, покрытый линолеумом, эти запахи, это маленькое тело у нас на руках. Она просто малышка, вблизи она, оказывается, еще меньше.

— Ты, однако, тяжелая!

— *To su mišići*, это мышцы, — отвечает Себина.

Гойко теперь жил сам по себе, но каждый вечер заезжал за Себиной. Ждал ее в раздевалке, иногда помогал высушить волосы, иногда нахлобучивал ей на голову шапку — и вперед. Когда был в ударе, вел ее перекусить в одну из забегаловок с высокими стульями. Она ела пончик с яблоками и медом, одежда потом долго пахла жареным. Они болтали о том о сем. Он спрашивал ее про школу, как старший брат, как отец, которого у нее не было. Себина так тараторила, что Гойко с трудом за ней поспевал. В школе ей нравились только две вещи: окно в коридоре, из которого был виден сквер на набережной Миляцки, где целовались парочки, и опыты по химии. Она мечтала стать чемпионкой мира по гимнастике, но плохо росла.

— Я в секции самая маленькая...

Брат ей вытирал рот своей рукой:

— Маленькие крепче стоят на земле.

Если ей было грустно, он читал ей свои стихи:

Девочка сидела на земле
Перед костром из лепестков,
Они казались зимним огнем.
«Помоги мне, я устала».
Мы обрывали розы до самого заката
В запахе слишком сладком,
Дурманящем, как наркотик.
«Кто выпьет всю эту водку?» —
Я ее спросил.
«Ты, если вернешься».
Я не уверен был, что найду дорогу.
Она помахала мне из окна:
Лицо из мягкого гипса,
Руки, окровавленные лепестками.

Себине нравились стихи брата, но она задавала слишком много

вопросов.

Он отвечал ей:

— Стихи невозможно объяснить, их надо почувствовать. Если они найдут для себя местечко, у тебя зачесется внутри.

— А где это местечко?

— Надо искать.

Себина кривила рот, недоверчиво смотрела на брата. Трогала свой живот, руки, ноги:

— В ноге тоже может быть?

— Низковато.

— А я чувствую, что у меня там чешется от твоих стихов.

Гойко сажал ее на плечи, поднимался по лестнице родительского дома и вручал сестру Мирне.

В ресторане мы заказали питу с разными начинками — с мясом, с картошкой, с тыквой. Себина зевала, глаза у нее соловели, ее клонило в сон, но она держалась, не капризничала. Подложила руку под голову и заснула прямо на столе.

Мы продолжали болтать. Диего взял у Гойко сигарету, выкрошил табак, достал коробочку и сделал косяк. Гойко насмешливо посмотрел на него:

— И давно ты наркоман?

— Это не наркотик, это травка.

— Ну тогда покурим. — Гойко затынулся первым.

— Здесь ребенок, — сказала я.

— Ребенок спит, — ответил Гойко.

Они курили по очереди, а я гладила волосы Себины, потом наклонилась и уткнулась носом в ее теплый затылок. Этот запах, он остался прежним — запах молока, запах леса. Я подумала, что так пахнет будущее, оно опять было перед нами, как раньше. В зеркале на стене отражались наши тела, и мне показалось, что время ничего у нас не забрало. Диего сидел неподвижно и плакал. Скорее всего, он даже не замечал, что по щекам у него текут слезы. Я коснулась его плеча.

— Мне хорошо, — ответил он, — просто божественно.

Возвращались мы пешком, шли по знакомым улочкам. Себина спала на плече у брата, безвольно болтающиеся руки белели в свете фонарей.

Было ужасно холодно, я сжала пальчики Себины — они были ледяные. Мы поспешили в гостиницу — красная дверь, маленький, по-домашнему уютный холл. Гойко не хотел уходить от нас, да и нам хотелось побыть с ним подольше. Ему удалось найти самую большую комнату, с деревянным

полом и большим теплым ковром. Он упал на кровать:

— Я здесь немного вздремнул...

Покрывало и в самом деле было смято.

— Все еще занимаетесь любовью, вы двое?

Поездка вымотала нас, и, несмотря на холод, мы были какие-то вялые.

— Мы так умаялись, просто умираем.

— Мертвым легче заниматься любовью; когда душа отлегла, ты летишь за ней.

Гойко включает телевизор. Выступает Караджич — волосы уложены феном, розовый кукольный грим, — дает какое-то бесконечное накатанное интервью. Рассказывает о том, как он был психиатром и поэтом. Прямо по кадру бегут строчки его стихов. Гойко читает их и плюется:

— Сумасшедший черногорец! — Он чешет голову, плечо, как будто на него внезапно напал ужасный зуд. — Как можно верить такому придурку?

— Придурков надо опасаться... — Диего падает на кровать, вытянутая рука рядом с Себиной.

Она так и не проснулась, лежит, как брат ее уложил.

— Ты не хочешь раздеться? — спрашиваю я Диего, но он уже спит.

Гойко закуривает. Я прошу его отойти к окну, он открывает форточку, дымит в нее, стряхивает пепел.

На часах почти три.

— Что вы делали в Белграде?

Мы сидим на краешке кровати... я, не поднимая головы, рассказываю о поездке на Украину, о тех женщинах. Гойко смотрит на меня серьезно и вдруг начинает хохотать:

— С ума сошла? Хотела, чтобы шлюха родила тебе сына?

Диего спит рядом, раскинулся, как большой ребенок.

— Даже салфетку не снял...

Действительно, салфетка из ресторана заправлена под воротник свитера. Гойко снимает с Диего салфетку, сморкается в нее. Притворяется, что плачет, бьется головой о стену.

— Почему? Почему такая несправедливость? Если бы вам нужен был мужчина...

Он обнимает меня, щекочет, я вяло прогоняю его.

— Я не знаю, что мне делать... мне так плохо.

Встаю, снимаю с Диего сапоги, старые заслуженные камперос, прошедшие огонь и воду. Гойко наблюдает за этим усталым жестом материнской заботы:

— Боишься потерять его, правда?

— Мне уже тридцать семь.

— Он никогда не уйдет от тебя.

Бросаю сапоги на пол, снимаю с Диего носки. Смотрю на эти слегка красноватые длинные ступни:

— Хочу, чтобы у моего сына были такие же ноги.

— Что хорошего в этих ногах? — морщится Гойко.

— Это его ноги.

— Ну да...

Поскрипывает открытая форточка, Гойко закрывает ее. Глубокая ночь. Видны шпили собора, маленькие кресты на них кажутся стеклянными...

Так мы и спали вчетвером на одной кровати. Гойко слишком устал, чтобы нести сестру на руках до дому. Я не собиралась спать, лежала на самом краю, напряженная, как лезвие ножа. Наконец меня сморил короткий утренний сон. Первое, что я увидела, когда открыла глаза, было личико Себины. Она встала раньше всех, умылась и причесалась.

— Подожди-ка... — Я встала, открыла чемодан и достала кроссовки. — Когда идешь, загораются огоньки...

У Себины от волнения перехватило дыхание. Я помогла ей обуть кроссовки, пощупала, где пальцы, — кроссовки были великоваты, хватит еще как минимум на год, на вырост. Она смотрела на ноги и отчаянно икала.

— Теперь попробуй...

На кроссовках загорелись огоньки.

Она не выглядела счастливой, скорее, наоборот. Я понимала ее, такое же отчаяние охватывало меня при сильном волнении... когда восторг был таким, что, казалось, о большем и мечтать нельзя. Вот и Себина чуть не лишилась чувств. Я резко, пронзительно вскрикнула, чтобы оборвать ее икоту, — даже не предполагала, что могу так заорать.

Себина подпрыгнула, уставилась на меня с открытым ртом.

— Иди, чего ты ждешь?

Улыбается, икота прошла. Себина ходит по комнате, глядя на подошвы, где то и дело вспыхивают маленькие огоньки. Возвращается ко мне, целует в губы, я чувствую ее свежее, легкое дыхание.

Гойко упал с кровати и спит на ковре. Сестра топчется по его животу, тычет кроссовками прямо в лицо. Гойко открывает один глаз, обводит взглядом ноги Себины и вдруг, как змея, поворачивается ко мне:

— Ни фига себе! Где ты их взяла? Вот бы мне закупить партию...

Себина громко вопит, голос у нее звонкий, пронзительный. Нет, она не желает, чтобы еще у кого-то в Сараеве были такие же кроссовки!

Диего тоже проснулся, смотрит на шаги-светлячки, улыбается:

— Теперь ты не потеряешься, мы всегда тебя найдем, даже в темноте.

Гойко переехал в квартал, примыкающий к старой синагоге, в старый аварийный дом без лифта. Семьи отсюда уже съехали, осталось несколько старичков и много молодежи — студенты университета, аспиранты, художники, подающие надежды интеллектуалы. Новое поколение, заполонившее концертные залы, литературные кафе и киноклубы. Они собирались и, как их кумиры из U2, кричали по ночам: — у старых памятников Тито. *I wanna run... I wanna tear down the walls that hold me inside*

Гойко с друзьями жил на последнем этаже, под самой крышей. В этой квартире-коммуне вечно царил хаос, обычно так и живут студенты, правда недолго, перед тем как войти в настоящую жизнь. Гойко в свои тридцать пять был здесь самым старым жильцом, но этот дом соответствовал его натуре... «Кто проходит мимо и видит, что у нас горит свет, всегда может зайти, если хочет».

Он открывает дверь, нас обдает тяжелой волной табачного дыма и специй. Парень у окна играет на саксофоне — пальцы бегают по клавишам, глаза закрыты, щеки раздуты. Его фигура отражается в тонких старинных стеклах, которые были выдуты, раскатаны и нарезаны вручную; кажется, будто они кольшутся, как вода.

Мы ожидали, что попадем в тяжелую атмосферу близящейся войны, а здесь музыка, разговоры ни о чем. Две девушки на кухне помешивают в кастрюле суп.

На этот чердак в старом городе мы возвращались почти каждый вечер. Наверное, потому, что встретили там то, чего нам не хватало, — человеческую теплоту, улыбки на юных лицах и время... да, время. Добрая боснийская традиция — останавливать время, чтобы просто поговорить, побыть вместе. Время там странным образом растягивалось, благотворно влияя на души и тела. Мы встретили там Младена, художника, который теперь оборачивал в льняные полотнища тела всех возрастов, выпачканные яркими красками, а потом выставлял эти современные плащаницы в старых фабричных корпусах Грбавицы. Встретили Зорана, адвоката с рябым лицом, и Драгану, которая теперь играла в театре вместе со своим парнем, Бояном.

Как-то вечером я встретила там Ану, у нее была все та же улыбка. Она стояла, прислонившись к дверному косяку, с пустым бокалом в руке. Черный свитер обтягивал ее пышную грудь. Мне вспомнилось, как мы совсем недавно сидели под тутовым деревом на острове Корчула. Пока мы

болтали, я заметила, что Ана слегка раскачивается всем телом — чуть подается вперед и возвращается назад, как будто стоит в нерешительности на каком-то пороге, боясь его переступить. Я посмотрела по сторонам, и холодок пробежал у меня по спине... Мне показалось, что все — все, кто там был, — стоят на том самом невидимом пороге.

— Разве вы не боитесь? — спросила я Ану.

— Мы вместе... главное, держаться вместе.

Я смотрела на юного саксофониста, который склонялся над инструментом, как над живым существом, как будто сливался с ним в последнем любовном акте.

Пьетро ворочается в постели

Пьетро ворочается в постели, закрывается подушкой — ему мешает солнечный свет.

— Вставай, уже поздно.

— Дождь идет? — доносится голос из-под подушки.

— Нет.

— Да ну! — вскакивает Пьетро.

Бежит к окну, смотрит на неяркое солнце, пробивающееся сквозь пасмурное небо.

Сегодня утром Гойко везет его в аквапарк, огромная реклама которого висит на проспекте Тито. Пьетро открывает шкаф, вытряхивает на постель все содержимое своей сумки. Из ванной доносится звук напрасно льющейся воды.

— Закрой кран, люди где-то умирают от жажды.

Я постоянно повторяю эту фразу, меня раздражает, когда Джулиано бреется и оставляет кран открытым. Есть вещи, которые неотделимы от меня, как тень. Женщина, убитая рядом с пивзаводом, где люди выстраивались в очередь за водой... ноги подогнуты, будто спит, и только вокруг головы расплзается пятно густого красного цвета, а рядом — канистра, которую она так и не успела наполнить.

Пьетро выходит из ванной в плавках для серфинга, они моментально сохнут. С ними поедет Динка, девушка из гостиницы.

— Мам, а если я ее приглашу? — спросил он вчера вечером.

Он давно об этом думал, только боялся сказать мне.

— Конечно пригласи.

Он сделал несколько шагов, потом вернулся назад:

— Ладно, ерунда.

— Почему?

— Что я ей скажу?

— Что придет в голову.

Подошел к барной стойке, за которой Динка раскладывала в стаканы лед. В первый раз я вижу, как он старается понравиться девушке, и думаю о том, что он, несмотря на свою застенчивость, несмотря на непомерно длинные руки, будет иметь у женщин успех. Чтобы преодолеть смущение, барабанит пальцами по бедру, садится, поднимает на девушку глаза, улыбается. Возвращается ко мне:

— Что она сказала?

— Вроде согласна.

Он хрустит местными чипсами, которые прихватил со стойки.

Худая Динка в облегающих джинсах и босоножках на толстой платформе кажется высоченной, в открытый пупок у нее продето серебряное колечко. Пьетро сразу замечает этот пирсинг, белая полоска живота его привлекает и смущает одновременно.

Он делает вид, что смотрит по сторонам, и, естественно, начинает валять дурака. Показывает Динке полотенце, которое прихватил с собой, — гостиничное. Динка смеется, говорит, что нельзя. Тогда Пьетро прячет полотенце у себя под майкой, хлопает по вздувшемуся животу, и оба хохочут.

Пришел Гойко, на нем рубашка и пиджак, как вчера вечером, а на ногах — пляжные сандалии. Мы пьем кофе — итальянский эспрессо — в баре напротив гостиницы. Какой-то мужчина рядом с нами читает книгу. У него длинные, вровень с бородой, волосы с проседью. Он похож на Караджича в момент ареста, когда тот перерядился в святого, — та же белая размахайка индийского гуру и тот же невинный взгляд. Мне вдруг приходит на ум, сколько таких убийц спокойно разгуливает по улицам, как тот же Караджич, который ходил на стадион и даже вернулся к своей врачебной практике. Я спрашиваю Гойко, что он почувствовал, когда арестовали Караджича.

Гойко с такой яростью тушит сигарету в пепельнице, что обжигает себе палец.

— Караджича не арестовали, его продали, — говорит он. И добавляет, что ничего не почувствовал.

Гойко снимает сандалию и показывает синтетические волокна, которые массируют стопу, так и стоит босой ногой на тротуаре. Обуваясь, чуть не падает на меня. Он счастлив, что тепло, что наконец-то наступило лето. Я спрашиваю, какие горки в этом аквапарке, не опасны ли они... Все трое, хлопнув дверцами, садятся в машину.

— Вы надолго?

— До закрытия.

Поднимаюсь в номер, беру рюкзачок — пусть руки будут свободны, я хочу много ходить.

На шахматной площадке, как обычно, много стариков и птиц. Начинается новое сражение. Шахматы выстроены на исходных позициях. Я смотрю на эти два фронта — белый и черный.

Прохожу мимо круглого здания крытого рынка. Шагаю быстро, глядя

только себе под ноги. Останавливаюсь. Этого банка из стекла и бетона раньше не было... Рядом припаркована белая машина с надписью: «Фонд Генриха Бёлля». Невольно улыбаюсь — у меня в рюкзаке лежит книга этого писателя из Кельна.

Музыкальное училище расположено напротив. Угловое здание на перекрестке... Оно мало изменилось, разве что покрашено заново в бледно-серый цвет, в тон пасмурного неба. Никто меня не останавливает, поднимаюсь на второй этаж. Застоявшийся воздух, запах переполненных аудиторий, знакомый по университету. Потертое ковровое покрытие в коридоре прибито медными планками. Под ним буграми вздымается старый пол, скорее всего, после войны его просто закрыли ковролином. Звуки музыки, словно капли дождя, падают на меня откуда-то сверху — репетируют свои партии скрипка, контрабас...

Я растворяюсь в этом пространстве целеустремленности, одиночества. Это царство беглости рук, правильного дыхания, абсолютного слуха... это родной дом для старой эксцентричной преподавательницы и молодого эгоцентричного таланта. Двойные двери, обитые кожей, — флейта, гитара, фортепиано, виолончель... Толкаю одну из дверей — два юных создания и их учительница склонились над пианолой, призрачной, как угасающий луч. В коридоре — кофейный автомат.

Спрашиваю у сторожа, можно ли пройти дальше. Он вызывается проводить меня. У него морщинистое лицо, на нем короткий фартук, как у пономаря. Мы поднимаемся по лестнице, я замечаю, что сторож прихрамывает. Этажом выше много молодежи, — возможно, ждут прослушивания. Какой-то парень, присев у стены, нажимает клапаны кларнета — исполняет беззвучную мелодию. Сторож объясняет, что в коридорах запрещено играть и громко разговаривать.

Поднимаемся по ступеням, слышу глухой стук черного ботинка на толстой подошве — одна нога у сторожа короче другой. Он останавливается, открывает окно и прогоняет голубей, которые угнездились между рамой и металлической оконной решеткой. Мы поднялись на последний этаж. Вижу на стене старую надпись: «TIŠINA» — тишина... а под ней — дыра с рваными краями, пролом от попадания снаряда. Сторож рассказывает, что отверстие оставили специально, в память о том, как была взорвана тишина... Он закуривает сигарету, трогает свою высохшую негнущуюся ногу, качает головой в такт мыслям. Я спрашиваю, могу ли я побыть здесь немного. Сторож уходит, подволакивая ногу, а я остаюсь наедине с собой.

Сажусь на пол, напротив пробитой снарядом стены. По другую

сторону — класс, в котором внушительных размеров женщина со странной прической из кос, закрученных вокруг головы, ведет урок сольфеджио, важно размахивая карандашом, будто дирижерской палочкой.

Смотрю на эту надпись, забавную и вместе с тем торжественную: ТИШИНА! Думаю о точности попадания снаряда, который действительно взорвал тишину этих стен, привыкших слышать только музыку. Смотрю на свою жизнь через дыру в стене, открытую рану, которая осталась незалеченной.

Шел референдум по поводу независимости Боснии, улицы пестрели националистическими лозунгами. Матери новобранцев федеральной армии выходили с плакатами, в которых призывали отпустить их детей по домам. Доносились самые тревожные известия, ходили невероятные слухи — кто-то говорил, что уже во время подготовки к зимней Олимпиаде при строительстве лыжной трассы планировались траншеи для будущей войны...

Гойко считал, что это всего-навсего глупое паникерство.

— Пропаганда находит благодатную почву в деревне — очень просто убедить крестьянина в том, что его сосед — турок и хочет украсть у него землю, а ему самому перерезать горло... в Сараеве нет ни турок, ни четников, ни усташей. Мы все — сараевцы...

Но Диего не понаслышке знал язык стадионов. Караджич был психологом футбольной команды Сараево, Аркан возглавлял футбольных фанатов из белградской «Красной Звезды»...

— Войны начинаются незаметно, в мирное время на городских окраинах, пока вы в своих тусовках спорите о поэзии...

Бесконечные разговоры и споры сопровождали нас каждый вечер, до самого дома.

Мы с Диего переселились из гостиницы в комнату, которую сняли у пожилой супружеской пары. Йован, в прошлом биолог, молчаливый седовласый господин, страдал от холода и носил фланелевые рубахи, застегнутые под самое горло. Велида, жена, всю жизнь работала его ассистентом. Очень худая, с живыми зелеными глазами, она одевалась во все серое, как монашка. Мы обменивались с ними небольшими любезностями. Я приносила им иностранные газеты, которые Диего покупал раз в неделю, — они на свою пенсию не могли себе такого позволить. Если Велида готовила что-то вкусное, она оставляла тарелку с едой у нашей двери. Небольшой коридор отделял нашу комнату от остальной квартиры, так что мы были независимы от хозяев. У нас имелись свои ключи, туалет и даже плитка, на которой мы могли сварить кофе.

В тот вечер Диего ушел снимать в район Грбавица, я сидела дома одна. Было уже довольно поздно, когда в дверь постучался Гойко. Он прошел в комнату и рухнул на кровать. Весь день он просидел в Скупщине, переводил для одного американца политические дебаты, которые затянулись допоздна. Члены сербо-боснийской партии покинули зал заседаний. Гойко был усталый и расстроенный.

— *Teta*.

— Жаль — чего? — Я повернулась к нему.

— *Nita*, ничего, — пожал он плечами. — Вы правда уезжаете?

Я кивнула.

Гойко закрыл глаза — пусть поспит немного. Он сильно храпел. Когда я подошла, чтобы разбудить его, почувствовала, что от него пахнет алкоголем — набрался с американцем. Он посмотрел на меня удивленно, как ребенок, которому приснился страшный сон и теперь он не может понять, кто перед ним — мама или чудовище.

Он обнимает меня за шею, гладит по щеке:

— Любовь моя...

— Ты пьян, иди домой.

Вынимает из кармана бумажник, достает оттуда мятый листок, читает:

Моя сестра спит, жаль.
Ее руки растут
Далеко от меня,
А день подыхает.
Завтра я поведу ее на каток,
Она замрет у витрины на улице Васе Мискина,
Где только что включили компьютеры.
Верит в будущее моя сестра,
Жаль.

Я улыбаюсь, киваю.

— Ужасно, да?

Развожу руками — пусть думает что хочет.

— Себина просит компьютер?

Гойко оборачивается:

— Я пришел пригласить вас на концерт.

В конце учебного года в музыкальном училище проходит выпускной концерт. Гойко хочет познакомить меня с одной девушкой.

— Я говорил ей о тебе...

Замираю с феном в руке — собиралась убрать его в чемодан.

— И что же ты ей сказал?

Он подходит ко мне, кладет руку мне на низ живота и стоит не двигаясь. Я чувствую тепло этой руки, приятный огонь проникает внутрь. Мне становится жарко, дыхание учащается. Его бесстыдная рука лежит чуть выше моего лона. Почему-то я не отталкиваю его, — напротив, вдруг чувствую желание... наверное, есть в нем что-то близкое мне, какое-то разочарование, одиночество, которое Диего уже не делит со мной. Я дышу глубоко, воздух проникает туда, где неподвижно, незыблемо лежит эта горячая рука.

— Чем вы тут занимаетесь? — входит Диего, на меня смотрят шальные глаза бродячего кота.

Гойко не двигается, стоит как стена. Даю ему легкого пинка.

— Я напился, — только и произносит он, уходя.

Отодвинув край вышитой занавески, смотрю, как его фигура растворяется в темноте.

— Он хотел с тобой переспать? — Диего стоит за моей спиной.

— Нет, он пригласил нас на концерт.

Так мы оказались в музыкальном училище. Идет дождь, потоки воды бегут по улицам. Ноги промокли: ожидая начала концерта, прислоняю то одну, то другую к чугунной батарее. Вокруг — женщины в деревенских резиновых калошах, а рядом другие, в летних босоножках и длинных вечерних платьях с намокшими подолами. Высокая дама со свистком на шее командует расстановкой стульев. Это маленькое музыкальное событие, должно быть, очень значимо для присутствующих. Негромкий гул голосов. И даже в убогой вычурности вечерних нарядов чувствуется вкус. Я вспоминаю Рим... думаю о той разномастной публике, которая валом валит на так называемые события. Женщины, одетые в лохмотья за миллион, интеллектуалы с дискотек, лживые политики — вот она, *душа нашего времени*, о которой твердят пиарщики.

Многим не хватило стульев, но они не жалуются, даже не опираются о стены. В зале жарко, я обмахиваюсь программкой. Музыканты выходят на деревянный помост, сменяя друг друга. Все они очень молоды, на юношах — галстуки-бабочки, девушки затянуты в узкие черные платья. Вторая группа, третья... Закончив выступление, встают, слегка кланяются. Я больше не могу. Гойко трогает меня за колено, показывает на группу духовых инструментов.

Она самая высокая в ансамбле, лицо у нее слишком белое, помада слишком темная, красно-бурые, цвета ржавчины, волосы. Ее черед еще не

подошел, она так сжимает свой инструмент, трубу, как сжимала бы, наверное, собственное сердце. Бархат платья струится по тонким бедрам, облегает выпуклую грудь. Я изучаю ее во всех подробностях, будто соперницу, пытаюсь найти в ней какой-нибудь изъян. Она поднимает подбородок... слишком далеко, я не могу разглядеть черты. Жаль, что у нас нет театрального бинокля, он был бы кстати... Вижу белое пятно ее лица, выразительный контур. Она выходит к скрипкам и начинает играть. Надувает щеки, смыкает губы, наклоняется над трубой, затем распрямляется вслед за бушующим музыкальным ритмом. Не знаю, хорошо ли она играет, — я не разбираюсь в музыке. Глаза у нее закрыты, она слишком взволнованна. Встряхивает головой, неровно подстриженные пряди рыжих волос разлетаются, она похожа на диковинную многокрылую птицу.

Исполняют концерт Шостаковича для фортепиано, трубы и струнного оркестра. Музыка изменяется, становится напористой, более мрачной. В надрывный плач скрипок рывками вторгается труба. Кажется, что трубачка умирает от жажды. Щеки у девушки надуваются и медленно выпускают воздух. Пальцы на клапанах — солдаты в бою, то идут вперед, то отступают. Белокурый юноша за фортепиано, впав в неистовство, склоняется к инструменту, бьется о клавиши, как мотылек о стекло. В голосе трубы теперь слышится крик совы, вылетающей ночью на охоту. Грудь у девушки поднимается, потом опускается, словно она ранена; рыжие волосы будто алая полоса. Никто не шелохнется, все замерли в восхищении. На улице продолжается дождь, стекла запотели так, что ничего не видно... кажется, что мы в плену, что и музыка в плену У стихии, у нескончаемого потока воды. Душно, я обмахиваюсь программкой. Женщина рядом со мной плачет, слезы текут по ее неподвижному лицу. Кажется, что все сидящие в зале испытывают безмерную боль, которую еще предстоит пережить, предвестницей которой стала эта музыка.

Моя рука лежит в руке Диего, он машинально сжимает ее, как перчатку. Прошлой ночью мы лежали обнявшись, но дальше этого дело не пошло. Мы посмеялись — такие неудачи случаются с давними любовниками, если чувства угасли. Раньше я была его девушкой, теперь он исчезает на весь день с фотоаппаратом, любит весь мир, как священник, а потом возвращается к жене.

Девушка играет на трубе, вместе с нею взмывает вверх, растворяется в звуках. Но потом приходит в себя, как актриса, которая привыкла умирать на сцене каждый вечер, и вот уже с улыбкой бодро выдувает какой-то марш.

Концерт окончен. Я смотрю на Диего — глаза у него закрыты.

Женщина, сидящая рядом со мной, аплодируя, встает. Трубачка присоединяется к оркестру, кланяется очень низко, и я отмечаю, что она одного роста с мужчинами. Все музыканты, участвовавшие в концерте, выходят на сцену, и начинается галдеж. Дирижер подбрасывает в воздух свою палочку, и следом за ним все что-нибудь бросают: смычок, ноты — совсем как дипломники в университете свои черные академические шапочки. Диего открыл глаза, вяло аплодирует:

— Я задремал...

— Видел подружку Гойко?

— Пышная скрипачка с косой вокруг головы?

— Нет, вон та, с рыжими волосами, видишь, обнимает пианиста...

— Эта панкушка? — Диего удивленно смотрит на ее волосы, на черные губы.

Гойко встает, свистит так, что слышно на другом конце города.

— Здорово, правда? Все кишки вынут наружу, попляшут на них и обратно в живот запихнут...

Я ловлю себя на мысли, что все они сошли с ума, радуются, будто война уже началась и закончилась и это — праздник примирения.

Мы стоим у стены, я и Диего, в маленькой комнате рядом с концертным залом. Вокруг толпятся женщины, похожие на вышитые абажуры, стоит какой-то боснийский ковбой в желтой кожаной куртке с бахромой. Дама со свистком раскладывает на столах подносы со сладостями и долмой домашнего приготовления. Запах дождя, сырой одежды смешивается с запахами сараевской кухни — специй, животного жира, брынзы.

Трубачка подходит к нам... вблизи она кажется гораздо моложе, сильно покрашенная девчонка. Мокрые от пота волосы похожи на потоки ржавчины. Она уже успела переодеться — под бархатным платьем видны рваные джинсы. В ухо вдет английская булавка. Инструмент в чехле и плотно набитая холщовая сумка висят через плечо. В пригоршне — сладкие пирожки.

— Это Аска, моя подруга.

Она смотрит на Гойко, улыбается, проглатывает кусок, потом протягивает нам липкую руку:

— Аска, подруга Гойко.

Она «достаточно», как она выражается, говорит по-итальянски, поскольку целый год училась в музыкальном лицее в Удине. Она голодна, перед концертом ей нельзя есть, «иначе вырвет на головы других

музыкантов», поэтому и набросилась на еду. У нее странная речь, без интонации, она произносит слова, отделяя их друг от друга резко, будто топором рубит, отчего кажется, что это говорит аппарат для оплаты парковки: «Добро пожаловать, вставьте ваш билет, подождите, пожалуйста».

— Аска как овечка из рассказа Андрича... — тихо замечая я.

— Да, я сама взяла себе это имя, — смеется она.

Я смотрю на ее высокий белый лоб, на удлиненные, как листья, зеленые глаза, густо намазанные черной краской веки.

Она положила пирожки на чехол, наклоняется, снимает туфли на каблуках, переобувается в ботинки типа армейских, но яркого фиолетового цвета.

Мы поздравляем ее с удачным выступлением.

— Многие плакали...

Она выпрямляется, сдержанно благодарит нас:

— Людям не хватает иронии.

Пожилой господин в ермолке, ее преподаватель, подходит к ней, что-то говорит, обхватывает ее лицо дрожащими руками. Она слушает его с серьезным видом, потом вытаскивает сигарету из пачки «Дрины», которая торчит у старичка из кармана. Тот улыбается, достает зажигалку и дает Аске прикурить. Теперь говорит Аска; выпуская колечки дыма, пристально смотрит в лицо собеседнику. Когда она говорит на своем языке, голос ее звучит гладко и мелодично.

Аска прощается с нами, говорит, что поела и покурила, теперь надо бежать — она играет в каком-то ночном заведении. У школы стоит ее мотоцикл — старый ободраный «болид», похожий на армейские. Она наматывает на голову черный платок, — может быть, она мусульманка или просто потому, что холодно. Закрутив подол платья, завязывает его сзади узлом, как хвост. Чехол с трубой болтается на спине. Перебрасывает через седло ногу в джинсах и фиолетовых ботинках.

Диего хочет сфотографировать ее, вспышка не работает, но, может быть, достаточно света уличного фонаря.

— Рада была с вами познакомиться.

Аска включает зажигание, и рев ее драндулета разрывает ночную тишину.

Уже дома, поздно вечером, Диего просит рассказать ему про овечку по имени Аска из рассказа Андрича.

— Это история про строптивую овечку, которая только и мечтает о том, чтобы танцевать, не слушает советов матери.

Однажды, танцуя, она отбивается от стада. Открыв глаза, видит перед собой волка. Волк голоден, но решает подождать, его забавляет танец глупой маленькой овечки. Она чувствует его злобный взгляд на своей белоснежной шубке, знает, что ее жизнь висит на волоске, знает, что зря не послушалась маму. Ей очень страшно, но она продолжает танцевать, потому что это единственное, что она умеет делать... и, танцуя, пятится назад. Волк сидит не шелохнувшись, ему достаточно протянуть лапу, чтобы схватить ее, но овечка танцует так хорошо, что он хочет еще немного насладиться танцем. Конечно же, какую-никакую овцу он поймать еще сможет, но вот танцующую овечку уже вряд ли...

— И чем закончилась эта история? Волк ее съел или отпустил?

Я приготовила травяной отвар, кладу Диего на глаза примочки. С закрытыми глазами он ищет мою руку, спрашивает:

— Что с тобой?

— Гойко сказал, что Аска готова нам помочь.

Я смотрю на неподвижное лицо старого Йована. Он сидит в кресле, обитом потертым зеленым бархатом, с белоснежной вышитой салфеткой на спинке, которую Велида меняет почти каждый день. Йован почти не слышит, поэтому он смотрит телевизор, не включая звук. Телевизор старый, еще черно-белый, с маленькой антенной, которая плохо принимает сигнал. Изображение без цвета и белая метель помех на экране напоминают мне документальные фильмы времен Второй мировой войны. Сербская армия перешла Дрину и продвигается по Боснии. Мне вспомнилась ночь, когда человек впервые высадился на Луну, тот далекий-далекий сигнал. Я тогда была еще маленькой, сидела рядом с отцом и помню, что он смотрел на экран телевизора как на предвестие будущего. Это было историческое событие, свидетелем которого он стал. Он вдруг почувствовал себя частью единого человечества, прошедшего путь от крыльев Икара до летательных аппаратов Леонардо, до первого самолета братьев Райт. Люди преодолели наконец-то земное притяжение, нога человека ступила на этот далекий светящийся диск. И этот белый, похожий на водолаза человек, неуверенно, как ребенок, делающий свои первые шаги по бугристой свинцовой поверхности Луны, был он сам, мой отец.

Мой отец верил в будущее, как Себина. Верил, что обычные люди будут разгуливать по всему небу. На экране мрачно двигались танки, и единственным сигналом, который доносился из старого телевизора, был слабый шорох помех.

Велида встала, чтобы выпустить двух дроздов, закрытых на кухне в клетке. Птицы летали по комнатам, самое большее, могли перелететь через

дорогу на балкон дома напротив, но всегда возвращались, послушные, словно куры, когда Велида подзывала их. Она с раздражением выключила телевизор, словно бросая тем самым свой маленький личный вызов, порылась в шкафу, где было полно виниловых дисков, и включила на стареньком проигрывателе джазовую мелодию. Потом с маниакальной аккуратностью, не просыпав ни щепотки, приготовила кофе.

В этих комнатах тишина и покой, запах давно обосновавшихся вещей — они накапливались год за годом: книги по искусству, научные труды, часы на стене, фотография молодых Йована и Велиды, посуда в шкафу... Кажется, что все предметы навсегда останутся на своих местах. Маленький домашний лабиринт, где дрозды садятся на диван рядом с котом, а тот и ухом не ведет. «Странно, что кот не ловит птиц», — говорю. «Я научила его уважать пернатых». Велида размахивает половником.

Мы на кухне, я помогаю Велиде делать долму. Начинка из риса и мяса готова, мы расстилаем виноградные листья, выкладываем на них начинку, заворачиваем. Я смотрю на быстрые, точные движения рук Велиды и думаю, что это образ вечности. И через много-много лет будет вариться долма, как варилась она и раньше, соединяя прошлое и будущее в непрерывную цепочку. Мне нравится сидеть на кухне рядом с этой пожилой женщиной, нравится, что она выключает телевизор, не впуская в свой дом зло, и готовит долму, мелко нарезаая лук.

— Почему у вас с Йованом нет детей?

— Мы не захотели. Йован был слишком занят своей наукой, а я слишком занята Йованом. Как-то не сложилось.

Она улыбается, глаза у нее покраснели, должно быть от лука.

— И ты никогда не жалела об этом?

Она могла бы солгать — она привыкла жить замкнуто, одиноко, ни к чему говорить правду, но она говорит:

— Всегда жалела. Всегда...

Складывает долму в кастрюлю, посыпает перцем. И снова улыбается.

Когда мы сидели у телевизора, я спросила, что они будут делать, если начнется война. Велида не ответила, пожала плечами, пошла на кухню выпустить дроздов. И вот теперь она подливает в кастрюлю немного уксуса и отвечает, что они останутся дома. Говорит, что у нее дважды был рак, но Бог не забрал ее, оставил готовить на этой кухне.

— Страшно тем, у кого есть дети...

Из кастрюли доносится аппетитный запах.

— Бог хорошо сделал, что оставил тебя здесь, — говорю я.

— А почему у тебя нет детей?

Ни секунды не размышляя, я рассказываю ей все как есть. Она смотрит на меня, качает головой. В биологии, объясняет она, есть размножение почкованием, так вот, джеммой, геммой называется зачаток нового организма.

Я сказала Гойко, что хочу поговорить с Аской наедине. Назначили встречу в каком-то кафе, где я никогда не была. Это сооружение посреди парка похоже на тюрбан — смехотворное подражание оттоманскому стилю под австро-венгерским соусом. Внутри — декадентская элегантность венских кофеен начала двадцатого века, запах маринованных огурцов и босанской кафы. Я не сразу увидела Аску, она сидела за зеркальной перегородкой, рядом — инструмент в чехле. Она что-то быстро говорила Гойко.

Я подошла к столу, протянула ей руку:

— Привет.

Она поднялась, тепло обняла меня. На ней черный свитер и те же джинсы, что и накануне. Булавка все так же торчит в мочке уха. Однако на этот раз Аска была не покрашена.

Я наклонилась к ее волосам, теплой шее... почувствовала запах каких-то благовоний — палисандра, кедра.

Аска заказала для меня пирожные с баварским кремом и пахлаву.

Она совсем близко от меня; пока она ест, я могу украдкой рассматривать ее. Беспощадный дневной свет выявит все изъяны, откроет скрытые пороки. Она хороша собой, правильный овал лица, легкая припухлость под глазами, кожа чистая и прозрачная как вода. Следы усталости на лице шлифуют эту красоту, придают ей чувственность. Аска тоже разглядывает меня, крошки на моих губах, кольцо на пальце.

— Сколько тебе лет? — спрашиваю.

— Двадцать два.

Я думала, что она старше. Смотрю по сторонам: вот женщина средних лет разговаривает и курит, сжимая свободной рукой пачку сигарет, как будто сдавливает собственное дыхание. В конце зала какая-то дверь, наверное туалет. Неожиданно мне приходит в голову, что нужно уйти отсюда. Встать и сделать вид, что иду в туалет, а на самом деле бежать, бежать куда глаза глядят, от этой овечки, от этих припухших, как выпуклые лепестки цветка, нижних век.

Я думаю о том, что она чем-то похожа на меня прежнюю... то же выражение лица — надменное и вместе с тем наивное.

Гойко хитро посматривает в мою сторону взглядом опытной свахи.

В кафе жарко, Аска сняла свитер и осталась в футболке, на которой

серым оттиснуто какое-то юное лицо, не поймешь, то ли парень, то ли девушка.

На тарелке осталось одно баварское пирожное.

— Хочешь? — спрашивает Аска.

— Нет, это твое.

Аска съедает пирожное, облизывает пальцы.

Глаза у нее странные, где-то на дне лежит грусть, как на берегу — остовы кораблей. Она смотрит на меня очень серьезно, и, даже когда смеется, видно, что она никогда не подшучивает над людьми. Гойко относится к ней как к младшей сестре, он обращается с ней так же грубовато, как иногда с Себиной. Спрашивает, что это за девчонка на майке.

— Старик, ты ничего не знаешь. Это никакая не девчонка, это Курт Кобейн.

Так я узнаю, что ей нравится «Нирвана», что она по ночам слушает их записи и эта музыка уносит ее.

— Куда же она тебя уносит? — иронизирует Гойко.

— Туда, куда тебе путь заказан.

Он закуривает, бросает пачку сигарет на стол. Бубнит, что вся эта «Нирвана» — *lukavi*, хитрецы.

— Нигилисты, миллиардеры хреновы!

Гойко встает, говорит, что идет в туалет. Это он специально, чтобы оставить меня с Аской наедине.

На футболке у Аски надпись по-английски, изречение Кобейна: «Никто и никогда не узнает о моих замыслах».

Я хочу сбежать из этого кафе.

— А какие замыслы у тебя? — неожиданно спрашиваю я Аску.

Та отвечает, что попросту хочет уехать из страны. Она родилась в Соколаце, это в тридцати километрах от Сараева, зарабатывает себе на жизнь, играя в ресторанах и частными уроками. Вообще-то, ей и сейчас уже пора бежать, у нее урок с сыном ювелира из Башчаршии. Аска надувает щеки, чтобы показать, какой толстый этот ребенок, он даже не может дотянуться пальцами до некоторых клапанов. Говорит, что у богатых сараевцев сейчас модно оплачивать детям уроки музыки.

Говорит, что не хочет вот так состариться, что она молода.

Еще она говорит с улыбкой, что один музыкант из «Нирваны» — хорват и раз он смог, то и она сможет. Она хочет поехать в Лондон или в Амстердам, создать свою группу, для этого ей нужны деньги.

— Что тебе сказал Гойко?

— Что вам нужна *roda*... аист, который принесет ребенка.

— Ну да...

На тарелке остались взбитые сливки и кусочки сахарной глазури. Аска собирает их ложечкой:

— Я готова.

Она смотрит по сторонам, подпирает лицо рукой, ее зеленые глаза совсем близко от меня.

Наглая и алчная. Хочет получить всю сумму в немецких марках, наличными. Надевает свитер — голова исчезает и появляется снова.

— Ты делаешь это только из-за денег?

Она подхватывает чехол с инструментом. Улыбается, отвечает, что ей нравится говорить правду, что я могу ей доверять, потому что она не боится правды.

— Что я должна тебе сказать? — Она тербит мочку уха. — Что делаю это из любви?

Она говорит, что музыка — это вся ее жизнь, что детство ее прошло в деревне, она чистила клетки с кроликами и лущила кукурузные початки, играя на них, как на флейте. Раньше Сараево представлялся ей Сан-Франциско, не меньше, но сейчас этот город сдавливает ей грудь, как тесный лифчик. Говорит, что никогда не выйдет замуж, не хочет иметь детей.

— Ты мусульманка?

Она морщится, отвечает, что никогда не ходит в мечеть, но Коран иногда читает.

— И что говорит Коран, он не запрещает тебе стать суррогатной матерью?

— Коран говорит, что надо помогать людям.

Ей даже нравится идея одолжить свою матку «увечной» женщине. Да-да, так и говорит, «увечной».

— Каждый из нас должен отдать что-то...

Она встает, надевает ветровку, встряхивает плечами. Просит поскорее сообщить о нашем решении — ей надо планировать будущее.

Диего молчит. Наклонил голову к плечу, я вижу ямочку на затылке. Он смертельно устал, весь измазался: поднимался к еврейскому кладбищу на холмы, чтобы сверху сфотографировать город, окутанный туманом. Мечети и минареты, казалось, выступают из миски с простоквашей. Я рассказала ему об Аске. Он отмахнулся: не знаю, мол, ничего, — привел в порядок катушки пленок, пронумеровал, засунул каждую в черный футлярчик.

Доктора мы нашли в поликлинике за городом, на трассе, ведущей в

Хаджици. Гойко заехал за нами на машине. Аска сидела спереди: рыжие волосы подстрижены грубо, будто оборваны, на ногтях черный лак, на лице темные очки, такие же огромные, как у Курта Кобейна. По виду меня можно было принять за ее мать: на мне юбка ниже колен, очки с диоптриями, волосы собраны в пучок.

Доктор, коренастый, с туповатым крестьянским лицом, не задавал вопросов. Он страдал нервным тиком: все время цыркал передними зубами. Помню только его кроличий рот с приподнятой верхней губой и противный звук.

Аска взяла Диего за руку, сказала, что это ее парень, что они хотят ребенка, но она не может заниматься сексом.

— Мышечные спазмы мешают.

Гойко сложился пополам от смеха, бесстыжий. Да и я чуть вздрогнула, вспомнив молодость, когда все мы были свободными и безрассудными. Врачу дела не было до наших странностей. Назначил Аске необходимые анализы, попросил аванс в сто немецких марок и назначил день на следующей неделе.

Аска вышла, покачивая бедрами, подмигнула мне, потом надела свои шикарные очки.

Мы ждем ее в неприметном баре около музыкального училища, она не хочет, чтобы ее видели друзья. Сложив губы клювиком, делает «ква-ква»: они, мол, слишком много болтают, а она не собирается никому ничего объяснять. Сегодня она, как никогда, рада нам, смеется, говоря, что мы похожи на двух слишком заботливых родителей. Я сжимаю руки, до хруста косточек... на самом деле нервничаю только я. Диего спокоен, даже чересчур. Слово его это не касается.

— Мы хотим узнать тебя получше.

Аска фыркает: глупости, люди никогда не знают друг о друге всего, даже жены и мужья.

У каждого есть своя тайная жизнь... *a secret life...*

— Вы, к примеру, знаете друг друга?

Диего улыбается, они переглядываются, и на какое-то мгновение мне кажется, что между ними возникла близость.

Глаза овечки, вечно чуть усталые, блуждают, ресницы хлопают, будто мокрые крылья то поднимаются, то опускаются, но взгляд, скользя по тебе, оставляет глубокий след, боль красоты. Я смотрю на ее потрескавшиеся от игры на трубе губы, которые она вечно облизывает, на грудь, руки, малую толику тела, какую можно разглядеть из-под скрывающей его одежды, этого нынешнего уродства. Смешная панкушка сараевского образца. Мне

плевать, как она одевается, как уродует себя: она мне не дочь и, она права, мы никогда не станем подругами. На лицо накладывает белый тон, словно мажет мелом, губы красит в темный, злобный цвет.

Уедет в Лондон, но ничего не изменит в своей жизни, растратит себя на улицах, среди сутолоки ночных баров. Меня не интересует ее судьба, меня интересует ее ближайшее будущее, ее плоть. Она шутит с Диего, заводит разговор о музыке. Красивая, несмотря на всю свою штукатурку, и пышет здоровьем. Я улыбаюсь ей, как любящая мамаша.

— Значит, хочешь уехать?

Жует, она всегда много ест во время наших встреч, заказывает бутерброды, сладости, каждый раз повторяя, что не ела с утра. Говорит, что невозможно слишком долго играть, если играешь по-настоящему, потому что музыка, словно полчище крыс, набрасывается и пожирает тебя...

Ее раздражают Мадонна и Майкл Джексон.

Разговор заходит о Дженис Джоплин. У Аски становится грустное лицо, она умолкает. Перестает жевать, смотрит перед собой.

— Иногда Бог указывает на кого-нибудь с неба и говорит: «Ты пойдешь со мной». Ему нельзя отказать. Он устраивается в твоём теле, раздирает душу. Чтобы вынести Бога, Джоплин кололась.

Я спрашиваю, употребляла ли она наркотики, употребляет ли сейчас.

Аска смотрит на меня с ненавистью. Отвечает — нет, поднимается, говорит: «Все, заседание окончено».

Мы идем по Козьему мосту.

Аска рассказывает мне о матери, которой не стало меньше месяца назад, оттого что она выбрала неправильную дорогу в жизни, мол, люди болеют, потому что идут по ложному пути.

— Вчера вечером я заснула под «Smells Like Teen Spirit» «Нирваны».

Смеется — спать под такую музыку практически невозможно, а она сразу провалилась в глубокий сон. Ей снилось, как она идет, голая и беременная, по проспекту Тито, очень устала, ей тяжело с большим животом и она не понимает, почему продолжает идти, вместо того чтобы присесть отдохнуть. Потом видит приближающиеся танки. Знает, что ее раздавят, но, несмотря ни на что, продолжает двигаться вперед, будто другому нельзя, как безымянный мятежник на площади Тяньаньмэнь. Она уверена, что остановит танки.

Смотрит на Миляцку, на тихое течение:

— В Сараеве слишком много мостов...

Раскинула руки, точно крылья ангела, навстречу веющему ветру и стоит, рыжеволосая, в убогих тряпках сараевской рокерши, в больших

темных очках, с булавкой в ухе. Говорит, чтобы я дышала полной грудью. Мы стоим там, как два безумных ангела: я в деловом костюме, она с множеством металлических браслетов, звенящих, как бубенчики на шее овечки.

— Почему ты не можешь родить?

Рассказываю ей обо всех моих мытарствах.

— Это не только твой живот, это сама жизнь отвергает тебя день за днем, раз за разом.

Она обнимает меня, хотя ничуть не растрогана. Булавка касается моих губ... сейчас мне кажется, что на ней, на этой булавке, подвешено все мое будущее.

Диего фотографирует нас со спины. Говорит, мы хорошо смотримся вместе, Аска напоминает ему девушку из Генуи, которая работала в порту на складе военной одежды, грубой, воняющей сыростью, старой военно-морской формы.

— Тебе нравилась та девушка?

— Она была лесбиянкой.

Аска спрашивает, любим ли мы с Диего друг друга.

— Да, очень.

Кивает, смотрит вниз, подбирает камешек и бросает в воду.

Диего снимает нас на том мосту, в обнимку. Потом Аска сама хочет сфотографировать нас.

Диего говорит без умолку, как на занятиях со своими студентками:

— Ты можешь или фотографировать то, что есть, или искать.

— Искать что?

— То, что проходит, чего пока не видно. То, что проявится позже.

Объясняет ей, что именно по этой причине ему нравится фотографировать воду: она движется и заключает в себе что-то неуловимое — оттенки, отражения...

Аска, щелкнув кнопкой, возвращает камеру Диего, улыбается:

— Кто знает... Может, я запечатлела то, чего никто не видит...

Я улыбаюсь своей глупой улыбкой, потому что мне снова кажется, что ребенок здесь, река несет его к нам. Я поворачиваюсь в их сторону, они идут рядом по тротуару, не глядя друг на друга. На минуту кажется, что они похожи. Одинаковый рост. Одинаковая походка: шагают, раскачивая бедрами, вихляя из стороны в сторону, но чеканя шаг, будто пытаются избежать опасности, дерзко идя ей навстречу.

Мы отдали ей первые пять тысяч марок. Она пересчитывала деньги, сидя за столиком все того же бара.

— Не проще ли перечислить их на банковский счет?

Она не доверяет банкам, Югославия разваливается на куски, и Аска боится, что деньги осядут в кармане какого-нибудь белградского чиновника.

Едем к врачу на такси, Аска держит листок с готовыми анализами, говорит, что все в порядке.

— СПИДа нет.

Я дотрагиваюсь до ее колена, чулки дырявые, и сквозь дырки виднеется белоснежная кожа.

— Мне не спокойно на душе, Аска.

— Что такое?

Где уверенность, что в конце концов она не захочет оставить ребенка себе? После того как он начнет толкаться в животе, не скажет, что не может расстаться с ним?

Аска снова успокаивает меня. Снимает очки, чтобы я видела ее глаза, на этот раз не накрашенные. Говорит, что дала слово.

— Ты не можешь знать...

Конечно может, еще как: ей не нужен ребенок, она даже не представляет, что с ним делать.

— Заниматься музыкой — это все, чего я хочу.

— Что ты скажешь друзьям?

Задумывается на мгновение:

— В конце беременности уеду, да, так я и сделаю.

— Куда уедешь?

— Мне нравится одно место, на побережье, поеду туда...

— Я с тобой.

Кивает, опять надев черные очки.

Я приободрилась — машина едет дальше, а я мысленно рисую себе белый домик в начале зимы, чуть пахнувший сыростью. Беру руку Аски, представляю, как мы с ней гуляем по пляжу, держась за руки... она с большим животом, я готовлю для нее чай, забочусь о ней, накидываю свою шаль ей на плечи. Чудесно, только мы вдвоем, зимнее море и окно, снаружи все в каплях дождя, внутри — запотевшее.

Мы остановились перед дверью небольшой поликлиники.

— Я буду играть для вашего ребенка... может, вырастет великим музыкантом...

Вдруг становится грустной, я дергаю ее за густую рыжую прядку:

— Только не «Нирвану», умоляю...

— Тогда что?

- Моцарта...
- Еще чего.
- Может, джаз, Чет Бейкер?
- Подходит.

Дверь в кабинет врача заперта. Аска поднялась по лестнице, позвонила в несколько дверей — никого. Только женщина в инвалидной коляске.

Вернулась к нам, уперев в бока усталые руки:

- Все ушли.
- Куда ушли?
- Она не знает, но в клинике никого нет.

Послышались голоса, и тут мы заметили на балконе двух парней в маскировочных костюмах. Они спокойно курили, ни дать ни взять служащие, устроившие себе перерыв, смотрели на нас, казалось, смеялись над нами. Впервые мне стало страшно. Мы постояли еще некоторое время под дверью, обалдевшие, будто куры, перед которыми на закате дня заперли дверь курятника.

Такси уехало, мы возвращаемся пешком. Аска перешла на другую сторону дороги. Выглядит так, будто возвращается с загородной прогулки: напевает что-то, пытается дотянуться до цветущей сливовой ветки. Мы идем вдоль обочины, редкие машины проезжают мимо, старые развалины, чадящие выхлопными газами. Диего с отсутствующим видом слегка придерживает мою руку. Он поцарапал объектив, уронив его на лестнице в поликлинике — на сегодня для него это самая большая неприятность. Ему надоели наши скитания, он следует за мной по инерции, из любви. Следует за женой, одержимой навязчивой идеей.

Я остановилась посмотреть на небо, на солнце, которое исчезало за горизонтом, — его прогоняла ночь. В небе ни звездочки — мы брели в потемках, на ощупь, пока не добрались до городских огней. Аска жила на окраине, недалеко от шоссе, мы проводили ее до подъезда, она предложила зайти. Правда, ей нечем было нас угостить.

— Не важно.

Поднялись.

Теперь мы выглядели сиротами, а она — нашей матерью. То был не обычный жилой дом, а скорее общежитие. Крохотные квартирки жались одна к другой, будто купе в поезде.

— Здесь селили олимпийских спортсменов.

В гостиной стол из светлого дерева привинчен к полу, покрытому тем же коричневым ковролином, что и угловая скамейка рядом. В нише стены за решеткой выставлены в ряд стаканы — похоже на трейлер, дом на

колесах. Я прошла несколько шагов до ванной, по пути заглянув в спальню — тоже малюсенькую и темную. Над кроватью висела афиша Дженис Джоплин — лицо старой пуделихи, копна кудрей, — певица приоткрыла рот, закатила глаза, подхваченная ветром безумия.

Внизу надпись: «НА СЦЕНЕ Я ЗАНИМАЮСЬ ЛЮБОВЬЮ С ДВАДЦАТЬЮ ТЫСЯЧАМИ. ПОТОМ ОДНА ВОЗВРАЩАЮСЬ ДОМОЙ».

Мы остаемся ненадолго поболтать. Аска достает стаканы из-за решетки, наливает нам молока, насыпает по ложке шоколадного порошка, размешивает. Тычет пальцем в щеку: мол это вкусно, это придаст нам сил. Говорит, сладкое всегда ее успокаивает, как ребенка. Казалось, она совсем не огорчилась. Сняв фиолетовые ботинки, ходит босиком: длинные белые ступни, длинные тонкие пальцы. Я тоже сняла туфлю, поставила свою ступню рядом, мы посмеялись, потому что моя была намного короче и шире. Я заметила, что ей бы в баскетбол играть. Она покачала рыжей головой и повторила, что ей нравится только музыка, что она родилась с трубой в душе.

— Какой странный инструмент для женщины...

— Мой.

— Что в нем такого особенного?

— Труба вбирает в себя все дыхание, всю душу...

Плотно приложила губы к мундштуку и начала играть «Зори», закрыв глаза, слегка покачиваясь, как Чет Бейкер.

Диего смотрел на нее, чуть приоткрыв рот, как смотрят на того, кто тебе небезразличен, боясь, как бы он не ошибся. Вечер становился теплее от шоколада, от музыки. Диего скрутил косяк и теперь барабанил пальцами по столу. Я сидела, обхватив колени руками, прислонившись головой к стене.

Мне было хорошо, я тоже отпила несколько глотков, внутри разливалось тепло, было чуть-чуть щекотно, будто шевелились соломинки.

Так мы и сидели. Пусть наша сараевская подружка останется в прошлом, этот вечер стоил выброшенных на ветер пяти тысяч марок. Я привыкла к поражениям, к воронкам на воде... всегда одним и тем же, в одном и том же пруду. Вечер был приятный, волнующий. Он означал прощание, вкус которого мне был хорошо знаком. Аска закончила играть, потрясла трубой, стряхнув несколько капель слюны. Налила всем еще по стакану молока с шоколадным порошком. Вынула булавку из уха, стала ее теревить в руках.

— Почему ты так одеваешься?

— Сначала назло отцу.

Она рассказала, что отец — главный мулла у себя в деревне, много лет они были в ссоре, но, с тех пор как умерла мама, помирились.

— Моя мама тоже умерла.

На сердце стало грустно. Диего сегодня в свитере, который мама ему подарила... вспоминаю тот день, ее застенчивый взгляд, вечную неуверенность во всем. Оказалось, я похожа на нее больше, чем предполагала.

Диего целует мне руку:

— Милая, о чем ты задумалась?

— Так, о маме.

Да, вспомнила обычную женщину, которая так мало получила от жизни.

Аска спрашивает:

— Она тоже не могла иметь детей?

Давно я так не хохотала, обнажая зубы, захлебывалась от смеха над собой, над своим несчастьем:

— А как же я?..

Аска смеется тоже:

— Точно, вот глупая.

Травка подействовала. Может, думаю, она права, я так и не родилась. Я — тень собственных желаний.

И снова вспоминается сказка про овечку, танцующую, чтобы спастись от смерти.

С холмов стреляют. Мы высунулись из маленького окошка с двойными стеклами, шпингалет сломан, и Аска придерживает его рукой. Холодно — мы никак не можем понять, откуда именно стреляют.

Аску это не беспокоит.

— Теперь так бывает почти каждую ночь, развлекаются, придурки!

Мы идем с ней на кухню ставить чайник. Разжигая газ на плите, Аска произносит:

— Если хочешь, можем попробовать натуральным способом.

У нее недавно закончились месячные, и дней через десять она готова для совокупления. Именно так: совокупления. Я смеюсь... Она теребит булавку. Говорит, для нее совокупление не проблема. Мне приходят на ум кролики в деревне, их быстрые случки. Я краснею... обалдеваю от радости, от грубого восторга.

— Мне кажется, я не смогу...

...но уже знаю, что это неправда, что это ложь... судя по всему, девица не промах, но я уже позволила себе двусмысленные отношения... Весь

вечер что-то вызревало во мне. Еще раньше, в спальне, когда я бросила взгляд на узкую кровать... в голове промелькнуло: еще один косяк, и... я останусь здесь, на лавке, а они там, под афишей Дженис Джоплин... каждый, включая Аску, потом останется наедине с собой, заключенный в хрупком и брэнном теле.

Она продолжает говорить. Секс ее не интересует, он ничего не дает. Не любит она этих нежностей, этих слюней. Говорит, если хочу, я могу присутствовать.

— Как в лаборатории... — смеется.

Я благодарю ее:

— *Hvala*.

Аска не понимает шутки. Отвечает:

— Пожалуйста. Повторяет еще раз: *Za mene parenje nije problem*, для меня совокупление не проблема.

Я расслабилась, и эта фраза проскользнула в меня. Сидя на скамейке, чувствовала, как она проникает в меня все глубже и глубже, в самое лоно.

Диего смотрит на нас... чувствует близость, едва забродившую, как молодое вино.

— Что вы надумали?

— *Ništa*, ничего.

Я попросила его скрутить еще один косяк, хотелось смеяться и смеяться, чтобы все растворилось в этом нескончаемом глупом смехе. Долой лаборатории, шприцы, сперму в пробирке. Долой все, что доставило мне столько страданий! Хватит с нас семяизвержений в стекло, да здравствует соитие во плоти! В белой и горячей плоти Аски, которая теперь, казалось, принадлежала только мне. Это будет как будто любовь втроем... и мы, такие горячие, вместе, как недавно, когда жались друг к другу, высываясь из окна... Мы и наша овечка.

Эта плоть нам подходит: она молодая и нравится Диего. А кому не понравился бы такой лакомый кусочек, дурочка из Сараева, красивая, как солнце, уродующая себя по моде, по собственной глупости.

Мы продолжаем смотреть друг другу в глаза. Не стесняясь, она впиалась в меня взглядом. Не разозлилась, просто стала чуть серьезнее. Стоит у окна. Теперь я кое-что в ней понимала. Аска жила чуть отстраненно, так, будто между нею и окружающим миром простиралась маленькая бездна, которую каждый раз приходилось преодолевать. Мостов для нее не существовало, только струящаяся река, и она искала опоры в воде, какой-нибудь камень например. Теперь она нашла такой камень, и не важно, что он оказался ее собственным телом.

Она ждала именно меня, думала я; встретила со мной, чтобы мне помочь, — она родилась для этого. Такова была ее судьба. Она проскользнула к нам случайно, как ребенок нечаянно заходит к родителям, когда те занимаются любовью. А это и была ночь любви. Вдали раздавались выстрелы, они сопровождали нас, наставляли, предупреждали, что жизнь — штука сложная и опасная, лучше послать к черту предисловия, не колеблясь рискнуть, пойти до конца. Я посмотрела через окно на четко очерченный в лунном свете силуэт холлов. Кто же мы все-таки: овцы или волки?

— Аска хочет продолжать...

Диего рассмеялся, он окосел...

— То есть я должен...

Он одновременно и смотрел на меня, и отводил взгляд: так ночной мотылек летит на свет электрической лампочки. Рубашка расстегнута, кудри прилипли ко лбу, губы потрескались от холода... стыд проступил на лице красными пятнами, как бывает при внезапной вспышке аллергии. Ошалевшие, мы летели стремглав в ночной темноте, играли в эту странную игру, будто кто-то дергал нас за ниточки. Пока мы добрались до дому, а потом и до кровати, я совсем запуталась в своих чувствах, в горле застрял комок. Диего снял только брюки и остался в рубашке; мы лежали под одеялом, насквозь пропахшие молоком и шоколадом.

— Как заканчивается сказка Андрича?

— Хорошо. Овечка все время танцует... волк, не съев ее сразу, не замечает, что они слишком близко подошли к людям. Чабаны окружают его и убивают. Мать сначала ругает овечку-танцовщицу, та в свою очередь обещает никогда больше не заходить так далеко, а мать, видя, какая она способная, посылает ее учиться в балетную школу.

Я прижалась к его худым ногам. Мы долго целовались. Несколько месяцев между нами ничего не было, а сейчас нас внезапно охватило желание.

Заря уже распускалась, как алый цветок, разливалась, как пруд посреди ночи, вблизи — свет, вдали — темнота гор.

На следующий день я пошла на радио разыскивать Гойко. Я стояла у комнаты, где шла запись, и ждала, пока не закончится его программа. Начинаясь день, а в помещении, казалось, ночь еще продолжается. Гойко сидел в наушниках под желтым огоньком, охрипший от кукурузного голоса шуршал в микрофон, чувственный и мягкий. Он читал стихотворение, заметив меня, послал воздушный поцелуй, дунув с ладони. Посвятил мне стихи Мака Диздара:

*Kako svom izvoru
Da se vratim?*
(Как мне вернуться
К своим истокам?)

Мы сидели у входной двери, пили кофе из кофеварки.

— Что ты хочешь от меня услышать?

— Правду. Что ты об этом думаешь?

Иногда кто-нибудь входил, впускал струю воздуха.

Я пришла посоветоваться... Кофе в бумажном стаканчике обжигал пальцы, я посадила пятно на блузку.

— Эти двое решили перепихнуться, вот что я думаю.

Тряхнув головой, я надуваю щеки... хочу ответить, но выжидаю, пока не оправлюсь от удара. Смотрим через стеклянные двери на садик во дворе, на ветки, усыпанные крапинками пыльных цветов.

— Диего сгорает от любви к тебе, вернее, давно уже сгорел, — смеется Гойко. Встает, идет в туалет, возвращается, намочив носовой платок. — Мужик, он и есть мужик... сердце стручку не указ, его тянет куда пониже... в овчарни.

Смеется, говорит, эта овечка — хитрая мужеловка, ему она не нравится, но что ребенка не заберет себе — точно...

— Молоденькая, не прочь поразвлечься... Позволь? — Трет мокрым платочком мое пятно. — Бери то, что тебе нужно, перестань изводить себя. Пусть тебе сделают этого чертова ребенка, потом пошлем его на войну... — Опять смеется, на этот раз сдержанно.

Я смотрю на него, сегодня он хорошо выглядит, ему идет голубая рубашка, идут очки. Вероятно, это самый лучший человек, которого я знаю, самый искренний, самый одинокий.

— Я боюсь.

— Кого, овечки?

Гойко смотрит на мое тело, просвечивающее сквозь мокрый шелк.

— Как я соскучился... — шепчет.

— Почему ночью стреляли с гор?

— Эти отморозки хотят показать нам, что они есть.

Прожаживаемся, обнявшись, под белой моросью, слетающей с ветвей.

— Начнется что-нибудь?

— Нет, они уйдут. — Поворачивается ко мне, опять смотрит на мою розовую кожу под мокрой блузкой. — Нельзя поделить воду.

— Я дам тебе то, что ты хочешь, и вы меня больше не увидите.

— Кто знает, может, мы приедем на твой концерт в Лондон или в Берлин... когда станешь рок-звездой... будем тебе? аплодировать...

— Почему бы и нет.

— Притворишься, что не узнаешь нас.

— Скорее, вы не приедете.

Мы виделись еще несколько раз, короткие, формальные встречи. Аска вечно спешила, беспокоилась, сжимала чехол с инструментом, словно щит.

И правда, что-то изменилось в наших отношениях...

Диего все время хлопал глазами, ресницы дергались, как лапки у бегающих насекомых.

Они почти не глядели друг на друга, словно наматывался клубок и перекручивалась нить. Я все понимала, но ничего не говорила.

Сейчас мне оставалось только ждать. Дело было за ними. Я ничем не рисковала. Диего принадлежал мне душой и телом. И притом я хотела, чтобы этот ребенок родился в радости, а не в печали. Мне надоели рахитичные призраки, грустные женщины, вялые дети. Я предпочитала буйное пиршество молодости.

Аска стала строже, ушла в себя.

Теперь я думала, что та ее непринужденность была напускной, так же как ее манера одеваться и стричь волосы. Она напоминала мне одну из кукол, которых я портила в детстве, разрисовывая фломастерами и подстригая им волосы.

Во время наших встреч Диего почти всегда молчал, кивал иногда в знак согласия, когда я что-нибудь говорила, всем прочим, по-моему, вообще не интересовался.

— Не знаю, получится ли у меня, — сказал он мне.

Не отходил от меня ни на шаг, как ребенок, который боится потеряться. Мы договорились: только одно свидание. Если ничего не выйдет, мы уедем.

Беспреданно спрашивал меня: «Ты уверена?»

Я хотела ребенка от него, это единственное, в чем я была уверена. Закрыв глаза, думала о младенце. С виду я была спокойна, говорила только о практической стороне дела. Как врач. Научилась у моих мучителей их бесстрастному тону, бюрократическому жаргону. Цикл не сбивался, через неделю овечка будет готова для зачатия.

Начинались беспорядки: один убитый. Отца жениха застрелили на пороге православной церкви.

Аска была вне себя.

— Как он мог размахивать флагом с двуглавым орлом четников в

самом центре Башчаршии!

Мы стояли на набережной, я взяла руку Диего, соединила ее с рукой Аски, лежавшей на парапете, и сверху положила свою.

— Все будет хорошо, — сказала я.

Получилось что-то вроде ритуала. Я ощущала тепло, исходящее от положенных одна на другую рук, еле заметную нервную дрожь, микроскопические сдвиги, общую напряженность этого единения... думала о знаках, начертанных там, внизу, на ладонях. И в который раз просила удачи у судьбы.

Аска попыталась выдернуть руку, но я удержала ее, потом Диего попробовал высвободиться, но мы с Аской налегли всем весом.

— Куда думаешь пойти?

Диего волновался. Они ждали этого свидания тел и старались не встречаться взглядами. Позже встретятся.

Мы пошли в зоопарк, гуляли между клетками и загонами. Ветер поднимал с земли светлую пыль, она клубилась в воздухе. Медведи нервничали, сбились кучей в пустом бассейне, местами поросшем мхом. Аска не была в зоопарке много лет, это она настояла... все здесь напоминало ей детство, она купила кулек орешков и угощала шимпанзе. Бегала от клетки к клетке, издавая странные трели, на которые откликнулся павлин. Я отошла купить бутылку воды. Когда вернулась, Диего фотографировал Аску. Ничего особенного не происходило — она залезла в пустую клетку и стояла там, вцепившись в прутья, свесив рыжую голову к плечу, точно грустная обезьяна. Я ощутила между ней и Диего какой-то внутренний ток.

Диего закончил снимать, опустил «Лейку», уже без фотокамеры смотрел на девушку. Выйдя из клетки, Аска обогнала нас, шла впереди, проводя рукой по решеткам.

Глубокой ночью я позвонила отцу, он ответил сразу, будто ждал моего звонка.

— Папа...

— Девочка моя.

Молчит, дышит в трубку, я слышу шелест его легких, всей его жизни в этой серой министерской трубке.

Я давно ему не звонила.

— Тебе что-нибудь нужно?

— Нет.

— Что это за шум?

— Дождь.

— Когда вы вернетесь?

Мы говорим еще какое-то время, он рассказывает что-то о собаке.

— Я перестал готовить: по вечерам ужинаем в мексиканском ресторане.

Пес любит мясо, папе нравится текила, между ними полное согласие. Рассмешил меня. Я не бросаю трубку, шучу с ним назло дождю, который наводит на меня тоску.

— Что это за шум? — снова спрашивает отец.

Теперь я дышу в трубку.

— Гром, — отвечаю. Хотя то были выстрелы, глухие, назойливые.

— Будьте осторожны.

Говорю, он далеко и ему сложно понять.

— Здесь люди слиты, как вода, капля с каплей.

Говорит, в итальянских новостях не сообщают ничего утешительного.

— Нечего им каркать... — Я фыркаю, смеюсь, потому что заговорила, как Гойко.

Кладу трубку, Диего спит, одна его длинная нога, как белая лапа, свисает с кровати.

Аска отметила в календаре три подходящих дня, самых благоприятных для зачатия, в середине цикла. Обвела их сердечком вместо кружочка. Мы выбрали второй день, в центре сердечка. Еще раз ритуально скрестили все наши шесть рук, положив их одну на другую, чтобы нам повезло.

Теперь я думала только о том сердечке. Календарь висел в нашей комнате, я смотрела на него каждую ночь, считая часы.

За несколько дней до свидания мы выбрали место — маленькую гостиницу, показавшуюся нам надежной: уединенное, фактически на самой границе города, здание у подножия горы Требевич. На верхнем этаже несколько номеров, коридор, пара туалетов в конце. Мы вошли в белоснежную комнату, в которой пахло больницей. На окошке с видом на лес установлена решетка. Воры? Анела, хозяйка гостиницы, рассмеялась. Нет, белки. Они забираются в комнаты, ищут объедки. Я растянулась на белом, вышитом вручную покрывале. И почувствовала себя смелой, лишенной комплексов, как Гойко, третий обитатель общего сердца. Аска и Диего продолжали стоять у стены, точно две маленькие робкие белочки.

Хозяйка гостиницы

Хозяйка гостиницы у подножия горы Требевич продолжала по утрам накрывать к завтраку столы. Ничего не было, даже черствого хлеба для кур не осталось, только щербатые чашки да пустые рамы с выбитыми стеклами. Но она не меняла своей привычной жизни, чтобы те, в горах, не думали, что победили. Цеплялась за жизнь, как кошка, которая не умрет, пока стоит на своих четырех лапах. Вставала с первыми лучами солнца, набирала воду из колодца, варила кофе. И так каждый день: в ожидании мира Анела накрывала столы для своих постояльцев. Встречал рассвет и старый железный петух над дверью, истерзанный выстрелами пьяных солдат, соревнующихся в меткости. Кто мог приехать в те времена? Ни одного туриста, ни одной парочки, ищущей укромного местечка, ни одного торгового агента из Дубровника или Мостара. И несмотря ни на что, каждый из бесконечных дней осады Анела накрывала деревянные столы. Вошли дьяволы и забрали все, что можно было взять, не оставив ни черешенки. Подобрала с полу разбитые чашки, она склеила их и ежедневно расставляла на голых столах. Белые голубки, неподвижные, уставшие от войны, они были предметом ее гордости, а гордость и была сопротивлением.

Я иду с рюкзаком на плечах, в выпуклых солнцезащитных очках, словно вместо глаз у меня два черных яйца. Жара, по-моему, усилилась, чувствую, что вспотела, блузка прилипает к спине. Поднимаюсь в гору к станции Быстрик. Выбоины от осколков на стенах, на каменных цоколях, почерневших от смога. Невысокие турецкие дома с эркерами из темного дерева. Останавливаюсь перед старой гостиницей, которая, кажется, падает прямо на меня. Похоже, архитектор ошибся по рассеянности: фундамент сужен, а стены зрительно расширяются и кривятся, точно потеряв равновесие. Дом напоминает старинное мусульманское надгробие.

Хозяйка стоит на заасфальтированной площадке заднего двора, где валяются желтые пластиковые ящики с пустыми бутылками из-под пива, порожние газовые баллоны. Кормит кукурузой пару карликовых курочек, топчущихся у ее ног. Здоровуюсь с ней, она не узнает меня, но и я никогда не узнала бы ее, произойди такая встреча в другом месте. Понижаю, что это она, потому как сейчас она здесь, в этой гостинице. Первая мысль, которая приходит в голову: жива. Старушка в черном, розовощекая, с беззубой улыбкой. Анела отсюда никогда никуда не уезжала.

Мы недолго разговариваем, на своем ломаном боснийском рассказываю, что была в ее гостинице перед самой осадой. Поворачиваясь, она показывает в сторону леса: линия фронта проходила там, метрах в ста отсюда. На рассвете она ходила набрать яиц в деревянных клетушках, а потом возвращалась вся в перьях и начинала жарить яичницу для постояльцев. Смотрю на ее красные руки, на иссеченное морщинами крестьянское лицо, выражение которого до сих пор не изменилось: когда ей что-то говоришь, она делает вид, что не понимает, и в то же время задумывается. Стало быть, она жива. Вернулась к нормальной жизни... я вычеркнула ее из своей памяти как потерянную вещь, как второстепенный персонаж, как разбитую яичную скорлупу. А сейчас мне хочется обнять ее... протащить за руку через всю жизнь обратно в прошлое.

Анела не помнит меня, но и не отходит. В ее глазах стоят слезы, как в лагуне — вода.

После войны она продала гостиницу: не было денег, чтобы привести в порядок пострадавшие от взрывов комнаты. Изъясняется с помощью жестов, слово на немецком, слово на итальянском. Она сохранила за собой комнату на первом этаже, остальное теперь в собственности типографии. В столовой стоят печатные станки. Закрывая руками уши, показывает, что грохот мешает ей спать. Говорит, на гранаты она уже не обращала внимания, но теперь постарела и ей надоело трястись целыми днями вместе со стенами собственной комнаты.

— *Strpljenje*, терпение, — говорит.

Ее не выгнали, владелец типографии — человек богатый, из тех, что сделали деньги на туннеле, прорытом под аэропортом, на черном рынке, на яйцах, которые покупали в Бутмире по одной марке, а продавали в Добрыне по десять. Но он добрый, оставил ее вместо охранницы, даже немного платит.

Прошу разрешения подняться в комнату на втором этаже. Отвечает, что там ничего нет, кроме складов.

— Я приходила сюда с мужем...

Вглядывается в меня, на секунду мне даже кажется, что узнает.

— Он был фотографом.

Кивает, — мол, фотографов приезжало много, — вытягивает руки по швам, показывая, как она позировала. Подходит к металлической двери типографии, открывает ее, возвращается со связкой ключей. Просит, чтобы я не задерживалась и ничего там не трогала. Не может идти со мной, потому что ноги не ходят, куда уж по лестницам. Провожает меня, резко махнув рукой, точно отгоняя кур.

Той ночью именно Анела выдала нам ключи, мы заплатили вперед, она по-матерински кивнула нам. Взяла паспорт Диего и отдала, ничего не зарегистрировав. Повернулась к решетке, где висели ключи от комнат.

Рука на стене. Рука. Моя рука на этой старой стене. Поднимаюсь, проводя рукой по стене. Мне за пятьдесят — кто знает, зачем я пришла сюда. Знакомый коридор. Останавливаюсь отдышаться, иду дальше. Все комнаты на одной стороне. Ничего практически не изменилось, только стало меньше света и больше грязи. До сих пор чувствуется запах войны, который просачивается сквозь стены, через щели дверей. В этом городе, похоже, много таких сооружений... отреставрировав снаружи, их используют, но внутри заброшенные помещения разлагаются, как непогребенные трупы. Повсюду на стенах зернистые пятна новой штукатурки, точно послеоперационные швы на теле, скрывают старые раны. В удушливой жаре стоит неприятный запах канализации. Толкнув, открываю дверь, ведущую в туалеты. Старая краска на стенах сморщилась, голые, без сидений, унитазы почернели от въевшейся грязи — вот откуда исходит зловоние. Считая двери, подхожу к комнате. Той, что у самого леса, рядом с птицами, грибами и белками. Той, что ближе всех к линии фронта. Вхожу, закрывая за собой дверь. Жду, пока не успокоится сердце. Пыльные коробки и стопки бумаг. Через решетку небольшого окна из глубины пробивается свет. Снимаю рюкзак с плеч, он соскальзывает на пол. Несколько минут, и я уйду. В общем-то, ничего особенного, обветшалая комната, забитая серебристой пылью. Умывальник так и висит, зацепившись за стену, маленький и одинокий, точно купель в забытой живыми церкви... повсюду навалены груды не знаю чего, кучи бумаг, обрезки... просроченные свадебные приглашения, стопки почерневших от сырости, высохших на солнце листовок. Наконец железные ножки. Каркас кровати. Той самой кровати. Тоже заваленной массивными пакетами в оберточной коричневатой бумаге — перевязанные шпагатом, с сургучными печатями, похожими на старые, так никогда и не отправленные посылки.

Споткнулась, но устояла на ногах. Диего сидит передо мной на этой сетке... на голом грязном матрасе, прожженном в нескольких местах. Бренчит на гитаре, без рубашки, длинные волосы стянуты резинкой, которую стащил у меня. Ноги перепачканы кровью, — ноги парня, который ходил по стеклу. Не смотрит на меня, поет... *Spring is here again... Tender age in bloom... Nevermind ...*^[9] Рядом с ним дрожит Аска, на обгоревшем матрасе. Окна разбиты, в комнату врывается поток морозного воздуха. Хочу достать пиджак, одеяло... что-нибудь, чтобы укрыть их. Улыбаюсь, кажется, они не ощущают холода, они мертвы. Уже много лет они сидят на

этой старой кровати, как узники, запертые в тюремной камере.

В тот вечер мы много шутили, шли обнявшись. Поднимались пешком по улочкам, оставляя позади себя фонтан путников: их железные сверкающие уста, казалось, приветствуют нас. Мы вели себя раскованно, хотя на самом деле были охвачены ужасом. Придя на место, остановились, поцеловались, упиваясь вкусом друг друга. Кругом стояла тишина, не стреляли. Как будто игра закончилась и усталые дети заснули в своих кроватках.

Даю ему последние указания, опять целую его, взасос.

— Мы сошли с ума, — говорит он.

Словно вернулась молодость... и эта ночная прогулка так походила на ту, первую, когда мы, только что познакомившись, бродили под снегом. Мы — бродячие коты, жизнь нас уносит назад, тела осмелели. В задницу хорошие манеры, запоздалые размышления! Вот дверь, вот кривой тополь, как одинокий старик; вот железный петух и вывеска: «GOSTIONICA», гостиница. Мы постучали, открыла Анела, ворча, что уже поздно, она с пяти утра на ногах, собиралась ложиться. Впускает нас, улыбается. Вечер как вечер, еще до чашек и белого безумия. Выдает нам ключи от комнаты и входной двери, просит не шуметь.

Выходим на улицу подождать Аску, садимся на ступеньку дома напротив. Серп луны точно белый ус на темном небе. Ветки тополя вздрагивают в полной тишине. Диего дышит рядом со мной, прижимается ко мне у стены. Овечки не видно.

— Что будем делать?

— Посидим еще чуть-чуть.

Апрель. Вечер выдался мягким и теплым. Если бы мы ушли тогда, ничего из того, что случилось потом, не было бы, но жизнь, как вода, утекает, уходит под землю и просаживается везде где можно, где нужно.

Я гладила Диего по волосам, по его шелковистым, только что вымытым кудрям. Его голова лежала у меня на коленях, время шло, и волнующее ожидание сменила неопределенность. Мы огляделись вокруг: перламутровая дымка надвигалась из мрака.

Поклонница «Нирваны» обманула нас, ее смелость оказалась фальшивой, как и ее лохмотья, как утыканный шипами пояс амазонки из будущего. Выманила у нас немного денег и сбежала. Я вспомнила обложку альбома «Nevermind»: новорожденный, протянув ручонки, ловит долларовую купюру в голубой воде... Аска держала эту обложку на тумбочке рядом с кроватью, как реликвию, чтобы каждый раз перед сном смотреть на нее. Вдруг прозвучал выстрел, вслед за которым наступила

тревожная тишина. Поднимаем головы, всматриваясь в неподвижные темные ельники горы Требевич. Здесь, в низине, миндальная пена, белая пыль расходится все дальше, поглощая метр за метром.

— Идем отсюда.

Да, прочь из этой ночи, из этого города, который приносит боль. Собираемся для успокоения пройтись по улочкам, по безмятежным островкам, пустующим без туристов.

Но Аска все-таки появляется. Сначала мы слышим шум тормозящего мотоцикла, потом видим фигуру в тумане, пожирающем звук шагов. Остановилась у красной двери, ждет нас с трубой в черном футляре наперевес.

Поглядев на нее, понимаю, что я уже видела эту ночную сцену, этот силуэт, окутанный дымкой, как на изображениях святых. Мадонна со спутанными рыжими прядями, в дырявых колготках и армейских ботинках.

Мы свистим ей, машем рукой. Она отвечает на итальянском: «чао-чао». Ей нравится это «чао-чао». Она произносит его гортанно — похоже на клекот дикой индюшки.

— Извините, что опоздала.

— Мы собирались уходить.

— Там такое столпотворение...

Это правда, улицы переполнены людьми, никто не расходится по домам.

Она не идет нам навстречу, ждет Диего у дверей. Я уловила только одно движение руки, Аска погладила себе ногу. Ленивое, скорее, чуть печальное движение... точно она погладила не собственное тело, а приласкала собаку или провела по волосам ребенка.

Я могла бы зайти с ними и подождать внизу. Подремать на диванчике рядом со столовой, но мне вдруг стало стыдно: в самом деле, как смешно это будет выглядеть.

Наскоро прощаемся с Диего — после расслабляющего ожидания мы вскакиваем, бодрые, деловитые. Нет, я не собираюсь сидеть там, как сторожевой пес... мне не выдержать такой боли, такой порнографии. Мы обнялись, Диего переменялся в лице, в его взгляде — страх и возбуждение.

Аска не подошла, и мне не хотелось подходить к ней. Мы стояли по разные стороны улицы: она — там, я — здесь. Туман сгущался, стирая все.

Сама не своя, я побрела обратно, засунув руки в карманы обвисшего от сырости кардигана. Я раскаивалась, отошла-то всего на несколько шагов, но уже раскаивалась. Ночь наполнилась видениями. Я будто слышала горячее дыхание тех двоих в маленьком, пахнущем чистотой номере на

втором этаже. Мне стало жаль себя, я растерялась, снова почувствовав горечь досады, как в детстве, когда из-за небольшой размолвки, раненная насмерть, обиженная на весь мир, я отдалялась от подруг. Ко мне вернулась та нелепая, несчастная девчонка, я сжимала ее в руках вместе с обвисшей кофтой... бедную, убитую горем, настоящую Джемму, закрытую почку, из которой не разовьется побег.

Снова вспомнилась мама... Эх, Джемма, Джемма.

В номер забираются белки, поэтому на окне решетка... я не в силах оторваться от той комнаты, а вдруг какая-нибудь белочка смотрит на них вместо меня? Представляю себе губы Диего, касающиеся Аски, ее глаз, ее губ, уже без помады...

Они поднялись, стыдливо держась за руки, поговорили о чем-то, легли на кровать, скрестив ноги; она заиграла на трубе, негромко, чтобы никого не разбудить. Потом Диего скрутил косяк, ему хотелось закурить, немного забыться. Они смотрят друг на друга сладко-пьяными глазами — слабый свет проникает в комнату из коридора, — смеются, подвигаются ближе... Сперва он ласкает ее руку, неподвижно лежащую на кровати, пальчик за пальчиком, потом она придвигает голову, враз потяжелевшую, прижимается к его лбу, их губы встречаются, приоткрывается нежная плоть. Теперь оба приносятся к запаху кожи, шеи, ушей друг друга... вместе с запахом проникают в прошлое каждого: детство, маленькие радости и горести, прах, приближающаяся смерть. Он снимает с нее концертное платье из черного бархата. Она поднимает руки, помогая ему; он просовывает голову ей под мышку... ее грудь касается его костлявого торса, плоских сосков мальчишки из Генуи. Им не страшно. Теперь они слышат ритмичное биение сердца в красной затонувшей вселенной. Травка подействовала, все стало глубоким и близким одновременно. Войти друг в друга, сбросить все друг в друга — значит начать жизнь сначала, как мужчина и женщина, как ребенок, который рождается из погибшей любви. Мгла наполнилась фосфорическим светом. Зрачки Аски расширяются в зрачках Диего... словно к нему приближается далекая звезда. Падает на него. Они падают друг на друга много раз. Планеты, угасая, поглощают друг друга. Заблудшая в лесу овечка постанывает и танцует для него, для этого нестрашного волка, который не скалит зубы, а лижет ее затылок, истекая кровью...

Перехожу Латинский мост, сажусь у фонтанчика. Сзади Гойко кладет руку мне на плечо.

— Как ты здесь очутился?

— Вышел выбросить мусор. — Бросает пакет, смотрит на меня. —

Решил тебя подождать, не мог оставить одну.

Рыдаю, уткнувшись в его плечо, благодаря ночь за это нежное и большое тело.

— Сношаются?

— Ну да.

Болтаем немного, спрашиваю, что он делал, — сначала был на радио, потом в парламенте, в Скупщине. Вытаскивает клочок бумаги, собирается прочитать очередное стихотворение, я отказываюсь, говорю, не хочу, устала от поэзии. Он не обижается, поджигает его зажигалкой, прикуривает, я тоже беру сигарету.

Мы смотрим, как бумажка чернеет, корчится в ночи и умирает, танцуя.

— Жаль, оно было красивое... — Прощается со своим стихотворением. — Пока, пропавшие слова, подожженные жестоким сердцем...

Рассвет прокрался в наши шаги. Уже различались цвета припаркованных машин, плюща, вцепившегося в стену, у которой мы остановились. Чувствую близкое дыхание Гойко... опять плачу, стою с трясущимися губами. Внезапно почудилось, что это последний всплеск жизни, больше мы не увидимся, с нами что-нибудь случится. Он придвигается ко мне еще ближе, во взгляде спокойствие и сосредоточенность. Прошло желание шутить, насмехаться над жизнью до хрипоты в горле. Дышит мне в лицо:

— Воняет?

— Нет, пахнет.

Тогда он подходит совсем близко. Целуемся так, как никогда еще не целовались, чувствую его зубы, его шершавый, похожий на кошачий, язык... ощущаю на себе вес его тела, его застывшей тревоги, пьянящую сладость его сердца, всех сочиненных им стихов, которые никто не прочитает.

— Пойдем ко мне.

Опускает голову, поднимает снова... его маленькие глаза расширяются. Ночь как будто создана специально для нас...

— Давай займемся любовью, только раз, перед тем как умрем...

На какой-то миг пробежала волна и исчезла, сожгла нас, как клочок бумаги, испепеленный в ночи. Парочка жалких горемык... усталые спутники двух молодых планет. Я легонько щелкнула его по щеке:

— Мы не умрем, Гойко.

Все, спать. Ведем себя как глупые брат и сестра.

Кровать перед моими глазами. Железная сетка на ржавых от сырости

ножках — все, что от нее осталось. Такая широкая, что в дверь не проходит, поэтому никто не торопится ее выбрасывать, просто завалили разным барахлом и типографским браком. Год за годом ждала меня эта сетка, пережив войну, парила в моих снах, не прекращая скрипеть. Как кресло-качалка, которое, выполняя свою работу, поскрипывает при каждом порыве ветра в заброшенном саду.

Подхожу к кровати, скидываю на пол несколько тяжелых, как кирпичи, пачек, поднимая пыль. Мне не много нужно, я худенькая, хватит и узкой полоски этой кольчуги. Ложусь, не снимая туфель, подтягиваю к себе колени.

Пришел Пьетро, сутулясь, тяжело ходит по комнате, крутится возле меня, воняет хлоркой. Жалуется на дикую боль в спине: мол, Гойко всем своим весом упал на него, Динка его поцарапала — пигалица, а какие длинные ногти!

Так расхаживает, что пол трясется и я вместе с полом, точно старое стекло в раме.

Свернулась клубочком на кровати, глаза открыты в полумраке.

— Успокойся, — говорю ему, — тише...

Пьетро распахивает шторы:

— Почему так темно? — Свет яростно впивается в меня. — Чем занималась, ма?

— Ничем... Так, прошлась.

Переводит взгляд на мои ноги:

— Ты же в обуви...

— Дай мне спокойно полежать.

— Тебя весь день никто не трогал, что с тобой?

Отвечаю, что плохо себя чувствую, хочу немного отдохнуть.

— Как это достало! — бросает.

Украдкой смахиваю слезы, не хочу показывать ему, что плачу, но он следит за мной своими рысьими глазами, так непохожими на мои.

Все еще ноет, теперь уже по другому поводу. Жалуется, что его друзья совершают путешествия по Америке в свое удовольствие, поедут на водопады, в Дубай на теннисный корт под самым небом, где играл Федерер, а мы торчим в этом дурацком городе.

Ничего не отвечаю, пусть говорит что угодно.

Хочу сжаться в комок в темноте и не двигаться. Хочу Диего, его рук, которыми он обнимал меня так бережно, будто я из стекла. Но мой удел — терпеть этот грубый голос.

Пьетро вертится волчком на нескольких метрах комнаты, изводит меня

своими шагами. Кричит, что у него спину ломит, а я разлеглась тут на кровати, встать не могу.

Привык, что я хожу перед ним на задних лапках. Снял футболку, скачет, как мартышка в клетке:

— У меня спина горит, мне больно...

— Прими душ.

— У тебя есть крем?

— Посмотри в ванной.

Слышу, как он все швыряет, роясь в моей косметичке. Возвращается с тубиком:

— Этот?

Киваю.

Кидает крем на кровать:

— Намажешь меня?

— Намажься сам, Пьетро.

Разворачивается, раздраженно:

— Как это?!

— Вот так, ты же слышал, я плохо себя чувствую.

Забирается на подоконник, давит на кнопки мобильного:

— Алло, папа?..

Оставь меня в покое, Пьетро. Я готовила тебе еду, складывала одежду, корпела над домашними заданиями. У тебя все впереди... у меня остались только мои высохшие ноги и полые, как тростник, кости. Сегодня мне так же плохо, как этому городу, как больной кошке, трущейся о стены.

Слышу, как он хнычет в телефон, его здесь все раздражает, а я сошла с ума.

— На, даю тебе ее...

У меня нет желания разговаривать с Джулиано, хочу молчать и не двигаться.

Пьетро бросает телефон на кровать:

— Папа.

Говорю загробным голосом:

— Перезвоню позже.

Кажется, у меня температура.

Пьетро спрыгивает с окна, подходит:

— Почему ты с ним не поговорила?

— Потом перезвоню.

Он хлопает меня по спине, по ногам.

— Что ты делаешь?

— Ты вся в пыли, где тебя носило?

Тяну к себе юбку, как больная кошка — хвост, посмотреть.

И правда, вся грязная, потная.

— Не приставай ко мне.

Снова хватается за телефон... обходит кровать:

— Да ты... ты...

Как всегда, заводится, не зная, с чего начать. Правда, сегодняшняя злость намного жестче, глаза застлала пелена.

— Кем ты себя считаешь?!

Должна бы обидеться, но сил нет, тело гудит. Я смотрю на него с кровати: он некрасивый сейчас, несуразный.

— Кем ты себя считаешь? Почему ты постоянно стыдишься папы... — Пинает стул, вещи валяются на пол. — ...У него живот... он ходит в мундире...

— Что ты болтаешь, Пьетро?

— ...Никогда не бываешь на военных праздниках, жены карабинеров, видите ли, тебе не нравятся... и на День памяти Сальво д'Аквисто я один ходил! Ты не пошла! У тебя дела были!

— Да что ты несешь?.. При чем тут это?..

Теперь я смотрю на него со страхом. Надо встать, намазать его кремом, приласкать. Охладить его ярость.

— Ты — эгоистка! Ты сюда вовсе не из-за меня приехала, а из-за этого психа Диего!

Продолжает кричать, но я уже не слушаю его. Смотрю в его голубые глаза, помутневшие от ярости, налившиеся кровью. Бросаюсь в него майкой:

— Иди отсюда, несчастный.

Он поворачивается: кажется, сейчас кинется на меня и укусит. Превратился в ягуара. Молодого ягуара, оскалившего зубы, готового напасть на меня.

— Не умничай, мама! Ты — никто!

Уходит, со своей больной спиной.

Теперь засядет в интернет-кафе, в пещере с голубыми экранами, будет болтать в чате с этой армией гоминидов, со своими друзьями, из-за которых он отрекся от меня в кризисный год своего переходного возраста. Вернется, обалдевший от экрана, взглянет на меня, как на дальнюю родственницу.

Так и есть, я — никто, пустое место.

Иду в ванную умыться лицо, хотя слезы все еще текут.

Забираюсь на подоконник, звоню Джулиано:

— Прости, прости за все...

— За что?

— За то, что не пришла на День памяти Сальво д'Аквисто...

Джулиано смеется. Но он растроган: все это глупости, а глупости всегда немного трогательны. К тому же мы сильные: у него за плечами Ливан, у меня — Босния.

Рассказываю ему о ссоре с Пьетро. Он отвечает:

— Пьетро ревнует, это в порядке вещей... — Вздыхает, потом произносит своим красивым голосом, искрящимся, как кокарда на его фуражке: — Тебя окружают ревнивые мужчины.

Выхожу поискать Пьетро. Заглядываю в интернет-кафе. Мальчишки сгорбились над экранами, окутаны дымом сигарет. Высматриваю Пьетро. Иду дальше, по направлению к улице Маршала Тито. На ходу вся злость выветривается. Я всегда боялась, что он не вернется. Сколько раз торчала на кухне, прилипнув к окну, ждала, когда внизу мелькнет скутер и шлем. Сама не своя, чувствуя себя, как и сейчас, куклой, нарисованной на темной бумаге и ждущей, пока ее не вырежут. Джулиано выдержаннее меня. «Ты слишком нервничаешь, — говорит он, — и отравляешь себе жизнь». Это правда. Все матери боятся. Но я волнуюсь по-другому, глубже, отчаяннее.

Я больше не умничаю. Бегаю как оголтелая по Сараеву, где прошлое тянет и гремит, как кандалы.

Потом наконец нахожу его: он сидит у фонтана, среди припозднившихся влюбленных парочек, ночных бродяг.

Все тот же фонтан Себиль, у которого мы с Диего останавливались как путники, уставшие от не успевшего начаться путешествия. Диего набирал воду в ладони... Предание гласит: если выпьешь глоток воды из этого фонтана, обязательно вернешься в Сараево, хоть раз в жизни.

— Пьетро...

Догоняю его и иду рядом.

Опустив голову, он засовывает в карман кулек из красной бумаги.

— Что это?

Не отвечает, смотрит себе под ноги, будто ищет золото. Я принохиваюсь к нему... на минутку становится страшно: что он может прятать от меня в этом красном кульке? Многие его друзья балуются травкой, обкуриваются с утра пораньше. Но куревом от него не пахнет, я, по крайней мере, не чувствую.

Раскручиваю крышку крема, сидя на кровати. Он присел рядом, согнув спину, задрал майку на голову. Воспаленная кожа насыщается свежестью из моих рук, натирающих молодые крылья. Он не просит прощения.

Миновали времена, когда он бормотал: «Прости, мама», но все-таки дышит ровно, как вернувшийся в овчарню ягненок.

Главным событием тех дней стала массовая антивоенная демонстрация, устроенная силами, выступающими за мир. Толпы народу заполнили Сараево, больше всего было молодежи, приехавшей из разных мест. Стоянка рядом с вокзалом была забита автобусами, демонстранты, как болельщики на выездном матче, с первыми лучами солнца уже сновали по городу, выкрикивая лозунги, жуя бутерброды. Меня разбудили крики, доносящиеся с улицы. Выглянув в окно, я увидела, как манифестанты проходят — под нашими окнами. Немного погодя, я пошла к Велиде, мы поели с ней айвы и выпили кофе, смакуя каждый глоток, успокоенные грохотом народной волны, от которой исходил мощный заряд энергии.

Потом вышли на балкон и, как две кумушки, почти до самого вечера смотрели на проходящих внизу людей. Время от времени Велида узнавала сокурсника по университету и махала ему рукой. Обычная демонстрация, какие проходят по всему миру. Спокойные ряды студентов, женщин, отцов семейства с детьми на плечах, шахтеров в рабочей одежде. Над толпой развевался длинный белый транспарант с надписью: «MI SMO ZA MIR», мы за мир.

Последний раз я видела подобное скопище народу на открытии Олимпиады... помню факелоносца, зажигающего олимпийский огонь на стадионе Кошево, девушек-мажореток, глупого волчонка Вучко — символ Сараево-84... и все это мне показалось таким далеким. Теперь волк другой: ночами делает предупредительные выстрелы по звездам, словно намеревается их потушить.

Позже, когда эта громадная толпа подошла к Скупшине, мы с Велидой отправились за продуктами. На полках царил непривычная пустота. Навстречу нам женщина везла полную тележку консервов. Тряхнув своей маленькой головкой, Велида горделиво зашагала вперед, как маленькая отважная птичка.

— Что за люди, хватают все подряд... как с ума посходили.

Я предложила и ей застаться хоть какими-нибудь продуктами: вдруг что-то случилось, — может, поставщики бастуют, а мы не в курсе.

Велида, наоборот, купила меньше обычного. Могла взять целую головку сыру, но попросила отрезать небольшой ломтик, только на ужин.

— Никогда ничего не покупали впрок и впредь не собираемся! Если они думают, что мы опустимся до такого, то глубоко ошибаются!

Сгущались сумерки. Люди шли торопливо, жались к стенам домов, — казалось, всем надо было быстрее попасть домой. Демонстранты группами

по несколько человек бегом пробежали мимо нашего окна, словно за ними кто-то гнался. Я вспомнила студенческие выступления в семьдесят седьмом, лозунги, стычки, хаотичные перемещения.

Вдруг резко наступила темнота, солнце скользнуло за горы, высоко на небе, затянутом облаками, показалась нитевидная луна. Почти ничего уже нельзя было различить. Крики разрывали темноту. Я надела туфли, застегнула пиджак. Диего все еще не вернулся, поэтому я пошла его искать. Не было больше сил ждать, погружаясь в мрачные мысли, не зная, что с ним.

Вышла на проспект. Фонари не горели, не успела я пройти и нескольких метров, как меня остановил полицейский, я попробовала ему что-то объяснить... но он не слушал, вглядываясь в темноту широко раскрытыми глазами, поднял руку и закричал: «*Natrag! Natrag!*» — назад... назад... Если бы я в самом деле могла вернуться назад!

Попросила у Велиды кота на ночь — не могла заснуть без единой живой души рядом. Надела свитер Диего и легла в кровать. На рассвете стреляли. По-другому, как-то настырнее, ближе. Именно тогда я научилась отличать предупреждающие выстрелы в небо, в никуда, от выстрелов на поражение, когда пуля погружается в тело. Кот с мелко дрожащими, точно радары, ушами выгнул спину, вытянул шею. Первым понял, что это был за адский свист. Залез под кровать и жалобно замыкал... пронзительно, горестно, как будто человек заплакал.

Больше мы к окнам не подходили. Велида и Йован пережили уже одну войну, я, хоть и нет, уже инстинктивно знала, что делать. Мы закрыли ставни, задернули шторы. Целый день сидели дома перед телевизором, глядя на людей, вошедших в здание Скупщины. По радио передавали одну и ту же песню — «Сараево, любимый город».

Ближе к вечеру объявился Гойко. Его волосы стояли дыбом, как кошачья шерсть, одно стекло в очках разбито. Вместе с обезумевшей толпой он два дня безвылазно сидел в парламенте, где царила невообразимая атмосфера... с одной стороны, дикая радость, оттого что Европейское сообщество признало Боснию и Герцеговину, а с другой — ужас перед угрозой войны. Президента Изетбеговича освистали, а людей из спецотделов полиции встретили аплодисментами.

Он рассказал мне, что случилось. Из окон верхнего этажа гостиницы «Холидей-Инн», где остановились руководители сербской Демократической партии, кто-то поднял стрельбу. Люди, собравшиеся перед зданием Скупщины, повалились на землю, пытаясь спрятаться друг за друга, точно испуганное стадо. Многие побежали на другой берег

Миляцки, но оттуда тоже стреляли, по всей видимости с еврейского кладбища, как поговаривают в городе. Район Грбавица оккупировала сербская милиция.

Сначала по телевизору передали, что на мосту Врбанья от пули погибла девушка, пытавшаяся перебежать на другой берег. Я сразу подумала об Аске... предвещала ли такой конец ее восковая бледность?

Теперь ведущий теленовостей на «Yutel» говорил, что убили двух девушек. Студенток, участниц антивоенной демонстрации. Совсем молоденьких.

Гойко зажег сигарету, но не сделал ни одной затяжки. Закрыв лицо руками и зарыдал навзрыд. Я смотрела на эту сигарету, прогоравшую в стиснутых пальцах, пока она наконец не выпала, скончавшись на полу. Это был страшный, неистовый рев раненого зверя. Руками, которые он не мог оторвать от лица, Гойко удерживал обломки трагического будущего, уже наступившего. Если подумать, то для меня этот плач стал началом войны.

Он взял себя в руки, река слез утекла, оставив серое лицо утопленника. Гойко улыбнулся. Переключился на меня, как всегда:

— Пойдем поищем фотографа...

Гойко вел машину с выключенными фарами, в разбитых очках на носу. Город разделяли воздвигнутые за ночь баррикады. Мы переехали на другую сторону Миляцки, но до Дальних домов у горы Требевич проезд был закрыт. Люди в капюшонах стерегли темноту. Ужас сковал мне ноги, длинным гвоздем воткнулся в спинной хребет. Потом раздались выстрелы, и град пуль обрушился на дверцу нашей машины. Мы повернули назад.

Не помню точно, с чего все началось... вернее, не помню, когда все началось. Думаю, никто этого не помнит. Никто, кроме Себины, она сказала, что смотрела «Симпсонов» по телику, историю про семейку язвительных весельчаков. Мультик прервали. Она побежала к маме, которая за кухонным столом проверяла тетрадки учеников.

— Мама, что случилось?

Мирна сняла очки и перевела взгляд на стоящую в дверях дочь:

— Не волнуйся.

Грохот доносился с горы. Жизнь отступала, наступало безумие. Еще не осознавая этого, они обнялись. Школьные тетрадки никуда не делись, они еще лежали перед Мирной, но уже уплывали вдаль, как те маленькие жизни, которым они принадлежали, как обеденный стол, как эти мать и дочь.

Это продолжалось недолго, Симпсоны, смешные рисованные человечки, опять заговорили мультяшными голосами. Нет, не могу сказать

точно, когда прервалась нить нормальной жизни, когда попрятались даже беспризорные псы...

На улицах висело белье, была весна — пора наведения чистоты и открытых окон. Иногда на улицах каркали вороны, но на них не обращали внимания. Город жил спокойной жизнью, никто не интересовался национальностью соседа или собственной жены. Люди нравились или не нравились друг другу просто так, по симпатии, по ощущению, как и в любом другом уголке мира.

Много людей вышли на улицы. Много рук несли плакат «WIR SIND WALTER» («Мы все — Вальтер»)... весь город объединился в едином героическом порыве. Все смотрели наверх, словно там исполнялись фигуры высшего пилотажа. Внимание всех было приковано к горам. Кто скрывался там, наверху?

Война спустилась в город. Первые гранаты взрывались далеко от нас, мы слышали только грохот, который, казалось, передавали по радио.

Велида спросила:

— Кому понадобилось убивать нас?

Эта граната упала так близко, что, казалось, вошла в мое тело, разорвала его на части. Стреляли по мусульманской части города, по Башчаршии. Некоторое время мы стояли оцепенев, уставившись друг на друга. Маленькое личико Велиды застыло, как у мертвеца.

Чашки дрожали, тряслись книги... дрозды зарылись в кучку ваты.

Велида закричала:

— Йован! Йован!

— Я здесь.

Старый биолог не сдвинулся с места, так и сидел в своем кресле, теребя сигарету пожелтевшими, как и волосы, пальцами. Из шкафов выпали вещи. Стекла пока были целы, но только пока. Ходили ходуном, как и мои зубы. Мне пришлось зажать челюсть руками, чтобы как-нибудь остановить лязг этого капкана. Подобрала упавшие вещи. Закрылась в комнате, вцепилась в подушку. Зубы стучали, я чувствовала страшную боль в животе... как после аборта. Руку, которая сгребает и вытаскивает все изнутри.

Диего вернулся через три дня. Вошел в комнату, неслышно пробираясь в темноте, словно дикий зверь. Мы обнялись, обессилев, неподвижные, точно два мешка. Мне показалось, Диего налит свинцом. Бежал, вспотел так, что моя щека стала влажной от его шеи.

— Любимый.

Закрыв уши руками, он чуть покачивал головой. Его оглушила граната,

он дышал тяжело, с присвистом. Сел на кровать, даже не посмотрев вокруг. Снял сапоги, отбросил их из последних сил, обмяк рядом со мной и заснул. Я прильнула к нему, чтобы вдохнуть его запах... как будто обычный запах, но чуть более резкий: так от него пахло, когда он подхватил грипп, — от простыней и от воротничка пижамы тогда разило псиной. Я лежала в полутьме, с закрытыми глазами. Диего вернулся. Дышал прерывисто, резко, будто воздух забивал ему нос.

Под утро, когда я проснулась, он уже встал, приводил в порядок пленки, сидя на кровати.

— А где Аска?

— Что?

Казалось, он вообще забыл, кто она такая, ответил точно с другой планеты. Снова закрыл уши руками. Затряс головой, как копилкой. Посмотрел на меня:

— Ничего не было... — Чуть ли не оправдываясь, произнес: — Прости меня. — И добавил с грустной улыбкой: — Форс-мажорные обстоятельства.

Их не выпускали из гостиницы, поэтому они и другие постояльцы провели время примерно так же, как мы, как все люди в Сараеве, замерев перед телевизором в столовой, где уже не осталось ни одной целой чашки, потому что в нескольких сотнях метров стреляли гаубицы.

Он тряс головой, пытаясь отделаться от засевшего там гула, и до сих пор не мог поверить в происходящее:

— Это безумие... просто безумие...

Я обняла его, мы наскоро перебрали в памяти те ужасные часы, которые провели порознь.

— Говорят, это ненадолго, скоро кончится...

Позже он крестился, клялся, что ничего не было, никакого совокупления. словно тяжкое бремя свалилось с моих плеч.

Красные трассирующие пули сыпались в ночи. И мое желание, неизбежное, как выросший ноготь, исчезло навсегда. Чего я только не пережила за те страшные дни, представляя Диего и Аску мертвыми, заваленными обломками на той кровати, к которой сама их подтолкнула.

Я приложила руку Диего к моей груди, чтобы он почувствовал, как бьется сердце. Диего стиснул ладонь. Мы подвергли себя неоправданному риску, и теперь я просила у него прощения.

Этот урок стал самым тяжелым в моей жизни.

Я смотрела на него, на его поцарапанное лицо, на белые от пыли волосы.

— Удалось что-нибудь заснять?

— Нет.

Он наполнил ванну и залез в нее с головой. Я подошла к нему, он лежал под водой с открытыми глазами. Мы смотрели друг на друга через воду, как обитатели двух разных стихий.

— Ты еще не разлюбил меня?

Он вынырнул, отплевываясь:

— Буду любить тебя вечно.

Мы хотели немедленно уехать, но проходил день за днем, а вылететь не удавалось. Гойко ездил в аэропорт. Толпы осаждали неподвижно стоящие в Бутмире; самолеты, последние рейсы, вылетающие из города, набивались до отказа, как вагоны для перевозки скота, — люди стояли в коридорах и в туалетах.

Мы сидели дома перед телевизором. Президент Изетбегович успокаивал население: военный конфликт в Хорватии не переместится в Боснию. Призывал не бояться выходить на улицы.

Но город уже был окружен. Со всех высот на нас наставили зенитки, минометы, гаубицы, автоматы Калашникова, снайперские винтовки.

Armija, славное югославское войско, которое должно было бы защищать город, в действительности давно вывезла все из казарм. В течение нескольких месяцев они по частям вынесли оружие и установили его в горах вокруг города. Как было официально объявлено, для защиты. И слишком поздно было задаваться вопросами, почему сараевское оружие направлено против Сараева.

Гойко продолжал надеяться:

— Скоро кончится... через несколько дней мы выпутаемся. За нами наблюдает вся планета...

Он сопровождал отряды тележурналистов, снимающих по всему городу воронки от гранат, пассивное, безоружное гражданское население.

— Важно показать всему миру, что здесь происходит.

В кофейнях молодые люди все так же делились мнениями, пили пиво, курили, и их голоса сливались в один. Свободные, сильные, врезающиеся в память голоса, уверенные, что, несмотря на горные преграды, их услышат за круглыми столами переговоров в Европе.

Тогда еще эти ребята верили, что у планеты есть уши. Только не старый Йован. Сербский еврей из Сараева. Он разувался при входе в квартиру, по мусульманскому обычаю, из уважения к жене. Он перестал читать газеты, не слушал больше новостей. Часами смотрел на свои ноги в суконных тапках.

Наступил май. Месяц, когда распускаются примулы и одуванчики и береговые ласточки снова летают над Миляцкой.

Все тешили себя надеждами, что то была одиночная атака, нервный припадок, который скоро пройдет. Как подземный толчок, после которого все становится на свое место.

Тем временем офицеры ООН переезжали из сараевского дома отдыха за город в Стойчевац.

Тем временем горела почта и казармы маршала Тито.

Тем временем в городе появились снайперы. Началась ежедневная охота за людьми. С помощью ультрасовременных оптических прицелов можно было увидеть не только цвет глаз, но и капли пота под носом.

Кто они такие, те, наверху? Четники, звери. Приезжие или свои, улизнувшие из города? Парни, которые, поднявшись в горы, вступили в союз с дьяволом, чтобы в угоду ему убивать сокурсников по университету, вчерашних друзей...

Гордая, все еще не согнув спины, Велида прижимала ладони к глазам:
— Неправда, не может это быть правдой.

Мы остались в их доме, чтобы старикам не было одиноко. По вечерам вместе играли в карты за маленьким столиком, покрытым зеленым сукном. Велида приносила черничную настойку и карамельки с медовой начинкой. До нас доносились глухие звуки взрывов, слабеющие в ночи. Гранаты сыпались градом в Добрыне, в Войничко Поле, в Моймиле... Я вспоминала Аску, ее квартиру, похожую на трейлер с бетонными стенами, как раз в Моймиле, бывшей Олимпийской деревне.

Для меня совокупление не проблема...

Казалось, прошла целая вечность.

Я спрашивала себя, нельзя ли было уже тогда прочесть судьбу в том вечно блуждающем взгляде, под веками, трепещущими, как крылья. Каждый день я просматривала в «Освобождение» списки убитых, боясь встретить ее имя.

В один из дней Диего в первый раз запечатлел на пленке жертву обстрела. Женщина лежала рядом с рассыпавшимися из пакета яблоками.

Вернувшись, он рванул с шеи ремень, сдернул фотоаппарат, который, казалось, жег ему грудь, в ярости бросил на кровать, будто обозлился на механический глаз, принуждающий видеть... тело, которое на фотографии так и останется навечно непогребенным. Мне показалось, что у него дрожали руки, пока он вытаскивал пленки и закладывал их вечером в жестяную банку.

— Я похож на могильщика, я хороню мертвецов.

Нашей кафаны больше не было. Она превратилась в прах. Точное попадание гранаты. На ее месте зияла мрачная дыра и валялся покореженный металл, как на картине футуриста. Кафану разнесло ранним утром, — к счастью, никто из друзей не пострадал. Жизнью поплатился бедный албанский уборщик, спавший на задворках.

Окна в нашей квартире тоже разбились. Мы, как и все, затянули раму полиэтиленом. Свет едва пробивался через матовую завесу. Ночью быстро темнело. Электричество отключили. Велида и Йован уже перебрались жить в дальнюю комнату... по вечерам сидели там, наблюдая за умирающим пламенем свечи. Они не собирались ни покидать своего города, ни спускаться в подвал, как делали многие.

— Скоро наступит лето, — говорила Велида, — а летом не нужно отопления, можно жить и так, как в поле.

Им с Йованом часто приходилось выезжать на полевые работы в заповедники Боснии и жить в палатках у водопадов. Они проводили часы, согнувшись в три погибели над лужами, изучая микроорганизмы.

Мы привыкли к сиренам воздушной тревоги, к взрывам гранат. Я думала, что никогда больше не смогу заснуть, и, держа Диего за руку, лежала с широко раскрытыми глазами. Я вспоминала наш дом в Риме, гостиную, кухню, длинную череду фотографий на стене. Нашу тихую улицу с редкими прохожими, по вечерам выгуливающими собак. Мы оставили папе ключи, и он приходил поливать цветы, сидел в тишине, готовил себе кофе, споласкивал чашку. Мы не созванивались уже целую неделю. В последний раз он не мог говорить, — казалось, онемел от боли.

Кое-что я ему рассказала. Мне удалось переправить через друга Гойко, ехавшего в Загреб, несколько пленок Диего, и я попросила папу проследить, чтобы фотографии вышли за подписью Диего, а не агентства.

Потом мы научились спать, погружаться в сон, лишь бы на какое-то время выбраться из этого лагеря. Просыпались рано, чтобы пожить при свете. Когда Диего уходил, мы крепко обнимались. Теперь все крепко обнимались при каждой встрече, а прощались так, будто видятся в последний раз.

Тренера Себины по гимнастике убили, аптекарь тоже погиб. Тела какое-то время так и лежали необузданные... слишком опасно было приближаться к ним, снайпер не дремал. Трупы вытаскивали по ночам и ночами хоронили на старом мусульманском кладбище. Похороны проходили в тишине, люди двигались неслышно, невесомые, как ночные мотыльки. Хороня мертвецов, они бросали смерти вызов.

Мы многому научились за эти майские дни. Научились различать

сиплый треск Калашникова и свист гранат. Узнавать стук минометов и распознавать вой снарядов. Если после выпуска мины ты слышишь над головой жужжание, считай, тебе повезло. Если ничего не слышишь, значит, снаряд уже сделал дугу и может разорваться где угодно, рядом с тобой. Мы научились, что на следующий день после феерии взрывов гора чаще всего молчала. Научились, что в определенный час снайперы прекращают огонь, идут обедать... и что по вечерам выходить на улицу особенно опасно, потому что они успевают набраться ракии.

Мы научились передвигаться по городу. По-заячьи перебегать открытые участки: площадки между домами, перекрестки, которые могли быть видны с холмов.

Я хотела только уехать отсюда, и больше ничего. Но Диего нельзя было оторвать, он наматывал километры с фотоаппаратом на шее и рюкзаком за спиной. Возвращался, раздобыв что-нибудь из еды и свечи на вечер.

Я, можно сказать, безвылазно сидела дома. Изредка выходила с Велидой на рынок. Там почти ничего не было, кроме каких-то овощей с огородов Сараева, зато цены выросли в десятки раз. Хлебокомбинат пока работал, но за хлебом выстраивалась длинная очередь.

Мы научились тому, что соглашения о прекращении огня нельзя верить: они длились всего несколько часов, потом опять начиналась та же музыка. Улицы меняли облик день ото дня, развороченный асфальт покрывали убогими заплатами. Теперь бетонные блоки, безжизненные трамвайные вагоны, полиэтилен, натянутый между домами, и тому подобное затрудняли обзор снайперам. Город начинал вооружаться, пополняясь кое-каким оружием и добровольцами. Регулярные войска обороны Боснии сидели в траншеях. Шайки грабителей, пользуясь ситуацией, грабили дома сараевских сербов, профессоров, зажиточных людей. Началась военная спекуляция, налеты на магазины, появился черный рынок. Странные типы приставали на улицах, чтобы продать тебе хоть что-нибудь или купить валюту. Белые броневики ООН стояли неподвижно, как куры, разомлевшие на солнце.

Но ночью жизнь возвращалась: можно было пойти в подвальчик или в бар, откуда раздавался смех, отдающий горечью. Пиво пока наливали, легендарное *pivo*, которое так же горчило на вкус, как и юмор. У людей теплилась надежда, что к лету все закончится.

Теперь мы собирались в новой кофейне: спускаешься по лестнице и оказываешься в прокуренном подвальчике. Но там хотя бы чувствуешь себя в безопасности. Музыка, передаваемая по радио «Зид», заглушала

извержения небес и вой воздушной тревоги. Отправляясь туда, мы нарушали комендантский час. Девушки всегда были модно одеты, накрашены. Ана и Драгана танцевали в обнимку. Младен, художник, от вынужденного безделья вырезал человеческие фигуры из фанерных задников шкафов, разрисовывал их и выставлял на середину дороги, чтобы поиздеваться над снайперами. Все хотели гулять на полную катушку, чтобы эти звери в горах не радовались, что победили.

Гойко время от времени приводил с собой какого-нибудь журналиста, посмелее других, рвущегося понюхать настоящей сараевской жизни за кулисами театра военных действий. Гойко облегчал его кошелек, раскручивая на выпивку для всех. Мы сидели, уставившись в грязные стаканы. Однажды Гойко поднялся и прочитал стихи в честь погибшего друга:

Ты ничего не оставил
В своем старом доме,
Только смятую постель
И непотушенную сигарету.
Ты ничего не оставил
В своей старой жизни —
Только пса по кличке Игорь:
Он ждет не дождется,
Чтобы ты вернулся и вывел его погулять.

Ночью возвращаемся, прижимаясь к стенам. Вместе с нами бесшумно скользят другие человеческие тени, похожие на морские водоросли. Мы словно плывем в черном аквариуме. Электричества нет, даже свечи потушены. Кромешная тьма. Луна — призрачный фонарь. Красный свет трассирующей пули освещает нас на какое-то мгновение, но она тут же устремляется вниз, как падающая звезда.

Мы одни. От Диего воняет псиной. Воды мало, мы моемся из одного таза.

Мирна надела очки и начала готовиться к уроку. Школа закрыта, но они с коллегами думают организовать небольшие классы на дому. Кто может, продолжает ходить на работу пешком, те, кто посчастливее, едут на велосипеде. Трамваи не ходят, бензин для автомобилей закончился.

Себина шутит: мол, раньше во дворе нечем было дышать, так что без машин стало гораздо лучше.

Мирна надевает туфли на каблуках. Я улыбаюсь ей, нельзя сказать, что

это самая подходящая обувь. Мирна не отвечает на мою улыбку. Не собирается менять свои привычки, скакать, как заяц. Застегивает плащ на все пуговицы, решительно затягивает пояс. Мирна похудела, опять стала как в молодости, косметика не скрывает бледности. Она тоже не думает уезжать из Сараева.

— Кто хотел — уехал. Мы останемся здесь.

Говорю ей, что, как только появится место на самолет в Загреб или Белград, мы тут же вылетим. Предлагаю забрать в Италию Себину.

— Иностранцам намного проще, — говорю.

Моя крестница, полная боснийской ненависти, смотрит на меня точь-в-точь как этот бизон, ее братец. Кричит в ответ, что не собирается никуда со мной ехать, она будет здесь, с мамой.

— Представь, что это только каникулы... — пытаюсь ее уговорить.

Но моя крестница — хитренькая сараевская девочка!

Успокаивается, садится верхом на свое розовое, как у принцессы, кресло и невозмутимым тоном отвечает, что каникулы бывают только в мирное время, а сейчас идет война. Во всяком случае, им лучше, чем другим, потому что Гойко работает с иностранными журналистами. Они переставили аквариум Себины на кухню, окна которой полностью выходят в четырехугольный двор. Гойко достал небольшой электрогенератор.

Вечером аквариум светится в темноте. Синий пузырь фосфоресцирует в черном потоке. Мы все собираемся около него, как около маленького каминка. Голоса плавают, плавают рыбы — синие рты едва различимы. Себина уткнулась подбородком в колени, узкие губы расплылись в улыбке. Гойко пристает к ней со своими мрачными шуточками, советует быть начеку: вдруг кто-нибудь, оголодав, выловит рыбок на обед.

Когда я прихожу к Себине, она катится мне навстречу на роликах, пристегнутых к светящимся кроссовкам, которые я ей подарила. Начинаем играть в игру: Себина — официантка, вроде тех, которые обслуживают в американских фастфудах, на роликах, в мини-юбке и с пушистым хвостиком сзади, она видела таких по телевизору. Наклоняется, ставя передо мной пустую тарелку, стакан. Выпрямляется, записывает в блокнот заказ.

— Что желаете, синьора?

— Уштипцы, колачи и клубничный торт.

Кладет передо мной книгу, кухонную прихватку и перевернутую чашку. Я наедаюсь до отвала, двигая губами, будто что-то жую. Она смеется, говорит:

— Да уж... Неплохо бы сейчас клубничного тортика.

Нет ни яиц, ни масла, но мы пробуем приготовить торт из сливового мармелада, подсолнечного масла и ржаной муки. Жарим в сковородке на переносной газовой плитке. Получается нечто жесткое, все в дырах, как в прыщах на нечистом лице. Но мы все равно довольны. Собираем с тарелок крошки, облизываем пальцы. Потом — грохот, который долго будет стоять у нас в ушах. Граната разорвалась совсем рядом. Бабахнуло за спиной, отдаваясь во всем теле. Стены дрожат. Только несколько мгновений спустя мы осознаем, что совершенно случайно остались живы. Такую случайность в Сараеве уже называют чудом. Если бы мы стояли там, где были перед тем, как готовить торт...

Осколок здесь: разворотил окно и застрял в стене. Кусок скрученного металла, заостренный, как штык лопаты, чуть длиннее руки. Вокруг него пошли трещины, настолько глубокие, что проглядывает внутренность стены. Зрелище напоминает скульптуру концептуалиста: стена — земля, растрескавшаяся от засухи, а железная головешка — огромная злоеющая лопата. Портрет Тито не упал, только перевернулся, но остался болтаться на гвозде. Диего должен это заснять, такая картина заслуживает того, чтобы ее увидели.

Сердце, как ходики, качается взад-вперед, отсчитывая секунды. Дом устоял. Затаив дыхание, ждем, когда поврежденное здание заново обретет равновесие. Аквариум с рыбками пока цел. Себина смотрит на него... смотрит, как разноцветные чешуйки переливаются в потревоженной воде. Мы вместе смотрим, как сопротивляется жизнь. Смотрим на рыбок, трепещущих, как лилии нового флага Боснии. Какое-то мгновение, и невидимая трещина ползет по стеклу. Взрыв застрял под водой и только сейчас выбирается наружу. Аквариум, расколовшись надвое, падает и разбивается вдребезги. Выброшенные рыбки подпрыгивают в пыли, пачкая спинки. Себина орет, я кричу ей, чтобы она не приближалась — перекрытия могут рухнуть. Но она ныряет в пыль. Тогда я за ней, и мы на четвереньках ползаем по комнатухе, готовой обвалиться с минуты на минуту, пытаюсь спасти эти созданыща, которые не стоят ничего. Хотя нет, сейчас они стоят дороже всего... как символ, как лилии. Выливаю из канистры немного воды в кастрюлю, бросаем рыбок туда. Чуть позже замечаю в глазах Себины непроливишиеся слезы: мы смотрим на движения рыбок в кастрюле, в грязной от пыли воде. Все живы, кроме одной. Одна качается на воде, как окурок.

— Умерла, бедненькая... — шепчет Себина, — моя Белянка.

Я успокаиваю ее, чудо уже то, что остальные выжили.

Потом Гойко принесет ей новый аквариум: бог знает какими путями

достанет его. Но Себина изводила его целыми днями: рыбки, дескать, не могут жить в кастрюле. Гойко уже жалеет, что в свое время подарил ей аквариум. Потому что корма не достать даже на черном рынке. Потому что живые существа могут умереть. Себина беспокоится, все чаще и чаще приходится спускаться в подвал и оставаться там на много часов. А Себина не хочет бросать своих рыбок.

— У меня сердце разрывается, — говорит.

— Самые большие страдания всегда приносит то, что тебе особенно дорого, — это закон...

Она задумывается:

— Поэтому ты не хочешь иметь детей?

Слезы наворачиваются на глаза, но я легонько щелкаю ее по носу и улыбаюсь:

— Мне хватает тебя...

— Но я же не твоя дочь.

— И моя тоже немножко.

Виснет на мне с недовольным лицом:

— Ладно, только если самую малость... — Показывает насколько: частичка любви между двумя маленькими пальчиками.

Тем утром люди ходили спокойно, женщины в платках, мужчины при галстуках. Необходимо было показать фигу засевшим наверху четникам, этому клубу трех пальцев. Послание предназначалось им: засуньте себе в задницу ваши снайперские винтовки. Яркие платки и размеренный шаг означали именно это. Свидетельствовали о том, что жизнь продолжается. Роддом взорвали, здание газеты «Освобождение» внаглую обстреливали снайперы — все кому не лень. Город казался пустым, потом оживал, расцветал, как луг. На цоколе какого-то дома появилась надпись: «МЫ ВСЕ ЕЩЕ ЖИВЫ». Я смотрела на нее каждое утро из окна, и у меня перехватывало горло.

Накануне выдался ужасный день, горел стадион «Зетра» в Олимпийской деревне, плавилась его металлическая крыша, которой все гордились. Пожарные и добровольцы, спасая ее, работали часами без отдыха. Все уже знали, что после самых сильных обстрелов гора ненадолго замолкала. Было отдано распоряжение о немедленном прекращении огня, на официальный Белград были наложены санкции. Очереди выстраивались за всем. За водой, хлебом, лекарствами... рисковали шкурой, сбиваясь в стаю, точно голуби, но тот день считался надежным, женщины останавливались поболтать на тротуаре, дети сновали у них под ногами. Светило солнце. Это произошло на улице Васе Мискина, где сейчас одна из

самых больших роз памяти. Сохранили и небольшую дверцу, хотя хлеб там больше не продают.

Имена вписаны по порядку мелкими буквами, рядом с мусульманской звездой и полумесяцем, рядом со строчкой из Корана.

Стояли женщины, мужчины, играли дети... Они не знали, что их имена выгравированы на стене, которую без конца будут фотографировать с помощью мобильных телефонов туристы. Они выстроились в очередь за хлебом, из-за дверцы вкусно пахло. Надежный день, когда зайцы выбегают из кустов. Стоял конец мая, ласточки клевали на улице крошки: некоторые люди разламывали хлеб и ели прямо на улице. Счастливики. Тех, кто попроворнее, кто вовремя пришел, оказался в начале очереди, только что взял батон или булочку, без соли и дрожжей. Там были и случайные прохожие, которые остановились поболтать, обменяться шутками со знакомым. Упали три гранаты: две на улице, одна рядом на рынке. И все, кто там находился, отправились в путешествие, взлетели на воздух. Площадь превратилась в сцену театра, с разбросанным повсюду багряным рваньем. Этот алый кошмар обойдет весь мир. Вместе с хлебом, пропитанным кровью.

— Не думал, что у ребенка может быть столько мозга, — говорил старик, опираясь на палку. — Он все вытекал и вытекал...

Женщина сидела на парапете и прижимала к себе двух мертвых детей, как срезанные цветы, одного с одной, другого с другой стороны. Без слез. Другая ползла на локтях, пытаясь достать свою оторванную ногу. Самая выигрышная роль досталась одному мужчине. Он висел, как перчатка, вроде тех, что люди, подобрав на улице, вешают на ограждение, — вдруг хозяин вернется за ней. Разрозненные, печальные, грязные перчатки. Так вот, он свисал, как перчатка, с железной трубы, отделяющей тротуар от дороги. Вместо живота у него зияла огромная, обтрепанная по краям круглая дыра. Позади разбегались люди, кто-то тащил носилки, а он так и висел на своей трубе, наподобие спецэффекта.

Гойко в тот день, казалось, сошел с ума, сразу побежал на площадь, кричал телевизионщикам, чтобы снимали всё...

— Может, хоть сейчас они вспомнят о нас!

Подобрал булочку, разломил ее — мякиш был весь в крови, как в соусе. Протянул журналистам:

— Вот наша кровь, берите, ешьте...

Потом в отчаянии выскочил, словно Иуда, бегущий вешаться.

Город молчал. Тот день был надежным. Приехали парни в маскировочных костюмах, в голубых, как небо, касках... люди поддались

обману, подумали, что это ангелы-хранители, что все закончилось. А сейчас госпиталь был заполнен плотью, которую нужно сшивать. Гора тоже молчала. По телевизору только и делали, что крутили эту кровавую пленку. И звери наверху разбрелись по норам пить ракию, чтобы отпраздновать свою славу.

Мы уехали через два дня. В дома подали электричество, ночью в Сараеве заработали все стиральные машины. Я посчитала это хорошим знаком. Мы доехали до Загреба на автобусе, в котором даже кондиционер работал, — обычно на нем возили паломников в Черногорию. Из Загреба спокойно вылетели на самолете. Мне так много хотелось сказать Диего, а вышло только:

— Как насчет тарелочки спагетти?

Диего улыбнулся.

У него покраснели глаза: первое, что следовало сделать, — это показаться врачу. Тогда я думала, что никакие небесные силы не промоют нам глаза.

За иллюминатором чистое небо

За иллюминатором чистое небо. Никак не могу насладиться его безмятежностью: мирная жизнь, пассажирские авиалайнеры, перелетные птицы. После короткого полета мы спускаемся по трапу под белое крыло самолета. Нас встречают счастливое небо, легкий ветерок с моря и ласточки, вернувшиеся в город.

Нас ожидает папа: он похудел, дополнительные темные линзы опущены на стекла очков с диоптриями. В своей старой хлопчатобумажной рубашке он похож на условно освобожденного. Радостно улыбаясь, горячо обнимает нас. Как будто мы из отпуска возвращаемся. Тут же наклоняется, хватая у меня из рук чемодан, тянется и за чемоданом Диего.

Похож на чересчур услужливого гида, который напрашивается на чаевые. А мы — на туристов. Растрепанных, в пыли, только что с сафари.

Как прошла охота? Удалось заполучить какой-нибудь трофей? Бивень, к примеру, или хвост...

Да, хвост мы с собой везем: грязный, он тянется за нами, путается сзади под ногами. Израненный хвост. Через некоторое время, какие-то несколько дней, он сам отпадет... отомрет, вонючий кусок мяса. И мы вернемся к себе, станем теми, кем были раньше. Гладкие задницы и шампанское на свежем воздухе.

Папа открывает багажник, укладывает наши вещи. Диего осторожно снимает рюкзак со спины, точно это и не рюкзак вовсе, а частица его самого или тело сына.

Сел, развалясь, на заднее сиденье. Папа смотрит на дорогу. На лице застыла дежурная улыбка. Вопросов не задает, ждет, пока я сама не начну рассказывать.

Сегодня папа гонит, не боясь ничего. Как будто сидит за рулем «скорой помощи». Везет двух раненых.

Смотрю на дорожные знаки, на широкую гладкую заасфальтированную дорогу, ведущую в Рим. На похожие друг на друга автомобили, выхлопные трубы которых исправно работают, па упорядоченное уличное движение. Эта нормальная жизнь кажется мне чудом, спецэффектом. Перед глазами всплывают горящие автомобили, их искореженные каркасы. Поворачиваюсь к Диего:

— Как глаза?

Он закрыл их, два набухших красных пузыря, испещренных

крохотными венами... они похожи на брюшки только что родившихся птиц. Папа оживает, он сам позвонит в офтальмологическую клинику, у него друг — главврач.

— Глаза для фотографа очень важная вещь, они и цель, и прицел.

Улыбнувшись, Диего кладет ему руку на плечо.

Мимо мелькают здания: изящные, эпохи короля Умберто; муссолиниевские, с балконами геометрической формы, похожими на верхние палубы корабля; сооружения шестидесятых; барочные дворцы в центре, пропитанные розовым цветом римских закатов.

Белый паук Ватикана, и вокруг — тени соборов, золото выставочных залов, зловоние текстильных складов, диалект бедняцких кварталов и безупречная речь политической верхушки, стада туристов и какой-нибудь обнищавший князь, сидящий у киоска прохладительных напитков вместе с голубями, воркующими рядом с желтым мускулом Тибра.

Я так давно хочу отсюда уехать, но проходит год за годом, а я все еще здесь. И сейчас благодарю Господа за этот грязный мир моего родного Запада.

Люди заняты своими делами, выходят из магазинов, офисов, переходят через дорогу, идут перекусить, бегут в спортзал.

Я хочу всего. Обнять каждую улицу, ходить без оглядки, медленно, с прямой спиной. Войны больше нет.

Вот мы и дома. Запах закрытой квартиры, последней мысли, оставленной нами в этих стенах. На столе так и лежит пакет с белыми листками: ультразвуковое исследование и медицинское заключение, которые я изучала вечером на полу, перед отъездом. Прохожу дальше по комнатам. На кухне тикают настенные часы. Темнеет пасть выключенного холодильника с пустыми ячейками для яиц. Стоит запах ковролина. Фотографии Диего на стене, ноги в ожидании поезда подземки.

Открываю ставни, толкая их от себя, снаружи — грязные разводы. Солнечный луч ползет по фотографиям. Диего прошелся немного по квартире и сел на диван, провалившись в белизну. Говорит, что эти ноги — полный идиотизм, надо их снять со стены.

Не отвечаю. Уверена, все прежние работы будут теперь ему в тягость. Диего рассматривает фотографии, и ему кажется, что их сделал кто-то другой.

Распахиваю все окна. Впускаю свет. Мерю широкими шагами собственные метры паркета. Мы в безопасности, в утробе нашей квартиры. Папа уехал к себе, не захотел подниматься. Помог донести вещи до лифта и ушел.

— Поспите, — сказал, — закройте ставни и поспите, наберитесь сил.

К счастью, есть чем заняться. Протираю губкой стол на кухне, стелю свежее постельное белье. Диего помогает, взялся вымыть пол. Выжимает тряпку так, будто собственноручно сворачивает кому-то шею, швыряет ее на пол. Случайно подвернулась возможность разрядить эмоции, это полезно. Можем наплевать на все, пойти гулять, вызвать домработницу. Но нам нравится. Хорошо, что есть возможность немного размяться, подвигаться перед распахнутыми окнами. Нет ничего лучше, чем отмывать собственный дом... откликаться энергичными толчками тела на тщету усилий, на стиснутые мысли. В один огромный пакет для мусора Диего выбрасывает горы пробников, неудавшихся фотографий, я — все результаты анализов, ультразвуковые исследования. Тема закрыта. Мы обнимаемся посреди гостиной, вспотевшие, в римской пыли. Одновременно поворачиваемся к окну, точно увидели снимок. Или снайпера. Кто знает, а вдруг нотариус из дома напротив вставил винтовку с оптическим прицелом в вентиляционное отверстие кондиционера?

Немного погодя выходим на рынок, теряемся среди прилавков, изобилующих сезонными овощами, помидорами, черешней в ящиках, редиской в тазах с водой. Хватаясь за жизнь, покупаем всего. Диего надел сандалии, которые откопал в кладовке, эти сандалии апостола сидят на нем как влитые. Кто-то здоровается с нами, другие интересуются, где мы были.

— За границей, — отвечаем. — За границей.

Закладываем в холодильник продукты, делаем салат из листьев всех цветов. До отвала наедаемся витаминов. Отрезаем свежего хлеба, даже открываем красивую бутылку белого вина. Я положила ноги на стол. Диего гладит их с закрытыми глазами и косяком во рту.

Мы не разговариваем. И так все ясно. Нет нужды говорить. Пусть достанется телу это приятное время, мы уезжали в чужие края и вернулись.

Наступает вечер. Я смотрю на Диего, сидящего у окна, которое отделяет нас от мира, от уличных голосов, от людей, возвращающихся из ресторанов. Он проводит рукой по целому стеклу в деревянной раме, что кажется чудом. Мы помним полиэтилен на окнах, напоминающий повязку на глазах раненого. Спрашиваю себя, сможем ли мы когда-нибудь увидеть, что происходит за этим окном?

Мы вернулись к прежнему образу жизни. Ощущение, будто взваливаешь на себя любовника, которого разлюбил, но к которому испытываешь тягостную привязанность, обременительное чувство долга. Принять душ с утра — и на выход, навстречу дням, которые нам как будто больше не принадлежали. Диего, придумывая себе разные дела, уезжал, как

и раньше, на своем мотоцикле, в белой рубашке, похожий на себя прежнего. Попрощавшись, я оставалась у двери, прислонившись спиной к стене, тяжело дыша. Тишина дома пугала меня; не отдавая себе отчета, я ходила так же, как в Сараеве, — поближе к несущим стенам, точно страшась внезапного обвала.

Прихожу в офис. Директор недоволен моим долгим отсутствием:

— Все-таки ты главный редактор, Джемма.

Развожу руками:

— Жаль, что подвела...

Смотрю на серые компьютеры, на лица коллег... Виола приносит мне капучино из бара, круассан. Никак не может оставить меня в покое, пристроила задницу на мой стол и говорит, говорит, говорит. Думаю про себя: «В Сараеве она бы не выжила, с ее бесхитростностью, ленью и низкой самооценкой... нет, ее доброта не дала бы ей шанса, не перевела на другую сторону улицы. Снайпер впился бы в ее шаги и не упустил случая поразвлечься. Классическая жертва». В конце концов, и я всего лишь использовала ее, отделялась шуточками, никогда особо не откровенничая. Смотрю на коллег в редакции, уже не первой молодости: так же как я, на скорую руку закончили университет и лавируют по жизни. Маленькие акулы, стареющие в лягушачьем болоте. А что, если выстрелить в них, продырявить им лоб и посмотреть, как они обмякнут в своих ничтожных начальственных креслах? От скольких моих коллег я избавилась бы сегодня, послав их ко всем чертям... с их мелочными обидами, жалобными голосами.

Набираю номер Диего:

— Как ты?

— А ты?

Мы солидарны в нашей замкнутости. Не вспоминаем. Оба поступаем одинаково, пытаюсь держаться подальше от всего. Как можно дальше отодвинуть от себя те дни, прикрываясь другими, сегодняшними, вяло текущими.

Пишу заметку о навозе. В Индии его используют как топливо, а в Норвегии один человек построил из него дом. Из говна, имеется в виду. Смешно. Одна мысль меня утешает, я ее баюкаю, точно куклу. Как хорошо, что у меня нет детей. Вчера вечером по телевизору показывали мать, обмывавшую тельце своего мертвого ребенка перед похоронами. Я была на кухне, резала хлеб, отложила нож в сторону. Перекрестилась. Доброго пути, бестолковая жизнь. Выключила телевизор, опять взялась за нож. «Это не твой ребенок, Джемма, — сказала я себе. — У тебя нет детей, тебе

повезло».

Идем на вечеринку к друзьям. Вернулись к нормальной жизни, к одежде из химчистки. Дуччо отмечает свой день рождения. После зимы снова открыта летняя веранда, внизу плещется Тибр, золотящийся от яркого освещения летних праздников, книжных презентаций и всякой ерунды. Ангел на куполе замка Сант-Анджело сияет в ночи. Я на каблуках, плечи оголены. Диего в тончайшем льняном пиджаке, с распущенными волосами, длинными баками. Нам страшно надоело грустить, захотелось выйти на люди под руку, свежими после душа, ухоженными. Сегодня мы красивые, как в кино. Сразу при входе бокал шампанского, потом следующий, с серебряного подноса официанта, безликого, только его белая рука протянута к нам. Божественные, матовые от прохлады бокалы. По два на каждого, чтобы сразу почувствовать себя хорошо.

Все приглашенные из круга Диего, светское общество, приближенное к культуре. Смешанное, как закуски в вазочках: пучок зелени и морковка, полоска сладкого перца и редиска.

— Привет, как поживаешь?

— Отлично, а ты?

Что-то едим: канапе с омаром, хлебную палочку с ветчиной.

Оказываемся в углу террасы, его рука на моем плече, затуманенный взгляд... наблюдаем за неспешно жующими гостями. Подходит Дуччо с каким-то незнакомцем, говорит о Сараеве, что мы ездили туда. Оставляет его с нами — эту тряпку, этого карпа в очках, с сигарой, не заслуживающего даже отвращения. Хочет узнать побольше, поговорить. Журналист, из тех, что сами сидят в редакции, а репортажи с места событий поручают молодым.

Нет никакого желания даже рот раскрывать, отвечаем односложно: да, нет. В любом случае карп разговаривает сам с собой, и так все знает из прессы. Через некоторое время вокруг скапливаются люди. Потасили нас на большой пышный диван. Война в Сараеве вошла в моду, теперь это главная беда года.

Можно качать головой, ругать Америку и Европу. Все жаждут свежих новостей об этом городе, превращенном в отъезжее поле для охоты на зайцев. Приходится вспоминать, рассказывать, чтобы возвратить человеческое достоинство тем зайцам. Но как передать запах в тихих домах, более уютных, чем наши; отвагу женщин, которые не только осмеливаются выйти на улицу, но и красятся перед выходом... где найти слова, чтобы описать мертвую руку, изрешеченную плоть, застывшую в пыли? Журналист, не вылезавший из офиса, заводит пластинку об

этнической ненависти между варварскими племенами. Стильный мужчина и женщина-интеллектуалка спорят, мужчина стоит на том, что Европа боится ислама, женщина с ним не согласна: Европа боится Германии, ее банков и фабрик, еще со времен Второй мировой.

Хочешь достойно выглядеть, заведи речь о международной политике, только эти пустые лицемерные разговоры ничего не дают нового ни миру, ни нам самим. Мертвый ребенок, которого обмывает мать-мусульманка, ничего не значит. На этой веранде ведется игра в Цивилизацию.

— О чем задумался?

— О Гойко.

Он разгромил бы бокалы, опрокинул на пол подносы с канапе. А может, и продал бы задницу в обмен на хорошие чаевые, приковал к себе всеобщее внимание, болтая всякую чушь. Правда слишком очевидна, слишком банальна, а все хотят считать себя самыми умными...

Эта война, такая близкая и такая жестокая, разжигает нездоровое любопытство. У женщины рядом со мной доброе сердце; почесывая уже загорелую ногу, она смотрит на меня с выражением искреннего сочувствия. Перечислила деньги на счет католической благотворительной организации «Каритас» в Сараеве. Пытаюсь рассказать хоть что-нибудь о мирных и светлых людях, которых я знаю, об их безмерном достоинстве. Кивает, но, кажется, ее это не трогает. Сложился некий стереотип Востока, предвзятое к нему отношение.

Диего молчит, за все время не произнес ни слова. Пролил красное вино на льняной пиджак. Ничего страшного, в химчистке пятно выведут.

Подходит девушка, дочь кого-то из гостей, с густыми волосами и маленькими грудками, похожими на горошины. Обожает Работы Диего, его лужи. Тоже интересуется Сараево, модным городом. Диего берет ее под руку, отводит к балюстраде, выходящей на набережную Тибра, на римский вертеп святого города, на «белого паука». Вытягивает руку и изображает стрельбу, та-тата-татата-татата...

Девушка не понимает, в чем дело, хихикает. Потом потихоньку отходит.

Фотограф напился, целится в проезжающие мотороллеры, в красавчиков, остановившихся возле киоска с разноцветными напитками, выкрикивает:

— *Enjoy Sarajevo...*

Все оборачиваются к нему. Я подхожу, делая вид, что мне смешно:

— Пойдем домой, любимый. Поздно.

Дуччо стоит у двери, красные помочи на черной майке.

— Что на тебя нашло, черт побери?

Диего тянет за помочи и отпускает. Дуччо получает щелчок, последняя выходка умалишенного фотографа.

Однажды вечером Диего громко зовет меня. Я жарю яичницу, но отрываюсь от плиты и бегу в гостиную. По телевизору показывают Гойко. Это он, живой, такой же, как всегда, только давно не стригся. Говорит на итальянском: «У нас тут война, а не гуманитарная катастрофа, мы должны защищать себя. Нам автоматы нужны, а не ваши макароны!»

Ведущий пытается забрать микрофон, но Гойко вцепился в него. Он переходит на родной язык, кричит, клеймит Миттерана, который приехал в Сараево проветриться; ругает голубые каски ООН, похожие на сломанные светофоры...

— Пьяный он, что ли?

— В стельку.

Долго не можем забыть безумный взгляд Гойко, нашего друга-поэта, который сегодня был похож на ветерана вьетнамской войны.

Яичница сгорела. На ужин опять сыр.

Ждем окончания войны. Тем временем взлетели на воздух два универмага, один на улице Маршала Тито, другой на площади Раде Кончар. Диего злится, глядя в телевизор, вопит на корреспондента в пуленепробиваемом жилете и летнем кашне: «Убирайся, на хрен, я хочу видеть, что у тебя за спиной!» Переключает с канала на канал в поисках новостей. Одни и те же репортажи повторяются из выпуска в выпуск.

Но его не оторвать от экрана. Сидит, пересматривая одни и те же кадры, будто надеется обнаружить что-то такое, чего не заметил раньше... как в лужах, как на фотографиях.

Ищем друзей среди испуганных фигур, мелькающих на экране в коротких репортажах из Сараева. На мертвых не смотрим, переключаем.

Ищу улыбку Себины, с дыркой на месте выпавших молочных зубов. Куда подевалась моя крестница? Пишу ей почти каждый день, но от нее все нет ответа. Интересно, цело ли еще здание с голубыми решетками... всматриваюсь, впиваюсь в экран. Почему не показывают ту улицу в Ново-Сараеве? Куда направлена твоя телекамера?

Мне кажется, они снимают одни и те же дома на одних и тех же улицах. Оператор выходит на короткое время в город, потом возвращается на диваны в «Холидей-Инн», где собираются представители международной прессы.

Почти каждый вечер пытаемся связаться с Гойко. В телефоне слышны незнакомые, невнятные голоса, потом что-то вроде радиопомех... урчание в

животе человека, страдающего несварением.

Сегодняшний ужин снова поджаривает на сковородке, превращается в угольки. По телевизору показывают зоопарк в Сараеве... пантера и бабуины умерли, запертые в клетках. Смотритель зоопарка не мог добраться до них, чтобы накормить и напоить. Я смотрю на покрытые шерстью тела, застывшие в пыли, по лицу текут слезы. Может, оплакиваю животных, потому что по людям больше нет сил плакать. Или плачу, потому что вспоминаю тот день в зоопарке с Аской, когда она купила пакетик орешков, просунула руку между прутьями и кормила обезьян... потом сама вошла в пустую клетку и стояла там, качая головой.

Сегодня опять сыр на ужин. Диего вертит на столе корочки, выкладывает букву — букву «А». Я увидела это позже, когда мыла тарелки.

Диего начал работать, встает с утра, одевается, снимает с подножки мотоцикл, уезжает. Теперь он часто летает в Милан, фотографирует весь день, вечером садится на последний самолет.

— Как прошел день?

— Нормально.

Когда Диего возвращается, я пытаюсь поговорить с ним, но чувствую, что он весь на нервах и легко выходит из себя.

— Ничего особенного, сама знаешь...

— Кто там был?

— Все те же. Кто, черт побери, должен еще быть?

Подходит, трется об меня головой, обдает своим запахом. Просит прощения, у него безумно болят глаза из-за черных занавесей, на которых скапливается пыль, и этого проклятого света. Умывается под струей холодной воды на кухне, отходит от раковины с мокрыми волосами. Вода стекает по рубашке, но тут же высыхает. С улицы поднимается горячий воздух, как из фена. Как там Гойко и другие обходятся без воды?

Мы едим, сидя на своих обычных местах на кухне, друг против друга, за столом, который, как продолжение подоконника, выходит из стены. Нам нравится, чувствуешь себя как в поезде. Приятно выглянуть наружу, бросить взор на дорогу, на прохожих. Диего жует, глядя в темноту. Потом берет меня за руку, медленно распрямляет на столе мои пальцы:

— Хочешь знать, что я сегодня делал?

Касается моих вен, трогает ямки между пальцами. Движения усталые, как и голос. Он сегодня слегка пришепечивает.

— Я весь день фотографировал тунца в консервной банке. Сначала в закрытой, потом в открытой. Часами искал правильный свет, чтобы выделить прожилки тунца, чтобы масло заблестело.

Мы смеемся, он рассказывает, что у тунца была даже гримерша, она не переставала подливать масло, заменять новым. Если тунец хоть немного терял вид под светом, относила его в гримерку, точно уставшую модель. Говорит, что извели гору тунца, который все равно не предназначался для продажи: в консервы идет тунец второго сорта, просроченный. Не филе, а потроха.

— Обман, да и только.

— Как и все остальное.

— Мир летит ко всем чертям, — говорит, — и мы заодно с ним.

Смеется, открывая все свои кривые зубы.

Почти ничего не съел.

На столе черешня, ягоды срослись по две, в обнимку, как влюбленные парочки. Проглатывает несколько вместе с косточками.

Повторяет:

— Сегодня целый день фотографировал тунца в консервной банке.

Встает из-за стола, повесив на уши по паре сцепленных черешен. Делает три шага и блюет прямо на ковер. Извиняется, говорит, не успел дойти до ванной.

— Тебе плохо?

— Нет, хорошо.

В воскресенье закрывается в темной камере. Проводит весь день там, среди кювет и химических растворов. Через увеличитель просматривает негативы в луче прибора. Ему нравится закрываться в этой тюремной камере, единственном собственном убежище нашего общего дома.

Он не продал ни одной фотографии из Сараева. Распечатал несколько снимков и оставил себе, бросив в серую кучку.

Домработница-сомалийка приходит убирать нашу квартиру, иногда приводит с собой дочку. Меня это больше не беспокоит, напротив, мне нравится смотреть, как она сидит в уголке на кухне. Я спокойна, когда она там сидит, и спокойна, когда уходит. Не испытываю никаких чувств.

Домработница вытряхивает мусорную корзину Диего, в которой валяются разорванные снимки. На пол падает один кусок. Снимок черно-белый, поэтому цвет волос неразличим, но эта прядь и половина светлого глаза принадлежат Аске. Когда я осознаю это, уже поздно, женщина уносит пакет с мусором. У меня остается только этот кусок, я смотрю на него, выбрасываю.

Август, из города почти все уехали. Остались заложники: старики, одинокие, инвалиды... тяжелобольные, которые не в состоянии подняться с больничных коек. По телевизору, снимая сверху, показывают дикие пробки

на автостраде. Закрыли бар, ресторан тоже закрылся, в окна больше не просачивается аромат бифштексов и жареных артишоков.

Мы нашли одно заведение, где не подают спиртное, пьем молоко и оршад рядом с бедными завсегдатаями из этого квартала: толстыми тетками в расстегнутых до самых ляжек передниках и в шлепанцах, стариками в майках. Это заведение для отдыха сотрудников уж не знаю чего; нас пускают только потому, что лето, — зимой там танцуют чопорные танцы былых времен, дергаясь наподобие марионеток. Под навесом на размеченной площадке, освещаемой белой лампочкой, как в тюрьме, старики играют в шары, «бочке». На стене висит одна из тех ядовитых штуквин со светящимся голубым наконечником для уничтожения насекомых. Хотя это приспособление предназначено для защиты от комаров, в нем гибнут тучи мотыльков. Обугленные бабочки падают на специальную металлическую подставку, которую потом вытряхивают. Мы потягиваем оршад и слышим отвратительные звуки: удары, треск горящих крыльев. Саундтрек нашего лета.

Когда-то я и нескольких минут не выдержала бы в подобном месте. А сейчас мне все безразлично, пусть эти мотыльки падают и мрут. Диего похож на ребенка с усами от молока под носом. Закуривает косяк; старик, почувствовавший странный запах, поворачивается к нам. Диего приподнимает сигаретку.

— Наркотик, — говорит.

Старик кивает, бросает шар, зарабатывая очко.

Это одно из тех мест, где людям друг на друга плевать, каждый занят своим делом. Район опустившихся людей, подпольных иммигрантов, веселых борделей. Мы обнаружили его, когда кружили на мотоцикле летними ночами, вцепившись друг в друга. И здесь нет никакой случайности. В каждом городе, если поискать, всегда найдется место, напоминающее о войне.

Диего говорит:

— Я хочу вернуться туда.

Он говорит, а тем временем из фумигатора доносится треск. Они что, не видят, глупые ночные мотыльки, куда летят? Зачем стремятся один за другим на тот свет, на смерть? Да какое мне, черт побери, до них дело? Я опьянела от оршада, сижу на пластиковом стуле, чуть расставив ноги, вялые и потные. Диего совсем бледный, не провел ни одного дня на солнце, на нем грязно-белая футболка, в которой он когда-то бегал; взгляд умирающей птицы.

— Ты закапал в глаза?

— Нет, хочу ослепнуть, — смеется.

Все равно я уже давно знаю, чувствую это. По-настоящему он так и не вернулся. Не такого мира мы хотели. Аска все время была с нами, преследовала нас этими вечерами обманчивого покоя.

— Хочешь вернуться к ней?

Он не отвечает, улыбается, слегка поджав губы. Не могу даже разозлиться. Как можно злиться на тоскующего сына?

На лестнице, когда мы поднимаемся в квартиру, начинаю его пинать, пропускаю вперед, потом вцепляюсь в эту мальчишескую майку, кричу, что я видела клочок фотографии, видела букву «А», выложенную из сырных корок.

Он оборачивается, защищается локтями.

В ярости влетаю в дом, громлю все подряд, не включая свет, бегу напрямик в его каморку, там переворачиваю все вверх дном, опрокидываю бутылки с реактивами, швыряю на пол экспанометр и объективы.

Диего сидит не шевелясь на диване, смотрит на меня, спокойный как удав.

Потом говорит:

— Черт побери, так, навскидку, ты, наверное, нанесла убытка на пять-шесть миллионов лир...

Ползаю на четвереньках, собирая осколки. Прошу прощения, ужасно жалко, из нас двоих крохобор — это я, я не люблю бросать деньги на ветер. Ему на все наплевать.

— Нам была нужна разрядка, — говорит.

Да и в принципе приятно, что я все еще ревную его.

Зовет меня тем, прежним голосом:

— Иди ко мне...

Долго целует меня в губы, потом облизывается, говоря, что я самое вкусное, что есть в его жизни.

Смотрю на себя в ванной, пока стираю косметику с глаз. Мне не нравится мое отражение в зеркале. Всегда вижу в себе одни недостатки. Как я могу ревновать к этой бедной девушке, которая подышает там вместе со своим городом?

К этой овечке-панку, которая танцует, спасаясь от волка?

Чуть позже включили телевизор, показывают летнюю юмористическую программу, смотрим любительские фильмы, кошек, облизывающих попугаев; невест, у которых рвутся свадебные платья и спадают юбки; детей, спотыкающихся по сто раз.

Итак, мы решили ехать. Из опустевшего летнего города уезжаем к папе

на море, ему не будет скучно, и мы развеемся.

Выехали на автостраду. Диего ведет мотоцикл по мягкому асфальту, я прижимаюсь к нему на удушливом ветру. Запах в доме остался прежним, словно время его взяло в заложники. Это еще бабушкин запах — запах ее вспотевшего после долгой прогулки по берегу тела, запах, приготовленной ею еды. Запах ее вздохов, упреков. Кому? Мне? Рыбам?

Папа рано утром выгуливает собаку, идет по самой кромке воды, пока работники пляжа ровняют граблями песок, раскрывают зонтики.

Противное море, плоское, вязкое.

Диего нехотя плавает.

— Ничего не видно, — говорит.

Уходим до того, как появятся ракетки, радиоприемники, кокосовые кремы от солнца.

По ту сторону моря лежит израненный берег. Острова, куда еще прошлым летом плавали утром туда, вечером обратно на катерах, на рейсовых паромах. В ясные дни видны безлюдные силуэты камней, в сторону которых больше никто не смотрит, словно они относятся к другому морю.

А здесь купаются, едят фруктовый лед, покупают бикини, туники из Марлевки, торгуясь на солнцепеке с бродячими торговцами, нагруженными, как верблюды.

Здесь я вспоминаю свое прошлое, на этом мелководье, которое мне никогда не нравилось. Помню парня, который приводил меня в чувство с помощью нашатыря, после того как меня уколола рыба-дракон, так что даже нога онемела. Тогда я впервые в жизни обратила внимание на мужчину.

Папа открыл для себя, что это отвратительное место больше не раздражает его. Он тоже злился на свою мать, вечно о чем-то пекущуюся, чем-то недовольную. Но если подумать, ей тоже ведь тяжело было ехать сюда из Рима на автобусе, чтобы поменять постельное белье постояльцам, поругаться из-за дырки на обоях или испорченной ванны. Однажды вечером мы об этом говорим, а Диего слушает. И в какой-то момент папа просит у меня прощения за то, что оставлял меня здесь каждое лето.

— Дети не должны грустить. Собаки и то не должны, тем более дети...

— Вы оба работали, папа. Не было выхода.

Задумывается:

— Нет, выход есть всегда.

С тех пор как умерла мама, он все больше недоволен собой. Диего смотрит на него. Ему всегда не хватало отца, и сейчас, мне кажется, он

приехал сюда его обрести.

Нам хорошо вместе, ужинаем на кухне, открыв дверь на слишком узкий балкончик, стол туда не поставишь. Скромная квартирка с тонкими стенами, так что слышны голоса других отдыхающих, звуки включенных телевизоров. Моря не видно, одни крыши с антеннами. Папа приготовил мидии под соусом.

Первый вкусный ужин за последнее время: макаем хлеб в соус, открываем еще одну бутылку пива. Папа курит, вспоминая мое детство, когда я была противной девчонкой, слишком погруженной в себя, и никому не нравилась, поэтому он всегда был только со мной, а я — с ним.

Пользуясь случаем, Диего просит рассказать обо мне еще. И папа встает, передразнивает меня. Скрестил руки, как я когда-то делала, считая себя лучше других. Мне стало грустно при воспоминании о детстве.

— Матушка Аббатиса — вот как звала ее бабушка... — смеется.

Я легонько ударяю его по руке.

Диего смотрит на нас, какой прекрасный вечер.

Мы еще об этом не знаем, но он будет последним вечером, который мы провели вместе. Хотя, возможно, тот, кто наверху, знает. Станный луч света ложится на нас — это Бог освещает прощание.

Тайная вечеря молодого апостола. Он купался, мокрые волосы собраны в хвостик. Курит косяк, папа просит сделать затяжку.

— Папа, ты что?

Пожимает плечами:

— А что особенного...

Папа пошел спать веселым, а мы спустились поесть мороженого. В ночной бар на пляже, где посетители танцевали на круглой бетонированной площадке: девушки, черные, как негритянки, с огромными белыми серьгами в ушах, с длинными челками, как у шнауцеров, и парни с прилизанными волосами, в облегающих ярких майках... местный туризм, люди, потянувшиеся из центральных районов на побережье.

Потом Диего просит меня заняться любовью. Закрывает глаза. Мне знакомо это жалобное поскуливание кутенка, который тычется вслепую в поисках молока... мы сидели на пляже, как два подростка, слушая грохот, доносящийся из дискотеки, гул голосов из бара...

— Пойдем домой...

Стащил меня на песок, между лежаками. Впился в меня, точно весло в свою уключину, боролся посреди ночного безлюдья, будто спасая меня от бушующих волн.

Наутро я проснулась одна. Легли спать мы уже дома, скомканная

постель была вся в песке. Я подумала, что Диего пошел в бар за круассанами и газетами. Он вставал голодный, и завтрак — единственная еда, в которой он по-настоящему нуждался. На мгновение я представила, как он, насытившись, наслаждается ранним солнцем, сидя за пластиковым столиком.

Я спустилась кое-что купить, гараж был открыт. Папа наводил порядок на полках, отчищал цилиндрический ключ от ржавчины тряпкой, пропитанной скипидаром.

— А где Диего?

Пакет с половинкой арбуза и помидорами выпал из моих рук. Я оперлась о прохладную стену.

Папа оторвал взгляд от ключа. Сделал пару шагов в мою сторону:

— Прости.

Он говорит медленно, как некогда перед студентами. Я слушаю его в этой странной обстановке, в гараже, похожем на ангар. Говорит, что Диего приехал сюда именно для этого, чтобы покинуть страну, потому что Анкона отсюда в двух шагах. Папа пытался его разубедить, но... Качает головой.

Тогда он купил для Диего бронежилет на складе военной одежды.

— Очень хороший, — говорит, — с металлическими вставками... какие носят в Северной Ирландии...

В его глазах сумасшедший блеск. Смотрю на него и думаю, что он спятил.

Представляю себе моего бедного старика, который примеряет тот жилет, ощупывает его, бьет по нему кулаком, проверяя на прочность. И потом надевает на костлявые плечи сына, которого у него никогда не было, юноши, которого любит, но отпускает на войну.

Стучит по голове костяшками пальцев.

Отчаявшийся виноватый вид. Чуть ли не просит у меня помощи. И что?

В ангаре стоит мой детский велосипед с белой корзиночкой. Мы вместе катались среди сосен: я впереди, он чуть сзади. Ненавижу всю свою жизнь... свое детство, бесполезную зрелость.

— Вот, возьми...

Сложенный листок в клетку вырван из блокнота. Без конверта, словно ему нечего больше скрывать.

Всего одна строчка.

«ЛЮБИМАЯ, Я УЕЗЖАЮ. ДИЕГО»

В Риме мне каждую ночь снилась его поездка. Мотоцикл, пробирающийся по тропам, контролируемым незаконной милицией. Мальчишеское лицо, глаза устало всматриваются в темноту этой земли, где больше нет света.

Я жила перед телевизором. Видела пепелище Национальной библиотеки. Диктор сказал, что город окутан пеленой пепла. Все книги, хранившиеся там веками, превратились в густой рой пчел с черными крыльями. Этот землистого цвета снег, прошедший в августе, похоронил память людей. Символ открытого города, его культурных традиций, перемешанных, как вода. Миляцка почернела от сажи, превратилась в длинную траурную ленту. Я подумала, что от библиотеки, наверное, ничего не осталось. Помню, худенькая девушка в очках снимала книги с полок, несла их по длинному коридору, стопкой по три-четыре тома максимум. Почтительно, осторожно ступала, боясь уронить, будто несла маленького ребенка, потом раскладывала книги перед студентами, вместе с инструкцией, и просила осторожно перелистывать страницы.

Теперь она, должно быть, там, ползает на четвереньках, вся в саже, как в крови, среди других молодых добровольцев, которые роятся, пытаются спасти хоть какие-то страницы, какую-то часть себя среди этой расправы. На один миг мне показалось, что я увидела Диего, но нет, это был не он, кто-то другой.

Потом он позвонил:

— Это я.

Его голос, металлический, удивительно близкий.

— Ты где? Где ты?!

Он говорил по спутниковой связи из «Холидей-Инн», с мобильного телефона корреспондента канадского телевидения. Он звонил из вестибюля, стоял адский шум, кто-то рядом орал на английском, я слышала даже смех, более отдаленный, но различимый.

— Как ты?.. Говори громче!

— У меня все в порядке, все хорошо.

Он казался невероятно спокойным.

Я спросила, как он доехал. Диего помолчал, — казалось, он об этом уже забыл. Рассказал, что пробирался через Черногорию, слушал мессу... единственный мужчина в толпе плачущих крестьянок. В сербских анклавах мальчишки приветствовали его, поднимая три пальца. Его останавливали все: сербы, хорваты, мусульманские «зеленые береты», но журналистского удостоверения и нескольких сотен марок оказывалось достаточно. Последний, наиболее коварный отрезок, горный перевал через Игман,

охраняли три бронетранспортера ООН, сопровождающие грузовики с гуманитарной помощью.

Я так много хотела сказать ему... Ждала этого момента целую неделю, не выходила из дому, сидела, не отрываясь от телевизора, а сейчас совершенно растерялась.

Сказала какую-то глупость:

— В тебя не стреляли?

Он сделал паузу, ответил, прокашлявшись:

— Пока нет, нет...

Спросила про Гойко и Себину, Велиду и Йована, Ану и других.

Все были живы.

— А Аска? Ты видел ее?

Я застыла, опустив руку с зажатой в ней трубкой, которая издавала короткие гудки, не решаясь повесить ее, будто Диего мог вернуться издалека...

Он благополучно проделал многокилометровый путь через горящие деревни, минные поля, взорванные мосты и вернулся в город, из которого другие пытались унести ноги. Двигался наперерез эшелонам с беженцами, сиротам, бегущим из осады. Теперь он был там, в том гробу.

Я позвонила папе:

— Он добрался.

Слышала, как он плакал, откашливаясь, прочищая стиснутое горло.

— Он сказал, где живет?

— Я ничего не знаю, папа.

Моим фронтом стал этот безмятежный город, этот чистый и опустевший без Диего дом. Нигде больше не валялись его джинсы, окурки, катушки пленок, закатившиеся под диван. Весь беспорядок принадлежал только ему, а может, и жизнь тоже. Одна, я ничего не разбрасывала, прозябала. Была никем, без всякого запаха. Ела и тут же мыла за собой тарелку. Постель всегда оставалась нетронутой. Сидела перед пианино, оно мне казалось огромной белой урной, вмещающей прах наших лучших дней. Ждала мира, постановлений ООН. Слушала папу римского, умолявшего сложить оружие. Тем временем в Женеве виновники кошмара пили минеральную воду.

Он был на том фронте, который сам выбрал. Где гранатами были выбиты стекла.

А посредине ничейной землей стало мое тело, оставленное в небрежении, точно выжженная пулеметным огнем зона между двумя траншеями. Где на рассвете случайно пробегает белка, оглядывается,

чувствуя присутствие человека, но не видит людей, спрятавшихся за мешками с песком.

Так и я растерянно сновала туда-сюда, не веря в происходящее.

Продолжала крошить хлеб нашей птичке, только должна была оставлять его снаружи, на подоконнике, потому что мне она не доверяла. Привыкла к руке Диего — мальчишки, который даже зимой открывал окно, не надевая рубашки.

Почти каждый день я ездила в Министерство иностранных дел за новостями, часами ждала, чтобы поговорить с чиновником.

— Я должна ехать к мужу.

Нужно было получить разрешение, чтобы вылететь в Боснию на одном из военных самолетов.

— Это огромный риск, придется подождать.

— Не могу больше ждать.

Я решила пересечь ничейную землю и достигнуть другого фронта. Потом позвонил Гойко. Хриплый прокуренный голос. Раннее сентябрьское утро. У Диего все в порядке, живет с ним в общей квартире. Дозвониться очень трудно, практически невозможно. Он торопится, звонит из телевизионного бункера по спутниковой связи, какой-то друг одолжил ему телефон.

— Как дела? Как вы?

— Держимся.

По телевизору говорят, что город полностью разрушен, почти все здания взорваны. Гойко отвечает:

— Нет, нас пока еще не согнули.

Спрашиваю о Себине. Отвечает, что она больше не тренируется.

— Переправь ее в Италию.

— Сейчас очень сложно уехать.

Опять иду в МИД. Я подружилась с чиновником, молодым оптимистом, похожим на агента по недвижимости, — щеголем в модном широком галстуке.

— Напишите мне имя и фамилию девочки.

Замираю с ручкой в руке. В голове каша, не могу ничего припомнить.

— Может, хоть адрес?

— ...Такая широкая улица, в Ново-Сараеве...

Я заплакала.

— Хотите кофе?

Начался сентябрь, в новостях передают, что на границе Сараева, в районе горы Зеч, упал итальянский военный самолет «G-222»,

выполнявший мирную миссию. Летел с грузом теплых одеял на зиму. Его подбила ракета, попавшая в крыло. Молодые жены ждут результатов поисков, застыв перед телеэкранами. Героев-летчиков в клочья разнесло по неприступным вершинам, высотой более двух тысяч метров, но жены надеются. Прижимают к себе детей. Дети удивлены: зачем все эти люди стучатся сегодня в их дома, которые раньше никого не интересовали, из которых вышел их отец в форме, как всегда, один.

Ночью думаю о тех вдовах, о широких кроватях, купленных в кредит, опустевших с одной стороны. С ними будет то же, что со мной, — они оцепенеют в темноте. Будут вытирать слезы, чтобы не замочить наволочку.

Думаю об этих детях, о том, что они никогда больше не сделают привычного движения. Не поднимут ручонку, не подадут ее отцу.

На военную базу Пизы переправили гробы, обернутые итальянским флагом в знак героической гибели. Воздушный мост прерван. Город-мученик отрезан от всего мира, отдан на милость своих палачей.

Служащий министерства торопится повесить трубку. У него нет для меня времени.

— Гуманитарные рейсы приостановлены, синьора.

— Но я должна ехать.

— Там настоящий ад.

— В том аду находится мой муж.

— Сочувствую вам.

Мое сопротивление складывается из мелочей: нельзя делать резких движений, иначе пирамида разрушится. Нельзя ее трогать. Может, так беда забудет о нас, пройдет мимо. Просыпаюсь среди ночи: сидя на кровати, двигаю ногами, будто бегу. Мне приснилось, что звонит телефон и голос чиновника из трубки: «Сочувствую, синьора, но ваш муж помешался, некоторые люди хотели бы знать, где он. Не хотите кофе?»

На работе тоже не отрываю взгляда от телефона. Вот сейчас, думаю, сейчас позвонят из МИДа и дадут разрешение на выезд. Поднимаю трубку проверить, есть ли связь. Потом Виола подходит со своей никчемной улыбкой, успокаивая меня. Если бы что-то случилось, мне бы уже сообщили. Там полно журналистов и добровольцев, людей, которые ездят туда и обратно и не погибают. Но дело в том, что я его знаю... его всегда заносит в сторону, на окраины, к маленьким лужам. Центр, смещенный от центра, — вот что его притягивает. Боюсь, что он ходит по открытой местности.

По телевизору показывают концлагерь, уже обнаружили пять таких на территории Боснии. Самый ужасный — рядом со старыми железными

рудниками. Беззубые, искалеченные, истощенные люди — такого не видели уже давно.

Потом звонит Диего и на этот раз, кажется, может разговаривать дольше. Слышу взрыв, спрашиваю у него, что это было, отвечает, мол, музыка дня.

— Подожди.

Слышу другие шумы, отрывистые. Зову его:

— Диего! Диего!

Возвращается:

— Слышала? Автоматные очереди. Гаубица. Граната. Обстреливают больницу...

— И по больницам стреляют?

Смеется. Спрашиваю себя, сошел ли он с ума или всего лишь напился?

Еще одна неделя молчания. Иду в парикмахерскую. Располагаюсь на этой поляне благополучия, чего только не делаю, педикюр в том числе. У женщин вокруг элегантные сумочки, у них есть дела, которые ждут их в городе, возобновившем свою круговерть после летнего отдыха. У меня ничего нет, кроме моего заброшенного тела. И головы, которой я пыталась придать внешний лоск. Я заложница этой ничейной земли. Выхожу оттуда, похожая на куклу, благоухающая ароматами, чуждыми мне. Идет дождь, но я не открываю зонт, с удовольствием позволяя ему испортить прическу.

Витамины, фонарики, батарейки

Витамины, фонарики, батарейки. Что еще? Все, там нуждались во всем, у людей не было ничего. Антибиотики, таблетки для дезинфекции воды. Сигареты, сухое молоко, мясные консервы. Я заходила в магазины и доставала смятый листок. Гойко продиктовал мне список, и я следовала ему. За страхом пришло стремление не то чтобы совершить поступок, скорее, выполнить задание, пусть даже не очень большое.

Я уже пересылала посылку через «Каритас», но она так и не дошла. Случалось, самые лучшие посылки потрошили и грабили. Теперь я ехала туда сама и могла отвезти все необходимое. В огромном чемодане на колесиках, сделанном из прочной эластичной ткани.

Продавщица в магазине с ужасом смотрела на странную худую женщину, усевшуюся на черный чемодан, чтобы проверить, выдержит ли ткань.

— Что вы собираетесь везти?

— Труп.

Она посмеялась над шуткой, окрашенной в тот же черный цвет, что и чемодан. Я заплатила, дотащила его до дому. Мой самый лучший хвост.

На высохшую, выпитую тишиной стерильную женщину возложена миссия. Сейчас она везет по улицам, по всем тротуарам гигантский пустой чемодан, который раздуется от огромного количества всевозможных вещей. Заполнить этот чемодан и станет целью ее жизни на все последующие дни.

Слои вещей, бесконечно перекадываемые ночами. На дно — самое тяжелое и громоздкое, затем предметы поменьше, то, что может разбиться, стеклянные бутылочки. Чемодан стоит здесь, смотрит на меня. И теперь я уже не одна.

Что бы я ни положила внутрь, кому-нибудь это вернет надежду на жизнь.

«У женщин нет даже прокладок, не забудь их».

В аптеке я рассматриваю розовые и фиолетовые упаковки. Поглощающие жидкость и при этом супертонкие, самые дорогие, с которыми прекрасно себя чувствуешь даже в облегающей одежде. И не требуют много места. Толстым слоем укладываю пакеты прокладок в чемодан. Тонкие подойдут. Какие могут быть выделения у голодных женщин?

Папа тоже что-то приносит. Смотрит на чемодан, как на гроб.

— Я должна забрать его, — сказала я ему.

Он не перечит моей боли, моей злости.

Чемодан отнимает время, занимает дни, становится между нами.

— Нельзя больше класть громоздкие вещи, говорю тебе. Не видишь, ни черта сюда больше не влезает?! — И бросаю отцу одеяла, которые он принес.

Кажется, чемодан вырастает за ночь, раздувается, как большой живот, превращается в контейнер... кажется, он должен спасти, накормить, одеть все Сараево! Смотрю на чемодан, и глаза сияют. Встаю среди ночи, проверяю срок годности антибиотиков, мюслей. Все пригодится, все понадобится... я бы все это расцеловала. Смотрю на чемодан, как мать на приданое своей дочери.

Сколько живых умирает на той войне?

Сколько мертвых живет в этом мире?

Я снова оживаю — ноги, лоно, живот.

В универмаге «Упим» скупаю кисточки, альбомы для рисования.

— Вы преподаете в школе, синьора?

Отвечаю:

— Я еду в Сараево.

И тогда у женщины крепкого сложения, поблекшей от однообразной работы у кассы, меняется выражение лица. Эта туша превращается в трепетную мать, лицо от волнения, от сострадания пошло красными пятнами. Даже кладовщик подключился, парень с сережкой в ухе и темными, как у наркомана, зубами; даже директор в полосатом галстуке. Вытаскивают вещи из подвала, остатки канцелярских товаров, одежды.

— Возьмите, возьмите, синьора, отвезите это.

Кладовщик еле сдерживает гнев:

— Машинкой, которой мы выковыриваем косточки из оливок, эти звери выковыривают глаза...

Он ездил в Югославию отдыхать, его подружка живет в Сплите. Настоящий рай, говорит.

В спортклубе на новом оборудовании вспотевшие девушки занимаются степом, поднимаясь на пластиковую ступеньку и спускаясь с нее.

Я стою в конце зала, передо мной подтянутые задницы, купальники-стринги. Тоже спускаюсь с платформы. Чувствую себя в хорошей форме, тренируюсь на беговой дорожке. Нужно быть сильной, чтобы вернуться в Сараево, нужно уметь так бегать, чтобы хватило дыхания убежать от смерти, чтобы она досталась кому-нибудь другому, постарше, не такому

здоровому, как ты.

В раздевалке девушки мажутся кремом, выставляют напоказ нагие скульптурные тела... болтают о мужиках, о диетах, красятся, натягивают колготки.

Глаза закрываются, хочется спать после теплого душа, потом фена. Прощайте, девчонки, прощайте. Прощайте, стервочки.

Папа теперь старается больше меня, кружит по рынку Порто-Портезе, приобретая небольшие комплекты гаечных ключей, катушки с медной нитью, купил даже транзистор и прибор ночного видения. Еще немного, и чемодан разорвется. Смотрю на него — это моя последняя ночь. Наконец я уезжаю, лечу на одном из гуманитарных самолетов, наконец-то.

Мне звонит Виола. У нее нашли уплотнение в груди, она плачет из-за своей груди, плачет потому, что я уезжаю.

— Ты моя лучшая подруга.

На самом деле я случайно встретила с этой девушкой, а она выдумала, будто мы подруги. Но сейчас мне кажется, что она не напрасно так считает, некоторые люди проникают внутрь тебя, как раковая опухоль, не успеешь заметить.

— Тебе страшно? — спрашиваю.

— Да пошло оно, это уплотнение!

Не понимаю, плачет она или смеется.

— А ты? Ты не боишься?

Я всего боюсь — боюсь грузовиков на автостраде, давки на концертах. Я даже молний боюсь, о войне и говорить нечего...

Папа приносит коробку с незрелыми персиками. Я возмущаюсь, но все равно мы кладем их и сверху закрываем шерстяными вещами.

Папа Армандо сел на чемодан, давя на него всем своим весом, а я, обходя кругом, застегиваю молнию. Вот и закрыто необъятное брюхо.

Хожу по квартире, везу за собой чемодан, пробую поднять. Я должна уметь обходиться без посторонней помощи никто, кроме меня, не понесет мой гуманитарный груз.

Держу чемодан у ног все время полета, который показало мне очень коротким из-за внезапно навалившегося на меня страха, такого, что сейчас, будь моя воля, я лучше полетела бы в Нью-Йорк. Внутренность самолета — железная, шероховатая. Несколько жестких сидений закреплены по бокам, а все остальное довольно большое пространство занято ящиками, сваленным в кучу брезентом. Пересекли море, летим над землей.

Во рту кислый вкус, как при несварении желудка. Руки и голова одеревенели, ноги вжались в металл, который трясется не переставая.

Оглушительный рев моторов, обжигающих небо. Сейчас я знаю, что это может случиться, я чувствую. Вполне могло бы. Начинаем постепенно снижаться. Мы на виду. Прекрасная мишень для тех, кто прячется в лесу. В голове вертятся сцены, которые я видела: фрагменты сбитых самолетов, куски кабины, крыльев, срезанные ветки этого густого, как грязь, ельника. Во рту пересохло, язык вялый, серая мякоть, словно заплесневелый хлебный мякиш.

Кроме меня, еще трое гражданских, они летят с миссией мира на эту землю, где мира нет. Два врача и девушка-доброволец с независимого радио, Ванда. Крепкого сложения, мужиковатая, какая-то неухоженная, как некоторые славянские мужчины. Самая спокойная из всей группы. В куртке с кучей карманов, как у военных корреспондентов в фильмах, будто прячет там ручные гранаты. С начала осады уже два раза летала в Сараево, похожа на крысу, которая знает, куда бежать в случае необходимости. Жует жвачку, надувает пузырьки, они лопаются — легкие взрывы, от которых я вздрагиваю.

Из чемодана пахнет папиными персиками. Ванда улыбается, выдувает еще один пузырь, наверное, думает, что я умалишенная. Спрашивает меня, полечу ли я обратно тем же вечером: говорит, обычно интеллектуалы приезжают на несколько часов — достаточно, чтобы сказать, что они там были, чтобы почувствовать запах горелых муравьев.

— Горелых муравьев?

— От трупов такой запах.

Может, она думает, что я одна из писак.

— Я еду к мужу, он фотограф, в Сараево приехал несколько недель назад.

Спрашивает, как его зовут. Она знает Диего, говорит, видела в конце августа.

— Он хороший, но ненормальный.

— Почему ненормальный?

— Купался в Миляцке под обстрелом.

Мотаю головой, но она уверена. Уточняет:

— Он кудрявый, с бородой.

Нет, у него нет бороды.

Тогда, может, и не он, какой-то другой Диего.

«Другой Диего, — повторяю, — другой Диего», — в то время как самолет снижает высоту. На посадку заходит по-военному, по спирали. Потом резко вниз. На мгновение промелькнули горы, потом толчок от удара шасси о землю.

В аэропорту надо пройти три таможни, три преграды. Военные противоборствующих армий, чтобы выпить кофе, бросают жетоны в один и тот же автомат, только он и остался. Смотрю на эту сюрреалистическую картину, где враги наклоняются к одной металлической щелке. Аэропорт в руках «голубых касок», под их охраной находятся взлетная полоса и распределение гуманитарной помощи, но в действительности они тесно сотрудничают с сербской милицией. Никакого напряжения, — кажется, что все они очень устали. Египетские солдаты дремлют на том, что осталось от сидений. Голубые каски съезжают на худые смуглые лица. Мы долго ждем, пока бронированный джип СООНО, миротворческих сил Объединенных Наций, не отвезет нас в город. Может, они договариваются о приостановке стрельбы, потому что слышу, как один из голубых касок спрашивает по-английски у типа в камуфляжной одежде и черном берете с орлом:

— Они поехали, о'кей?

— ...*Slobodan?* (Свободен?)

Серб кивает. Как так, думаю, как может офицер Вооруженных сил ООН спрашивать разрешения проехать у военного из армии-агрессора? Но времени удивляться нет. Этот аэропорт и так уже издевательство — гангрена на теле страдающего города. Если в большой мир можно выйти только через эту дверь, мышам бессмысленно ждать спасения.

Садимся в джип, опустив головы, не оглядываясь. Проезжаем первый блокпост, завалы железа, как будто сняли рельсы и сложили крест-накрест; горы мешков с песком. Лица в масках-балаклавах, с автоматами Калашникова наперевес. Парень за рулем кричит по-английски:

— Пригнитесь!

Джип едет по проспекту, контролируемому снайперами, объезжает, бросаясь из стороны в сторону, нагромождения обломков. Сквозь единственную щель вижу промелькнувшее здание газеты «Освобождение», от которого осталась только арматура лифта, похожая на лакричную палочку в растаявшем мороженом.

Мы очутились в огромном вестибюле «Холидей-Инн», на всей скорости съехав по пандусу, ведущему под землю. Темное брюхо, защищаемое полиэтиленом «миротворческих сил», под завязку набито журналистами и телевизионщиками. Подозрительные типы подходили ко мне, спрашивая, не нужен ли бронежилет или машина, нет ли валюты на обмен, не хочу ли я приобрести информацию. Какой-то человек выставил напоказ голую, недавно защиту ногу, совал кусок гранаты, искал кого-нибудь, кто бы купил его историю. Пришлось торчать в этом бардаке. Свободных номеров не было, во всяком случае в безопасной зоне:

оставались только на стороне, обращенной к Грбавице, району, занятому сербами. Я боялась заснуть, боялась, как бы не украли мой чемодан. Дотащила его до смежного с рестораном зала. С большим удовольствием поела горячей безвкусной еды, сидя за общим длинным столом, рядом с журналистами, которые громко разговаривали и смеялись.

— Здесь надо больше смеяться! — подмигнув, сказал мне на английском немецкий телеоператор.

Мы вместе вернулись в холл на диваны, он угостил меня пивом, принялся объяснять, как следует передвигаться в осажденном городе. Он был в приподнятом настроении, сегодня снимал траншею в Жуче. Сдавил мне колено, спросил, не хочу ли я переночевать у него в номере. Багровое лицо растянулось в идиотской улыбке, ему казалось в порядке вещей затащить меня в постель — ведь идет война. Я услышала взрыв, спустя несколько секунд второй, чуть ближе. Знакомое шипение гранаты.

Подняв голову, я посмотрела на длинную спиралевидную галерею, куда выходят двери номеров. Вспомнила, как ночью мы с Диего стояли там и наши силуэты отражались внизу, на пустом и блестящем полу холла.

Не припомню, чтобы я когда-либо видела хоть одну проститутку в Сараеве. Сейчас же девушки в мини-юбках, окруженные иностранными журналистами, как ни в чем не бывало сидели на высоких стульях у барной стойки. Рядом со мной какой-то тип вытащил пистолет и положил его на стол, будто пачку сигарет, а другой, в черной кожаной куртке, пересчитывал тонкую пачку марок. Они обсуждали ставки, собирались идти куда-то в «Мариин Двор», где проходят собачьи бои.

Если выразить словами, какое впечатление произвели на меня те часы ожидания, прелюдии, то это было как... сальные или масляные круги, расплываясь на воде, отдаляются понемногу.

Вдруг чья-то рука тяжело опустилась мне на плечо. Гойко встал передо мной на колени, обнял и держит, отводя взгляд:

— Красавица.

Мы идем в дальний конец холла, теперь чемодан везет он.

— А где Диего?

— Ждет тебя.

Все тот же «гольф», только сейчас он напоминает автомобиль из комикса: изрешеченный кузов, разнокалиберные дверцы, снятые с других автомобилей; окна без стекол.

— Новые модели Сараево-сити, — смеется.

Уму непостижимо, как он при всем этом умудряется смеяться!

Позднее утро. Мы едем в этой футуристической машине навстречу

будущему, которое, вероятно, все будет состоять из обломков прошлого. Морозное небо глубокого голубого цвета начинает светиться изнутри. Смотрю на пейзаж из руин. Почерневшие, как дымовые трубы, здания, груды железа, каркасы машин, трамваев... бетонные фасады панельных домов, похожие теперь на обгоревший картон. Пытаемся пробраться в Башчаршию. Гойко едет мимо руин, по безопасным закоулкам, по улицам, которых я никогда не видела. На открытых перекрестках утапливает педаль газа в пол, наклоняет мою голову властным жестом. Хочет спасти мне жизнь, а может, немного развлекается, преувеличивая опасность. Вопит и улюлюкает, как дикий зверь. В общем, все тот же боснийский хвостун в разбитом городе.

Пулей влетает во двор: разбитые арки, старая пожухлая трава. Снаружи здание выедено взрывами, но внутри целое, только очень темное и грязное. Каменные плиты на лестнице шатаются под ногами, пока я бегу. Диего.

Он здесь, среди маленького сада свечей, которые зажег для меня. Идет мне навстречу. Обнимаю его и чувствую что-то не то, появилась жесткость, которой никогда не было. Его кости будто выкованы из железа. Смотрю на его похудевшее лицо, темные губы. Отросшая, непривычная мне борода доходит почти до самых глаз. Чувствую себя неловко; дотрагиваясь до него, с трудом узнаю. Он чем-то похож на те разбитые здания.

Улыбаясь, говорю, что от него чуть-чуть припахивает. Он говорит, что помылся «по-сараевски», поливая себя из лейки.

В нем появилось что-то от зверя, заключенного в клетку. Одного из тех бабуинов, что погибли в зоопарке.

Я беру его за руку, и мы отходим в угол. Дом погружен в темноту, окна забиты щитами, по стенам расходятся длинные трещины.

— Как ты можешь жить здесь...

Он вцепился в мою руку, кладет себе на лицо. Принюхивается ко мне, трется, вбирая в себя все, чего ему не хватало.

Пристально смотрит на меня. Но взгляд какой-то странный, вязкий, как болото. Неожиданно понимаю, что сейчас он витает где-то в другом месте, ищет вовсе не меня, а что-то, чего больше нет.

— Любимый...

Касаемся друг друга, словно воскресли из мертвых.

Он дарит мне букет бумажных цветов.

Цветочница с рынка Маркале, старушка, похожая на добрую фею, за неимением настоящих придумала эти, которые она скручивает из кусочков бумаги и раскрашивает. Я смотрю на маленькие цветочки — они такие

красивые и такие грустные! Думаю, что Диего похож на эти бумажные цветы, скучающие по краскам, запаху, жизни.

Он хочет есть, я открываю мое сокровище, чемодан. Он надкусывает персик, сок течет по бороде.

Потом появляются другие, Ана, Младен... и те, которых я никогда не видела, — люди, переехавшие из разрушенных домов, беженцы из занятых кварталов. Вытаскиваю из чемодана вещи. Люди обнимают меня, крепко прижимая к себе. Словно мы старые знакомые. Благодарят меня: «*Hvala, Джемма, hvala*». Целый день сюда будут идти люди. Пришла посылка — чемодан с вещами, которые надо раздать... и сегодня квартира превратилась в благотворительную «Беневоленцию». Устраиваем праздник, открываем мясные консервы, маринованные овощи, режем сыр. Гойко вытаскивает бутылку ракии из своей личной записки.

Я подхожу к окну, отгибаю полиэтилен, высовываюсь. Город окутан тьмой... весь перерытый, как выработанная шахта, в которой ничего нет, кроме заброшенных котлованов и штолен. Ночью ничего не видно, это успокаивает. Только смутно белеет ствол срезанного минарета.

Куда подевались звуки? Перезвон колоколов, жалобный голос муэдзина? Куда исчез запах? Запах выпечки из кафе? Резкий запах специй и жареных колбасок, чевапчичи? Где смог от машин? Где жизнь?

Между нами больше не было близости. В этой квартире, как в любой другой в Сараеве, спали все вместе, матрасы разложили в коридоре, подальше от окон, от зон, опасных при артобстреле.

Вздрагивала только я, все остальные, казалось, привыкли или, может, оглохли. Я видела ряд глаз в полутьме, озаряемой самодельными свечами, — кусочки веревки плавали в пиалах с водой и каплей масла. Все курили сигареты, которые я привезла и которые оказались самым желанным подарком, потому что без еды — тяжело, а без сигарет — невыносимо; когда выкурили весь табак, в ход пошли чай, ромашка, солома с полей и из стульев. Ана спрятала несколько пакетов с прокладками в своей турецкой сумке из дешевой синтетики и сейчас прижимала ее к животу, как подушку. Я смотрела в эти странные глаза, светящиеся, как у диких зверей, которые видят в темноте... губы, сосущие фильтр, огоньки на концах сигарет.

У Диего тот же замороженный, застывший взгляд. Все эти люди будто смотрят в один и тот же пруд, в мутное, ничего не отражающее зеркало.

— Как дела?

— Нормально, все нормально...

Но мои слова, казалось, доходят до него издалека, наподобие эха. Он

обвел подушечками пальцев мои губы, словно желая ощутить их объем, теплоту, упругость. Прислонившись к стене, заиграл на гитаре в темноте.

Чуть позже мы легли на один из матрасов. Диего тут же нашел удобное положение, свернулся в позе эмбриона и мгновенно заснул, задышал по-другому. Мне показалось, он провалился в сон так быстро, лишь бы отделаться от меня. А может, всего лишь перепил, как и другие. Я единственная не спала во мраке, в котором ровно дышали люди.

Я встала, чтобы убрать банку с окурками. В углу, рядом с кучей обуви, валялось несколько пластиковых канистр. Ветер колыхал полиэтилен на окнах, впуская холод. Еще немного, и придет зима. «Почему мы лежим здесь на полу вместе с этими людьми?» — думала я, глядя на спину Диего.

Заснула я поздно, под утро меня разбудил глухой вой, должно быть, миномета, ворвавшийся в оцепенение этого запоздалого сна... все тело затекло. Я лежала одна, вокруг никого не было. Один Гойко возился с транзистором.

— Где Диего?

— Не хотел тебя будить.

Съели немного печенья, которое я привезла.

— Не знаешь, он встречается с Аской?

Гойко не отвечал, опустив глаза.

— Она уехала? Жива?

— Она еще в Сараеве.

— Скажи, где они встречаются.

— Я не знаю, я вообще не знаю, чем занимается Диего... я редко с ним вижу.

Он лопал печенье так, что крошки застревали в щетине.

— Тебе никогда нельзя верить.

— Да ничего серьезного, потерпи.

Сейчас, когда стало светлее, я заметила, что взгляд Гойко стал более мутным, чем раньше, — месяцы войны не прошли даром. Молодость исчезла без следа. Теперь он тащил на себе груз разочарований, горечи... даже юмор его как-то испортился, вонял горелыми муравьями, как, впрочем, и все остальное. И вдруг мне показалось, что я тоже резко постарела.

Диего вернулся через несколько часов. Ходил за водой, его руки одеревенели от тяжести, от веса канистр, которые он нес почти два километра.

— Можешь помыться.

Мы заперлись в ванной комнате, я посмотрела на почерневшую ванну

с желтыми разводами, кран, из которого больше не текла вода.

Налили воды в таз. Я разделась, мне впервые было неудобно стоять перед ним обнаженной. Будто перед чужим. Диего тоже избегал смотреть на меня, занимался водой, черпал ее ладонью и пропускал между пальцами, будто искал что-то... далекое отражение, переход.

— Посмотри на меня, — сказала я.

С трудом, медленно он поднял глаза. Я стояла перед ним голая. Как мертвое растение без коры. Срубленное ошкуренное дерево.

— В чем дело?

— Ты слишком красивая.

— В чем дело?

Он прикоснулся к моему животу, дотронулся до пупка, и я поняла, что мне противно прикосновение этой руки.

Он касался меня так же, как и смотрел, — отстраненно, словно я была манекеном.

Я опустилась на корточки, сжавшись в комок.

Он разделся, влез ко мне в ванну, где стоял таз с водой, намочил губку и провел по моей спине. Я повернулась к нему... разглядывала пожелтевшее лицо, тонкую и сухую кожу, обмякший член в волосах, как в черном гнезде. Он казался стариком.

— Зачем ты приехал сюда?

— Я должен быть здесь.

На следующее утро я встала рано, как все. Диего наклонился над чемоданом. Складывал что-то в рюкзак.

— Кому ты это понес?

— Своим знакомым, — сказал, — старикам, которые не могут передвигаться сами, вдовам с детьми.

Одеваюсь, как только он уходит, иду за ним до моста Чумурия.

Первый раз вижу город днем. Ни одного целого здания, купола мечетей напоминают жестяные крышки среди груды мусора. Решетки на дверях магазинчиков в Башчаршии опущены, в лавках выломаны полки. Какая-то птица упала рядом со мной, усталая птичка, она, наверное, не нашла ни одной ветки, чтобы присесть отдохнуть.

Катушки с фотопленками. Сложены вместе на столе этой убогой комнаты, успевшей стать нам тюремной камерой. Катушки, похожие на патроны или гильзы. На черные яйца. Я придумала игру, чтобы убить время, — укладываю их штабелями, сооружаю сложные пирамидки, ложусь на кровать и жду. После взрыва начинает трястись пол, потом дрожь переходит на стены... добирается до стола. Конструкция

рассыпается, пленки падают, раскатываясь по полу.

Кто знает, увидят ли когда-нибудь свет все эти изображения, запечатленные на целлулоидных лентах, спрятанных в маленьких металлических футлярах, уже побитых, приспособленных для того, чтобы проводить время, которое стоит на месте, потому что уже после трех часов из дома выходить опасно. Заканчивается торг на черном рынке — та пора дня, когда можно принести воды в канистрах, — нет смысла рисковать дольше жизнью.

У меня возникло ощущение, что я никуда и не уезжала из этого города.

Мы вернулись в комнату, которую снимали раньше. Велида ощупывала меня, словно я свалилась с неба, словно я была стеклом, которое до сих пор не разбилось. Последние месяцы доконали ее, сейчас она похожа на своих дроздов. Беспреданно покачивает головой, будто вечно сочувствует кому-то. Я привезла кое-какие вещи, которые отложила специально для нее. Когда Йован увидел фонарик, сжал губы, чтобы не расплакаться. Больше всего ему не хватало именно света слишком темными вечерами.

Старый биолог больше не выходит из дому, сидит целыми днями в углу, подальше от окна, около клетки с дроздами, которые все еще живы. А вот кот с обрубком вместо хвоста пропал, вышел как-то утром на улицу и не вернулся.

Йован и Велида день за днем ждут мира. Но уже и не надеются. Смотрят на белые броневики ООН, стоящие прямо под окнами в бездействии, такие же бесполезные, как рикши, выстроившиеся вереницей в пустом парке.

Я попросила у Велиды веник и половую тряпку, убралась в комнате. У нее постоянно тряслась голова.

— Вы точно хотите жить у нас?

— Да.

— В гостинице для иностранцев вам будет намного безопаснее.

Пыль не смывается, серый слой лежит прочно, как цемент.

Велида кладет руку на грудь и говорит, что это пыль всего того, что рушится, она давно уже осела внутри их и стекает по легким.

— Пыль наших домов... библиотеки, старой Ратуши, университета, где мы преподавали, больниц, где мы родились...

Кухня заполнена листьями, на каждой полке — зеленые пласты. Велида говорит, что крапива — прекрасная начинка для питы.

— Все в Сараеве едят крапиву, — улыбается. — Крапива приносит долголетие, хорошо бы еще от взрывов уберегла.

Биология оказалась полезной в голодные времена: Велида меня

угощает еловым настоем.

— Очень вкусно.

Спрашивает, зачем я вернулась.

— Не могу без Диего, а он хочет остаться.

Ее зеленые глаза наполняются слезами.

Она тоже всю жизнь ездила за Йованом. Хотя ей сейчас и стыдно за свою любовь, когда молодые пары и дети погибают, стыдно, что они, два старика, все еще живы и до сих пор целуются в губы.

Бархатных штор больше нет, вместо них на окнах прибит полиэтилен, картины на стенах перекошились, стекла выбиты. Их уютное жилье сократилось, они перенесли кровати на кухню, в единственное обогреваемое помещение. Велида обменяла у спекулянтов свое обручальное кольцо с рубином и шубу на старую печку. Потом они продолбили стену, вставили трубу. Из каждой квартиры теперь торчат такие трубы: что поделаешь — война. Город превратился в один громадный военный лагерь.

Я боюсь выходить на улицу, сижу на кухне с Велидой, глядя на ее сторбленную худую спину:

— Что вы будете делать зимой?

Они начали жечь мебель, Йован ломает ее на куски собственными руками, отламывает ножки маленького столика из гостиной, разбивает ящики комода, серванта. Велида разрезала ковры на полоски, сложив из них блоки, которые горят так же долго, как уголь.

В парках больше нет деревьев. В короткое время город лишился зелени. Повсюду слышится визг работающих пил, скрежет веток, которые люди тащат по развалинам, как огромные метлы.

Йован жалуется — срубили даже липу под окнами, которая защищала их от снайперов. От липы осталась только его акварель, ствол и пышная крона с листьями-крапинками.

— Деревья — это жизнь...

Он ненавидит шакалов, рубящих деревья, чтобы делать на этом деньги.

Стоит октябрь, так что пока не очень холодно. Бывало, снег выпадал и в августе, но в этом году, слава богу, запаздывает.

Вот так жизнь умирает, деревья падают одно за другим. Люди запасаются дровами на зиму, которая вот-вот наступит, и освобождают пространство для мертвецов... которых сейчас хоронят где придется: в парках, на футбольном поле стадиона Кошева, — потому что на кладбищах не хватает места. Повсюду виднеются холмики, темные пятна

свежевскопанной земли.

Хотя город и лежит в развалинах, эти звери с гор продолжают свирепствовать. Граната попала в детей, которые играли в мяч на пустыре за нашим домом, в относительно безопасной зоне. Четники сделали заявление, что граната попала туда по ошибке и виноваты «зеленые береты», они тут ни при чем. Мертвые дети не сделали никакого заявления. Но мяч влетел прямо в дом к Велиде, прорвав полиэтилен.

О детях она узнала только вечером. А сейчас, глядя на мяч, лежащий на кухне, в пустой кошачьей плошке, она спрашивает меня:

— Кому я теперь должна его отдать?

Ночь кажется бесконечной. Диего возвращается, вытаскивает пленку из фотоаппарата, забрасывает его в угол комнаты. И не рассказывает мне, где был и что фотографировал.

Ночью город напоминает запущенный рот, в котором здания — зубы, изъеденные кариесом. Мрак апокалипсиса. Никаких следов жизни. Сирены воздушной тревоги превратились в забытые сигналы, которые, кажется, никому больше не нужны. Каждую ночь Сараево умирает. Ночь опускается, как крышка гроба. Жители — муравьи, из упрямой любви разделившие судьбу города и замуравившие себя в склепе.

Ночью только ветер спускается с гор и кружится в этом беззубом рту, словно беспокойный дух.

Диего говорит: то, что мы видим, — только преддверие. Когда-нибудь смертельно раненный мир весь выгорит изнутри. Кроме железных каркасов, газовых кратеров, черных языков догорающего пламени, ничего не останется. Сейчас на наших глазах наступает конец света, как в комиксах или фильмах, где показывают самый зловещий апокалипсис. Улыбается. Ночью надежды улетучиваются без следа. Диего мрачнеет. Вижу его ухмылку, глаза, блестящие в темноте. Он слишком много пьет, литры скверного пива. Встает в туалет, на что-то натывается. Когда засыпает, трогаю его: шевелится, — значит, жив. Меня эта темень пугает, как бездонная пропасть. Как будто лежишь в глубине подземного озера.

Откуда-то слышится стук лопаты. По ночам в Сараеве хоронят мертвых, молча опуская в землю. Скопление народа на открытых площадках — приманка для снайперов, поэтому все дожидаются наступления темноты. Не слышно ни единого крика, слезы вбиты в грудь, как гвозди в гробы, сколоченные из остатков столов и шкафов.

Слышен только хриплый лай собак, они собираются в стаи, худющие, кожа да кости, глаза как у волков. Домашние собаки одичали — хозяйева уехали, или погибли, или не могут даже себя прокормить.

Потом приходит рассвет. Иногда нас будят не гаубицы, а птицы, которые прилетают и щебечут. Тогда снова появляется надежда.

Что выжившие смогут выйти из города, подняться в горы Яхорина и Требевич, устроить там пикник или сходить за грибами.

Что трамвай номер один опять начнет ходить до Илиджа на водопады и луга.

Кажется невероятным, что под утро появляются все эти люди, спрашиваешь себя, где они прятались, в самом ли деле они живые или воскресли из мертвых. Никто не сидит дома, нужно добывать еду, идти за водой, к спекулянтам, просто за хлебом, за гуманитарными консервами. Нужно всех обойти, постучаться в «Каритас», в церковь евангелистов, в еврейскую «Беневоленцию» — эти самые щедрые и всем помогают. Помогают сараевским мусульманам, которые когда-то помогали им, пряча от нацистов. Так проходит первая половина дня. Если останешься взаперти, умрешь.

Каждый раз, уходя, Велида говорит:

— Я пошла. — Молчит, улыбается. — Пошла навстречу своей гранате.

Время от времени кто-нибудь падает. Женщина в очереди за водой. Еще один заяц.

Не надо останавливаться, не надо смотреть... не дать глазам время увидеть, а сердцу — прочувствовать. Вот чему необходимо научиться. Не позволять мертвым проникнуть в сознание, следовать прямо, не отличая тела от мешков с песком, проходить мимо них, еле различимых, отгородить их от реальности, идти своей дорогой, не оглядываясь. Только так можно выжить. Не узнавать их имени, не замечать покроя пальто, цвет волос. Забыть о них. Научиться избегать их, притворяться, будто не видишь, будто их нет.

Потому что если ты остановишься, если дашь им проникнуть в твое сердце... ты неизбежно замедлишь шаг.

Но дети — народ любопытный, они вытягивают шеи, смотрят, а матери дергают их за одежду, тянут за руку. Дети хотят подойти поближе к мертвым, как белки к остаткам пикника.

И все-таки город, где не перестают умирать, скрывает в себе силу, как лесные деревья — живой сок.

Гойко заехал за мной, и я снова обняла Себину. Она стала похожа на черепаху, высохшее треугольное личико, губы как соломинка. Я прижала ее к себе. Мы стояли на пороге чудом уцелевшего дома. Она уткнулась мне в живот.

— Почему ты все еще здесь, *Bijeli Biber*?

Она не хочет ехать в эшелонах детей, которых отправляют одних, без родителей.

К ней приходят письма от друзей, которые так уехали: им, как ей кажется, хуже. Ее комната не разбита, и в конце концов все не так уж плохо. Гойко приезжает почти каждый день, еды хватает. Только осточертели макароны и рис.

— Да еще эта вонища! — смеется.

Имеется в виду консервированная скумбрия из гуманитарных посылок, ею пропах теперь почти каждый дом, ею отдает отрывка таких же, как они, счастливых.

Говорит, что она уже привыкла к сиренам, к подвалу. Я принесла ей шоколадку, сосет ее, пачкая губы.

Больше не тренируется, спортзал заняли под ночлежку для беженцев. Вначале она еще пыталась бодриться, но теперь голос выдает ее. Сдерживая слезы, строит гримасу, поводит плечами. Встает на руки у стены, идет вверх ногами, волосы болтаются до пола. Перевернутая юбка свисает, как увядший цветок, ноги в пятнах, узелки коленей, маленькие вены, просвечивающие через кожу, трусы в цветочек. Потом опускается в мостик... выгибая спину, как женщина-змея в цирке.

— Расшибешься...

Наконец разводит ноги в идеальный шпагат. Она выступает для меня. Я хлопаю в ладоши. Улыбается под эти одинокие аплодисменты.

Спрашиваю, что это за конверт, прикрепленный к руке двери. Отвечает, что там разные документы: на квартиру, свидетельства о рождении с группой крови и даже водительские права Мирны — наряду с деньгами, украшениями и папиными часами. Висят на случай, если граната попадет в дом.

Кашляет, открывает рот и впрыскивает себе в горло лекарство от астмы. Смеется, говорит, что у спрея отвратительный вкус.

— Клопами отдает.

— Когда у тебя началась астма?

Когда стала оставаться одна, у нее начало перехватывать дыхание от страха, что мама не вернется. Ходит туда-сюда в кроссовках, светящихся в темном коридоре.

— Все еще держатся...

— Конечно, они же самозарядные.

Новости о погибших доходят до нее, но издали, потому что Мирна ее бережет, не разрешает выходить из дому. Но Себина в курсе, что люди погибают прямо на улице. Предупреждает, чтобы я была осторожна.

— Ты хоть и итальянка, но они-то об этом не знают, подумают, что ты из Сараева, и будут стрелять.

Решила пойти с Диего. Надеваю бронежилет, который он не носит. Идем молча через развалины вместе с другими. Никто не бежит, держат себя с достоинством, только глаза раскрыты шире, чем у людей в городах, где не идет война. Мужчины выглядят хуже, с грязными волосами и в мятой одежде, в которой спали. Но некоторые в пиджаках, при галстук: профессора, служащие высокого уровня. Куда они идут? Школы и офисы закрыты. Шагают сквозь пыль в своих мокасинах, с черными дипломатами для документов и университетских работ. Ступают осторожно, в замедленном ритме на фоне метафизического пейзажа. В спокойствии этого минного поля есть что-то неестественное, люди выглядят странно, кажутся силуэтами, мелькающими на театральной сцене. Страх делает их нестигаемыми, чопорными. Только взгляд бегаёт настороженно... как живые глаза в прорезях картонной маски. На перекрестках расставлены плакаты: «PAZI SNIPER!» («Берегись снайперов!»)

Все худые — ни одного человека, вес которого превышал бы норму. Надо сказать девчонкам из спортклуба. Проблемы с целлюлитом? Прокатитесь в Сараево, здесь не едят и много ходят. Месяцы осады высчитывают по волосам женщин, которым нечем больше закрашивать унылые полосы отрастающей седины. Однако молодые стараются сохранить элегантность, их изнуренные лица идеально накрашены.

«Вот вам — нате-ка, выкусите!» — как будто говорят жители города тем, наверху, когда выходят на улицу, упорно сохраняя спокойствие, надев туфли на каблуке, накрасив губы; идут по просекам, прорубленным войною, между мешков с песком и железных надолбов.

Доходим до пивного завода. Диего фотографирует длинные очереди за водой, выходящую наружу трубу с множеством небольших отверстий, к которым люди подставляют канистры.

Колеса. Есть вещи, которые раньше ничего не значили, считались самыми что ни на есть обычными, имелись в каждом уголке мира. Но вот... колеса. Все теперь говорят о колесах, спрашивают, нет ли у тебя хотя бы старого колеса.

— Точак... Точак...

Колеса нужны, чтобы везти канистры с водой, дрова, автомобильные запчасти, вещи, которые тебе удалось собрать.

Диего фотографирует старика, везущего коляску, внутри которой лежит корень какого-то дерева. Огромный деревянный ребенок, испачканный в земле, пригодится ему зимой.

Днем люди выходят на охоту, копаются в грязи, в обломках. А снайперы охотятся на людей.

— Знаешь, в кого они любят целиться? В матерей.

Я этого не знала.

— Снайперы забавляются, глядя, как детишки ревут, как разевают рты, мечутся в отчаянии.

Диего фотографирует детей, которые играют даже здесь, прячутся в опасных подъездах, под бетонные плиты разрушенных потолков. Присаживаясь на корточки, Диего разговаривает с ними. Шарит по карманам, раздает все, что находит. Детишки наскакивают на него, теребят лицо, дергают за волосы. Диего сажает их к себе на плечи, даже не сердится, когда они трогают его объективы.

Фотографирует меня на фоне кратера библиотеки.

Говорит:

— Встань сюда.

Задаю себе вопрос, любит ли он меня, или я всего лишь призрак из нашей прежней жизни? Постоянно крутит головой, оборачивается, оглядывается. Кого он ищет?

Мечеть Гази Хусрев-бег тоже повреждена. Диего фотографирует верующих, которые молятся на рассвете, склонившись на своих маленьких, похожих на прикроватные, ковриках перед кучей обломков. На улице Маршала Тито висит листок с напечатанным на машинке списком погибших, его вывешивают по ночам. Люди останавливаются, читают, опускают голову.

Мы заходим в кафану, комнату с шероховатыми стенами, со столиками, скученными подальше от входа. На барной стойке, кроме каких-то кренделей из темной муки, ничего нет. Зато наливают крепкий, хорошо взбитый растворимый кофе с пенкой, который может сойти за итальянский эспрессо. Клубится дым «Дрины», раздаются крики пьяных в военных мундирах, пошитых на дому, милиционеров из сборных войск, бойцов-героев и бывших преступников, которые выбились в местное начальство. Женщина сидит неподвижно, поставила локти на стол, некрасиво сжала лицо ладонью. Черты расплылись, нос сплющился, обнажились темные зубы, закрылся глаз. Кажется, она не замечает ничего, что происходит вокруг. Может, пришла сюда, чтобы забыть страх.

А может, ее пронзила боль.

Остолбеневшие женщины. Старики, напоминающие статуи. Мы пьем растворимый кофе. В сотый раз спрашиваю у Диего, что его здесь держит.

— Зачем мы тут?

К чему этот абсурд? Эта кара?

Он молчит, выпивает кофе до последней капли, облизывает чашку. Язык с белым налетом, грязный; у меня такой же.

— Я не просил тебя приезжать.

И позже, в комнате, когда нам нечего есть, потому что мы не позаботились о еде, и в желудках у нас пусто, а во рту — кислый вкус, слышу голос Диего в темноте:

— Возвращайся в Италию, любимая.

Льет дождь... небо протекает, расслаивается. Всю ночь гремел гром и сверкала молния, грохот природы смешался с грохотом человеческой злобы. Я долго не могла заснуть, слушая эти вышние раздоры: Бог разгневался и обрушил всю свою ярость с принадлежащих Ему небес, заливая жерла пушек, гаубиц, зениток, затапливая траншеи. Там, в горах, скорее всего, сплошная грязь. Лесные деревья вряд ли смогут сдержать такой поток, земля сползет в долину, покрывая ее слоем нечистот, смывая сады и дома Санджакского региона.

Дождь барабанит по полиэтилену на окнах, и этот ужасный шум не прекращается уже несколько часов. Холодно, зима торопится, и стены в трещинах, уходящих в потолок, больше нас не спасают. Запах сырости и грязной одежды. Диего свернулся в клубок, накрылся с головой покрывалом, голые желтые пятки торчат наружу. Газ в баллоне нашей походной плитки весь кончился, последнее голубое мерцание исчезло... пламя вспыхнуло на несколько секунд, вытянулось кверху, точно истощенная душа. Выхожу на общую кухню приготовить кофе. Велида стоит в очереди, ноги промокли до колен, в руках эмалированный кувшин. Вздрагивает, подскочив так, что роняет кувшин.

— Это гром, всего лишь гром... — успокаиваю я ее.

Наклоняюсь, подаю ей кувшин, эмаль в двух местах отбилась, обнажив железо.

— Ну вот, еще одна вещь испортилась... — улыбается.

От нее исходит такой же странный запах, как от всех горожан. И не только потому, что не хватает воды, сегодня, например, можно помыться дождевой водой, — это усталость, паника сочится из тел. Запах безвременной кончины. Некоторые испуганные звери выделяют такой фермент, чтобы защититься. Напряженные тела, испорченные желудки людей, которые питаются травой, не спят и выходят из дому с чувством, что непременно будут убиты.

Дождь поливает маленькую очередь во дворе. Женщины в шлепанцах промокли и дрожат от холода.

— Смотри, до чего мы дошли...

Сегодня утром Велида позволяет себе плакать, потому что в такой дождь никто не заметит ее слез. Какая-то женщина толкается, втискивается в очередь. Велида отступает в сторону, пропускает ее. Потом отдает ей и свою порцию молока, которое торговец достал неизвестно где, — несколько месяцев здесь не видали настоящего молока. Я злюсь, говорю, что она и так слишком худая, тут не до щедрости. Но она не хочет опускаться до животного состояния и потому не вступает в борьбу за кусок хлеба с отчаявшимися.

— У нее дети, а у меня только моя смерть... — Поднимает голову, сквозь намокшие волосы, превратившиеся в комки мокрой шерсти, просвечивает череп. — Я уже вижу ее, еще недавно я не подпускала ее к себе, но теперь она уже здесь, я открыла ей дверь... мы сидим вместе на кухне перед холодной печкой, разговариваем. Она приглашает меня на танец. Сегодня вечером надевала мои итальянские туфли, бежевые, с открытыми пятками, которые я брала в свадебное путешествие.

Поднимаюсь к себе, несущая кофе. Диего уже собрался, на нем красная непромокаемая куртка, разорванная на спине.

— Куда ты?

Ему надоело сидеть в четырех стенах, ну и что, что идет дождь, пусть, ему даже нравится.

Он заклеил дыру на куртке двумя кусками белого пластыря, из нашей аптечки, собранной в коробке из-под обуви.

Уходит с крестом на спине. Говорю, что он теперь идеальная мишень для снайпера. Пожимает плечами, улыбается. Еще недавно я бросилась бы на него, никуда не пустила, но у меня уже нет сил. Он стал фаталистом, как и все горожане. «Судьба как сердце, — сказал он мне, — зарождается вместе с нами, и не имеет смысла менять путь».

Дурак!

Я иду за ним. Без бронежилета, он слишком тяжелый, да и я сегодня тоже теряю бдительность. Я устала, а усталость заглушает страх.

Потом, может, из-за такого дождя и винтовки промокли, и взор снайперов затуманился. Может, под дождем ходить безопаснее.

Я иду за ним следом по мокрой дороге, через пустые дворы, обходя плиты раскуроченных гранатами стен, которые застыли, обретая призрачное равновесие. Можно увидеть, из чего состоит стена... из каких конструкций, из какой пыли. Есть в этом что-то непристойное, какое-то вторжение внутрь. Интимное пространство, разомкнутое, лишенное покрова, ставшее общим достоянием, общей болью.

Но на это уже никто не смотрит, каждый идет своей дорогой.

Взгляд, устремленный вперед, скользит мимо трупов, не задерживаясь ни на чем. Война — в этих мерных шагах, в этих усталых глазах, не желающих видеть.

Глаза — единственные стекла, которые не падают, держатся в своих рамах, вынуждены смотреть, воспринимать образы, причиняющие страдание.

Льет дождь. Иду за мужем, то теряя его из виду, то снова находя. Хочу есть.

Спина Диего из красной плащовки с белым крестом. Заходит в крытый рынок. Одинокие люди бродят сами по себе, точно психи в дурдоме, слоняются, опустив голову, как звери в клетке, где по решетке пропущен электрический разряд. Время от времени кого-нибудь охватывает дрожь, точно от прикосновения к оgrade, которая не убивает совсем, только бьет током, истощая нервную систему. Покупать нечего, выставлены жалкие товары на обмен: медная турка для кофе, бутылка ракии... банка сливового джема, зажигалка «Бик»...

Диего наклоняется, что-то забирает, вытаскивает деньги.

Вода повсюду, дождь льет как из ведра.

Диего фотографирует людей, молча бредущих в обрамлении воды, похожих на всплывших, умирающих рыб.

Я полностью промокла. Кругом одна грязь, и вдруг — лысая голова манекена, выброшенная взрывом из магазина на улицу, красные губы блестят от дождя, искусственные глаза вытаращены. Останавливаюсь посмотреть на эту нелепую голову, которая кажется мне такой одинокой, что еще чуть-чуть, и я наклонюсь, подберу и унесу ее с собой, чтобы положить на столик в баре и поговорить. Диего переходит мост Чумурия. Я бы вернулась назад, но мне кажется, что позади уже ничего нет. Бегу за ним... за его белым крестом.

Он идет мимо Папагайки, этого некрасивого, чрезмерно цветастого дома, этого попугая, разбитого гранатами. Идет вперед, не оглядываясь, заходит в невысокое здание, бывшую школу... Анфилада черных, как пещеры, комнат. В классах — ни оконных рам, ни дверей: их сожгли в печах, как и парты, от которых осталось несколько железных скелетов. Воняет экскрементами. Диего, похоже, здесь все хорошо знакомо. Проходит мимо стены, на которой до сих пор висит географическая карта старой Югославии и продырявленная пулями фотография Тито. Какой-то мужчина разламывает уцелевшие доски, не обращая на меня внимания. Следую по пятам за мужем. Слышны голоса, звуки... где-то тут люди, но непонятно,

смеются они или плачут. Некоторые проемы занавешены шторой или ковром, растянутыми на гвоздях, охраняющими убогую интимность... матрасы навалены на полу, худо-бедно налажены печки-буржуйки. Скорее всего, это прибежище бездомных. Потом появляется уже знакомый запах горящего вместе с краской дерева. Диего остановился, приподнял край полиэтилена и присоединился к группе людей, сидящих на корточках вокруг костра, разожженного в центре комнаты, прямо на сыром полу... слабый огонек, сплошной дым.

Я встала за полиэтиленовой пленкой. Обвожу взглядом эти бедные спины. И, увидев, сглатываю слюну; воздух, который я вдыхаю, кажется полным мелких стеклянных крошек, режущих горло. Под платком не видно волос, на первый взгляд это одна из несчастных мусульманок, крестьянка, сбежавшая из сгоревшей деревни. Диего открывает рюкзак, садится рядом. Она прислоняется к его плечу, явно ждала его. Они по очереди пьют водку, которую Диего принес. Затем пускают бутылку по кругу.

Спустя некоторое время Аска встает. На ногах все те же армейские ботинки, но одета как турчанка — в шальварах, широких штанах, какие носят мусульманки. Они с Диего выходят на улицу. Дождь сбивает платок, и над белой полоской лба теперь проглядывают рыжие волосы.

Кровь бросается мне в голову от странной эйфории, жестокой радости, пронизывающей меня. Иду дальше в неправдоподобной тишине дождя, поглощающего любые другие звуки. На самом деле Диего и Аска держатся чуть поодаль друг от друга. Похожие на двух поссорившихся влюбленных.

Я иду за ними вдоль заграждений из железных листов и бетонных блоков. Они доходят до того места, где ограда прерывается и установлена табличка «Берегись снайперов»...

Я останавливаюсь, ноги дрожат от страха, в животе холодеет. В открытом промежутке хорошо просматривается свинцовая зелень гор. Лес под дождем похож на наступающих воинов. Кто-то пробежал зигзагом... прозвучали выстрелы. Мужчина, благополучно перебежавший через дорогу, стоит на другой стороне, тяжело дышит, согнувшись. Зловоние страха... пот выступает под моей мокрой одеждой.

Не верю своим глазам: Аска пошла вперед. Стою, не в силах оторвать от нее замороженного взгляда. Она не бежит, спокойно переходит через дорогу, точно это происходит не в Сараеве, а в Риме или в Копенгагене.

Диего остановился, словно ему надоело идти за ней. Потом вдруг выбегает из-за ограждения, как санитар «скорой помощи», в своей красной куртке и крестом пластыря на спине... хватает ее за одежду, за руку, тащит, кричит, чтобы она бежала, убиралась с дороги. Прикрывает ее своим телом.

Не стреляют, может, снайпер меняется на посту, а может, он, потрясенный, смотрит, не веря своим глазам, на эту овечку с рыжими волосами, на ее ленивый танец.

Сейчас Диего и Аска в безопасности, спрятались за каркасом трамвая. Сидят там не знаю сколько времени, как звери, укрывшиеся от дождя. Она закурила сигарету. Потом следующую. Он тоже курит, но, кажется, они не разговаривают. Притаились в тишине, носом уперлись в коленки. Потом вдруг прижимаются друг к другу, словно неожиданно помирились и она, медленно переходя перекресток, нарочно рисковала жизнью, чтобы наказать его. Сняв с нее платок, он гладит ее по волосам. Прислонился к ним лбом, дышит через эту мокрую мантию.

И мне кажется, я ощущаю запах их объятия, горячий запах собачьей лежанки, убежища.

Так он делал первое время, когда переехал ко мне из Генуи и еще не привык к Риму. Тогда он упирался лбом мне в плечо, побежденный внутренней усталостью. Стоял так, уткнувшись мне в косточку, спрятав глаза: удрученный ребенок, который не хочет, чтобы видели, как он терпит поражение из-за потребности в любви.

Аска выглядит намного сильнее его. Утешает его, жесткая, скованная, несколько раздраженная такой его слабостью.

Она встает, более высокая и худая, чем мне помнилось, похожая на черную свечу. И на фоне этой худобы выступает живот, округлая выпуклость, вздутие. Можно было подумать, что такой живот появился на изнуренном войной теле от плохого питания, крапивы, мучного бульона, плохой воды, продезинфицированной таблетками... от глистов, наконец. Но я знаю, что это не так. Ее живот взрывает меня, как граната. Отступаю на шаг, будто лишившись собственного живота как тот мужчина на улице Васе Мискина, та дырявая перчатка, свесившаяся с перекладины ограждения.

Поворачиваюсь к ним спиной. Бреду в сгоревший луна-парк. Подбираю голову манекена, несу ее под мышкой.

С трудом дотащила до дому, залезла в кровать. Даже дверь не закрыла, и она, болтаясь на петлях, равномерно отбивает ритм ожидания. В комнату врываются порывы ветра, дождя, все кругом намокает. Диего возвращается и, трясая головой, снимает куртку, насквозь промокшие джинсы... Длинные белые ноги, изможденное лицо.

— Теперь ты знаешь, почему я не могу уехать.

Хорошо, что у меня поднимается температура. Галлюцинации, круги на воде, в грязи, в красном от пуль небе. Перед глазами возникает длинный ряд склепов со всеми знакомыми мне людьми внутри, каждый в своей

ячейке, мы разговариваем, улыбаемся, толкаем крышки, скользящие, как в спичечных коробках. Входит Велида и приносит один из своих травяных настоев. Диего так и не надел брюк, стоит с голыми ногами, фитилек свечи шипит в масле. Он не подходит, качает головой.

— Почему ты не рассказал мне?

Не хотел ни во что меня впутывать, не хотел, чтобы я рисковала жизнью.

Он не волнуется, не плачет, ничего. Никаких эмоций, как у этой войны.

Мы набрали дождевой воды. Теперь в нашей комнате разместилось кладбище тазов. Даже если эта вода и заражена какой-нибудь дрянью, какая разница? Хочу вымыться. Лихорадка выжигает меня изнутри. Я погружаюсь в ледяную, отдающую болотом воду.

Он знал, что я шла за ним, говорит, но решил, пусть будет как будет.

— Дальше так не могло продолжаться.

Впервые за несколько месяцев он спокоен.

Они занимались любовью той ночью, и следующей тоже, и все ночи и дни, пока были вместе. И это было уже не совокупление, а любовь, полная нежности.

Только теперь, когда он вспоминает Аску, у него оживают глаза... рассказывает, как трудно было расставаться с ней, с ее телом, ее затылком.

Легко цепляться за жизнь, когда на улице гранаты сыплются градом.

А наша жизнь — где она?

Далеко, очень далеко... бесполезно лгать. Раненные насмерть, мы проехали по Хорватии, по Украине... остановились в аэропорту Белграда и вернулись умирать в Сараево, в город, где родились.

Голова манекена лежит на столе, глядя на нас широкими подведенными глазами.

Мы искали тело, на которое могли бы опереться... кусок дерева в русле нашей взбунтовавшейся реки, чтобы он перенес нас на другой берег. Но Диего не такой, как я, не может использовать людей... глупый мальчишка сразу влюбляется.

Он не знал, что Аска забеременела, она ему не сообщила. Узнал об этом, когда вернулся в Сараево.

Смотрит на оторванную голову, которая сейчас должна напоминать ему Аску. Она тоже живет в отрыве от своего тела.

Аска жалеет о том, что произошло, впала в депрессию, злится. Ее семью в Соколаце полностью уничтожили... и теперь она чувствует себя виноватой, думает, что Бог ее наказал.

Диего гладит голову с вытараченными, блестящими, будто от слез,

глазами.

— Ты ее любишь?

— Как же мне не любить ее?

— А я?

— Ты — это ты.

Кто — я? Та, чья фотография наклеена на журналистское удостоверение. Надо идти, тащиться на командный пункт ООН, потрясать удостоверением, чтобы меня посадили в один из самолетов, которые даже моторов не выключают: сгружают ящики с медикаментами на взлетно-посадочную полосу аэропорта Бутмира и тут же назад. Но я остаюсь. Как я могу уехать? Катушки пленок падают на пол, и никто их не подбирает. У каждого опасного перекрестка фотографы подстерегают пока еще живого покойника: вот женщина бежит к своей семье, а в нее попадает пуля. Снайперы пленки в ожидании лучшей фотографии, которая принесет им награду.

С гор достигают долины леденящие душу истории. На выходные к четникам присоединяются довольно странные добровольцы. Люди приезжают из-за границы, чтобы поразвлечься. Метким стрелкам надоели симуляции, картонные фигуры.

Сараево теперь — огромный открытый полигон. Охотничий заповедник.

После дождя на асфальт выползают улитки

После дождя на асфальт выползают улитки, скользят, вытягивая из хрупких домиков склизкие бескостные тела. После дождя горожане бродят по лугам, где нет деревьев, между кучами железа и свежими могильными холмиками... радостные, незаметно наклоняются, подбирая этих блестящих моллюсков. Уже несколько месяцев никто из них не видел мяса. Прошел дождь, и теперь женщины улыбаются, вытряхивая свои трофеи на кухне, где царит пустота. Улыбаются дети, наблюдая, как улитки ползут по столу и падают. Велида тоже пришла с пакетом, полным ракушек. Она собирала их тайком в саду, куда обычно никто не заходит... ей стыдно выставить напоказ свой голод.

В кухне стоит слегка приторный запах. Мы поставили кастрюльку на стол и макаем хлеб в бульон из кубиков гуманитарной помощи, в котором были сварены улитки с добавлением турецких специй и боснийского уксуса. Пальчики оближешь!

После Велида скажет, что во всем виновата слишком вкусная еда, вернувшая им счастье, которого у них долго не было, которое обмануло их, обернулось злом.

Впервые за несколько месяцев у Йована заблестели глаза, и серое лицо, в шершавых пятнах, слегка порозовело.

После еды он закурил сигарету из пачки, которую ему подарил Диего. Сигареты «Дрина» сейчас заворачивали в страницы, вырванные из книг, потому что не хватало бумаги, и, само собой разумеется, первыми в ход пошли книги на кириллице. Йовану было жаль, что его культура расходуется на курево, но что поделаешь, сигарета после тарелочки улиток — настоящий шик.

Когда снова стало тихо, когда Велида опять начала рубить крапиву и вкусный запах улиток исчез навсегда, Йован ушел.

Уже несколько месяцев он не выходил из дому. Оделся со всем тщанием: шерстяной жилет, широкий галстук, старая маленькая кипа на макушке. Взял сумку, которую носил, будучи профессором в университете, и сказал, что пойдет прогуляться, что прекрасно себя чувствует.

Нереальные слова в этом городе-призраке, в этом доме без света, без стекол — лучшая мебель продана, худшая пошла на дрова.

— Ты куда собрался, Йован?

— В университет.

У Велиды не хватило смелости остановить его, она всегда уважала желания мужа, и ей показалось, что это не самый подходящий момент что-либо ему запрещать. Она лишь попыталась напомнить, что университет разрушен, как и все значимые городские здания, но Йован только кивнул:

— Пойду посмотрю, можно ли что-нибудь сделать.

— Это опасно...

Изобразив улыбку, он произнес старую еврейскую поговорку:

— Кому суждено утонуть, тот утонет и в стакане с водой.

Велида постучалась ко мне в дверь очень поздно, когда стемнело и наступило время комендантского часа: Йован давно должен был вернуться. Она не плакала, но ее голова тряслась сильнее обычного.

Велида беспокоилась, хотя и храбрилась. Она правильно поступила.

В этот день в середине ноября, наевшись улиток и выпив два стакана самогона из риса, приходившего в гуманитарных посылках, старый Йован, сербский еврей из Сараева, биолог, специалист по пресноводной флоре и фауне, всю жизнь изучавший развитие кольчатых червей и одноклеточных зеленых водорослей, вышел на улицу посмотреть на останки своего города, на деградацию своего биологического вида, мирных мусульман, сербов, хорватов, евреев из Сараева.

Лицо Велиды, омываемое воспоминаниями, поглощала тьма. Она ни о чем не жалела: если Йован захотел выйти, значит, так было надо.

— Мы никогда никому не делали зла, мы — мирные люди.

Когда пришло известие, Велида просто кивнула. Новость сообщил таксист, один из тех городских героев, которые выезжают на самые страшные перекрестки, не закрывая дверцы, чтобы подобрать раненых. Высокий человек с очень красивым лицом, изнуренным войной, развел руками, потом скрестил их на груди, склонив голову, как делают мусульмане.

Йована застрелили на мосту Братства и Единства, по которому он спокойно шел навстречу снайперам Грбавицы. Так поступали или вконец вымотанные, или слишком гордые люди. Он решил умереть стоя. Пойти навстречу снайперу, как своему ангелу.

Велида рыдала взахлеб. Она хоронила пятьдесят лет, прожитых вместе с Йованом. Я сжимала ей руку, и только. Она была сильной, гордой вдовой, настоящей женой бойца. На пустой кухне были слышны только эти сдавленные всхлипы, похожие на клекот какой-то птицы. Несколько дней назад они поссорились, чуть ли не единственный раз за все время их совместной жизни. Йован настаивал, чтобы Велида продала микроскоп,

книги и все оборудование из его научной лаборатории. Она даже слышать об этом не хотела, отдала свое золото, все столовое серебро, какое было, сожгла свои туфли и свои книги в печке, но не собиралась продавать вещи Йована.

— Не могла отнимать у него жизнь.

Однако он самостоятельно позаботился об этом. И теперь от него осталось только продавленное кресло, поношенная кофта, согревшая его вечерами в лаборатории.

Думаю, он просто хотел освободить от себя Велиду. Может, без него она спасется, продаст микроскоп и уедет. Знал, что в любом случае не сможет пережить эту зиму, слишком ослаб. Его кашель уже походил на извержение вулкана. Ему не хотелось дожидаться конца вот так, сидя в темноте за полиэтиленовой пленкой миротворческих сил. Он дождался дождя, улиток. С едой вернулись какие-никакие силы. Почувствовав мимолетный прилив энергии, он вышел попрощаться с тем, что осталось от города, где он родился и вырос.

Мы приехали в больницу Кошева. Приторно-терпкий запах морга не спутаешь ни с каким другим. Проходим мимо тела девушки в джинсах, без обеих рук, потом мимо обугленного трупа мужчины, кожа почернела и сморщилась на костях черепа, зубы обнажены. Нам дали пропитанную дезинфицирующими средствами маску для защиты от запаха. Велида не стала ее надевать, — казалось, она ничего не чувствует.

У Йована все цело. Это он, точно он, то же выражение лица, как и тогда, когда несколько часов назад мы ели улиток. Смерть его не запятнала. Доктор, сопровождающий нас, говорит, что пуля попала в затылок и вышла рядом с ухом, показывает небольшую дырочку черничного цвета. Велида кивает. Йован не обезображен. Одежда тоже в порядке. Доктор отходит, и мы остаемся наедине со всеми покойниками, которые здесь лежат. Думаю: «Вот плоть, прекратившая страдания». И за этой бездной больше ничего нет. Я тоже должна перестать мучиться прямо сейчас, потому что здесь, внутри, уже не до этого, отмучились. Покорились судьбе. Велида склоняется и целует Йована в губы. Долго стоит так, приклеившись к лицу мужа, закрыв глаза, как и он. Когда поднимается, слез нет, только губы такие же темные и безжизненные, как у Йована.

Потом я замечаю ребенка, его труп лежит рядом с пустой каталкой. Кажется, что ребенок небесно-голубой. Так и есть, его бледная кожа светится лазурным светом, как у святых в церкви. Он не изуродован, на лице нет крови, у него волосы, которые никогда не растрепываются: короткая жесткая щеточка, похожая на меховую шапку... они выглядят

настолько живыми, что, кажется, я чувствую их запах: так пахнет вспотевший затылок наигравшегося ребенка. Он похож на голубую ящерицу, этот маленький святой. Должно быть, умер совсем недавно. Подхожу ближе, чтобы лучше рассмотреть его, около него никого нет. Велида разговаривает с Йованом, прощается с ним. Вспоминает самые счастливые моменты их жизни. А я пока могу пройти по этому странному месту. Вне всякой реальности. Закулисная сторона войны, где тела свалены, как поломанные игрушки. На ребенке свитер в полоску. Ладонка слегка раскрыта, как во сне, когда рука свешивается с кровати. Невинность покорно склонилась перед смертью. В ногтях, мне кажется, задержалась душа. Лучше мне было уйти: я уже чувствую, что это видение будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь, что этот ребенок проникнет ко мне в душу и выйдет из нее только вместе с моей смертью. Это будет последнее, что я увижу в жизни, и первое, до чего захочу добраться там, где будут ногти ребенка среди голубого полета душ. Я не задаюсь вопросами, где его мать, почему она не стоит, не плачет около сына, наверное, ее тоже нет в живых. Потому что теперь я мать этого ребенка, я прикасаюсь к его ладонке. Знаю, что не должна этого делать. Но что-то, кажется, я могу сделать. Никто не оплакивает мертвого ребенка, не скорбит. Он умер совсем недавно, лежит, как живой. Кажется, сейчас откроет глаза, посмотрит на меня и, испугавшись того, что оказался здесь, ушмыгнет, как мышонок.

Я поняла, как вылечить сильных мира сего, людей в пиджаках и при галстуках, сидящих за столом притворных переговоров о мире. Нужно только положить этого небесно-голубого ребенка на стол. И закрыть их в той комнате, чтобы они не могли выйти. Закрыть. Чтобы они увидели смерть, которая методично работает, поедая плоть изнутри. Раздать бутерброды, сигареты, воду и оставить их там, пока ребенок не начнет разлагаться, пока от него не останется один скелет. На какое-то время. На все то время, которое потребуется. Вот как бы я сделала.

И теперь я уверена, что стала матерью, стоя перед этим мертвым ребенком. Кости таза разошлись, роды произошли прямо здесь, в морге.

От негодования у меня стучат зубы.

Ребенок окутан голубым ореолом. Я держу его ладонку. Провожу рукой по всему телу, по коленке, по синякам на икрах, чуть покрытых пушком.

Что еще может быть после смерти ребенка?

Ничего, думаю, кроме нашего глухого возмущения, — ничего.

Ребенок лежит здесь, от его волос, по-мальчишески подстриженных

ежиком, до сих пор пахнет жизнью. Святые и мученики с застывшими от ужаса глазами отступают назад. Прозрачная кожица век прикрывает глазные яблоки, просвечивающие, как виноградные косточки... но оставляет щелочку между ресницами. Дорогу. Словно темный путь по свежему снегу.

Взяв ребенка за руку, отправляюсь с ним в путь. «Зачем ты родился?» — спрашиваю.

Подходит Велида:

— Все, можем идти. — Увидев ребенка, прикрывает ладонью рот. — Чей он? — шепчет.

— Не знаю.

Оглядывается по сторонам, будто ища что-то, кого-то... причину всего этого. У нее тоже нет детей, так что мы обе — одинаково никчемные женщины, два велосипеда без цепи.

— Сын войны... — произношу и не понимаю, что говорю, что думаю, кто я такая.

Мы одни на этом поле мертвых. Никогда уже я не смогу забыть голубого ребенка. Меня не должно было быть здесь сегодня, и не я должна была оплакивать его, держа за руку. Это вышло случайно.

Мы направляемся к выходу. Маска, смоченная дезинфицирующей жидкостью, защищает меня от запаха. Не буду больше оборачиваться. Мы возвращаемся домой в темноте, проходя сквозь скелет города.

Ночью я вспоминаю улиток, их маленькие слизкие тела, ватагу ребятишек — я смотрела из окна, как они, смеясь, собирали манну небесную, свалившуюся на них после дождя. Вспоминаю красный жилет Йована, его больную, заложенную грудь... слышу хриплое дыхание, как если бы находилась внутри, будто в машинном отделении корабля. Вспоминаю прикрытые, как во сне, глаза голубого ребенка, дорожку между ресницами... тонюсенькую, липкую. Именно по ней ползет улитка, медленно продвигаясь вперед, как старый Йован в своем блестящем пальто, похожем на панцирь. Он ведет ребенка через линию, отделяющую жизнь от смерти.

Позже Диего тоже пойдет в морг попрощаться с Йованом.

— Я положил ему сигарету в карман, — улыбается. — Выкурит по пути.

Он стоит ко мне спиной, смотрю на его спутанные волосы. Вернувшись, он раздавил улитку на пороге. Почувствовал под ногами осколки ее раковины. Как жаль, что он убил живое существо, говорит, теперь он обо всем жалеет... ему кажется теперь, что в каждой жизни

прячется еще одна. Целый лабиринт жизней.

— Видел ребенка?

— Какого ребенка?

— Ребенка голубого цвета, рядом с Йованом...

Говорит, не видел никакого ребенка, когда был там. Никакого ребенка.

— Рядом, труп мальчика... сразу за пустой каталкой, — настаиваю я.

Пожимает плечами. Поворачивается ко мне:

— А что, что с тем ребенком?

Хочу рассказать ему все, но не могу вымолвить ни слова.

— Он умер.

Утопаю в слезах, как будто падаю в бездонную щель полуприкрытых глаз того мальчика, которые уже под землей, прилеплены к земле, как раздавленная улитка. Я больше никогда не буду так рыдать, даже когда останусь одна. В тот день я буду сильной, как боснийская вдова, как Велида.

Она сказала, стоя у трупа мальчика: «Мужья могут умирать, дети — нет».

И ее боль сжалась, как улитки в кипятке.

Я наверняка это запомню.

А сегодня я оплакиваю все, даже то, чего еще не было. То, что я увидела на черной дороге этих несомкнутых век.

Через какое-то время я прихожу в себя, но теперь я уже не та. Я стала тем, что остается на пляже после урагана, — безмолвной, разоренной пустошью, среди которой неожиданно появляется что-то, например перевернутый дорожный знак.

— Знаешь, на кого был похож тот ребенок? Помнишь Анте?

Диего вздрагивает, как от резкого укола рыбки-песчанки:

— Анте...

Ну да, на него. На того парнишку в рваных брюках, который держался поодаль от других детей, сидел на камнях, как птица, делал вид, что умеет плавать, и тонул, лишь бы не просить помощи.

Несколько дней живу, ничего не чувствуя. Замкнулась в голубом огне своего видения. В окружении одной лишь холодной материи. Мысль о ребенке под землей не дает мне покоя. Затвердевает, как насекомое в янтаре или раковина. Последняя ступень лестницы, уходящей в пустоту. Не могу больше ходить по земле, где плодятся улитки и мертвецы. Кажется, что вместе с голубым ребенком умерли все дети на свете. Холодно, предметы скованы коркой льда. Дети скользят по раскатанному льду, но я даже не могу смотреть в их сторону, они для меня что призраки, выстроившиеся в

очередь за смертью.

Вытянув ногу, открываю ею створку шкафа. Смотрюсь на себя в единственный осколок разбитого зеркала. Корни волос отросли, вернулся натуральный каштановый цвет, мелированные пряди опустились на кончики, желтые, как куриные перья. Вспоминаю своего парикмахера, его лицо, профессиональный жаргон... осветление прядей, тонирование, восстанавливающие маски. Я на изнанке мира. Я уже не я, но мне все равно. Ничего не делаю, только лежу на кровати и толкаю пальцами ног дверцу шкафа с обломком зеркала, в котором отражается обломок меня. Все, что произошло со мной до этой войны, представляется мне далекой доисторической эпохой. В довоенный период, до небесно-голубого ребенка, я мечтала остаться с овечкой, чтобы приложить руку, ухо к ее животу. Мы обе стали бы матерями.

— Что Аска будет делать с ребенком?

— Не знаю, она молчит.

— Я боюсь.

Задержал на мне взгляд:

— Поздно бояться.

Наступила зима. Война стала привычной, вошла в плоть и кровь. Цветочница с Маркале говорила: «В этом году нам повезло, снега пока нет».

Она стояла, стуча зубами, перед маленьким кустиком бумажных цветов. Вязаная шерстяная шапка казалась все шире над ее иссохшим лицом. И тем не менее она не переставала улыбаться.

Есть вещи, которые навсегда останутся со мной, помогут мне жить. Улыбка цветочницы с улицы Тито спасет меня.

Однажды я спросила, как ее зовут. Вероятно, она подумала, что это одна из уловок коварной журналистки. По фамилии я смогла бы распознать ее национальную принадлежность.

— *Svjećarka sarajevska*, — отвечает.

— Как ее зовут? — переспрашиваю у Гойко.

Он смеется над хитростью старой ведьмы:

— Это не имя, цвечарка значит цветочница.

Цвечарка из Сараева, и все. Ни сербка, ни мусульманка, ни хорватка. Цветочница из Сараева.

Диего фотографирует ее, покупает букеты бумажных цветов, приносит мне и, уверена, овечке тоже.

Я не ревную, во мне не осталось ничего. То, что происходит вокруг, все уносит прочь.

Диего сам рассказывает о ней, пока мы идем, пока с цветов сходит краска, стекая цветными каплями. Говорит, что Аска очень ослабела и страшно горюет — ее семью убили — и этот ребенок в животе тяжелый как камень. Хотя он единственное живое создание, которое у нее есть.

— Тогда, скорее всего, она захочет его оставить...

Он выберет подходящий момент и спросит ее.

— В таком случае...

Качает головой, не надо загадывать вперед. Ни одна женщина не оставила бы себе ребенка под градом обстрелов.

— Ты их не бросишь, ее и ребенка, так?

Отворачивается от меня. Спрашивается, что я делаю здесь?

Вот и медведь умер. Он держался дольше других, несколько месяцев. А потом умер. Его покрытое мехом тело сначала рухнуло на колени, потом растянулось на земле, медленно открылась пасть и так и осталась открытой.

Провожая Велиду на железнодорожный вокзал, отсюда должны отправиться два автобуса в Хорватию. Гойко помог найти для нее место. Это было нетрудно, я отдала триста марок, почти все, что у меня оставалось, но она этого не знает. И я никогда ей об этом не расскажу, если, конечно, хочу остаться ее подругой. Сказала ей, что она — пожилая вдова и имеет право войти в список эвакуируемых гражданских лиц. Но я солгала, никто не может уехать бесплатно. С собой она взяла только один небольшой темно-коричневый чемодан из кожзаменителя, стянутый двумя ремнями. Несу его и совсем не чувствую веса. Этот полупустой чемодан мне не нравится, в нем не ощущается никакой надежды на жизнь.

— А что мне еще нужно? — говорит. — Пальто на мне. Что мне нужно для новой жизни?

Но дроздов все-таки везет с собой, поставила их у ног, в очень тесной клетке, покрытой тряпкой. Боятся, что ее не пустят с клеткой, и это единственное, о чем она беспокоится. Улыбается. Короткие волосы с проседью, шелушащееся лицо. Сегодня, правда, она слегка накрасилась. Собачий холод, негде даже присесть, ждем, стоя на ногах перед кучей развалин, которая когда-то называлась вокзалом... отсюда поезда отправлялись в Плоче, на море. Люди сидят на чемоданах, женщины обнимают детей. Если им удастся пройти через будки военных блокпостов, они увеличат и без того многочисленный стада беженцев, транзитников с разрешением на временное проживание, листком, вложенным в синий паспорт с золотыми лилиями новорожденной и уже почившей Боснии. Доедут до центров приема, устроятся на какую-нибудь скромную работу, и

на них будут косо смотреть граждане тех стран, где они станут жить, навсегда потеряв свою сущность. Вот что значит новая жизнь.

Автобусы приезжают под вечер, когда никто уже не надеется. Раздаются аплодисменты, смех. Велида забирается внутрь, ставит клетку на колени. Мы прощаемся через стекло. Она часто кивает, закрывая глаза, дает понять, что все в порядке.

— Я напишу тебе.

Я рассказала ей об Аске в конце концов. Но она уже знала, видела ее вместе с Диего.

— Где?

— В старых турецких банях...

Они шли, держась за руки. Велида поразились: такие молодые, но при этом усталые, потерянные.

Сжала мне руку, обняла в последний раз.

— Не бери с меня пример, — сказала, — не мирись со смертью. Борись, Джемма, цепляйся за жизнь!

Матери вокруг плачут, один из двух автобусов полностью занят детьми. Их сопровождает всего один человек — мужчина плотного сложения, в галстук персикового цвета. Он собирает паспорта.

Этот галстук всплывет в моей памяти, как и автобус с детьми, когда я в гостиной моей римской квартиры однажды прочитаю, что сотни эвакуированных из Сараева детей пропали без вести. Может, были незаконно усыновлены, может, хуже. Настолько хуже, что следовало бы сказать: «Выруби все, черт побери, чего ты ждешь, Боже? Погаси солнце, сбрось с неба планету, черную, как сердца браконьеров в галстуках. Пусть раз и навсегда воцарится тьма. Упрядни добро, ибо зло поселилось у него в карманах. Прямо сейчас. В эту секунду. Потому что в эту самую секунду кто-то покушается на ребенка. Спаси последнего. Выруби все, Боже. Не жалея нас, не оставляй свидетелей».

Однажды ночью из горных ущелий врывается в переулки Башчаршии ледяной ветер, парализующий и так чуть теплящуюся жизнь. Температура опускается на несколько градусов ниже нуля, люди закутываются в одеяла, затверделые, промерзшие, как металлические обшивки. Мороз отовсюду проникает в разбитые строения. Пленки на окнах заледенели так, что, когда дотрагиваешься до них, обжигает пальцы. Туманные рассветы приносят первых окоченевших покойников — мумии, покрытые коркой льда, точно засохшие пирожные с глазурью. Оранжереи держатся, съжившись под целлофановыми пакетами, связанными один с другим.

Из-за холода снайперы Грбавицы, Требевич, деревни Полине сменяются чаще: рука примерзает к прикладу.

Снег падает, поглощая небо. Город замкнулся в себе, шаги беззвучны, носики кранов облеплены льдом. Дети утоляют жажду снегом, который разъедает слизистые оболочки.

Снег накрывает развалины: всего за одну ночь залепил черные здания и, кажется, способен все очистить. Но потом город еще больше мрачнеет, дичает, когда снег, расчищенный вручную, образует грязные стены, а сквозь белый покров проглядывают разрушенные минареты, словно сломанные копья. Жизнь застывает на морозе... на улицах костлявые фигуры, сторбленные скелеты, будто вышедшие из Музея естественных наук, тащат санки, перекошенные коляски, нагруженные обломками.

Потом первая граната за этот день, кровь на снегу.

Гойко я теперь почти не вижу, сидит целыми днями в бункере радио, соединяет людей с родственниками, находящимися в оккупированных районах, получает с радиостанций Хорватии и Словении обращения беженцев, желающих Узнать о своих семьях, оставшихся в осажденном городе. Все еще находит в себе силы улыбаться. «Их голоса звучат, — говорит он, — как с того света». У него отлично получается ловить далекие звуки, налаживать бесконечно прерываемые соединения, вслушиваться в голоса, которые будто доносятся из глубины леса, перебиваются другими голосами, рыданиями, шумами, похожими на подземные толчки.

— Однажды я научусь разговаривать с покойниками, — говорит. — Как раз к окончанию войны стану медиумом.

Иногда по вечерам у нас получается вместе выпить пива, которое отдает мылом, в открывшихся опять подвальных клубах: жизнь начинает восстанавливаться в тени войны. И молодые люди хотят напиваться, влюбляться, смеяться.

Так я снова встретила Ану и Младена. Зорана взял в плен один из военизированных отрядов, и он умер, роя окопы около Жуча. Они смеются: Зоран был интеллектуалом, боялся физической работы, как кошка — воды, забавно представлять его себе в грязи по колено и с лопатой в руках.

— И вообще, — говорит Ана, — если все время плакать, мертвые уходят от нас навсегда, а когда смеешься, они будто и не умирали.

Она в джинсах «Levi's 501» и черной футболке, такая же красивая, несмотря на потемневшие зубы.

— Почему ты до сих пор не уехала? — спрашивает меня.

Младен показывает свою последнюю работу. Мы вместе доходим до здания эпохи Австро-Венгерской империи, раньше там размещалась

начальная школа. Внутри дом полностью разрушен, только фасад чудом держится. И на этой одинокой стене, точно на холсте, подвешенном посреди пустоты, он расплыл полиуретановую пену, изобразив школьный класс в перспективе... огромное сборище странных детей. Многие лица мне знакомы: Ана, Гойко, рябое лицо Зорана. Посадил за парты всех известных ему в Сараеве людей, всех своих друзей, и живых, и мертвых.

Что еще я помню о том последнем месяце? Себина в красной шапке Деда Мороза, которую подарил Гойко ирландский телеоператор. Мы все вместе шли на праздник к их родственнице, Мирна, сделав прическу и накрасив губы, несла вазочку со сладостями. Проходя мимо Земальски-музея, краеведческого музея, она взглянула на древние надгробия богомилов, изрешеченные пулями. Себина, казалось, ничего не замечала, перескакивала через траншеи. Она была счастлива, потому что ее учителю удалось собрать небольшой класс у себя на квартире, так что теперь ей не грозит пропустить учебный год.

Не знаю, каким образом в нас проникает любовь, но война в меня проникла через те же самые трещины и угнездилась глубоко. Ночами только свет от трассирующих пуль прорезал темноту. Я думала о растущем животе, надутом и белоснежном, как богомильские саркофаги, которые я видела утром, с их цветочной символикой, с космогонией, вырезанной на камнях, теперь изуродованных взрывами. «Они хотят убить символ... символ», — твердил Гойко. И я поняла, что этот живот и был Сараево.

Диего свистит, подражая фанатам. Он не посылает снимков в Италию, как раньше, через какого-нибудь возвращающегося домой журналиста. На зеленой пленке, натянутой вместо оконного стекла, появились трещины от ветра и мороза. Диего просовывает камеру в эти отверстия, словно снайпер — дуло винтовки, и выбирает цель: любого, кто проходит мимо. Но зачастую он щелкает, даже если в фотоаппарате нет пленки. Если я ему об этом напоминаю, пожимает плечами.

— Какая разница, — говорит, — одна и та же хрень.

Мы больше не обсуждаем, что будет потом, проводим часы, замкнувшись в настоящем. Мы такие же пленники этой долины, как и все остальные, и у нас нет никакой уверенности в том, что доживем до завтрашнего дня. Такое прозябание меня совсем не тяготит, это то же самое, что шагать по волнам. Если бы только он был здесь со мной! Однако мы прячемся друг от друга, и эта осада служит нам прикрытием: плотная завеса защищает нас от нас самих. Ночью запрещено выходить с фонариками, но Диего часто уходит, пока мы спим. Борода отросла и закрывает всю шею, больные глаза; он нервничает, говорит, что ему не

спится по ночам. Бродит, как лунатик, по костям обглоданного города... словно впивается зубами в тело смерти.

Дотрагиваюсь до его худой груди; он отводит мои руки, когда я протягиваю ему бронезилет, слишком тяжелый для него. Его спина стала жесткой, повзрослела. Нет больше времени на глупости, любовные игры.

Больше всего мне не хватает того состояния эйфории, какое наступало после. Когда Диего убирал мне волосы с затылка и часами целовал ямку, где, как он говорил, еще остался запах моего рождения.

Я не жду больше дня воскрешения, не жду самолета, который должен унести нас отсюда. Может, мы вообще не вернемся, умрем вместе с городом, где познакомились когда-то. Где впервые занимались любовью на постели матери Гойко, рядом с пустой колыбелькой. Нужно было довериться тому знаку свыше, который уже тогда указывал на нашу судьбу.

Об Аске мы никогда не разговариваем. Она маячит где-то вдалеке, продолжает жить на окраине, в самом разрушенном из всех районов, откуда не хочет переезжать, так что о ней не трудно забыть. Но Диего по ночам зовет ее, воет, как раненый пес, ворочается в кровати. Поэтому ему и не спится. Боится, что ее убьют, а вместе с ней умрет их ребенок. Ну вот, наконец я это произнесла: их ребенок. И я бы хотела найти в себе смелость и, как Йован, отправиться навстречу снайперу, раскрыв руки, как ангел — крылья. Но это не мой город, не моя гробница. Кутаюсь в промерзшие одеяла, мы как рыбы, похороненные подо льдом озера. Рыбы, которых глубина лишила зрения, — плывем, чуть не касаясь друг друга, а встретиться не можем.

Диего говорит, Аска тут ни при чем. Он все равно остался бы, потому что не может бросить всех этих людей и не смог бы сейчас жить ни в каком другом месте. Сейчас, когда познал всю эту боль, после неудавшейся попытки отделаться от нее.

Его жизнь теперь здесь, среди развалин, покрытых льдом. Он еще никогда не чувствовал себя таким сильным. Вся его жизнь — это Халия, девочка, везущая на санках братишек, маленьких, как крольчата; Изет, старик, который каждый день проходит мимо своей закрытой лавки на Башчаршии, прислоняясь к помятой железной решетке; цветочница, торгующая букетиками иллюзий.

Диего только и делает, что твердит мне: «Уезжай, возвращайся домой». Но я не могу никуда ехать без него, без его любви, которую он рассыпает направо и налево, как птичий корм, по улицам Сараева.

— Тебе не нужна моя помощь, ты прекрасно справишься без меня.

Целыми днями он стоит в очередях за водой, с канистрами, которые

относит потом старикам, одиноким людям, неспособным позаботиться о себе. Налаживает печки, таскает дрова, расчищает дорожки от снега, мотается по центрам раздачи гуманитарной помощи, потом идет к семьям, которые взял под свою опеку и которые уже ждут его. У него лоснится лицо от ладошек детей, которых он носит на руках вверх по лестницам неосвещенных вонючих зданий. Рискует своей жизнью вместо их собственных матерей, потому что почти все дееспособные мужчины воюют или роют окопы. Он практически перестал фотографировать, говорит, ему это не интересно, в Сараеве без него полно журналистов и репортеров, никчемных людей, шакалов. Газеты мира устали от изуродованных трупов, от грязных детей в спортивных костюмах, им нужно больше места для рекламы рождественских пирогов и «бриллиантов-навсегда».

Вбил себе в голову, что должен сдохнуть на этой войне, заплатить собой за посредников-миротворцев, не желающих и пальцем пошевелить. И все-таки мне казалось, что за этим жертвоприношением кроется разочарование мной, нами. Злость обиженного мальчишки.

Кем он себя считал, этот худой сутулый парень, с волосами, завязанными в хвост красной ленточкой, и в куртке с перекрещенным пластырем на спине?

Он был отцом для всех, и все звали его на «ты».

— *Zdravo, Diego!*

— *Zdravlje, Diego!*

Он уже говорил на их языке. И его руки потрескались от холода, от тяжелых канистр с водой, которые он таскал.

— Как раны распятого Христа, стигматы, — подшучивала я над ним.

Я влюбилась в мальчишку, настоящего сорвиголову, голос которого звучал хрипотцой генуэзских проулков, а зубы были испорчены марихуаной. Того, кто дрался на стадионах, а со мной становился ласковым, как котенок.

Сейчас он походил на старика, длиннобородого отшельника.

Собираю немного снега, кидаю в него, в его добрые глаза.

Сволочь. Любимый.

Однажды я описалась прямо на улице, когда молодой человек в клетчатой куртке свалился у моих ног. К счастью, он остался жив. Наклонился за сигаретой, выпавшей из рук, и осколок гранаты задел ему плечо. Он не погиб только потому, что сигарета выскользнула из окоченевших на морозе пальцев.

Счастливая судьба. Всюду кровь — и парень, не понимающий, не чувствующий боли, жалуется только на то, что сигарета намочила и потухла.

Потом он замечает капли, падающие на снег, смотрит на меня, вытаращив глаза, уверенный, что эта кровь моя, что граната попала в меня. Думает, что убили меня и сейчас я упаду. Смотрит на меня, как на привидение. Ищет глазами, куда меня ранили. Думает, вдруг в затылок и сейчас я начну харкать кровью. Меня испугали именно эти глаза. Мутные, чужие, глядят на меня, как на покойницу. Я встречаюсь с кем-то взглядом последний раз в жизни? Чувствую, как дрожат ноги, как стекает на морозе теплая моча. Вот так, оказывается, и умирают, не успев моргнуть глазом.

Чуть позже парень скажет, что вначале и правда ничего не почувствовал, кроме несильного толчка, потом огляделся, увидел кровь и меня. И на некоторое время в самом деле подумал, что попали в меня. Только потом рана начала гореть огнем.

Сегодня в очереди за водой я узнала, что осколки гранаты не причиняют боли, проникая в тело, поскольку шок действует как анестезия.

Я совсем перестала выходить, жду, прячась в коридоре, подальше от окна.

Жизнь сократилась до чувства самосохранения.

— Принес что-нибудь?

— Очень хочется морковки, у тебя нет морковки?

Мы могли бы уйти в гостиницу, приплестись в «Холидей-Инн», где расположилась иностранная пресса, где разговаривают на знакомых языках, люди уходят и приходят, есть горячая еда, официанты. Но Диего ненавидит эту фальшивую атмосферу.

Я вцепилась в него, голая, потеряв всякое достоинство, оставив гордость.

— Я превратилась в чудовище... настоящее чудовище. Мне надо встретиться с Аской и попросить у нее прощения.

Диего смотрит на меня, как на фонтан, неодушевленный предмет, выплевывающий воду.

— Что я могу сделать? Что, скажи?!

— Позвони отцу, попроси выслать денег, сколько может.

Однажды вечером он вернулся с банкой боснийского паштета, от которого в мирные времена меня тошнило, а сегодня он показался мне самой лучшей едой на свете. Я взглянула на Диего с мольбой о жалости, нежности. Протянула ему руку, которую он поцеловал, как будто лизнул марку, чтобы наклеить на конверт, лишь бы я отстала.

Мы посидели еще чуть-чуть, я подставила затылок, выпрашивая поцелуй в то место, которое ему так нравилось.

Но он даже не заметил. Рассматривал какие-то снимки, которые носил

распечатать в фотолабораторию, конуру недалеко от улицы Маршала Тито, где один старик все еще печатал фотографии на лежалой матовой бумаге, разрезанной ножом.

— Дай посмотреть.

Фотографии позирующих людей, до плеч. Простые изображения без какой-либо глубины, как снимки, которые делают в полицейских участках.

— Что это?

— Меня попросили.

Теперь он работает для горожан Сараева. Фотографии на память, чтобы разослать родственникам, прикрепить на могилу.

— Не трогай руками...

— Почему?

— Испачкаешь.

Так и есть, у меня руки вымазаны в паштете. Но сегодня мое терпение лопается. Внезапно, не дав ему времени опомниться, комкаю фотографии, всю эту убогую, позирующую перед фотоаппаратом публику.

И чувствую, что еще жива, потому что моя злость остается при мне.

Тащусь за ним, словно грязная, больная тень.

Он недолго играет в футбол с мальчишками на снегу в пустынном дворе. Смеется, прыгает, делает обводки мячом. Потом стоит согнувшись, отдыхает. Белый пар дыхания на морозе.

Школьники из полиуретана так и висят на той фантастической стене. А Младен умер. Снайпер выстрелил в него, когда он вез отца в инвалидной коляске. Просто ради развлечения, чтобы посмотреть на разбитого параличом старика, который остался один посреди улицы, не в силах сдвинуться с места, помочь сыну.

Я иду за Диего на Маркале, он ныряет в здание, которое вот-вот рухнет, сегодня там развешана одежда, испачканная в снегу, сочащаяся влагой, — вещи из гуманитарных посылок, попавшие к спекулянтам. Диего ищет что-то в куче резиновых сапог и поношенных калош. У меня все это вызывает отвращение. Больше не могу, настал мой предел. Меня тошнит от запаха старых и сырых вещей, общих супов из алюминиевой бадьи, неработающей канализации... мне опротивела грязь, смешанная со снегом. Я боюсь бродячих собак, терзающих мертвецов, меня пугают лица людей с ввалившимися щеками, вид штанин, скрывающих ноги, худые и негнущиеся, как костыли; безумные глаза, шарящие по земле и выискивающие поживу, как те же самые бродячие псы. В городе больше ничего не осталось, сплошное выгоревшее поле. Оголодавшие люди едва держатся на ногах, шатаются в поисках чего угодно — лишь бы поддержать

жизнь. Боян, мим, и его девушка Драгана придумали особенный номер и показывают его под аркой на пешеходной улице: делают вид, что едят, устраивают воображаемый банкет, — и у них так замечательно получается, что слюнки текут. Берут за руку любого, кто останавливается посмотреть, приглашают сесть вместе с ними, чтобы налопаться до отвала, подают сотрапезникам суп, бедро барашка, питу... облизывают пальцы, глотают, кто-то смеется, кто-то плачет, но в конце концов все как будто бы наедаются.

Диего выходит из рынка с дубленкой на вешалке-плечиках, тащит ее на спине, будто тушу, эту дубленку, подбитую с изнанки мехом. Подол волочится по снегу.

В последний раз, когда я увижу Аску, на ней будет раздобытая Диего дубленка, и девушка покажется в этой жалкой одежке настоящей слонихой. Пуговицы натянуты до **предела** на огромном животе. Она пришла к мечети Ферхадия и обмывается в ледяном фонтане. Диего помогает ей, поддерживает, пока Аска растирает себе лицо, шею. Потом, сняв башмаки, она опускает ноги в ледяную воду.

Идет босиком по снегу. Останавливается там, где раньше была софа, место, предназначенное для женщин. Сгибается, встает на колени: живот мешает поклониться до земли, выразить всепоглощающую покорность Богу.

Я подхожу, опускаюсь на колени рядом с ней. Ее глаза как застывшие рыбы под коркой льда.

— Я отдам тебе ребенка, — говорит.

Мрачная улыбка озаряет лицо, которое, по-моему, сильно изменилось.

— Конечно, если снайпер не заберет его раньше.

Пьетро стоит перед зеркалом

Пьетро стоит перед зеркалом. После, как всегда, бесконечного мытья под душем. Разводит в стороны длинные голые руки, сгибает в локтях, долго смотрит на себя. Подходит, спрашивает, заметна ли разница между мышцами правой и левой руки, достаточно ли он накачан, похож ли на профессионального теннисиста?

— Потрогай.

Не чувствую никакой разницы. Мну сначала одну, потом другую трубочку длинных тонких мышц, за которыми прощупываются кости.

— Надо записаться в спортклуб, подкачаться.

Сидит на кровати, полотенце обернуто вокруг талии, намочил простыню, ну да ладно, все равно уезжаем.

Передо мной его голая сутулая спина с выделяющимися позвонками, лопатки выпирают, как сложенные крылья.

— Какой же я некрасивый, — сетует.

Это его любимая тема, он постоянно жалуется, находит у себя кучу недостатков: то плечи слишком худые, то глаза большие, то ресницы чересчур густые, как у девчонки. Ему кажется отвратительным небольшое коричневое пятнышко с волосками у паха, из-за чего он на пляж надевает не плавки, а длинные, до колен шорты.

— Не говори глупостей — ты очень красивый!

У него еще не было девушки. Единственная женщина, делающая ему комплименты, — это я, и, ясное дело, он мне не верит.

Над губой, которая из-за этого кажется грязной, отрос тонкий пушок, зубы, уши и нос выглядят слишком большими на еще маленьком лице, и потому он напоминает ребенка с картины Пикассо. Лошадиные глаза на вытянутом, как фасолина, лице.

Когда он вырастет, то будет очень красивым — это уже видно по улыбке, по тому, как он обращается с младшими детьми, как знакомится с людьми, сразу их целуя, как лучших друзей.

В его паспорте написано, что он родился в Сараеве. Для него этот город ничего не значит: ничейная земля, где я оказалась по оплошности, поехав за его отцом, которого он никогда не видел.

Только раз он поинтересовался, как я его рожала. Это случилось в третьем классе, нужно было подготовить домашнее задание. Мы наклеили его фотографию в младенческом возрасте на лист картона. «Что мне

написать, мама?» Он должен был рассказать, что он знает о своем рождении, и, разумеется, стал меня расспрашивать. Я встала, открыла холодильник, вытащила бифштекс. Разговаривала с ним, повернувшись спиной... придумывала что-то на ходу, переворачивая кусок холодного мяса.

Потом увидела его работу, вывешенную вместе с работами других детей на огромной школьной доске объявлений. Стояла там, держа в руках пластиковый стаканчик с лимонадом, посреди этого курятника, рядом с мамашами, которых я никогда терпеть не могла. Мне боязно откровенничать с другими матерями, ведь я совсем на них не похожа. Я стояла, отрешившись от них, и читала слова сына. Он описал некую банальную и слащавую историю своего рождения. И именно эта спокойная обыденность тронула меня. Мы стали такими же, как все: я — ласковая мамочка, а он — пухленький малыш. Наша абсурдная история затерялась среди обычных, канонических рассказов, среди розовых и голубых ленточек. У него получилось намного искуснее, чем у меня. Он стоял рядом, костлявая фигура отца, бледное лицо того города. Кроткий взгляд идеального соучастника: «Тебе нравится, мама?»

Слеза упала в лимонад. Одна глупая, как вся моя жизнь, слеза. Не смогла даже ответить, кивнула, точно клюющая зерно курица. Склевала эту теплую, невероятно длинную ложь, неумело выведенную карандашом еще не совсем уверенной рукой моего сына. Его наивность стала мне защитой. Он лично окрестил меня матерью. Сказал: «Это ты. Вот свидетельство».

Что я должна была ему ответить на это?

Каждый раз, когда я шла навестить очередную подругу, которая родила среди белых подушек и бантиков, и видела эту чистоту, и ощущала неопиcуемый запах новорожденной плоти, нового ребенка... да хотя бы и запах дезинфицирующих средств, ватных дисков для протирания сосков перед кормлением, и улыбалась, и говорила: «Какой чудесный, очаровательный малыш!» — каждый раз я казалась себе еще чуть более одинокой, чуть более уродливой. И, вручив небольшой подарок, уходила мрачная из ватного гнездышка. Болталась где-нибудь, сама не своя.

Мне не довелось стать матерью. А вылечиться от того, чего ты лишен в жизни, нельзя, можно только приспособиться, придумать себе другую правду. Приходится, как старикам, уживаться с собой, со своей тоской по жизни.

Меня обделила природа, я не сопричастна таинству воссоздания себя. Мое тело не было допущено на это пиршество, которое обычные женщины повторяют раз за разом, до пресыщения, безразличные к таким, как я.

Во время беременности раздвигаются кости. Бабушка говорила, что каждая новая жизнь как гвоздь в теле женщины, как подкова. И перед смертью матери заново переживают роды, когда раскрывшееся тело выпускает в мир белый уголек. Они снова чувствуют эти гвозди. А я, когда буду умирать, что почувствую? Где моя подкова?

Пьетро написал, что, когда он родился, я положила его к себе на живот и он так заснул. Вероятно, я должна была испытать стыд, а почувствовала, наоборот, спокойствие на душе. Все остальные гвозди можно было выбросить.

Я не спала и слышала стук в дверь — пришел Гойко. Просто лежала с закрытыми глазами в глубине комнаты, куда я перетащила кровать, прижалась в полусне к холодной стене, не будучи в силах оторваться от нее из страха. Едва забрезжил рассвет, который в нормальное время я бы и не разглядела, но сейчас чувствовала любое минимальное изменение темноты.

Гойко входит молча, с зажигалкой в руке, освещая себе дорогу. Потом гасит ее, видимо из экономии.

— Что случилось?

Не видя его лица, воскрешаю в памяти таким, каким оно было мгновение назад, — освещенное огнем зажигалки. Словно защищаясь от кого-то, он подносит руку к лицу, держит ее у щеки. Необычное для него, скорее, женское движение.

— Что случилось?

Мотает головой, мычит.

Почему этот идиот молчит? Я давно готова. С того самого момента, как я вошла в морг, как выпал первый снег, я уже готова ко всему. Йован научил меня. Тело пустеет, как дырявый мешок, я даже слышу шуршание высыпающегося из него песка. Спокойствие — вот характерная особенность Сараева. Спокойствие, которым ты обладаешь, даже не подозревая об этом, которое приходит к тебе неожиданно, как смерть.

Я включаю фонарик, направляю свет на Гойко. Тот недовольно отворачивается, убирает руку со щеки, сплевывает на пол.

— А-а-а...

Чувствую сильный запах алкоголя, водки. Гойко чертыхается, жалуется, что болит зуб, коренной. Говорит, что специально держит водку во рту, чтобы немного успокоить ребеночка, зубик. Смотрю на его раздутую, будто от укуса пчелы, щеку и грустные полузакрытые глаза.

Потом уже говорит, что роды начались и он приехал за мной. Диего прислал его.

Возвращаюсь с фонариком к кровати, вытаскиваю из-под нее чемодан,

открываю, беру рюкзак с деньгами. Папа передал мне их через Ванду, волонтера, с которой я познакомилась в военном самолете. Мы встречались в кафе, она обрила голову, стала похожа на парашютиста. Разделили пачку прокладок на двоих, как сестры.

Уже занялся свинцовый рассвет, так что сегодня, скорее всего, день будет солнечный. Мы едем наверх по разбитым улочкам Белаве. Впервые я села в эту машину сто лет назад, во время зимней Олимпиады. От Гойко, переполненного глупой радостью, на километр разило наивной самонадеянностью. Он пел по-английски с хорватским акцентом: ходил в потертых, как у Брюса Спрингстина, джинсах, этот парень, которому до всего и всех было дело, *Everybody's got a hungry heart...born in Sarajevo*. Хотел произвести впечатление, а мне казался смешным. Больше я его никогда не увижу, думала я тогда.

Мы едем, внедрившись в лабиринт останков, в хитросплетение улиц, похожих на американские горки адского луна-парка. Я вдруг подумала, что это еще не самое худшее, эта реальность, пронизанная безумием. Худшее впереди. Когда умолкнут пушки, уедут корреспонденты и останется серый скелет города, который не перестанет источать молчаливую боль, точно плесень. Или гной.

— Ты еще пишешь?

— Нет.

Он не кажется грустным, растерянным его тоже не назовешь. Он знает наизусть топографию этого нового заминированного города, поделенного на участки, по которым надо передвигаться, как в настольной игре, где по доске катаются шарики и где только лучшие не попадают в яму. А Гойко великолепный игрок. Он не смотрит на развалины, привык. Ищет свободную дорогу, полагается на волю случая.

— О чем ты думаешь?

Отвечает, что у него болит зуб и все мысли только о нем, коренном.

Свет в больнице тусклый, как на кладбище. Редкие лампы, между ними — длинные участки темноты, обрушенные лестницы. Расшатанный пол под ногами, кажется, положен прямо на грязь. С потолка свешивается кабель, пластиковая панель задевает мне голову. Почти все отделения разрушены, кровати поставлены вдоль коридоров. Тела людей в темноте похожи на мешки с песком. Пытаюсь не смотреть на ноги, торчащие из-под одеял, — трубы, черные от крови. Иду вслед за Гойко по этому туннелю. Фигуры движутся нам навстречу, толкают. Кто-то кричит. День едва наступил, но уже погрузился в грязные сумерки. Военный в форме хромает, опираясь на женщину в голубом медицинском халате. Старик с ногой,

заканчивающейся у колена, с повязкой на голове, сквозь которую просочилась кровь, сидит на каталке. Гойко протягивает мне руку, помогая перескочить через проломанные ступени, сквозь эти дыры просматриваются нижние этажи. Там, где рожают, — тихо, никто не жалуется. Женщина оперлась на свой раздутый живот, как на чемодан, точно усталая туристка.

Диего сидит на последней ступени лестничного пролета без перил.

Это не просто рассвет. Кажется, что мы погребены в подводной шахте и медленно передвигаемся в воде. Гойко уходит, идет искать хоть кого-нибудь, кто вырвет его проклятый зуб, и, если не найдет никого, кричит, что сам обо всем позаботится, ему достаточно щипцов. Увидев меня, Диего встает. Я ныряю в его запах. Последний раз я видела его три дня назад, с тех пор он не ночевал дома.

— Как дела?

— Нормально, все нормально.

Несколько слов, и опять тишина, только пар дыхания в отделении, похожем на склад металлолома. Помещение не отапливается, так что кажется, будто мы находимся под открытым небом. Когда-нибудь я расскажу Пьетро об этом запахе. Об усталости и холоде. О вздрагивающей шее его отца, напоминающей шею гуся, перед тем как ее свернуть.

— Скажи мне что-нибудь.

— Что?

— Все равно что.

«Я люблю тебя», — может, это он хочет услышать? Сидим вдвоем на одной ступеньке, он положил голову мне на колени.

— Я принесла деньги, — сказала я. — Они здесь... — трогаю рюкзак.

Я повесила его не сзади, на спину, а спереди, под пуховик. Боялась, что его заберут, когда мы будем проезжать блокпост. И только сейчас понимаю, что с этим рюкзаком я похожа на беременную. Диего улыбается своей прежней горькой улыбкой. Потому что вся наша жизнь спрятана в этом денежном животе, наше счастье и наша грусть.

Это я должна была бы рассказать Пьетро? «Понимаешь, твоя мама забеременела пятьюдесятью тысячами марок мелкими купюрами, они в тяжелом мешке лежали на ее утробе, под грудью. — И добавить: — Только посмотри, какие мы были щедрые — я и фотограф, дедушка продал дом на море, чтобы помочь нам». По тем временам это была огромная сумма, особенно если учитывать, что многие люди в Сараеве покупали детей за гроши.

Укачиваю свой живот из денег, крепко прижимаю к себе. Обнимаю

Диего, но этот груз между нами не дает нам сблизиться.

Аска не садится, ходит туда-сюда перед дверями туалетов. Иногда останавливается, опираясь на стену между двумя раковинами. Я подхожу. Всего-то несколько шагов в этой подводной шахте.

Сильная вонь неработающей канализации, которую даже запах хлорки не перебивает. Наше дыхание — белый пар. Мы погребены под коркой льда внутри арктического озера. Впервые все втроем после долгого времени.

Это я должна рассказать Пьетро? Рассказать о том тюремном запахе, о нашей беспомощности. Рассказать ему об этой встрече.

Трубачка, непослушная овечка Андрича, бунтовщица, танцующая перед волком, смотрит на меня, не меняясь в лице, будто не знает, кто я такая.

И все же когда-то, сто лет назад, до осады, поглотившей ее город, мы были подругами. Как-то раз мы танцевали, обнявшись, перед афишей Дженис Джоплин, висевшей на стене, и она, моложе и беднее меня, вселила в меня уверенность, расточая неистовый блеск неверной судьбы музыканта, а я все твердила ей: «Я беднее, намного беднее тебя». Волосы не такие яркие, как прежде, собраны в хвост резинкой. Лицо в сером свете кажется лишенным всяких эмоций. Потом я опускаю глаза.

Она в халате и расстегнутой дубленке, которую Диего купил ей на рынке Маркале. Я смотрю на выпяченный живот, кажущийся огромным при такой худобе. Положила руки на поясницу, головой прислонилась к стене. Диего вроде рядом, а вроде нет, оставил нас одних. Большой живот Аски неподвижен.

— Можно потрогать?

Не узнаю собственного голоса, который доносится словно из подземелья. Аска кивает, не глядя на меня. Убирает руки от тела, будто для того, чтобы уступить мне место. И я протягиваю ладонь.

Это я должна буду рассказать Пьетро когда-нибудь, перед тем как умру, должна буду рассказать о том, как моя рука отделилась от меня и потянулась к нему.

Негнущиеся пальцы прикасаются неуверенно, как железная лапа, протянувшаяся из трюма космического корабля, совершившего посадку на Луну.

Я — никто, захватчица, стальная птица, садящаяся на чужую планету.

Потом все-таки понимаю, что надо делать, это получается само собой, это как раздеться, перед тем как войти в воду, обнажиться. Собачий холод, но моя рука словно приклеилась к горячему снегу. Я здесь и больше никуда отсюда не уйду.

Глубоко дышу.

Здесь есть только одна вода — внутренние околоплодные воды.

— Деньги принесла?

Наклоняюсь всем телом, указывая на рюкзак спереди, на округлость под курткой. Жалкий денежный живот.

— *Dobra*, — говорит Аска, — молодец.

Потом чувствую толчок под моей рукой, положенной на ее живот. Вот она, голова, бьющаяся, как рыба о кромку льда.

Я вскрикиваю. Почувствовав удар, вскрикиваю.

Что это было? Ступня? Коленка? Кулак?

Ничего не вижу, кроме синего грязного неба, подступает тошнота... знаю, что падаю в обморок, потому что давно не ела, потому что этот толчок проник в мое пустое лоно, в пространство молчащей плоти, спрятанной между лобковыми костями, которые на скелетах обычно плоские и белые...

Я похожа на рваный мешок с песком, чувствую, как шероховатые песчинки падают, проходя через все мое тело. Сейчас песок весь ссыпался в ноги, голова опустела, свет гаснет.

Очнулась на руках у Гойко, его грязные волосы лезут мне в глаза. Он толкает мне под нос бутылку:

— Вдохни, красавица, понюхай-ка этого чудесного зелья.

Водка из Черногории легендарного завода «Тринадцатое июля», настоящий раритет. Они, наверное, уже изрядно выпили, потому что у Диего горячие руки, несмотря на холод. Гойко пребывает в эйфории, ему вырвали зуб. Открыв рот, показывает черную дыру, смеется, выставляя напоказ розовые от крови зубы.

В состоянии липкого полусна вижу Аску, головой опирающуюся о стену. Она сползает вниз между раковинами, становится на четвереньки.

— Тебе что-нибудь нужно?

— Сигарету.

Прошу Гойко дать «Дрину», становлюсь на колени и вставляю сигарету ей в рот уже зажженной.

Делая затяжку, она вся дрожит, лицо скривилось от боли.

Теперь я ощущаю сильную боль внутри. Хорошо помню эту разделенную надвое боль, которая течет по спине, опускаясь на мягкое дно. Два лезвия вонзаются в поясницу и скользят вниз, стремясь соединиться в лоне.

Боль Аски перешла ко мне. Я не была к ней готова. Возвращаюсь на свою ступеньку.

Диего подходит к Аске, массирует ей немного спину, потом, опустив голову, бредет ко мне.

Некрасивая, с лицом, искаженным от схваток, она стала похожа на злую собаку. Сигарета выпала. Рассказать ли Пьетро о том, как она билась головой о стойку раковины... как сигарета упала в грязь, я собираюсь ее выбросить, а его мать требует оставить, кричит на своем языке.

Я снова вкладываю ей в рот окурочек. Дым валит изо рта, возможно выталкивая боль. Опять кричит с перекошенным лицом, словно с кляпом или пробкой во рту.

Женщины умеют прятаться, становиться незаметными, как ночная земля, но во время родов они обнаруживают себя, как белозубая улыбка в темноте, и тогда, когда вбивается гвоздь, проявляется их душа, их отвага. Когда судьба вытаскивает на свет кость новой жизни, новый скелет, проходящий по твоему, как вода по речному, руслу.

Я осталась в темноте, как Земля в тени своих планет, потому что мне не надо было обнаруживать себя.

Но Аска вынуждена была выйти на свет. Сколько раз, глядя на горы, я думала о ее животе, нацеленном на меня, как пушка.

— Надо глубоко дышать, — говорит Гойко.

— Кто тебе сказал?

— Мама.

Мы дышим все вместе, вдыхаем воздух до самого живота и резко, как сломанные печи, выбрасываем наружу. Аска несколько раз проделывает это вместе с нами, потом у нее вырывается стон, и она прогоняет нас. Гойко говорит, что рожать — то же самое, что удалять зуб, немного потерпеть, и все пройдет, как у него. Открыв рот, показывает ей дыру на месте зуба. Аска просит еще сигарету. Гойко смотрит на меня:

— Приготовься, красавица, от ребенка будет вонять этим городом и табаком.

Смеется, да, было бы смешно, если бы не было так печально... мы похожи на четырех психов из дурдома. Ползаем на четвереньках возле овечки в родовых схватках.

Но вот она встает. Цепляясь за стену, подбирается, как огромное насекомое, к окну туалета, закрытому полиэтиленом с дырой по центру, вероятно, чтобы выветривался дурной запах. Высовывается наружу. Смотрит на небо, в котором как раз загорается яркий свет трассирующих пуль... смотрит на город, на обгоревшие дома, на футбольное поле, превратившееся в кладбище.

Так что я должна буду рассказать Пьетро и о взгляде Аски, которая, не

выпуская сигареты изо рта, созерцает мертвый город, погруженный в летаргию холода и грязи.

Последние мгновения, когда ребенок еще внутри нее.

В последний раз она крутит колесо сараевской рулетки, подвергая свой живой живот риску.

Зачем она делает это? Неподалеку отсюда лучшие стрелки прячутся в скелетах домов западной части города. А у нее зажженная сигарета — отличный ориентир.

Ее живот похож сейчас на купол мечети... мечети Ферхадия, где она молилась, распластавшись по земле.

Но я не вмешиваюсь. Она сама решит за нас за всех.

В глубине моего тела годами лежит тяжелый камень. Все мои пустые яйцеклетки, одна на другой, нагромодились холмиками свежей земли, как все погибшие, дата смерти которых — 1992 год.

Диего берет ее за руку и оттаскивает от окна. Они тяжело дышат, прислонились к стене. Аска, изогнув шею, задрала голову к провалившемуся потолку, а Диего смотрит на нее. Может, и тогда, когда они занимались любовью, он смотрел на нее так же, с той же нежностью, той же тоской.

Об этом я должна буду рассказать Пьетро?

Об их взгляде, настолько интимном, что у меня внутри все обрывается. Последнее, что она делает: взяв руку Диего, подносит ее ко рту и закусывает зубами, как тряпку, как уходящую любовь.

— *Dosta... Dosta...* — стонет. — Хватит, хватит, вытащите его из меня...

Потом наконец за ней приходит какая-то женщина в медицинском халате и шерстяных носках.

Все свершается в двух шагах от нас, за ширмой из белого пластика. Направляясь к родильному креслу, Аска взглянула мне в глаза... этот взгляд меня раздавил, заставив опустить плечи. Апатичный взгляд беженцев — людей, расстающихся с самими собой.

Все происходит быстро. За перегородкой из белого пластика ничего не видно, только смутный силуэт тела, его конвульсивные движения. Нога Аски танцует в воздухе. Я должна буду рассказать Пьетро о той стопе, о тенях, вместе с которыми увеличивались наши страхи и наши страдания.

Потом спина акушерки, ее локти... будто она копает. Говорит громко, отрывисто. Аска чуть слышно стонет.

Наши взгляды прилипли к черным теням, мелькающим на белом полотне.

Обрывки движений, голосов... видно, как руки роются в теле. Такие же руки копали подземный туннель в аэропорту Бутмира, проход к свободным землям.

Сейчас вся война сосредоточилась на этом полотне, кажется, будто движется миллион рук, принадлежащих тем людям, которые требовали мира шестого апреля. Тени снуют по белому пластику... длинная шеренга отступающих по снегу войск, колонны обессиленных бойцов.

Женщина копает, тянет, вытаскивает, завязывает узел...

Мы стоим у стены, как статуи у Вечного огня.

Надо будет рассказать Пьетро, о чем я думала, когда он появился на свет?

О снайперах. Об их трагических жизнях. О том интервью, которое показывали по телевизору. Парень с голубыми глазами улыбается и говорит: «Стреляешь, как в кроликов, никакой разницы». И перед моими глазами вновь встает небесно-голубой ребенок. Он катается на санках, после каждого спуска тащит их за веревку в гору, что не так уж легко, ведь слетаешь вниз за один миг, а подняться наверх... Но все равно здорово! Хороший день, ярко светит солнце, снег только что выпал. Белым накрыл черное. Снайпер выпил сливовицы, покурил, бросил тлеющий окурочок на землю. Потом снова взялся за свой рабочий инструмент, за свою винтовку. Его тоже когда-то родила мать, окрестила, у снайпера висит крестик на шее, и он верит в Святую Троицу великой Сербии. По крайней мере, ему кажется, что так было, потому что прошло всего несколько месяцев, но все изменилось, и он не помнит точно, зачем поднялся в горы вместе с другими. Стреляет по своему городу, своему району. Устанавливает винтовку, наклоняется к ней и ищет уверенным глазом... ему нравится искать, у него закипает адреналин, который от груди опускается в живот, затем ниже, в яйца. Он выбирает ту горку, ту тропинку, запорошенную снегом, где сам играл, когда был маленьким. Он скучает по тем дням, по своему детству, как все люди. Он не жалеет, что переходил по грязи через реку, шагая в горы, зная, что уже не вернется. Теперь другие дети катаются на той горке между двумя выпотрошенными зданиями, дом слева раньше был начальной школой, в которую он и сам ходил. На секунду вспоминает учительницу, которая намазывала паштет на хлеб и ему тоже давала. Он улыбался ей, благодарил: «*Hvala*». Ему нравилась та учительница, хотя он не помнит, была она сербкой или мусульманкой, задумывается, но не может вспомнить. Теперь от школы остался только каркас, как от недостроенного здания, которое кто-то поджег. Дети играют, он не ожидал, что они придут. Он никогда не знает, что ему попадется, что привлечет его внимание, какая

мишень, какая *cilj*. Это слово нравится ему: *cilj*, потому что это его ежедневная работа, потому что оно понятно, в нем нет ничего лишнего. «Мужчина, женщина, ребенок» — слова, которые могут запачкать его миссию. Дети — мишени маленькие, *maleni ciljevi*, а он обычно по маленьким мишеням не стреляет, они слишком быстро двигаются. Но сегодня утром это легко сделать, руки так и чешутся. *Maleni ciljevi* похожи на кроликов, резвящихся на снегу. Матери разрешили им выйти погулять, не могли весь день держать детей в сырых подвалах, а еще хотели сами освободиться на какое-то время — постирать, сварить травяной суп. Снайпер ищет цель. Сперва дети — пятна на снегу, маленькие фигурки неясных очертаний. Крутит рукоятку, регулирующую оптический прицел. Вот снежное поле, мелькание свитеров, лиц. Плохо видно с такой высоты, изображение слишком расплывчато. Ищет нужный фокус, приближает, сужает... вытаскивает из безвестности, из снега. *Maleni ciljevi* теперь — дети. Он следит за их перемещениями еще немного и, глядя в оптический прибор, наблюдает за играми. Он тоже когда-то катался с горки, спускался, сидя внутри пластикового корыта вместе с братом. Однажды даже упал, наткнувшись на большой камень, занесенный снегом. Интересно, сохранился ли камень: ищет, находит его. Снайперу нравится отыскивать знаки прежней жизни, даже если он и знает, что больше ее не вернуть. Не испытывает никаких эмоций, как если бы просто исследовал территорию, для охотника это важно. Берет на прицел какого-то ребенка. Не задумываясь, почему выбрал этого, а не другого. Может, потому, что он без шапки, лоб открыт и, когда ребенок поворачивается спиной, видна ямочка на затылке.

Это я должна буду рассказать Пьетро? Он появлялся на свет, а я думала о затылке голубого ребенка, представляла его на мушке у снайпера. Видела то место, где начинают расти волосы, откуда появляется жизнь.

Мое сердце пульсирует в сердце снайпера. Я сама выбираю этого ребенка. Выбираю, потому что у него открыт затылок, а короткие густые волосы похожи на шерстку. От волос исходит запах. И снайпер может его почувствовать. У него в детстве были точно такие же волосы, густые, жесткие от пота. Мальчик делает последние в своей жизни шаги по снегу, смеется, щеки разругались, белый пар на морозе, тащит санки в гору.

Прицел на стволе винтовки движется вслед за шагами ребенка, карабкается вместе с ним по снегу. Снайпер не знает, почему ему выпала эта работа, как так вышло. Во всем виноваты обстоятельства. Повсюду штабелями на снегу лежат мешки с землей, мог бы сдвинуть прицельную сетку и выстрелить туда, какая ему разница. Но беда в том, что за каждую

сбитую мишень он получает кругленькую сумму в марках, а ему нужны эти деньги, потому что зарплата у солдата маленькая, а ему хочется купить «БМВ» с откидным верхом. Он мечтает о такой машине, о черных сиденьях, о зажигалке на панели приборов, мечтает о ветре, на котором будет развеваться его шевелюра. Кролик — вот кто этот ни о чем не подозревающий мальчик, с волосами ежиком, с ямочкой на затылке. Тело снайпера приковано к винтовке, они слились в единое целое. Оргазм, как во время секса, машинально затвердевающий член. Отсутствие всякой воли, только власть пули. Она руководит, а снайпер подчиняется своему опыту. Сгибает, потом разжимает палец. Опасный момент, безмолвный полет пули в белом воздухе. Как сперматозоид, движущийся под линзой микроскопа. И пуля могла бы изменить траекторию, столкнувшись с каким-нибудь препятствием. Это мгновение — самое лучшее. Не то чтобы полного удовольствия, скорее, болезненного, когда эякуляция происходит с большой задержкой. Удар от отдачи приходится на грудь. Белый воздух. Пуля попадает в затылок, ребенок падает лицом вниз. Остальные разбегаются, бросают санки и бегут со всех ног, как испуганные кролики. Снайпер возвращается к территории, смотрит через линзу, окидывая взглядом место. Ему нравится проверять свою работу в тишине, где только он и его прицел. Проверяет дырку на затылке, безупречно. Маленькая цель, *maleni ciljevi*, убит одним выстрелом, даже не дернулся, не попытался подняться. И не надо тратиться на дополнительные выстрелы, чтобы прикончить его.

Теперь снайпер расплывается в улыбке, щеки морщатся, но глаза неподвижны, потому что сердце умерло. Пройдет время, прежде чем придут за ребенком, он знает это. Будут ждать, пока он не уйдет, пока не закончится его смена. Лицо ребенка на снегу становится голубым. Окурки, выброшенные снайпером на землю, все еще не потух. Иногда какой-нибудь журналист влезает к нему, пристраивается рядом: «Я буду тебя снимать, а ты стреляй». И снайпер стреляет по его просьбе. Потом дает интервью, руки скрещены на груди, черный берет, поверх маскировочного костюма крест.

«То же, что стрелять по кроликам», — улыбается. Потом лицо твердеет, и остается то неизменное высокомерие, какое могло бы быть у дьявола, гордого собой.

Раздается голос живого младенца, сдавленный плач, с трудом проходящий через непрочищенные слизистые оболочки; похожий на жалобное мяуканье котенка. Никто из нас не двигается. Только Диего делает шаг к сыну, потом останавливается. Возвращается за мной, берет меня за руку.

Женщина зовет нас, кивком головы приглашая подойти. Показывает ребенка, мальчик. Никто из нас не знал, кто будет, оказался Пьетро.

— Пьетро...

Смотрю на него, но не сразу вижу, увижу потом. Сейчас я впитываю в себя этого младенца. От удивления открываю рот, и малыш завладевает мной, прыгнув прямо в горло. Женщина в медицинском халате обмывает его, на каталке перевернула и обтирает тряпкой, окуная ее в металлическую миску. Страшный холод, малюсенькое тельце темно-лилового цвета. Похож на моллюска, опутанного водорослями. Женщина торопится, движения ее прозаичны. У нее такая работа — вытаскивать рыб из моря. Поднимается вой сирены, свет мерцает, раздается взрыв, но никто не обращает внимания. Женщина ругается: ей это мешает, как помешали бы слишком шумные соседи. Война — в ней самой, в ее руках, привыкших вынимать детей.

— *Odijeća... odijeća...*

Ребенка надо одеть, смотрит на нас, спрашивает, принесли ли мы одежду.

Мотаю головой, открываю рот, но молчу, только вздыхаю: увы, я об этом не подумала. «Сейчас», — говорит Диего, открывает сумку для фотопленок и вытаскивает малюсенькую одежонку... белый вязаный комбинезончик, немного пожелтевший.

— Где ты его взял?

Купил на рынке. И я чувствую себя полной дурой: подумать только, я забыла, а он вспомнил. Женщина берет комбинезон, всовывает в него ребенка, размер слишком большой, ручки остаются глубоко в рукавах, а низ болтается, как пустой носок. Передает малыша Гойко, может, потому, что он тут единственный местный, а может, думает, что отец — он. Гойко ничего не говорит, кивает, отворачивается, будто боится опьянить крошку своим дыханием, провонявшим водкой. С рождения Себины он не брал на руки человеческого создания размером с ладонь, да и было это в другом мире, в другой жизни, когда в клинике не было ни ржавчины, ни холода и пахло малиновым чаем.

Склоняется над ним, вдыхает носом, с закрытым ртом.

— Пахнет вкусно, — говорит.

Что я должна буду сказать Пьетро? Взгляни на этого боснийского бизона, нашего гида, прошедшего через войну: он неприятен тебе только потому, что не всегда терпит твои выкрутасы и использует запрещенные приемы, играя в футбол, — это он первый взял тебя на руки и первый сунул нос в твой запах.

Смотрю на Диего, но Диего смотрит совсем в другую сторону.

Так я должна буду ему сказать, твой отец даже не посмотрел на тебя, уставившись на овечку с опавшим животом, рыжую голову, обмякшую на подушке?

Он даже не замечал моего присутствия, моего смущения, столько в его взгляде было глубины. Они были здесь одни. Так мне показалось, это я хорошо помню. Погрузились в воспоминания.

Она тоже не смотрела на ребенка, она на него так ни разу и не посмотрела.

В этот момент я и в самом деле подумала, что стою около чужой кровати и держу свечку двум любовникам, клянущимся в вечной любви друг другу.

Все произошло на той каталке, ребенка кое-как помыли, одели. Согнув ноги в коленях, Аска вся сжалась, вероятно из-за перенесенной боли. Женщина в медицинском халате только что ушла, похлопав ее по ноге; Аска чуть приподнялась, под нее что-то поставили, стальной лоток для отделяющейся плаценты.

Женщина сказала, что вернется позже.

Гойко наконец передает мне ребенка: это словно падение метеорита.

Я тоже принимаюсь. Запах старой души, которая возрождается, возвращается, чтобы надеяться вместе с людьми.

Не знаю еще, мой ли это ребенок, станет ли он моим. Надо дождаться третьего класса, прежде чем он окрестит меня матерью. Но пока я держу его на руках. И чувствую, как превращаюсь в волка. В снайпера, вернувшегося взглядом на снежное поле полюбоваться дырой в затылке.

Позже убирают белую завесу, женщина в медицинском халате и носках волочит по полу экран театра теней. Остается только младенец, сморщенный, как старое яблоко, и засунутый в шерстяной комбинезончик, который похож на сваленный носок.

Я смотрю на него при неверном свете, а ссыпавшийся в ноги песок снова поднимается по телу, и все внутри возвращается на свои места. Вот я уже почувствовала сердце: язык пламени, сгусток боли между ребрами.

Об этом мне тоже надо будет рассказать Пьетро? О том, что он вернул мне сердце, которое умерло было, а потом забилося опять?

Женщина возвращается, давит на живот Аски, просовывает руки под одеяло. И овечка извергает из себя плаценту.

Пока женщина вытаскивает стальной контейнер из-под тела Аски, мельком вижу ее ногу, испачканную в крови, и влагилице, кровоточащую дыру, как у Гойко во рту. На меня это не производит никакого впечатления.

У жизни те же цвета, что и у войны: снег и кровь. Маршруты, проложенные по грязи, похожи на кишки.

Женщина поравнялась со мной, и на какую-то долю секунды я увидела ту серую кожуру. Теперь овечка уже не нужна, как и внутренняя кожа, приютившая ребенка; сейчас ничего другого не остается, как только выбросить эту гадость.

Мне надо бы пожалеть ее, а я боюсь, что она передумает, начнет кричать, что не может, не согласна.

Она потеряла всю свою семью, наверняка захочет оставить ребенка себе.

Я не доверяю ей, поэтому за ней наблюдаю: как бы не разволновалась, не передумала. Ведь я уже вдохнула запах ребенка, запах кровинки Диего.

Помню слова Велиды, ее одержимый взгляд, который снится мне каждую ночь. «Не бери с меня пример, не мирись со смертью. Борись, Джемма, хватайся за жизнь».

Деньги... надо отдать ей деньги, марки мелкими купюрами, как она просила, точно премию, которую выдают снайперам за каждую пораженную цель. Тоже купит себе машину «БМВ» с откидным верхом и уедет на ней.

Я снова стала собой. Для меня война кончилась. Небесно-голубой ребенок похоронен. А сын Диего жив. Эта овечка, эта героиня второго плана должна исчезнуть, так же как недавно отпала ее плацента, грязная кишка.

Здесь нет законов, нет справедливости. Существует только дерзость.

Гойко орет, что дома сочинит стихотворение, он уже давно ничего не писал и теперь отпразднует рождение этого ребенка. Декламирует пьяным голосом:

У меня свиные копытца и мышинный хвост,
Жизнь тащит меня наверх, как летающего слона...
Прощайте, призраки, сегодня я не с вами...

— С кем же ты сегодня?

Делает еще глоток.

— С вами, друзья мои.

Но на самом деле мы все похожи на призраков: глядимся в металлический колодец и оплакиваем свою жизнь.

Я пошла в туалет, сняла рюкзак с живота, села на унитаз и отдала Гойко пачку в тысячу марок:

— Зачем они тебе?

Вместе с деньгами он забрал наши паспорта:

— Я быстро.

Вытряхнув все из рюкзака в пустую наволочку, я подошла к кровати Аски:

— Вот.

Усталым движением она подтянула наволочку, набитую марками, к себе и спрятала под одеялом.

Младенец лежал в металлической кроватке, далеко от матери. Акушерка подвернула ему тряпку под спину и так оставила. Он ни разу не пошевелился. Послышались взрывы, все ближе и ближе, потом отдельно начали бить катюши. Малыш привык к этим звукам, они его не тревожили. Аска тоже спала, забравшись с головой под одеяла. Проснулась пару раз за все время, и то чтобы попить.

Пришла другая женщина, моложе первой, показала нам, как обращаться с ребенком, как его пеленать. Вытащила из вязаного комбинезончика две худенькие маленькие ножки, толщиной с палец Диего, и показала, как подложить подгузник. У них, правда, не было никаких подгузников, так что она дала нам марлю и рулоны ваты. Ребенок до сих пор не проголодался. Ни разу не заплакал, пока его вертели, как сверток. Сейчас он снова лежит в кроватке с тряпкой под спиной.

Девушка спросила, будет ли мать его кормить, я отрицательно покачала головой. Привыкшая к обессиленным женщинам, она молча посмотрела на тело Аски в кровати. Попросила нас заплатить сто марок, извинилась, ей было неудобно брать с нас деньги, но что поделаешь, она не себе. Принесла уже открытую упаковку порошкового молока и использованную бутылочку. Стеклянную. Первая неразбитая вещь из стекла за долгое время. Я сунула все в рюкзак.

Теперь война становилась нашей помощницей. Никто не задавал нам вопросов, никто, казалось, не был заинтересован в том, чтобы задерживать новорожденного в больнице, так близко от линии огня. Нам, как иностранцам, легко было уехать из города, из которого никто из них не мог вырваться. Девушка спросила, как мы повезем ребенка.

— Мы полетим на самолете... ждем.

— Вы журналисты?

— Да.

Она дала нам письмо для своей сестры, находившейся в центре приема беженцев в Милане.

Опять начались взрывы, отчаянные выезды «скорой помощи», других

отважных водителей, которые подбирали раненых. Давно уже день сменил ночь, но ребенок не просыпался.

Наконец-то Диего посмотрел на него.

Но об этом его взгляде я обязательно расскажу Пьетро, опустив остальное, расскажу о его глазах. Глазах собаки, смотрящей на другую собаку. Вот они, наши рождественские ясли, сумасшедший взгляд, дрожащие руки, бегающие мысли.

Гойко вернулся с мужчиной, который вызвался нам помочь; он притворяется героем, чудом выжившим, как те, кто продает истории журналистам из «Холидей-Инн». Вечером в Италию улетает гуманитарный самолет, этот тип побывал на командном посту ООН, и ему удалось внести нас в список. Отдает паспорта и свидетельство о рождении ребенка, этого достаточно, чтобы пройти контроль. Читаю слова на чужом языке и наши имена. Рядом со словом *otac*, отец, написан Диего, и рядом с *majka*, мать, — я.

Такое банальное, обыденное чудо кажется мне нереальным.

Обнимаю Гойко:

— Как тебе удалось?

Никто не заполнил справку о пребывании в больнице, потому что бланки закончились. Достаточно было наших паспортов и денег.

Гойко разрешает трясти себя как мешок.

— Сейчас много чего легко устроить...

Он ни за что бы не воспользовался ситуацией, он один из тех, кто на черном рынке дерется со спекулянтами — шакалами, кормящимися войной. Но для меня сделал исключение. И теперь, скорее всего, никогда не захочет больше меня видеть.

Аска сидит на кровати. Прижимает к себе наволочку, полную марок. Чувствует себя лучше, хотя следы анемии видны на ее пожелтевшем лице.

— Спасибо, — сказала я ей.

Она кивнула и, может быть, собралась наконец расплакаться, но времени было мало.

Мы уходим, овечка не вписана в документы и словно бы не участвовала во всей этой истории. У ребенка, ростом с ладонь, под жестким шерстяным комбинезоном кишка узлом завязана на животе, там, где он был соединен с телом овечки. Кишка высохнет и отпадет, останется только раковина древнего моря, сотворенная из плоти. Это дитя не будет жить в долине волков, никогда не станет кроликом, *maleni ciljevi*.

На этот раз службу несут украинские солдаты, они помогают нам подняться в белый броневик. Я поворачиваюсь к Гойко. Мы увидимся через

пятнадцать лет, но я пока этого не знаю. Поворачиваюсь к мертвецу, как обычно, когда прощаешься с кем-нибудь в Сараеве.

— *Suvaj se*, береги себя.

Это он договаривался с солдатами, убедил их, отдав последние деньги. Добраться до аэропорта на «попутке» ООН — услуга платная. Мы сидим внутри белой черепахи, она трогается с места. Страшный шум; ребенок, как кукла, трясется в такт с дребезжащей машиной, но не просыпается. Кто этот невесомый, безразличный младенец, который разрешает волочить себя, как ногу в слишком большом носке? Он для меня все: причина, по которой мы приехали в этот ад, тот самый гвоздь в нашей судьбе... но теперь я настолько вымоталась, что того и гляди могу его уронить. Броневик едет по обломкам, под ногами неровная почва, колеса буксуют, карабкаются. Украинский солдат смеется, он говорит по-английски, спрашивает о ребенке, рукой отодвигает одеяло, чтобы рассмотреть мордашку.

Нас останавливают на блокпосту, солдат высунулся из люка, говорит с человеком в камуфляжном костюме. Агрессоры-сербы и украинцы из ООН договариваются между собой и прощаются, подняв вверх три пальца.

Покинув броневик, мы входим в темную коробку аэропорта. Диего учит меня, что говорить, что делать... проходим на контроль. На меня смотрит худая женщина в маскировочном костюме, с мощными лошадиными скулами. Ее взгляд пугает меня, и я опускаю голову. Прибываю к небольшой кучке гражданских, которые ждут, как и мы; на всех бронежилеты поверх пуховиков. Никто не чувствует себя здесь уверенно — последние врата осады, вероятно самые опасные. У всех военных такой вид, будто они нас ненавидят. Эти хищники прекрасно знают, что творится в душе у людей, находящихся в их власти... в воздухе повисло безмолвное напряжение, они чуют общий страх и, похоже, забавляются. Того и гляди с минуты на минуту начнут стрелять в нас. Мы настороженно двигаемся, не делаем резких движений. Боимся, не случилось бы чего-нибудь: сербы часто обстреливают аэропорт, несмотря на то что хозяева здесь они. В развороченной витрине отражаются маленькие дома Бутмира — плоские крыши на опорах перекрытий. Вдруг все завопили в голос. На фронте Добрыни идут бои. Морозно, я склоняюсь над ребенком. Малюсенький носик, величиной с мой ноготь, превратился в ледышку. Дышу на него. Обессиленный Диего машинально гладит меня по спине. Потом наклоняется взглянуть на малыша:

— Главное, ничего не бойся.

И я не понимаю, кому он это говорит — сыну, мне или самому себе.

Внезапно нас поднимают и торопят на выход. Исполин в голубой каске ведет нас к взлетной полосе. У двери с выбитыми стеклами, прежде чем пропустить нас, полицейский проверяет по списку имена. Операция не отнимает много времени, проходим мимо него с опущенными головами, как скот. Подаю свой паспорт с вложенным листочком из больницы. Полицейский даже не замечает, несущая ли я что-нибудь, смотрит совсем в другую сторону, беспрестанно крутит головой, поворачиваясь к шлагбауму на полосе, как раз под контрольной вышкой, куда побежали несколько военных. Возможно, ждет сигнала. Я жду печати, красной, как клеймо на скотине. Сердце замирает. Полицейский едва поднимает подбородок, чтобы взглянуть на ребенка, завернутого в одеяльце. Сейчас пять часов, уже темно. Лицо полицейского шелушится от мороза, нос большой, красный... я не чувствую рук. Опять начинаю бояться, что не удержу ребенка, а полицейский на контроле протягивает руку к одеялу, отгибает край, за которым спрятано личико. На его лице появляется странное выражение — почти удивления, горького смятения. Убрав руку, пропускает меня. Делаю несколько шагов на морозе. Ветер порывами спускается с Игман, поднимается метель, уже забелившая взлетную полосу. Я оборачиваюсь, ощущая пустоту сзади. Давно знакомую мне пустоту — предчувствие, которое я долгие месяцы пыталась подавить. Диего не идет за мной. Я его потеряла. Оборачиваюсь, но знаю, что искать бесполезно. Потому что я потеряла его уже давно. И знаю, что недавно он с нами попрощался.

«Главное, ничего не бойся».

Может, я должна рассказать сыну об ощущении той пустоты жизни, идущей ко дну. Мы делали свои первые шаги в одиночестве, как сироты. Нетвердые шаги коровы, которая после отела, чтобы не умереть, должна как можно быстрее подняться на ноги.

Смотрю на едва освещенную дыру аэропорта, расплывающуюся за мной вдалеке, в грязном мраке кружащегося вихрем мелкого мокрого снега. Видны одни очертания, тени. Не понимаю, что происходит. Диего стоит около полицейского... ждет, пока пропускают других, двух журналистов, пробегающих затем мимо меня. Поднимает обе руки, машет, кричит. Мне надо бежать, уйти с полосы.

Я двигаюсь вперед, выворачивая шею, не в силах оторвать от него взгляд. На востоке стреляют, в небе загораются вспышки трассирующих пуль.

Лезу наверх, забираясь в железное брюхо самолета. Остановилась, схватившись за дверь люка; лицо окаменело от холода и ветра, режущего, как лезвием. Ребенка положила на скамейку, рядом с чьим-то армейским

рюкзаком. Может, оставить его здесь. Куда он денется, долетит до Италии, кто-нибудь о нем позаботится... положу рядом свидетельство о рождении, в «Холидей-Инн» попрошу у кого-нибудь мобильный со спутниковой связью, позвоню папе. Да, я могла бы выйти, выброситься из самолета, который так и не выключил двигателей, вернуться к двери с разбитым стеклом, вернуться к телу моего любимого.

Об этом мне тоже надо будет рассказать Пьетро? О том, что я хотела бросить его, высунувшись из двери самолета, на ледяной ветер взлетной полосы.

— Почему задержали моего мужа?

— Он потерял паспорт.

Солдат — высокий молодой человек в шлеме — говорит с венецианским акцентом, извиняется, что ничем не может помочь: они доставили гуманитарный груз и теперь возвращаются, таков приказ, они и не знали, что должны будут взять пассажиров. Смотрю на Игман, гору, окаменевшую от мороза.

Мне повезло.

Вот как?

Очень повезло.

Много лет назад его везение упало с неба вместе со снегом, валившим хлопьями и задерживавшим авиарейсы. Хотелось дать ему пощечину за то, что он выиграл в конечном итоге. Эта пощечина застыла в моей окоченевшей ладони, вцепившейся в перила, а солдат твердит, что я должна зайти внутрь, пора отправляться.

У меня не хватило духу выпрыгнуть, оставить Пьетро, выбрать другую судьбу.

Ветер подтолкнул меня внутрь: взлетная полоса огромная, темная, не дай бог, случайная пуля. Вжимаюсь в стенку, хочу подняться в небо живой.

Правда в том, что я сделала выбор, и Диего это знает. Я бы никогда не уехала с пустыми руками. А теперь у меня есть этот сверток, который я должна отдать миру. Забираю с собой лучшую часть Диего, новую жизнь, не запятнанную никакой болью. И кажется, вижу его улыбку. Прижимаюсь к единственной щели, из которой видно, что происходит снаружи. Самолет разгоняется. В последний раз смотрю на парня из Генуи.

Худой черный далекий силуэт на фоне тускло освещенного пузыря аэропорта без стекол, без персонала, без рейсов... неподвижно стоит около полицейского. Его молодое изможденное лицо обращено в сторону «С-130», выходящего в мокром колючем снегу. Он не сводит с нас глаз, с тех, кого теряет.

Он остался на земле, на той грязной земле. И я никогда не узнаю, действительно ли он уронил паспорт в снег.

Мне повезло.

Вот как?

Очень повезло.

Самолет сразу нацеливается в небо. Меня пристегнули ремнем, велят крепко держать ребенка. Из осажденного города взлетают только так, не делая никаких плавных кругов, сразу в небо, потому что реактивные ракеты еще могут задеть. Самолет круто взмывает вверх, двигатели изрыгают пламя, катятся мешки, резко откидываются головы. Я тоже поднимаюсь в небо, чувствую неистовый порыв, преодолевающий силу земного тяготения. Взлет тяжелый в условиях войны, мне закладывает уши, барабанные перепонки горят огнем. Вдавленная в сиденье, я крепко прижимаю к себе сверток.

Затем наступает покой. Достигли девять тысяч метров высоты, теперь никакой самый совершенный реактивный снаряд не сможет сбить гуманитарный самолет, летящий над горой Игман. Теперь я могу поднять голову, хотя сведенная шея все еще побаливает. Мощность двигателей снижается, поэтому я слышу голос: сверток плачет. Значит, жив, не умер ни от холода, ни от страха. Я держу его в руках, как батон хлеба. Отодвигаю одеяло, красное личико, наполненное жизнью, периодически раскрывающийся в неистовом плаче беззубый рот. Кто ты, спрашиваю его, овечка или волк?

Младенец открывает рот с голыми деснами, как у старика или птицы.

Хорошо себя вел вплоть до самого взлета, пока еще был внизу, в недрах войны, не двигался, словно бы и не родился... будто предчувствовал, что один только крик может стоить ему жизни. И вот теперь наконец он может родиться, на высоте девяти тысяч метров, в небе, где снаряды нас не достанут. Поэтому он и заплакал, чтобы его услышали, обратили внимание.

Через шестнадцать лет, когда его друг спросит, как получилось, что он родился в Сараеве, Пьетро ответит: «Случайно — рожают же в самолетах».

И я застыну, не дыша. Обопрусь о шкаф, о стену. И заново услышу плач того, кто родился на «С-130», на высоте девяти тысяч метров.

Смотрю в щель, ничего не видно, кроме света белой луны в темноте. Как на засвеченных фотографиях. Помню, как Диего держал во рту мой мизинец, засыпал с ним, изредка посасывая, чтобы я всегда оставалась с ним. У меня грязные мерзкие руки. Облизываю мизинец, засовываю в синюшный ротик. Дитя хватает палец, точно голодная птица, недолго сосет,

как делал его отец, и засыпает. И я впервые целую его. Прикладываю губы к маленькому лобику.

Ночью пересекаем бархатный ковер Адриатики и прибываем на место. Я вышла из самолета с ребенком, завернутым в одеяло, волосы слиплись, грязный рваный пуховик, полупустой рюкзак. Нашла туалет. Посмотрела на себя в зеркало. Огромное, на всю стену, нетронутое. Ужас! На меня глянула какая-то дикарка: костлявое лицо, расширенные, блуждающие глаза. Вся провоняла. Сараевской вонью, войной, страхом, жизнью на грани смерти. До сих пор я не замечала запаха, сейчас, в чистом туалете, я наконец почувствовала его. Не зная, как быть, в одну из двух раковин я положила ребенка. Оставив его в керамической колыбели, я помыла руки над соседней раковиной, медленно сняла куртку, подняла свитер. Вымыла лицо, заметив свежую царапину на скуле и черное пятно на лбу. И еще кое-что: тусклый налет, как на посуде, с которой сошла эмаль, и теперь с нее не смываются отметины времени и грязи.

Дверь открылась, вошел мужчина, посмотрел на меня в этом неоновом свете: я стояла в лифчике, кости грудной клетки просвечивали из-под кожи. Мужчина в темной форме улыбнулся:

— Вообще-то, это туалет для мальчиков...

Я прижала к себе спереди свитер, чтобы прикрыться. Он вошел в кабинку, я слышала, как он пописал, потом вышел. Я не пошевелилась, даже свитер не надела.

Мужчина подошел к другой раковине. Высокого роста, чеканный шаг, мощные плечи. Одет в мундир с широким кожаным ремнем на талии. Поднимает глаза, встречается в зеркале с моими. Мужчина как мужчина, зашел пописать, и теперь ему надо помыть руки, но откуда мне знать. Волки тоже мочатся и моют руки. Я боюсь мужчин в военной форме, мне не хватает моего паренька, такого же худого, как я, с такими же отросшими и нечесаными волосами и с такой же, как у меня, историей во взгляде.

Мужчина смотрит на мое отражение в зеркале туалета:

— Чей это ребенок?

Сейчас жизнь Джулиано вся сосредоточилась здесь, в этом туалете, куда он случайно зашел. Мгновением раньше он думал справиться нужду на автостраде, торопился уехать после целого дня гуманитарных посылок, беженцев, которых надо было отправить по разным приемным центрам. Он раздавал горячую еду, сухие пайки детям, брал на руки самых маленьких, заполнял бюрократические бумаги, ставил печати. Смотрит на новорожденного, лежащего в раковине, смотрит на женщину, прикрывающуюся тряпкой; на ее голубоватого оттенка лопатки падает

яркий неоновый свет. А вдруг это беженка, по какой-то причине не севшая в автобус, спряталась в туалете вместе с сыном? У нее взгляд дикой серны, остановившейся у края обрыва.

— Чей это ребенок?

Сейчас он видит, что женщина плачет, даже не сходя с места, не моргая. Огромные слезы падают, словно жемчужины. В глубине души он хотел бы собрать эти слезы, как рассыпавшийся жемчуг разорванного ожерелья, и вернуть ей. Ему знаком взгляд беженцев — людей, которые ищут в его глазах подтверждение собственного существования, как будто это он решает, жить ли им дальше. Такие взгляды трудно выдержать.

Мужчина смотрит на меня. У него широкое, плотное итальянское лицо, лоб с залысинами.

— Чей это ребенок?

И Джулиано еще не знает, что этот ребенок станет его сыном, что он поведет его в школу, к педиатру. Не знает, что будет жить для него. Долгое мгновение тихой растерянности в туалете, где столкнула нас судьба.

Грязный младенец, комочек едва оформившейся плоти, забытый в раковине. Все небо в маленькой яме.

— Мой!

И я торопливо хватаю сверток:

— Извините...

Нагибаю голову, защищаюсь.

Мужчина улыбается, у него красивые зубы, они расплываются перед моими глазами, взгляд мне туманят липкие застарелые слезы, сорвавшиеся неожиданно, как глыбы льда со скалы.

— Так вы итальянка?

— Да, итальянка.

Быстро выхожу из туалета, брожу по темному ангару, не зная, куда идти. Мне нужно на вокзал, на поезд до Рима. Или искать гостиницу, звонить папе... нужно поменять ребенку подгузник, он воняет... я тоже воняю. Он голодный, черт побери, он же голодный, он же умрет у меня так, черт, где война? Где мешки с землей? Где лед? Где Требевич? Где прячутся снайперы? Жизнь в условиях мира мне не подвластна, вот в чем дело. Я не знаю, как поступить. Здесь заметят, что ребенок не мой, здесь нет войны, нет взорванных больниц, где я в безопасности... здесь все по закону мирного времени. Я должна уходить, иначе меня остановят. Сделают тест ребенку и поймут, что он не мой, что свидетельство о рождении фальшивое, купленное. Мне не удастся далеко уйти, пройду несколько шагов в темноте, сяду у стены под открытым небом, там и умру, и ребенок

со мной, как собака... как мертвый щенок. Где мой парень с длинными волосами? Где мой любимый сирота? Где отец? Только он может меня спасти, у младенца его гены. Он служил нам пропуском, но он не приехал. Потерял паспорт в снегу. Солгал. Я замерзаю, у меня спина голая. Пуховик упал, я его просто накинула на плечи, чтобы как можно быстрее выйти из туалета, отойти подальше от мужчины в форме, который следит за мной... понял, здесь что-то не так. Никакая мать не оставит ребенка в раковине, только чтобы умыться над соседней... чтобы смотреть на себя в зеркало и плакать.

Сажусь на скамейку. Кладу ребенка рядом, спокойно надеваю сначала свитер, потом куртку.

Подходит молодой человек, лет двадцати или чуть больше, похож на Сандро, моего лицейского друга. Такие же мясистые и слишком красные губы, такие же круглые, как орехи, глаза. Кто это? Чего он хочет? С какой стати Сандро вышел из-за парты, где он написал: «УРА, СИСЬКИ! УРА, ЧЕ ГЕВАРА!» — и теперь направляется ко мне?

— Извините, синьора, куда вы едете?

Чуть наклонился ко мне, стоит, смотрит. Это не Сандро, у него южный акцент и форма рядового карабинера.

— Не знаю...

Молодой человек показывает на дверь, там виднеется силуэт... мужчина из туалета застыл на пороге.

— Капитан велел спросить, не нужно ли вас подвезти куда-нибудь?

— В тюрьму?

Парень смеется, показывая зубы, слишком мелкие для такого крупного рта: ему понравилась шутка.

— Я везу капитана в Рим, в Челио.

Едем вместе в мощном черном автомобиле с надписью «КАРАБИНЕРЫ» и красными полосками, означающими принадлежность к вооруженным силам, по бокам. В салоне царит ни с чем не сравнимое спокойствие, сиденья приятно пахнут новой кожей. Этот черный душистый лимузин подобрал меня и везет домой по аккуратно заасфальтированной дороге, без ям, без заграждений, гладкой, как атласная лента. И на минутку я кажусь себе сбитой косулей, которую добросердечный автомобилист везет в ветеринарную клинику. За рулем — лже-Сандро в берете. Капитан сидит рядом с ним, без фуражки, читает газету, включив подсветку салона.

Прежде чем я села в машину, он сказал:

— Вашему сыну нужно специальное кресло для новорожденных, есть такие, как яйцо, без кресла нельзя ехать...

На моем лице появилась кривая, глупая улыбка.

— Вы правы, — ответила. Сделала паузу. — И что теперь?

Тогда он сказал:

— Что с вами поделаешь, садитесь.

Внутри меня клокотал дикий безумный смех — горькое веселье, окрашенное черным юмором, как анекдоты сараевцев. Этот ребенок, точно доисторический краб, благополучно выбрался из войны, а оказавшись на этих гладких, как масло, дорогах, уже нуждается в детском кресле в форме яйца, чтобы выжить! Какая же все-таки идиотская жизнь в мирное время.

Капитану не понравилась моя улыбка... он что-то почувствовал, отголосок моего злого смеха. Включив свет, положил фуражку с золотой кокардой на панель приборов и принялся читать. Возможно, пожалел о своем великодушии. Наверняка сейчас, в закрытом пространстве, почувствовал, что от меня несет, как от цыганок, которых он иногда задерживает, а они орут в машине и осыпают всех проклятиями.

Смотрю, как выглядит свобода. Промышленные здания окраин, дома с идеально ровными крышами, дорожные знаки, не продырявленные пулевыми очередями.

Потом ребенок на мне задвигался, зашевелился, как краб. Сколько у него клешней? Сколько нервов?

Пробую снова засунуть ему мизинец в рот, но на этот раз не срабатывает. Капитан оборачивается:

— Он, наверное, голодный.

Останавливаемся в кафе на трассе, автомобиль въезжает под навес парковки. Лже-Сандро остается в машине, капитан выходит со мной, мы в темноте направляемся к месту отдыха. Я ныряю в туалет. Там есть приспособление для пеленания младенцев — белая пластиковая панель, прикрепленная к стене. Кладу сверток, ищу в рюкзаке куски ваты и марлю, которые мне дали в больнице, разворачиваю одеяло, нащупываю пуговицы вязаного комбинезончика, жесткого, как картон. Беру ребенка за ножки. Такие малюсенькие — в жизни не видела ничего подобного. Приоткрываю подгузник: вата вся мокрая, какашки желтые, будто он напился настоя шафрана, хотя запах нормальный. В первый раз я вижу тело ребенка так близко, держа в собственных руках. Надутый животик, как у курицы. Плачет, крепко прижав ножки к телу, как лапы. Тяжело дышу. Не смогу сменить подгузник, заверну обратно, в одеяльце, и все. Марля, прикрывавшая пупок, упала, и кусок черной кишки открыто болтается. Я наклоняюсь понюхать, не воняет ли от него, но пахнет все еще спиртом. Нечего раздумывать, за дело. Открываю кран, мочу кусок ваты, обтираю

между ножками. Заворачиваю оставшуюся вату в марлю, отрывая ее зубами. Ребенок не прекращает кричать, нужно развести молоко, покормить. Наклоняюсь за упавшим на пол комбинезончиком. И слышу сухой треск, на спине надет рюкзак, а я слишком резко нагнулась. Открываю — так и думала: стекляшка из Сараева, стекляшка без будущего!

Выбрасываю все, что осталось от бутылочки, в мусор. Слышу стук в дверь.

— Вам помочь?..

Беру сверток на руки, открываю дверь, за которой стоит почти лысый капитан.

— Я разбила бутылочку.

Съезжаем с автострады в поисках дежурной аптеки.

Капитана тронул за душу этот голодный краб еще и потому, что у Пьетро такой голос, что уши раскалываются, настырный, мрачный, как сирена воздушной тревоги.

— Съезжаем, — сказал он своему ординарцу, — надо купить бутылочку, соску...

Лже-Сандро без лишних слов включил стрелку и направил машину во тьму. Что это за съезд? Никаких домов, одни поля.

Капитан перестал читать газету и, кажется, даже не злится. Разворачивается ко мне, смотрит на меня дольше, чем положено.

Я улыбаюсь ему, вытаращив глаза пойманной косули.

— А у вас нет молока?

Тыкаю пальцем в рюкзак:

— Есть, но не так много, всего полкоробки.

Не поворачивается обратно, впился в меня глазами:

— В груди, я имел в виду... у вас своего молока нет?

Инстинктивно прикрываю пустую грудь запеленатым свертком, прижимая его к себе, к своим костям:

— Нет, своего нет.

— Жаль. — Капитан снова смотрит на дорогу. — Было бы намного легче.

Аптеку мы находим в городке, раскиданном по обе стороны узкой дороги. Но зеленый крест выключен. В баре мужчины играют в карты, капитан заходит, спрашивает у них. Его довели до дома аптекаря, который после недолгих переговоров по домофону оделся и вышел. Тщедушный человечек с крашеными волосами, похоже местный денди. Мы пробираемся среди темных шкафов; лампы неожиданно загораются, освещая мундир, фуражку с золотым пламенем. Капитан советует мне

взять пластиковую бутылочку.

— Вам лучше эту, — смеется.

Аптекарь спрашивает, какой тип молока мне нужен.

— Для грудничков.

— Какой фирмы?

Я смотрю на капитана, по сторонам, потом на аптекаря:

— Что есть. Какой-нибудь хорошей.

Капитан подходит к прилавку:

— Покажите нам.

Аптекарь выкладывает банки на прилавок. Капитан надевает очки, потому что шрифт очень мелкий, читает.

— Возьмем это, не вызывает аллергии... — Смотрит на меня: — Как ты думаешь?

Думаю, что он обратился ко мне на «ты». Киваю:

— Ладно.

Мне нечем заплатить.

— Я потеряла кошелек, — шепчу и заодно кладу на место одноразовые подгузники, которые хотела взять. Надеюсь, крабик не обкакается больше шафрановым настоем, потерпит до Рима.

Капитан хватает с полки подгузники и кладет их на прилавок вместе со всем остальным. Смотрит на аптекаря с крашеными волосами, как у постаревшего певца.

— У вас нет этого?..

Аптекарь выжидательно смотрит на него.

— Такого, чтобы звенело... погремушки?

Не совсем погремушка, просто пластиковая игрушка с музыкой. Садясь в машину, произносит:

— Извините, если позволил себе лишнее..

И опять на «вы». Может, тогда хотел только, чтобы его приняли за родственника — брата или мужа.

Распаковывает игрушку, с усилием разрывая пластик, трясет ею перед синюшной мордашкой ребенка, который все еще кричит. Наверное, он и не слышит этого нежного перезвона из музыкальной шкатулки. Нас этим не проймешь, мы к бомбам привыкли. Капитан вздыхает:

— Заметно, что у меня детей нет, да?

Снова остановились, в следующем кафе на трассе. Лавочки из красного пластика, столы, выступающие из стен, как в фастфуде, и абажуры с бахромой.

— Хотите есть?

— Спасибо, позже.

А он ест, откусывая огромными кусками бутерброд с сыром, ветчиной, помидорами, развернувшись ко мне, шамкает с полным ртом.

— Какой температуры должна быть вода?

— Теплая.

Кивает бармену:

— Теплая.

Форма немного смущает... бармен молчит какое-то время, потом решается сказать:

— Видите ли, воду надо сначала вскипятить, потом остудить.

— Ты откуда знаешь?

— У меня у самого маленький ребенок.

— Сколько тебе лет, извини?

— Двадцать.

— Не рановато ли?

— Это моя девушка поторопилась.

Капитан смеется вместе с барменом. Показывает на стальной носик нагревателя:

— Действуй.

Возвращается к столику с водой и двумя тарелками разной еды для нас обоих. У него цепкие руки, это первое, что я замечаю... точеные руки, на первый взгляд неуклюжие, а они, наоборот, могут одновременно удерживать массу вещей, ничего не роняя, в спокойном, несокрушимом равновесии. Ноги тоже устойчивые, твердо стоящие на земле, как у профессиональных официантов. В этом втором кафе я будто вижу его впервые, мне он определенно нравится, с виду добрый. И вдруг вспоминаю отца, так что тоска берет.

Джулиано кладет все на стол, пододвигает мне бутылочку:

— Воду надо сначала вскипятить, потом остудить, вы знали это?

— Нет.

Смеется, смотрит на меня.

Может, чувствует, что я что-то скрываю. Не важно, я откидываюсь на спинку лавки. Он снова надевает очки. Читает на банке с молоком, какое количество необходимо отмерить. Спрашивает, не много ли воды. И ждет ответа, глядя на меня поверх очков, сползших на кончик носа.

Я не отвечаю. Однажды он скажет мне, что уже тогда понял: я не могла быть биологической матерью ребенка. Слишком растерянной я выглядела перед той бутылочкой искусственного молока.

— Съест столько, сколько сможет, — сказал.

Не знаю даже, правильно ли я всунула соску. Ребенок, обхватив ее ртом, сосет, задерживая дыхание, не сводя с меня глаз. Похоже на движение медузы в воде. Потом его глаза слипаются. Он медленно опускает веки, освобождает соску и засыпает, причмокивая во сне. Он, наверное, порядком утомился, весь вспотел в этом комбинезончике из сараевской шерсти.

Капитан встал, взял бутылку с газированной водой, налил два стакана.

— Он должен срыгнуть. — Протягивает мне стакан с водой. — По племянникам помню....

И рассказывает, что его сестра, когда дети были маленькими, после кормления просила поносить их, легонько похлопывая по спинке. Он подкладывал носовой платок на плечо, чтобы не испачкать форму.

То же самое он делает в придорожном кафе. Вытаскивает из кармана форменных брюк красивый белоснежный платок из легчайшего батиста, какие были когда-то у мужчин, растягивает его на плечо, закрывая звания и петлицы.

— Разрешите?

— Пожалуйста.

Я ем, глядя в тарелку с бутербродами, и только через некоторое время замечаю, что капитан пристально смотрит на меня. В замызганном пуховике, с грязными волосами, голодная, как нищенка... ни гроша в кармане, с родившимся несколько часов назад ребенком на руках, которого я так надула молоком, что, кажется, он сейчас лопнет.

Однажды он скажет мне, что не заметил никакой грязи на моей куртке и волосах, скажет, что он увидел красивую, смелую, экстравагантную женщину... а больше всего ему понравилось, как я ела, потому что его бывшая жена питалась одними салатами, зелеными и терпкими. Ребенок прилепился к его плечу с погоном. Капитан делает несколько шагов, доходит до решетки с газетами у кассы, затем возвращается назад. Огромный, мощный, но слаженный, ступает мягко, легко.

Лже-Сандро выпил кока-колы, смял банку и ждал нас. Когда капитан проходил мимо него, вставал, ожидая указаний, которых не было.

Капитан держит ребенка одной рукой, а другой слегка похлопывает по маленькой спинке. Наконец сверток тяжело срыгивает, отрыжка выходит из самой глубины его тела, точно рык водопроводной трубы.

— Понятно вам?

Даже лже-Сандро удивляется: вот это да!

Щечка малыша лежит на исполинском плече. Вздрогнув от отрыжки, малыш не проснулся. Я съела все бутерброды, пью воду с газом и тоже

слегка срыгиваю. Тоже наелась и успокоилась, как ребенок.

Разглядываю в слабом освещении этого человека, у которого на руках новорожденный из Сараева. И внезапно чувствую боль, которая потом всегда будет настигать меня по-особенному. Сейчас она сдавливает мне затылок так, что цепенеет шея. Это Диего схватил меня сзади, узнаю его руки, его дыхание, но не могу обернуться. Это на его руках должен был лежать младенец, на руках парня, который мог бы стать замечательным отцом, святым, фокусником. Это он вцепился в мой затылок и нашептывает, чтобы я шла вперед за своей судьбой, следовала дальше по жизни без него. Это он не разрешает мне обернуться. Обнять смерть.

Капитан снова садится напротив меня, с другой стороны столика:

— Устали?

— Немного да.

— Вы рожали в Сараеве...

— Да.

— Вы отважная женщина.

Мы начали разговаривать, рассказываю ему, что мой муж остался там, что он фотограф. Джулиано кивает, я рассказываю о Диего, о том, как мы познакомились, о его фотографиях.

А изнутри меня гложет страшная тоска. Море тоски. Вижу ноги Диего в аэропорту, тонкие, холодные, будто железные трубы. Вижу, как он стоит там... Замолкаю, грудь вздымается, перевожу дыхание, продолжаю. Джулиано опускает глаза, не перебивает.

Однажды он скажет мне, что тоже тогда взволновался, потому что ни разу в жизни не видел настолько влюбленной женщины. У него была жена, подруга, романы и романчики... но, слушая меня той ночью, он почувствовал, как ему не хватает настоящей любви, которая захватила бы все его существо.

Рассказывает, что он не заканчивал военной академии, служил в спецгруппах, был в Ливане. Рассказал, как однажды не до конца раскрылся парашют. Поэтому сейчас он на земле, занимается конторской работой. Рассмешил меня, сказав, что напицкан железками и, когда в аэропорту проходит через металлический детектор, звенит так, что уши ломит. Говорит:

— Знаете, почему в анекдотах болтают всякую чушь о карабинерах?

— Нет.

— Потому что все это правда.

Лже-Сандро смеется вместе с ним.

Потом он встает, идет к кассе, покупает коробку шоколадных конфет,

угощает меня. Свободной рукой ловко снимает обертку, другой придерживая крепко спящего ребенка.

Говорит, что любит фотографию, сам тоже балуется. Спрашивает, нет ли у меня какого-нибудь снимка, сделанного Диего.

Отвечаю, что, кроме ребенка, у меня с собой ничего нет.

— Не получилось заехать в гостиницу.

— А ваш муж?

— Он потерял паспорт...

Протягивает мне свою визитку:

— Если вам что-нибудь понадобится.

Город выступает из мрака — начинается тихий зимний день. Ставни на окнах домов, вывески на магазинах — все на своем месте. Пять утра. Еще немного, и люди поднимутся с кроватей, примут вертикальное положение и начнут заполнять улицы. Возобновятся глупые хлопоты мирного времени. Мусорная машина преграждает нам путь. Мы останавливаемся. Смотрю, как металлическая рука зацепляет баки, поднимает их в воздух, переворачивает. И снова возникает чувство, что я потеряла все.

У дома капитан выходит, чтобы помочь мне с ребенком. Открыл рот, будто собираясь что-то сказать, но ничего не говорит. Только одно движение — надел свою фуражку. Может, он решил подвезти меня, чтобы не выпустить из виду, и был любезным, чтобы обмануть бдительность. У него взгляд как у охотничьей собаки: такие на первый взгляд без толку бегают по полю, а возвращаются с добычей. Он понял, что здесь все не так просто — а вдруг я украла этого ребенка? — хотел высказаться напрямик, но передумал.

Однажды он скажет, что всю поездку колебался между долгом службы и желанием верить мне. Однажды он скажет: «Когда приходит любовь, закон может отдохнуть».

Дверь открылась бесшумно

Дверь открылась бесшумно, скользнув по коврику в коридоре. Жалюзи опущены, затхлый запах, батареи чуть теплые. Со мной только ребенок, никаких чемоданов, которые надо разбирать. На вешалке висит велюровый пиджак Диего с заплатами и узкий красный выходной галстук. Кровавая нить.

Снимаю испачканные в сараевской грязи сапоги, стаскиваю их не наклоняясь, поочередно упираясь ногами в каблук. Все еще с ребенком на руках. Не так обычно возвращаются домой из роддома. Здесь некуда даже положить его, ни детской, ни кровати, ни пеленального столика. Только пианино его отца, белый диван, который надо бы почистить, и запах запертой квартиры, замороженной в тишине прошлой жизни.

Прохожу мимо ног, ждущих поезда в метро, и вспоминаю, что эти фотографии разонравились Диего, он хотел снять их со стены. Приоткрываю в спальне окно, чтобы проветрить. Кладу ребенка рядом с собой на кровать, не развернув одеяльца, не сняв с себя пуховика. Засыпаю рядом с ним так, как есть, откладывая все на потом, уходя в сон, как крот под землю, в черный туннель без сновидений.

Открыв глаза, ощущаю, что мне трудно пошевелиться, болит все пробуждающееся тело, каждая косточка. Может, потому, что тело расслабилось, перестало защищаться. Сквозь створки ставень проходит свет, и ребенок не спит. Не хнычет, уставился в потолок еще не видящим взглядом.

Я помылась под душем, оставив дверь открытой. То и дело закрывала кран, боясь, что из-за шума воды не услышу плач ребенка. Грязь сошла, соскользнула в отверстие слива. Надела старый, привычный халат. Позвонила папе.

— Алло... — услышала я хриплый стариковский шепот: эти уста, надолго сомкнутые, похоже, разучились произносить слова.

— Это я, папа.

Он дважды прокричал мое имя, громко, будто стоя на краю обрыва.

Я ничего не стала говорить ему о ребенке, сказала только, что вернулась и минуто назад вышла из душа.

Сходила на кухню, вскипятила немного воды, налила в бутылочку. Это было нетрудно, ребенок еще не переворачивается, я не спускала с него глаз. Сейчас он заплакал, и я торопливо отсчитываю порции молочной смеси.

Сегодня первый день, когда мы остались одни.

— Ты ранена?

— Со мной все в порядке, разве не видишь?

Обнимает меня, а я не узнаю его рук.

— Как ты похудела!

Он тоже сильно похудел, одни кости остались. Я давно ему не звонила.

— Нельзя же так...

— Прости, папа.

Замер в двери, не хочет входить.

— Нет, я вас не прощу.

С отцом так себя не ведут, говорит, с собакой и то так не обращаются.

Он меня этому не учил.

— Вы два эгоиста. Ты и еще этот.

Рядом с ним скулит Булка, приветствуя меня и заодно желая пробраться в квартиру, чтобы все как следует обнюхать.

— «Этот» не вернулся, папа.

Его глаза вдруг стали похожи на черные виноградины, кадык заходил туда-сюда. Озирается, вода глазами по темному пятну лестничной площадки, словно высматривая тень.

— Что значит «не вернулся»?

— Остался там.

Поводок выскальзывает из рук, и Булка, воспользовавшись этим, вбегает в квартиру.

— Что значит «остался»?..

Входит вслед за собакой, чтобы забрать ее... входит потому, что за дверью нет ничьей тени, парень не оставил за собой никаких следов. Входит, чтобы коснуться пиджака с заплатами, красного галстука.... водит глазами в тишине квартиры.

— Булка, сюда... Булка...

Но Булка не слушается, бежит в спальню.

— Осторожно! — кричу.

Папа бежит за собакой, оборачивается ко мне:

— Что-то случилось?

— Случилось...

Ничего не говорю, пусть сам увидит. Мы стоим в дверях комнаты. Собака положила морду на кровать, обнюхивает какашки новорожденного, грязный подгузник, который я оставила на кровати. Папа шепчет: «Отойди, убери свою морду...» — видит Пьетро на постели. Не подходит, молчит. Потом задает тот же вопрос, что и капитан в туалете военного аэропорта:

— Чей это ребенок?

— Наш, папа.

Делает шаг к кровати, наклоняется:

— Настоящий ребенок?

— Конечно настоящий, папа!

Шарит по карманам пиджака, надевает очки. Следит за дыханием ребенка так же внимательно, как некогда проверял домашние задания студентов.

— Сколько ему?

— Нисколько... один день.

— Вы его усыновили?

— Нет. Я нашла суррогатную мать.

Смотрит на меня, лицо помертвело, кровь отхлынула от щек.

Я могла бы наврать что-нибудь, сказать, что это сын любовницы Диего и я заплатила девушке, чтобы она не делала аборта, желая спасти ребенка. Могла бы представить все в лучшем свете, сидя на кровати. Но я не хочу лгать отцу, даже если после этого он не сможет меня любить.

Он поднимает глаза, раскачивается всем телом, как маятник:

— Надо подумать... надо подумать...

Через коридор проходит в гостиную, доходит до входной двери. Зовет Булку, но та не двигается с места, сторожит незнакомого ребенка, разорвавшего одиночество этого дома.

Тогда папа возвращается назад к кровати, смотрит на этого неподвижного благородного пса, застывшего, точно статуя, точно борзая у ног короля.

Обнимает меня, он стоит, я сижу, он высокий, я маленькая, как в детстве.

— Как же можно тебя бросить одну, боже ты мой? Как же можно?

Раскрыв свои еще мутноватые глазенки, ребенок видит контуры итальянского дедушки, продавшего дом, в котором собирался провести старость, только чтобы оплатить его рождение. Эти деньги лежат теперь в кармане панкующей мадонны, трубачки, влюбленной в «Нирвану». Рождество навыворот — перекошенный рождественский вертеп.

Отец улыбается Пьетро, говорит ему тихонько:

— Любимый, любимый мой...

И я вижу то, что стоит всех мук, — возвращающуюся жизнь... вижу отца, склоняющегося ко мне, новорожденной, он называет меня любимой...

Больше он ни о чем не спрашивает.

Откуда бы ни взялся ребенок, сейчас он здесь, на этой постели. На нем шерстяной комбинезончик, тяжелый, грязный, жесткий. Папа выходит на улицу, на бульваре есть магазин детской одежды. Возвращается с блестящими, как у его пса, глазами:

— Я купил нулевой размер.

Разрываем целлофан, снимаем этикетки, засовываем ребенка из Сараева в этот нулевой размер, новехонький. И он становится у нас принцем, одетым в тончайшую шерсть и вышивку, исчезла вонь стойла, смерти.

Отец не оставляет меня больше одну. Утром, я думаю, он приходит задолго до того, как звонит в домофон. Ходит по рынку, выгуливает собаку недалеко от дому. В действительности просто не может от нас оторваться. Ему, должно быть, и ночами не спится, думает о младенце. Лицо моего отца порозовело, стало как новое. Кажется, кожа разгладилась, глаза посветлели, как родниковая вода. Когда стучит в дверь, пыхтит, как собака, которая боится, что ее выгонят.

— Не помешаю?

— Входи, папа.

Приносит фрукты, газеты, хлеб, потому что я не выхожу из дому, как в осаде.

Я всегда встречаю его в халате, разбитая из-за бессонных ночей, кормлений, прерывающих сон, который потом никак не возвращаются, зато возвращаются голубой ребенок, Диего, возвращаются выстрелы снайперов. Ночью все страхи увеличиваются, когда ребенок кричит, я падаю духом, боюсь, что у него тоже может быть ломка, как у детей наркоманов. Боюсь, что у него случится запоздалый нервный срыв, как и у меня в этой тишине. Прижимаю его к себе, жду от него помощи. Качаю его до одури, хожу взад и вперед вдоль ног, ждущих поезда в метро, подхожу к окну, отступаю, кладу сверток в кроватку, пусть себе плачет. Закрываюсь в ванной, сижу, покачиваясь, на краю ванны. Я вся пожелтела, силы на исходе, как будто это я родила в муках и теперь соскальзываю в одинокую бездну.

Днем возвращается покой.

Папа листает книжку о первых месяцах жизни ребенка. Он говорит, что когда малыш сильно плачет, прижав ножки к животу, значит, у него колики, все потому, что Пьетро слишком быстро ест. Поэтому теперь после кормления он переворачивает младенца на животик, массирует, успокаивает его.

За неделю Армандо стал лучше любой венецианской кормилицы. Пахнет молоком, срыгиваниями, миндальным маслом. Когда не с нами, он в

аптеке, надев очки, изучает полки, где выставлены продукты для новорожденных. Консультируется с девушками в белых фартуках с позолоченными крестиками, подружился со всеми, знает их по именам. Советуется, рассказывая о какашках, икотах, покраснениях. Томные глаза влюбленного с первого взгляда. Совсем потерял голову.

Булка впала, как и я, в депрессию, высунула вялый язык, умирает от ревности, как старший брат, о котором забыли.

Впервые вышли на улицу, везем Пьетро к педиатру. Папа уже приехал за нами на машине, припарковался на тротуаре перед подъездом, и не важно, что схлопочет штраф, мы же не кого-то, а оракула сопровождаем, будущее человечества. На мне темные очки и черное пальто, я худая и бледная, как печальная принцесса, мать наследника трона. Холодно, и папа повесил накидку на детскую переноску, в которую заглядывают консьерж, сосед, женщина из бара.

Папа не слушается здравого смысла, отодвигает накидку на несколько секунд. Барменша улыбается, глядя на меня:

— Не знала, что вы ждали ребенка, синьора...

— Мой зять фотограф, колесят по всему миру. Современная молодежь не такая, как мы с вами — домашние голуби из голубятни. Не боятся делать детей где получится.

Барменша меня поздравляет. Опускает взгляд вниз, к моему животу. Говорит, и не похоже, что я рожала, мне повезло с таким упругим телом.

В машине папа раздражается, только и делает, что смотрит в зеркало заднего вида, думаю, может, у него начинается атеросклероз. Ругает идиотку-барменшу:

— Все время экономит на молоке для капучино.

Поворачивается к заднему сиденью, проверяя переноску.

Рычит, как сторожевой пес. Теперь он боится, что кто-нибудь заберет краба. Я боюсь только не справиться.

Постепенно ребенок привыкает ко мне, а я привыкаю к нему. Узнаю его голос. Начинаю различать его плач. Знаю, когда он жалуется, потому что хочет, чтобы его взяли на руки, когда голоден, а когда у него болит животик. Все мои майки испачканы молочным ферментом на плече, там, куда он кладет головку.

Ношу его по всей квартире, уже не так боюсь, что сделаю ему больно. Останавливаюсь около фотографий Диего. Рассказываю ему об отце. Обманываю его, говорю: когда вернется папа, сделаем то-то и то-то.

Его пуповина отпала. Я понюхала ее, потом открыла пианино и положила ее под крышку между клавишами.

И с бытовыми вещами научилась справляться: могу помыть ребенка, поменять ему подгузник, покормить. В остальном — не знаю. Живу в подвешенном состоянии, в ожидании какого-нибудь известия, даже мои движения и те подвешенные. Делаю все, но без души. Как старательная няня, будто мне этого ребенка одолжили, а я только должна за ним хорошо присмотреть, чтобы потом вернуть. Пора было бы уже его полюбить, это в порядке вещей. Но вся моя любовь, кажется, умерла в Сараеве, в канавах, полных грязного снега.

Когда ночью малыш будит меня, не знаю, как выйти из тяжелого сна, чтобы встать с кровати. Иду готовить ему молоко, обжигаю руки, пачкаю стол на кухне. Он всегда голодный, этот ребенок из Сараева, голодом несчастного города, в котором он родился.

Это правда, от него приятно пахнет, втягиваю носом воздух. Ощущение горизонта, где-то между небом и водой. А мне что с этим делать? Мне плохо от этого слишком приятного запаха. Он проникает в меня как боль, ведь так могло пахнуть от его отца в младенчестве, и Диего должен был сам узнать этот запах.

Забочусь о ребенке, не испытывая к нему настоящей любви, отношусь как к автомобилю: заливаю бензин, мою, устраиваю в гараже, в кроватке. И если прихожу посмотреть на него спящего, то только для того, чтобы найти в нем отца, увидеть сходство. Только когда вернется Диего, этот ребенок станет действительно моим; только тогда, когда он станет нашим.

Во сне я вижу это. Малыш сидит у Диего в сумке-кенгуру одной рукой Диего поддерживает головку, а другой — обнимает меня. Мы гуляем по набережной, у самой реки, войны нет. Во сне возникает осязаемое чувство покоя, мы больше не боремся ни сами с собой, ни с тем, что нас окружает. Судьба проявляет о нас заботу, почти нуждаясь в нас. И мы впервые ощущаем ее, впервые чувствуем, что мы необходимая часть общего потока. И тогда понимаем, что это и есть покой: ощущение вот этого движения... идти вперед по жизни, не отступая, как вода, которая тянет сама себя, увлекаемая собственным течением. Мы доходим до той самой баржи, которая так и стоит на прежнем месте, ожидая нас, чтобы увидеть, чем закончилась наша история. Диего говорит мне спасибо за ребенка, потому что он только сейчас понимает, что это значит. И только сейчас знает, что он спасен.

Всю жизнь меня не оставит в покое мысль, что, если бы Диего провел с ребенком хоть одну ночь, если бы прижал его к себе, почувствовал его дыхание, он остался бы жив.

Он не звонит, и я не сижу у телефона. С каждым днем сны снятся все

реже. Остаются одни фотографии, лужи, ноги, безумные лица фанатов-ультрас.

Потом звонок, и его голос страшно далек от покоя, который мне снится, задавлен жизненной болью.

— Что случилось? Почему ты не едешь домой? Где паспорт?

Кажется, он забыл обо всем.

— Ах да, паспорт. Я нашел его, да.

— Где он был?

— Выпал из дырявого кармана в сапог.

О ребенке не спрашивает, сама напоминаю: с ним все в порядке.

В Сараеве до сих пор очень холодно, ничего не изменилось, говорит, потому что хуже быть не может, самое худшее уже наступило, а за ним пустота, ничего нет, кроме однообразия боли, похожего на занудную песню, которая без конца повторяется, на грязную поношенную одежду, которую никто никогда уже не отчистит.

Обрывается связь, но мы и так уже достаточно поговорили, можно сказать, очень долго. И так ничего друг другу и не дали. Никакого утешения.

Кладу трубку и вижу Сараево, чувствую запах крапивы, горячей обуви, запах людей в очереди за смертью. «Тебя там нет, Джемма, — говорю я себе. — Тебя там больше нет. Все кончилось, ты уехала». Тяжело дышать, воздуха не хватает. Папа приносит мне стакан воды:

— Попей, девочка моя, попей.

Но я знаю, почему мне плохо. Потому что сейчас я уверена: ни за что на свете не хотела бы я снова оказаться там, перед лицом смерти.

Сегодня папа укладывает на ночь ребенка, остается у меня ночевать, спит на диване перед пианино.

— Мне ничего не стоит, — говорит.

Поет колыбельную, его голос залечивает раны, нанесенные тьмой, накладывает швы. Он любит ребенка, ему достаточно было взглянуть на него, чтобы полюбить. Я же отношусь к нему отстраненно и каждый раз, глядя в его глаза, думаю о воспаленных глазах его отца, которые никто не лечит. Мне кажется, что новорожденный заедает жизнь Диего, крадет ее, — вот что я думаю, но не могу произнести вслух.

Папа не спрашивает меня ни о чем, боится моих мыслей.

Пока он поет, я вспоминаю живот овечки, ее глаза, когда я уходила. Наверное, они заранее договорились, и овечка знала, что Диего вернется к ней, и в том унылом взгляде на самом деле пряталась тайная мысль. Она знала, что выиграла. Может, Диего уговорил ее все-таки отдать мне

ребенка, чтобы избавиться от меня: пусть и у меня что-нибудь останется. Они могли родить себе еще, а я не вернулась бы с пустыми руками с той Голгофы.

Он отдал мне то, что я хотела. Ребенок стал ценой, которую он заплатил за свою свободу. Я заплатила не марками, мы обменялись человеческими существами. Аска забрала плоть моей любви.

Я открыла бутылку граппы, собираюсь выпить ее всю, папа говорит, что хватит, я — еще. Алкоголь вытаскивает меня из ада, снова бросая в ад. Обратно к ним. Кричу, что мне не нужен больше этот ребенок, чертова боснийская шлюха украла у меня мужа, воспользовалась моей слабостью, чтобы просочиться в нашу кровь.

Перед моими глазами снова встает лазурь голубого ребенка. Лучше бы тот ребенок выжил, чем этот, от двух подлецов.

Младенец плачет, папа берет его на руки, потрясает им, как крестом. Словно изгоняет дьявола, зло.

Потому что сегодня ночью дьявол пробрался в наш дом, в мою римскую квартиру с белым пианино. Заглядываю в детскую кроватку... и вижу только тех двух змей, что продолжают поглощать друг друга в трущобах погибающего города. А этот сопляк, этот кусок голодной плоти — их. Мне надо было оставить его там, пусть бы там гулял в сумке-кенгуру с родными отцом и матерью, на том пожарище, покрытом снегом.

Собака лает. Младенец верещит, как свинья, которую режут. Папа со злостью кладет его мне на руки. Он защищал его вплоть до этого самого момента, теперь бросает:

— Твой сын, делай с ним что хочешь.

Зачем он так рискует? Он никогда раньше не отличался смелостью.

Делаю несколько шагов назад и падаю на диван. Ребенок выскальзывает из моих рук, лежит рядом. Был бы он змеей, мог бы ужалить меня и уползти. Но он лежит здесь — тихий плач, заглушенный подушками, — и не может сам двигаться, как перевернутый кверху лапками муравей.

Встаю с дивана, ухожу. Иду в ванную, меня тошнит граппой. В настоящий момент не вижу никакой разницы между жизнью и смертью, между криком и тишиной.

Папа ушел, утащив с собой собаку. Я слышала, как он громко хлопнул дверью, так что чуть не рухнула стена, мир. Он ушел расстроенный, как экзорцист, не сумевший изгнать дьявола.

Я беру ребенка, поднимаю его над головой, он висит в воздухе. Кажется, ему нравится на высоте, потому что он больше не плачет. Только

тело чуть вздрагивает от всхлипываний. Но это не страшно, это как если бы он срыгнул. Мы играем в самолетик еще какое-то время, он летает недолго на моих руках. Возвратившись на землю, совсем успокаивается. Растягивает губы в какое-то подобие улыбки. Я не кладу его в кроватку, держу на себе. Кладу вниз животиком на свой живот, впервые за все время. Не знаю, кто из нас двоих засыпает раньше. Мне снится город, выросший на моем животе. Открываю глаза, когда уже наступил день, понедельник, и Пьетро проспал всю ночь, не проснувшись ни разу, даже поесть.

Позвонили папе

Позвонили папе.

В бумажнике Диего нашли сложенный листок с несколькими телефонными номерами. Служащий полицейского управления города Дубровника просто набрал первый номер из того небольшого списка, и он оказался папиным. Рядом с цифрами было написано: «ПАПА», и они подумали, что это номер телефона отца того парня. Полицейский говорил по-итальянски, так что сложностей не возникло. Папа ничего не спросил, в тот момент он не мог соображать. Ответил только: «Понятно... понятно... понятно», три раза, машинально.

А что понятно, он и сам толком не знал. Это были единственные слова, что пришли ему в голову, и отец произнес их вслух, лишь бы достойным образом отреагировать на происшедшее, остановить начавшееся кровоизлияние.

Отец — человек закрытый, сдержанный, можно сказать, скромный. Он не привык распускаться. Таким способом его тело воспротивилось боли, замкнув ее в себе.

Когда пару часов спустя он постучал в мою квартиру, у него был перекошен рот, как если бы подбородок своей тяжестью оттянул его вниз, и веко одного глаза опущено ниже другого.

— Что с тобой?

Он даже не заметил, что его лицо поражено параличом. Пес вошел за ним. Я подвела папу к зеркалу в ванной, он посмотрел на свое отражение, но, казалось, не увидел или, по крайней мере, не обратил на это никакого внимания, только кивнул.

В отличие от него я испугалась, меня ужаснули изуродованное лицо, которое я не узнавала, невнятный голос, застывшее выражение единственного открытого глаза. Необходимо было позвонить врачу, сделать анализы. Может, всего лишь продуло, но ведь мог быть и инсульт.

Он купил мушмулу, и она лежала у него в бумажном пакете, который он держал, не выпуская из рук.

Первые плоды в самом начале весны.

— Где ты достал их?

Мы пошли на кухню, сели за стол.

— Как Пьетро?

— Спит.

Обычно первое, что он делал, придя ко мне, — бежал к нему.

Помыл мушмулу. Взял одну ягоду, вытер салфеткой, потом медленно оторвал черенок. Я смотрела на его руки, вдруг с ними тоже что-нибудь не так. Движения слишком замедленны, но пальцы, кажется, действуют все.

Папа делит мушмулу на две части, медленно вытаскивает ее глянцевую косточку, с выемкой посередине, как в сердце.

Предлагает мне половинку, я ем, глядя на него. Сам подносит оранжевую зернистую мякоть ко рту, но откусить не получается из-за парализованной губы.

У папы спокойное, с правильными чертами лица, прямой нос, густые волосы; о таком человеке говорят — красивый. Иногда, правда, оно принимает глуповатое выражение, когда папа таращит свои слегка круглые глаза и делает брови домиком или когда нарочно двигает ушами и носом. Он делает это редко, только для того, чтобы рассмешить детей. Его лицо с виду строгое, поэтому резкая смена выражения огорошивает. Когда я была маленькая, моим друзьям безумно нравилось, если папа двигал ушами и бровями.

И эта несуразица сегодня утром застыла на его перекошенном лице, как будто он скорчил рожу, да так и не смог от нее избавиться.

Папе никак не откусить мушмулу.

И из единственного открытого глаза вытекает слеза, скользя липкой, как слюна, ниточкой.

Я думаю, что он плачет из-за своего пареза: какая нелепость, думаю я, сидеть здесь и есть мушмулу, вместо того чтобы срочно ехать в больницу!

Я встаю из-за стола, говорю, что пошла за ключами от машины.

Он произносит:

— Сядь, милая.

Слабо сипит чужим голосом.

Этот голос производит на меня то же впечатление, что и перекошенное лицо.

Делит пополам еще одну мушмулу и протягивает мне:

— На, ешь...

Она застревает у меня в горле, не желая проходить внутрь... потому что все это, по-моему, полный бред, что-то непостижимое. Потому что теперь я чувствую, что за его жалким перекошенным лицом кроется безобразная тайна. Кажется, оно застыло в беззвучном вопле, как на картине, где одинокий человек стоит над рекой, с зияющей черной дырой вместо рта.

Я роняю мушмулу, вынимаю оставшиеся куски изо рта.

Заглядываю в единственный открытый глаз, весь в слезах.

— Ты что-то узнал, папа?

Теперь я вспоминаю, что мушмулу очень любил Диего и папа ее часто покупал для него.

— Что ты узнал?

И я начинаю думать: почему он принес эти ягоды именно сегодня, ездил за ними в самый центр, ведь еще не сезон, тем более я их не очень люблю, он прекрасно это знает.

Он мог сообщить мне об этом, выбрав любой способ из миллиона, но нашел только такой. Он донес до меня вкус Диего, когда тот был еще жив, и одновременно чего-то такого, что ждет нас в будущем.

Теперь мы иногда будем есть мушмулу, в тишине, в память о нем, о фотографе из Генуи, записавшем номер телефона Армандо рядом со словом, которого ему больше всего не хватало в жизни: «папа».

Сейчас я уже готова. Память воскресила во мне прежнее спокойствие, которому я научилась в Сараеве.

Надо дать песку ссыпаться внутрь тела. Так мы удержимся на ногах, несмотря ни на что; он послужит нам опорой, как бетонное основание пляжному зонту.

— Он погиб, да?

Папа повернул ко мне свое перекошенное лицо, причина перемены в котором теперь мне ясна. Далекое, как крик человека с картины Мунка.

Он не кивает, впился в меня открытым глазом и щелочкой другого, чуть покачивая головой, как сумасшедший в клинике для душевнобольных.

Слабо постанывает:

— О... о... о... — трижды.

Жду, что он скажет, глядя на искривленное лицо.

Потом он медленно кивает, но так незаметно, как будто все еще не уверен. Скривив подбородок... будто переспрашивает у меня, у этой дурацкой мушмулы... хочет услышать, что произошла ошибка. Мертвое тело, которое нашли, принадлежит не Диего, а кому-то другому.

Жду, когда его лицо снова примет правильные очертания, как проявляющаяся фотограмма. Но знаю, что этого не произойдет.

Опускаю глаза, отвожу от лица, утратившего себя, свою мягкость. Утратившего покой. Как последний привет из Сараева, в котором заключено все мое будущее. Предстоящая жизнь теперь всегда будет такой перекошенной, будет встречать меня гримасой страха.

Может, и мое лицо застрянет в безголосом крике... и мы с отцом вместе останемся калеками.

Я боюсь за старика, боюсь, что он отправится на тот свет, прямо здесь и сейчас. Обмякнув на столе среди мушмулы.

Он смотрит на меня, чтобы понять, не лишилась ли я рассудка.

Ему страшно. Чувствую запах его страха. Его рук, продолжающих перебирать эти ягоды, — рук, охваченных странными, неконтролируемыми судорогами.

— Он погиб?

— Да.

Я не схожу с ума. Я всему научилась, это входило в пакет услуг турпоездки. По системе «все включено».

Когда-то я уже пережила этот момент. В морге Кошева между Йованом и голубым ребенком стояла пустая каталка из холодной стали.

Сейчас перед глазами снова встает та каталка, которую я увидела и забыла. Сейчас я знаю, что она ждала тело, третье тело, между стариком и ребенком. Как крест, который необходимо довершить. Молодой гемузец, за которого я вышла замуж, заранее объявил мне о своей участи. Все остальное: паспорт, упавший в сапог, та же Аска... только случайности, главное было predetermined. Мы не можем выбрать себе жизнь и смерть, мы можем пройти между ними самой трудной дорогой, противясь судьбе, но, по сути, для нее это только щекотка.

Ну вот, теперь я вдова.

Знаю, что должна как-то отреагировать, а вместо этого не могу оторвать взгляд от мушмулы на столе. Сажу неподвижно и знаю, что так делать нельзя, что потом станет плохо, — надо заплакать, выплеснуть горе. Опасно оставаться на месте, не сдвинувшись ни на миллиметр, когда все вокруг рушится. Такой героизм никому не нужен, как и достоинство.

— Его убило гранатой?

Лучше не молчать.

Отвечая, папа пускает слюни из перекошенного, с трудом открывающегося рта:

— Несчастный случай... он упал со скалы... на берег...

Что он такое говорит? В Сараеве нет моря.

— В Дубровнике, — говорит. — Это произошло на одном из островов рядом с Дубровником.

— Что он там делал?

Папа не знает, он ничего не спросил.

Не важно, мне это совсем неинтересно.

Вижу что-то такое, что я уже видела раньше, то, что меня давно ждало.

Встаю, но не знаю зачем, делаю три шага, но они похожи на шаги

курицы, которой свернули шею, нервный спазм мышц, хранящих память о движении. Снова сажусь и опять смотрю на мушмулу.

Мякоть бледно-оранжевого цвета, в форме сердечка. Диего съедал горы ягод, смеялся, плевал косточки в мусорное ведро, похваляясь меткостью.

Диего...

Ничего удивительного, я всегда это знала. По правде говоря, это никакая не новость, всего лишь судьба, которая свершилась, обнаружила себя.

Всегда боялась потерять его.

Кладу рядом две косточки, смотрю на них. У нас никогда не было идеальных отношений, всегда торчало что-то лишнее... угол, о который постоянно задеваешь, пола платья, высунувшаяся из шкафа, — этот лоскут не дает тебе ночью покоя, и ты говоришь себе: «Сейчас встану, поправлю». А потом лежишь и думаешь: «До завтра подождет». Сейчас я поняла, что нас разъединяло, — между нами всегда стоял этот день, эта мушмула, эта смерть. Его преимущество надо мной было очевидным.

Я улыбнулась — он умер, упав с высоты на берег моря, как и его отец.

Улыбнулась, потому что меня это не удивило. Так бывает, когда неожиданно находишь решение загадки, мучившей, сводившей тебя с ума, хотя на самом деле она была простая, даже слишком, потому-то тебе никак не удавалось ее разгадать. А разгадка была под носом.

Я улыбнулась, потому что не знала, выживу ли я, но мне было все равно.

Итак, я его больше не увижу.

Это значит, что я не увижу больше его ног, длинных и тонких, как у антилопы, не вдохну больше запах его шеи. Нет больше глаз, смотревших на меня, и я никогда уже не спрошу у него: «Какая я?» — а он не ответит: «Какая есть». Это значит, что его голос остановился в мертвом горле, которое скроет земля.

Итак, все кончено.

Улыбнулась, наслаждаясь приятным ветерком, это Диего поворачивается ко мне на вокзале, он привез с собой детский пластмассовый зеленый стульчик, привез на поезде из Генуи только для того, чтобы показать мне, на чем он сидел в детстве, и теперь, прямо на перроне вокзала Термини, он усаживается на этот стул: хочет показать мне, что совсем не изменился — такой же тощий, как комар. Как настоящие бедняки, говорит. Как батраки былых времен, африканцы. Я смеюсь. Спрашивает, люблю ли я его, он приехал показать себя, выставить на

продажу, как раба, потому что он меня любит очень-очень и не может жить без меня. Говорит, что, наверное, совершает ошибку, только отвращает меня, когда, не стесняясь, выставляет себя влюбленным дураком. «Но я такой», — говорит. Улыбаюсь: я поворачиваюсь спиной к нему, думаю, что он рехнулся, наркоман обкуренный. Что у него плечи слишком узкие, а ноги слишком длинные. Разворачиваюсь и ухожу, он встал, но застрял задницей в детском зеленом стульчике, так и идет с ним за мной. Как только я останавливаюсь, он снова садится, закинув ногу на ногу, и без сигареты в руках делает вид, что блаженно покуривает. «Я жду», — говорит.

Чего?

Свою жизнь, я жду жизнь.

Итак, убираем косточки со стола, выбрасываем их в мусорное ведро.

Папа спрашивает:

— Что нам надо делать? Как это делается?

Диего был для него сыном, и теперь он хочет знать, как забрать тело своего мертвого ребенка.

— Нужно позвонить в Министерство иностранных дел.

— Да, верно.

Я встаю, надеваю очки, и на этом все.

— Я сам поеду в Дубровник, если ты не сможешь.

Куда он поедет с таким лицом?

— Тебе надо в больницу, папа.

Он кивает, не может поверить, что это так просто, будто ничего особенного не случилось.

Ребенок просыпается от голода, я развожу ему смесь. Папа подходит к нему, и Пьетро плачет, потому что не узнает дедушку, испугался его гримасы, — так мы понимаем, что он начал видеть. Потом малыш узнает родной запах и дает себя покормить человеку с перекошенным лицом. Я стою, смотрю на папу, который кормит ребенка, всхлипывая и орошая его слезами.

Говорю ему:

— Осторожнее, папа.

Прячет мокрые глаза, наклонив голову. Ему стыдно, что я сильная, а он слабый. Собака заснула, положив морду ему на ногу.

Листаю телефонную книгу, ищу номер Министерства иностранных дел. Переписываю его на листок. Они уже в курсе, но голос служащего отвечает:

— Подробности нам пока не известны, синьора.

Небо покрылось облаками, отворяю одну ставню, подтягиваю к себе веревку, на которой сушатся ползунки и слюнявчики. Переодеваю ребенка, он лежит с открытыми глазами между мной и папой, в тени его лицо производит еще более жуткое впечатление, ни дать ни взять душевнобольной старик с единственным вытаращенным глазом.

Он любил мальчишку из Генуи, поллюбил его сразу, с первого взгляда.

— У него же ни гроша в кармане, ездит зайцем на поездах. Ни кола ни двора...

Я думала, он меня бранит. Я только недавно ушла от Фабио, поставив точку в этом странном браке. У папы было сердитое лицо. Потом он подвигал ушами, носом, скорчил забавную рожу:

— Зато у него есть все остальное: поторопись, упрямая ты голова!

Позже стал помогать ему, Диэго возил его с собой на мотоцикле. Никогда папа не был так счастлив.

Минуты текли за минутами, песок сыпался вниз. Я думала о море, о Диэго, упавшем в песок. И совсем не думала о мертвом теле, не спешила погружаться в реальность телефонных звонков, разговоров на чужом языке. Мои движения стали плавными, все мысли куда-то ушли — как у беременной. Диэго не было на этом свете, но мне казалось, он находился внутри самой жизни, к которой наконец пришел. Плавал в амниотической жидкости, в водянистых корнях огромной космической плаценты. Я положила руку на животик ребенка. Это он вернул мне спокойствие, отстраненность. Лежал и безмятежно гулил. Он привык к дому, который начал узнавать, к нашему образу жизни. Эта трагедия никак не отразилась на нем, для Пьетро ее вообще не существовало. Он никогда не знал Диэго, не искал его глазами, которыми уже водил в разные стороны. Он стал сиротой, потерял отца, так же как и его — отец. Судьба его совершила поворот, но он об этом не подозревал, пел свои «агу, агу».

Его незнание не только служило щитом от боли, но стало подтверждением смерти Диэго.

Папа не хотел уходить, боясь за меня. Он сказал мне об этом, шамкая кривым ртом. Он ехал в клинику на прием к врачу, которому я позвонила. Машина уже ждала у подъезда.

— Ты слишком спокойна, меня это тревожит.

Я же хотела остаться одна.

Снова позвонила в Министерство иностранных дел, но у них все еще не было конкретной информации.

— Мы ждем, — ответил голос.

Я заснула с ребенком на животе.

Проснувшись, подошла к окну, открыла его и высунулась, держа Пьетро на руках, собираясь выброситься. Отличное испытание, благодаря которому я обнаружила, что вовсе не намерена делать этого, — с третьего этажа сложно разбиться насмерть, подумала я. На улице былолюдно, я долго смотрела на молодую парочку, они целовались возле припаркованного мопеда.

Мне снилось, будто Сараево восстанавливается, как если кинолентку прокрутить назад, с конца в начало: развалины поднимались, разбитые стекла становились целыми, образуя окна, витрины магазинов. Ставни на рынке Башчаршия снова открывались, арки Национальной библиотеки потянулись к небу, девушка опять разносила книги по залам, где царил порядок. Жалобно запел голос муэдзина с невредимых минаретов. Вернулось лето, потом снег, зажженные каминны, парад, посвященный Тито, мажоретки в платьицах бирюзового цвета, вернулось ущелье в горах Яхорина, вернулся взгляд Диего, когда он впервые посмотрел на меня.

Во сне я крепко держала его, как нож, как лилию. Чистая рана не кровоточила.

На рассвете я подумала, что никогда этого не сделаю.

Тем не менее смогла, нашла визитку капитана карабинеров, засунула Пьетро в сумку-кенгуру и вышла.

Подождав несколько минут, вошла в кабинет.

Джулиано поднял глаза.

Я села. Он сказал что-то о ребенке, — дескать, подросток, — улыбнулся: — Что я могу сделать для вас?

Я попросила у него стакан воды.

Принесли бутылку. Я выпила.

Он тоже налил себе. Улыбнулся:

— Глядя на вас, и мне хочется пить.

И только там, перед тем мужчиной в форме, чуть полноватым, чуть лысоватым, я разрыдалась. Долго и с наслаждением плакала, а он молчал и был рядом.

Позже он скажет мне, что именно в тот день влюбился, потому что и он ждал свою судьбу, которой раньше не различал, а теперь увидел воочию.

Он помог мне привезти тело Диего в Италию. Я решила, что не поеду в Дубровник, не было никакого желания снова пересекать то море. У меня на руках оставались маленький ребенок и больной отец, который хоть и приходил в себя, но до конца еще не выздоровел. Мы напоминали искусственных людей из фантастического фильма, полых мутантов, управляемых роботами.

Наш обычный поцелуй теперь совсем по-другому звучал, мы ударялись одной болью о другую, непроницаемые тела, железные руки. Нам даже смотреть друг на друга было тяжело. Легче было смотреть на чужих людей, которые ни о чем не знали.

Дом занедужил, но казался живым благодаря тому, что приходила домработница, что папа каждый раз приносил цветы, свежие фрукты и пытался вести себя так же, как раньше. Ходил за продуктами, баюкал ребенка, наливал воду собаке, наводил порядок в холодильнике, но потом, как только появлялась возможность, как только Пьетро засыпал, замирал перед фотографиями Диего и долго не отводил от них взгляда, забыв обо всем... усаживался на диван и оторопело смотрел на лужи, на вереницу ног. Потом, заметив, что я рядом, опускал глаза. Его полузакрытый глаз начал уже открываться, но по сравнению с другим все равно смотрелся дико, пугающе.

Я качалась на волнах боли. Тонкая мембрана держала меня на поверхности. Как водомерки скользят по воде, так и я не касалась земли. Мое тело тоже подвергалось мини-парезам. Временами я переставала чувствовать одну грудь, или ногу, или плечо... те части моего тела, до которых дотрагивался Диего, — так всплывала память о его руке, которая касалась меня... Естественным образом обезболивала тело по частям, как десну в стоматологическом кабинете.

Я читала книгу о насекомых, она мне нравилась — не отвлекала, но помогала постигать себя через другие формы жизни. Насекомые, неподвижно застывшие на коре дерева, приспособлялись к страху, преобразуясь, меняя цвет, впадая в паралич.

Из Дубровника пришло медицинское заключение: Диего умер, упав со скалы, у него был поврежден череп, переломы по всему телу, руки и предплечья расцарапаны, как если бы он пытался зацепиться за камни.

Я спросила у капитана, мог ли его кто-то столкнуть.

В полицейском управлении Дубровника это исключали, нашлись свидетели, которые видели, как Диего прогуливался по пирсу на острове Корчула, а потом забрался на скалы.

— Он был... не совсем в порядке.

Наклонив голову, Джулиано открыл ящик, вытащил что-то, коробку с леденцами...

Он смотрел на меня, и я чувствовала его мучения, они буквально передавались мне.

Ребенок в рюкзачке-кенгуру задвигался, оттолкнулся вдруг своими ножками от моих неподвижных ног и потянулся кверху. Я положила ему

руку на голову, безрассудно испугавшись, как бы он не повернулся к капитану и неожиданно, точно так, как он сейчас вытянулся, не заговорил и не рассказал, что он не мой сын.

Капитан открыл коробку с леденцами, протянул мне, прошло еще какое-то время.

— Ваш муж принимал наркотики?

В зарослях кустарника, где Диего провел ночь, нашли шприц, а в крови — следы героина.

Я опустила голову, хотела ударить ею об стол. Но наткнулась на голову ребенка. Мне хотелось медленно биться головой об стол, сто и еще сто раз повторяя: «Нет». Генуэзский хулиган сам выбрал свой конец.

Капитан кивнул с неподвижным, стеклянным взглядом:

— Нелегко возвращаться с войны...

Рядом с медицинским заключением лежал желтый конверт. Я смотрела на него уже несколько минут. Это было самым ужасным, самым трудным: Джулиано отложил его в сторону, но пришло время открывать. В нем лежали фотографии тела.

Джулиано разрезал конверт ножом, он был плотный, из толстой бумаги — сразу видно старорежимную югославскую бюрократию. Торопливо перебрал снимки.

Я пристально вглядывалась в его лицо, пытаюсь что-то по нему прочесть... целовала душистую головку ребенка, ждала чуда... вдруг мертвое тело, несмотря на документы, детальные описания одежды, серебряного кольца на пальце, окажется не Диего.

Капитан, должно быть, привык видеть фотографии трупов, выражение его лица не изменилось. Он сочувственно взглянул на меня:

— Вам достаточно посмотреть одну, это необходимо... вы должны подписать бумаги.

Я смотрела на снимки мертвого фотографа, они мирно проплывали передо мной, точно лодки по реке.

— Да, это он.

Убирая фотографии обратно в конверт, капитан сказал:

— Похож на Че Гевару.

Это правда, он был очень красивым покойником. Бледное лицо, поглощенное тенями, в котором все же чувствовались напряжение души, страсть к жизни.

Дни проходили за днями, и я обнаружила, что было намного легче вывезти новорожденного из Сараева, чем из Дубровника доставить на родину тело. И вот гроб прибыл.

В солнечный день, в полной тишине отражающей небо водной глади, чуть волнующейся на горизонте, военный самолет вонзил шасси в размягчившийся асфальт взлетной полосы. Капитан в безупречном мундире, чеканя шаг, пошел к самолету. Несколько мгновений за гранью реальности, как во время родовых схваток, прежде чем дверь люка открылась и из железного брюха показался гроб.

Я вспотела, блузка прилипла к телу, как мокрый купальник.

Несколько лет спустя, когда Джулиано попросит моей руки, я вспомню то утро, тело Диего в ящике и капитана, ждущего под раскаленным, колышущимся небом. Одна судьба уходила, другая — входила.

Весь день я провела у гроба, который поместили в небольшую комнату. На меня навалились проблемы, потому что похороны были назначены на следующее утро, а работники аэропорта не собирались держать у себя гроб. Диего не герой войны и с войной никак не связан. Неизвестный фотограф упал со скалы, обколовшись героином. Капитан бесстрастно взирал на мою неорганизованность, которая его уже не удивляла. Подразумевалось, что на итальянской земле заниматься гробом должна была я. Но я об этом как-то не подумала. Стояла в хлопковой панаме на голове и пропотевшей блузке, как потерявшаяся туристка. Начались телефонные звонки в ту и другую сторону, переговоры.

В конце концов четыре призывника подняли гроб и перенесли его в небольшую проветриваемую комнатку, какие обычно сдают на море. Дверь с зеленоватой створкой я попросила оставить открытой. Комната выходила на подсобные помещения аэропорта, мне были видны металлический ангар и колючая проволока ограждения.

Я просидела там до самого заката.

В наполненной теньями, отдаленно расположенной комнате все сделано из дерева, везде одно дерево. Я постоянно отвлекалась, смотрела на улицу, на свет, как беспокойная муха. Смотрела на тростник, выросший по краям взлетной полосы, взломав асфальт. Стараясь сосредоточиться, как в детстве во время причастия, когда, несмотря на все усилия, не могла сконцентрироваться, витала в облаках, думая о своем. Просто ждала, когда пройдет время. Меня охватило легкое беспокойство: так, отправляясь в путешествие, вечно думаешь, не забыл ли чего-нибудь. Начинаешь вспоминать, проверяешь вещи, шарить по карманам, залезаешь в сумку, но не можешь понять, что именно осталось дома.

А потом произошло два события.

Первое: Диего пришел поговорить со мной. Солнце садилось, приближалось наше любимое время суток, когда мы открывали бутылочку

вина и болтали, поэтому меня не удивило, что он решил прийти ко мне именно сейчас. Он появился не из гроба. Вошел с улицы, наклонившись, чтобы не удариться о косяк двери.

— Привет, малышка.

Он пришел посидеть со мной, как в те времена, когда мы вместе ждали в клиниках результатов анализов. С гладким лицом, сбрив бороду, которую отрастил в Сараеве, в старой белой рубашке с воротничком стойкой и туго накрахмаленной грудью, в штанах с кучей карманов. Только что принял душ, от влажных волос пахло шампунем.

Я спросила, мучился ли он.

Он улыбнулся, покачал головой. Немного.

Я спросила:

— Что такое смерть, Диего?

Он ответил без раздумий:

— Река, текущая к истокам.

Гроб стоял между нами, Диего положил на него ноги. Казалось, мы сидели на поминках человека, умершего много лет назад, возможно его отца. Диего играл на гитаре, я смотрела на истрепанные подметки его сапог, выдавших виды. За ангаром стоял маленький военный вертолет.

— Тебе хотелось бы улететь, милый?

Он долго смотрел на меня влажными и какими-то старческими глазами. Глазами, в которых чувствовались сила жизни и одновременно хрупкость неба.

— Нет, мне хотелось бы остаться.

Только сейчас он спросил меня о ребенке.

Я рассказала, что утром, пока я меняла подгузник, Пьетро пустил струю прямо мне в лицо.

Он засмеялся, сказал, что тоже писал в лицо маме, что так делают все мальчишки. Поднес ладонь к лицу, растопырил пальцы и сидел так, за этой решеткой.

Уходя, оставил на гробе катушку с фото пленкой.

Второе: я и в самом деле нашла пленку, без катушки, скрученную. Она валялась на полу, рядом с дверью: кто-то, наверное, не знал, как ее вытащить, испортил и выбросил. Я положила в карман ту засвеченную пленку. И сразу почувствовала себя лучше, точно именно *это* я целый день искала и не находила. Я вышла из комнаты.

На следующий день на похоронах было очень много молодых лиц, пришли ребята из фотостудии. У Виолы отросли волосы, она победила рак, но не может уследить за маленьким афганцем, тот вырывается, делает

несколько шагов к гробу. Священник, папин школьный товарищ, плотного сложения мужчина, начинает монотонно бубнить. Каждый раз, когда произносит: «Диего», я вздрагиваю. «Зачем он зовет его?» — думаю.

Какой-то худой тип, ростом чуть выше ребенка, подходит ко мне:

— Ты его жена?

Открытые гласные, согласные размываются, словно прибрежный песок, сильный генуэзский акцент, как у Диего.

— Я — Пино.

Крепко обнимает меня.

Лицо боксера, черные очки; с волосами, смазанными гелем, он похож на жука.

Я видела его на фотографиях много раз, он был главарем ультрас. Не могу поверить, что он такой маленький, на фотографиях Диего он казался гигантом.

Пино представляет мне остальных ребят из Генуи, с иссохшими лицами наркоманов. Спрашивает, могут ли они положить флаг. Ужасно грязный, рваный, исторический, с автографами футболистов. Они медленно расстилают его поверх гроба, точно плащаницу Христа.

Флаг — это отец, мать, работа, которой нет, героин, только самый лучший...

Мама Диего приехала на машине с другом, семьсот километров до обычной церквушки неподалеку от нашего дома.

Она сидит на лавке рядом со мной как приклеенная. Объятая страхом. Бедная Роза, увядший цветок, который никогда больше не оживет. Однако привела в порядок волосы, сразу видно, что была в парикмахерской, — на голове пышная прическа из неподвижных завитков фиолетового цвета. Я держу ее за руку, она сжимает ее, словно прося прощения.

Как-то она сказала мне: «Не было тогда возможности заниматься им, поэтому я отдала его в школу-интернат, но если бы вернуть все назад...»

Назад ничего не вернуть, Роза.

Сейчас, возможно, она вспоминает те годы, когда Диего был маленьким, «вот таким крохотулечкой», беспокойно спал по ночам, часто падал с кровати, с верхнего яруса, и ей звонили из медпункта, потому что ребенок звал маму, но Роза не могла ездить так далеко, в Нерви, в интернат, «хороший интернат, благотворительный», потому что посменно работала в столовой. Звонила ему, говорила: «Не балуйся, малыш». Сейчас Роза переехала в Ниццу с другом, у них там домик, жаль, что руки трясутся.

Она поцеловала внука в лоб, но на руки взять побоялась. Была задумчива, в плену у призраков, еще более жалких, чем она сама. Молча

дышит, видно, не открывала рта все эти часы в машине.

Я спросила у нее, похож ли ребенок на Диего в детстве.

— Очень похож, особенно на одной фотографии, я тебе покажу...
вышла потом.

Улыбнулась отсутствующей глупой улыбкой.

— Она ширяется, — скажет мне Пино чуть позже.

Девушка, которая читает Евангелие, кажется умственно отсталой, она похожа на тюленя в парике. Диего выбрал бы ее в качестве модели.

Я принесла магнитофон. Встаю, нажимаю на кнопку «play».

На гробе нет никаких цветов. Только разбитый фотоаппарат «Лейка» и флаг из Генуи. *I Wanna Marry You*, — плывет над этими скудными пожитками.

Oh, dartin', there's something happy and there's something sad...

Дуччо все время стоял в боковом приделе, опершись о колонну, скрестив руки на груди и широко расставив ноги, словно вышибала.

Ребята из фотостудии взвалили на себя деревянный ящик с их молодым учителем внутри и понесли.

Маленький афганец успокоился, пускает мыльные пузыри. Эти летающие лужи понравились бы Диего. На мгновение мне показалось, что это его глаза, падающие вниз.

Как обычно, в конце похорон аплодисменты.

Под предлогом того, что нужно смотреть за ребенком, Армандо все это время бродил где-то в глубине церкви. Небритый, кожа потемнела, только сверкают голубые глаза. Лиц почти такое, как прежде. Он качал Пьетро в колясочке, время от времени доносился плач. Сейчас папа стоит перед гробом, протягивая руку. Не дотрагивается, ждет, словно между его рукой и деревом еще осталась недодуманная мысль, мольба. Он постарел, впервые я вижу, как он постарел. Наклоняет голову и, кажется, опирается о гроб, будто прося помощи у парня, неподвижно лежащего внутри, ставшего мумией, человеческими останками, сердцевинной съеденного яблока.

Подставляю свои щеки, то одну, то другую, под хлесткие удары других щек, поцелуи в пустоту, поцелуи смерти. Жжет кожу. Я не снимаю солнцезащитных очков, чтобы не пересекаться взглядом с теми, кто ищет меня глазами. Черные рыбы.

Слышу, как спутник Розы спрашивает у нее:

— Холодно было в церкви?

Гроб поставили в микроавтобус фотостудии, обошлись без помпы и черных машин.

Дуччо с ужасом смотрит на эту колымагу. Обнимает меня, зеркальные

очки плотно сидят на усталом лице. Закусывает губу широкими, хищными зубами.

— ...А ведь он был великим фотографом... великим.

Нажимает кнопку пульта, идет танцующей походкой к «ягуару», припаркованному у самого входа в церковь.

— Кто бы мог подумать, — говорит Виола, — гробы так разукрашивают... — Затягивается насквозь промокшей сигаретой. — Но, в сущности, мертвым-то на это наплевать.

Я выхватываю из ее рук сигарету, топчу ее:

— Хватит курить, с ума сошла!

Потемнело, небо серое, того и гляди пойдет дождь. Пьетро одет в белое, не спит, скинул пеленку. Лежит, уставившись на треугольник накидки с фигурными краями, свешивающийся с коляски. Огромные глаза, лысая голова, будто у какого-то насекомого. Папа спрашивает, что мы теперь будем делать.

Действительно, что делать? Это не свадьба, прохладительных напитков не подносят. Похороны и те необычные: без катафалка, без могилы. Диего не хотел. Всегда говорил, на ветер, на ветру он и будет.

— Отвези домой ребенка, папа.

Едем через весь город в крематорий. Въезжаем в ворота по пыльной дорожке. Хорошее место, легкое, напоминает теплицу. Гробы, ожидающие своей очереди, похожи на ящики с семенами. Пино забирает свой флаг, аккуратно складывает, не хочет, чтобы его тоже сожгли.

На небольшой площади, где мы остановились, чтобы зайти в бар, бьет фонтан. Струи устремляются вверх, вода не течет по земле, а поднимается в небо.

Мать Диего садится в машину. Ее спутник закрывает дверцу. Кусок платья торчит наружу, смотрю, как трепыхается ткань.

Я осталась с Пино. Доедаем бутерброды.

— Расскажи про его отца.

Он недовольно морщится. В этой гримасе заключена вся его неудавшаяся жизнь. В конце концов, Диего пробился.

— Последняя сволочь, дома вел себя по-скотски, распускал руки.

— Диего рассказывал о нем как о герое...

Пино мучит зависть, лицо со следами драк напрягается. Он подпрыгивает на стуле, улыбаясь, как Де Ниро в «Бешеном быке».

— Ну, Диего дает!.. Ты что, не знаешь, какой он был?

— Нет, не знаю. Расскажи мне, Пино.

— ...Он же не хотел замечать ничего плохого, хотел видеть только

хорошее.

Смотрю на фонтан. На воду, текущую вверх. Только хорошее...

Собранные сумки лежат на кровати

Собранные сумки лежат на кровати. Номер похож на поле мокрых полотенец. Пьетро надевает чистую майку, протирает очки «Ray-Ban».

— Что стырим, ма?

Я смотрю на него, не понимая, о чем он.

— Что ты должен стырить?

— Обязательно что-то нужно украсть в гостинице, а иначе это будет означать, что нам здесь не понравилось.

— Кто тебе сказал?

— Папа.

С этим не поспоришь, тем более что того, кого Пьетро зовет папой, месяц назад повысили в звании: произвели в полковники карабинеров.

Пьетро хватает кусок пластика, висящий на ручке двери:

— Заберу «DO NOT DISTURB», ^[15] ладно?

— Так, значит, тебе понравилось?

Усмехается, пожимает плечами, засовывая вывеску в рюкзак.

Везем сумки по коридору, колеса тяжело катятся по буграм коврового покрытия.

— Мам, тебе жалко, что мы уезжаем?

— Да, немного...

— Мне тоже чуть-чуть.

Я смотрю на него, не в силах поверить, что ему жаль уезжать из этого бедного, серого города.

Может, он не хочет уезжать от Динки, официантки с пирсингом. Но они почти не смотрят друг на друга. Быстро обнимаются, не сгибаясь, как муравьи.

В машине, пока Гойко сдает назад, Пьетро говорит:

— Раньше я не знал, где родился, а теперь знаю.

— И как, ты доволен?

— Ну...

Он сидит, уставившись в окошко; мимо мелькают заново отстроенные здания рядом с вокзалом... и я понимаю, что значит его «ну». Все эти годы Пьетро рисовал в своем воображении место, где он появился на свет «случайно», как всегда говорил в школе преподавателям, друзьям. И должно быть, думал намного больше, чем я подозревала, о том, что же именно «случайно» произошло в этом городе. И наверное, все эти дни

выискивал «случайность», почти ничем больше не интересуясь, бродя по улицам с опущенной головой...

Вчера ночью, когда мы уже легли, он спросил:

— Диего лучше меня играл на гитаре?

— Нет, ты лучше, ты же учился. Папа играл на слух.

Вертелся, переворачиваясь тысячу раз, мешал мне спать, хотя я уже засыпала.

— Можно узнать, что с тобой?

Вскинулся, как тигр:

— Мне не нравится, что ты называешь его папой.

— Но он же твой отец.

— Тогда почему он не вернулся вместе с нами в Рим?!

— Он работал...

— Нет, он нас бросил. — Потянул меня за руку. — Ведь так?

Я подождала, пока он не заснет. Может, он что-то услышал в стенах этого города, который с ним говорил, нашептал ему правду, умершую, но где-то запечатленную вместе с именами на мемориальных досках, что красуются на фасадах израненных и залеченных зданий.

Кладбище Ковачи прямо там, рядом со стадионом, у раздевалок, построенных из бетонных плит. Могилы взбираются по склону холма, по уступам, похожим на террасы, где обычно растут виноградники.

Мусульманские плиты стоят криво, все направлены в сторону Мекки и, кажется, накренились от ветра.

Гойко спросил, не остановиться ли нам.

С того самого момента, как мы приехали, хочу прийти сюда, но так и не нашла сил. Да и сейчас их нет у меня, но ведь уезжаем... Тронув Гойко за плечо, говорю: «Да, остановись, пожалуйста». Гойко включил поворотник и припарковался, как будто ничего особенного не происходит. Словно остановились кофе попить, с тем же выражением лица.

Он идет впереди, мокрая от пота рубашка прилипла к спине. Не смотрит на плиты, знает, куда идти.

Похож на винодела, показывающего свои виноградники.

Здесь похоронено пол-Сараева. Разнятся только даты рождения, даты смерти похожи. Судьба приготовила для них черный мешок смерти, собрав за три года необычайный урожай.

Умираешь всегда в одиночку, а у них отняли даже такое право, они мерли целыми гроздьями, роями, как мошки. Когда у тебя крадут жизнь — ладно, но когда смерть — совсем другое дело... легко ли умирать вповалку, вперемешку, как грязное белье, как гнилые фрукты.

Гойко переводит несколько надписей на плитах. Для Пьетро, который теперь не оставляет его в покое. А Гойко и не старается избегать расспросов, рассказывает самые жуткие анекдоты:

— Черные цифры для надгробных плит стали быстро заканчиваться: сначала двойка для «тысяча девятьсот девяносто второго», поэтому все ждали, когда же наступит девяносто третий год, а потом и тройка закончилась... — Смеется. — Самая настоящая трагедия.

Остановился. Стоит наклонившись, обрывает сорняк. Отсюда начинаются католические кресты. Я иду, но ноги не хотят двигаться. Он смотрит в мою сторону.

Война уже шла на спад, но в тот день кончилось все. Умерли игрушки йо-йо, джинсы «Levi's 501», песни Брюса Спрингстина и стихи Гойко.

В тот день меня уже давно не было в Сараеве. Я узнала о том, что произошло, много лет спустя, случайно, в небольшом зале арт-кинотеатра. Я заметила, что на меня смотрит одна девушка в очках, на ней был вечерний жакетик из черного атласа с зеленым отливом, свободные джинсы. Она первая меня узнала, мы поцеловались, обнялись, и я пристальнее взгляделась в нее. Каждый раз, когда я встречаю кого-нибудь из них, мы обнимаемся, крепко, без слов. Потому что боль снова оставляет свой отпечаток, отливаясь в форму, которая уже ждет ее. Это была соседка по дому Мирны и Себины, тогда она была еще подростком. Поднималась по лестнице, опустив голову, ведя по стене слабой рукой, которая, как хвостик, тянулась сзади. Я крепко ее поцеловала, потому что она жива, хотя не была с ней близко знакома и никогда не вспоминала о ней, не интересовалась, что с ней стало. Она переводит романы с сербохорватского, после войны они вошли в моду, говорит. Живет более чем скромно, сразу видно, на ней застиранный выходной жакет; у нее был парень — итальянец, но они расстались, теперь она свободна. У нее маленькие белоснежные руки, лицо покорное и гордое, как ее город, и настолько слабый голос, что мне приходится напрягать слух. Мы сидели на красном диване; запах сырости от влажной уборки.

У нее высокий лоб, волосы как подшерсток, будто выбелены от слишком яркого света с потолка. Она уехала за границу в последний год войны, когда трамваи снова стали ходить, села в конец вагона и, ни разу не спрятавшись даже на открытых участках, проехала от Башчаршии до Илиджа. Тот трамвай показался ей красивым, красивыми были его неразбитые стекла. Она смотрела на руины своего города, будто сидя в зале кинотеатра, где улицы ползли как пленка в проекторе. И решила, что не останется. Не могла себе даже представить, как она будет жить здесь,

шрамы казались ей хуже ран.

— А они не выжили, — сказала.

Свет падает на ее голову и как бы стирает цвет, превращая каштановые волосы в седые, старческие. Она смотрит на меня, помогая взглядом.

Мне не должно быть больно, потому что с тех пор прошло немало лет и открытая рана давно уже затянулась, оставив белый шрам. И все-таки боль и есть это пережитое время, которого я даже не заметила.

Подхожу к Гойко. Взгляд опущен вниз, на землю. Две одинаковые могилы рядом, общая плита немного больше обычной одинарной, как полуторная кровать.

Как та кровать, на которой спали мать и дочь, где мы впервые занимались любовью с Диего.

Мирна и Себина теперь спят здесь.

Я перекрестилась, рука прошла через лицо.

На плите высечена довольна длинная надпись, Гойко переводит ее Пьетро, спокойно, не меняя ни голоса, ни выражения лица:

Держи конец нитки,
Другой конец возьму я
И побегу по белу свету.
Если я потеряюсь,
Мамочка, потяни за нитку.

Пьетро спрашивает:

— Это ты сочинил?

Гойко неохотно кивает, стихотворение — часть баллады, которую он посвятил Себине на последний день ее рождения, тринадцатого февраля: лежал снег и падали бомбы, но они все вместе отмечали праздник, и на столе чего только не было!

— Самое плохое из того, что я написал, но им нравилось...

Пьетро вставил:

— Это вовсе не плохо.

Я всхлипываю, живот, плечи трясутся. Пьетро смотрит на меня. Мне хочется рухнуть на землю и помереть от слез. Но мне стыдно перед сыном, перед Гойко, который потерял все, но стои т не моргнув глазом, в нашем-то возрасте, когда любая мелочь вызывает слезы, — среднем возрасте, как его называют, но, по-моему, мы намного старше.

— Как это произошло?

Девушка рассказывала, не меняя тона, и я, вся превратившись в слух,

приникла к слабой нити, которой, теперь я знаю, стал голос выживших, тех, кто продолжает жить, хотя связи и оборвались. Ее итальянский был певучим, монотонным, почти обезболивал. Вот как все случилось.

Сирены тревоги выли уже несколько минут, Себине надо было спустаться в подвал, ей не хотелось, но что поделаешь. Это давно превратилось в привычку, подвал обустроили: подсоединили автомобильный аккумулятор, который изредка удавалось зарядить, и тогда можно было слушать радио; есть кастрюля, в ней варят еду на всех, и ширма, отгораживающая ведро для нужды. Есть книги, одеяла и узкие раскладушки на ночь.

Мать просит ее поторопиться, Себина тянет время, крошит в аквариум черный брусок из гуманитарных пакетов — он считается мясом, но по запаху больше похож на корм для рыбок, и им нравится. Она хотела пересадить рыбок в стеклянную банку из-под черешни с сиропом, как делала иногда, чтобы взять их с собой в убежище, но Мирна нервничает: сегодня гранаты взрываются непрерывно, точно камнепад во время оползня.

Себина берет с собой только книжку по географии. Ей нравится Новая Зеландия, она сказала брату, что хочет туда съездить, и Гойко пообещал в ответ: это первое, что они сделают, когда все закончится, — полетят на самолете целые сутки. Она спускается вниз вместе с соседями, вместе с девушкой чуть постарше, которая идет по лестнице и ведет рукой по стене, тянет ее за собой, как хвостик.

Радио сегодня работает, сначала обращения, далекие голоса людей, надеющихся узнать о судьбе родных, прерывистые, похожие на птичий клетот, потом, в самом конце, — музыка какую бог пошлет.

Себина танцует, делает несколько маленьких прыжков с переворотом в воздухе. Женщина, которая варит суп, просит ее успокоиться. Себина садится, открывает учебник географии. Снова закрывает, пересказывает анекдот, который услышала от брата. Корчит рожи, упираясь кулачками в бока. Даже ворчливая тетка, помешивающая ложкой суп, и та смеется.

Мирна все еще не вернулась, она пошла наверх, на крышу, развесить белье, сегодня первый по-настоящему солнечный день после холодов, поэтому и гранатометы с гор подняли такую стрельбу.

На крыше более или менее безопасно, потому что их дом ниже других и расположен поодаль.

У Мирны светлые волосы, поэтому седые пряди не так заметны, на ней обтягивающая юбка, свитер с высоким горлом — одежда, которую она носила в юности и которая сейчас сидит на ней безупречно.

Я прямо вижу ее на этой крыше, здороваюсь с ней — это последние мгновения ее жизни, начало второго года осады. Именно на ту крышу с дымовыми трубами и телеантеннами мы несколько раз ходили вместе снимать белье, а после курили и разговаривали, глядя вниз. Я любила ее, и она меня тоже, по-своему, без особой близости. Чувствовала себя неловко рядом со мной, я всегда казалась ей слишком далекой. Для нее я была несостоявшейся женой ее сына и крестной ее дочери, по правде говоря, мы мало друг друга знали, а через несколько мгновений упадет ее граната, и для нас навсегда исчезнет возможность узнать друг друга лучше.

На секунду вижу ее грудь через свитер, через бюстгальтер — голую, вздымающуюся от дыхания грудь живой женщины.

Возвращаюсь вниз к Себине. Она снова листает страницы, глаза привыкли к темноте. Днем открыто окошечко, выходящее наверх, на улицу, через которое просачивается трубочка перламутрового света, и больше ничего, им пользуются только для освещения и для выхода дыма, потому что те, у кого есть сигареты, курят. Себине дым не нравится, хотя она перестала обращать на него внимание и, только когда заканчивается обстрел, замечает, как провоняла ее одежда. Она думает о матери. Изредка Мирна разрешает ей тоже подняться на крышу, тогда Себина наконец может размяться: садится на шпагат, делает обычные и винтовые сальто, ходит на руках между трубами и антеннами.

У нее сильные мышцы ног. Когда-то они были намного крепче, сейчас Себина не занимается, но еще успеет восстановить форму, к счастью, впереди полно времени, тем более что она совсем юная спортсменка и эта война не отнимет у нее Олимпиаду.

Итак, начинается.

Вижу Себину, кажется, могу подойти к ней. С ней мы близки, ведь я держала ее на руках спустя несколько часов после того, как она родилась, и потом, когда ее крестили.

Я сидела в фойе кинотеатра, где шел фильм, который я так никогда и не увижу, куда я по чистой случайности зашла укрыться от дождя. В настоящий момент я смотрю другой фильм: Сараево, май девяносто третьего. Смерть Себины и Мирны, ее матери.

Сижу, а девушка рассказывает, вспоминая все по порядку, в мельчайших подробностях. Спрашиваю, не пишет ли она сама, кроме того что переводит других авторов? Отвечает: «Как ты догадалась?»

Я поняла это по деталям, такой памятью обладают только писатели. Нож, который разделяет события, избирает детали.

Я тоже помню детали: грязный носовой платок — Себина съела

мороженое, и я вытерла ей рот. И сейчас задаюсь глупым вопросом: куда я могла его деть, тот платок со следами ее губ?

Я тоже помню детали: от нее пахло рыбой.

Она стоит, и ее голова мне достает до пупка. Я наклоняюсь поцеловать ее и чувствую запах скумбрии из гуманитарных посылок.

Я тоже помню детали: ее рыбки, бьющиеся в пыли.

Первый снаряд взрывается очень близко, кастрюля падает с плиты, и суп разливается по полу. Тетка кричит, ругает войну, собирает руками что может, обжигается.

Себина смотрит на бульон, который течет в ее сторону вместе с маленькими кусочками скудных зимних овощей.

Поднимает голову и говорит, что хочет выйти, пойти к маме.

Девушка замолкает, потом произносит: никто не остановил ее, почему, уму непостижимо, нельзя было выпускать девочку. Снова молчит.

Себина бежит вверх по лестнице многоэтажного дома.

Девушка, что водила рукой по стене, не подумала о ней, она играла с кем-то в шахматы; пробки, заменяющие фигуры, упали с доски, игроки ссорились, разбираясь, как были расставлены фигуры.

Сейчас она думает, что той бесполезной рукой, которой она вела по стене, чтобы как-то отвлечься, она могла бы остановить соседскую девочку, преградить ей этот черный путь.

Девушка делает паузу. Она сама пишет, знает, что судьба истекает, как чернила, и нельзя остановить девочку, которой суждено погибнуть.

Себина поднимается по лестнице, потому что так написано. Где? В какой поганой книге?

У Себины странная мордашка, гладкие, будто смазанные маслом, волосы, немного квадратное лицо, уши торчат розовыми ленточками прозрачной кожи, а губы просто невозможно описать, надо хотя бы раз их увидеть, чтобы понять: все блаженство жизни может собраться в губах, двух подвижных полосках плоти, двух падающих звездочках.

Себина не красавица, никогда ею не была, она самая некрасивая из всей семьи, маленького роста, слишком длинные руки, лицо как у куклы на коробке с апельсиновым печеньем.

И все-таки она самая красивая девочка на свете. Она, моя крестница, — сама жизнь в своем чистом проявлении, как драгоценный камень, который отделили от скалы, сверкающий кристальным блеском: другого такого в мире больше нет.

Это она вела меня за руку к материнству. Каждый раз, когда я обнимала ее, в голове звучало: в этом создании есть капелька от меня. В

ней заключен подарок мне от каких-то вышних сил.

Помню, как невероятно торчали косточки у нее на локтях, помню круглые, точно шарики, глаза, волосы, падающие на лоб густой завесой.

Себина идет наверх. Как вода, которая уже не течет неспешно по склону, а поднимается, точно пламя.

Мирна не развешивает белье. Ее отбросило взрывной волной, потрясшей подвал и докатившейся до крыши, как при землетрясении, и она упала рядом с антенной, старой железкой без тока. Мирна подумала о дочери, подумала, что Себину засыпало там, внизу... С улицы поднимается дым, ей надо бежать, посмотреть, все ли живы, не обрушился ли дом. Она никогда не доверяла убежищам, которые не были построены специально для этой цели, они были предназначены, как любой подвал, для хранения сала или старых швейных машинок...

Ну вот, она спускается.

Да, все так и было.

И девушка из Боснии с засвеченными волосами говорит с грустью, что никогда не сможет написать эту историю, потому что она слишком глупая, потому что часто смерть слишком глупа и тошнотворна.

Но все точно так и было.

Они встретились на середине пути, мать и дочь. Бежали навстречу, одна поднималась, другая спускалась, по одной и той же лестнице, чтобы найти друг дружку.

Остались бы они там, где были, — выплюнули бы пыль, пережили бы страх, и больше ничего.

Они собирались выбраться из осады. Согласились уехать. Гойко нашел приятеля-журналиста из Белграда, который должен был увезти их с собой.

Но они двинулись с места, сошли с шахматной доски жизни, сами того не ведая. Шли за веревкой, соединяющей их.

Держи конец нитки,
Другой конец возьму я
И побегу по белу свету.
Если я потеряюсь,
Мамочка, потяни за нитку.

Потянула смерть, потянула с силой. Снаряд упал на их дом, безопасно расположенное здание.

В тот момент он их и накрыл. Мать и дочь. Чрево и плод.

Гойко и Пьетро сидели рядом на земляных ступеньках, следили за

игрой в футбол: мальчишки, бегающие друг за другом, майки, голые руки и ноги.

Приблизительно того же возраста, что и Пьетро, послевоенное поколение.

Белые цветы примирения.

Гойко произносит:

— Знаешь, она не сразу умерла.

Закуривает сигарету, выдыхает дым, поднимает руку, кричит, что игра не по правилам, поднимается. Футбол у кладбища.

Мы встаем, покидаем могилы на стадионе.

Гойко хочет пива.

Выпивает из горлышка сразу две бутылки, сидя на скамейке у киоска, перед самым кладбищем.

Мирну разорвало на куски, их собрали, накрыли простыней, чтобы сын не видел их лежащими на лестнице, как те самые овощи из разлившегося супа, плавающие в бульоне. Куски тела, которое его родило. Она была его матерью, но все-таки он не раздумывая побежал к сестре.

Себине оторвало ноги. Верхняя часть не пострадала. Остекленевшие глаза смотрели в одну точку. Она лежала на белой кровати, под лестницей госпиталя в Кошеве, с трубками капельницы, отходящими от рук. Увидев внизу под простыней пустоту, Гойко спросил себя, знает ли она.

Себина хотела выиграть Олимпийские игры, она была самого маленького роста из всей команды, ближе всех к земле. Гойко дважды закрыл глаза. Первый — потому что не хотел в это верить, второй — чтобы поблагодарить Господа за то, что она жива.

Врачи надеялись на хороший исход в этом безнадежном случае, который в городе был далеко не единичным. И Гойко, глядя на сестру безумными глазами, включил всю свою фантазию, как в те времена, когда торговал йо-йо и ему удавалось обойти даже черногорцев, и представлял себе искусственные ноги, сверкающие, сделанные по новейшим технологиям, — последний крик в области восстановительной ортопедии. Он достал бы сестре самые лучшие в мире протезы, истратил бы на них все деньги, какие у него были и какие он заработал бы, вода журналистов в траншеи даже по ночам.

На железном столике рядом с кроватью лежала кроссовка, это он хорошо запомнил. Такая бередящая душу подробность оставила в нем след навсегда. Соединяет руки, чтобы показать, какая маленькая была кроссовка, размером с его ладонь. Бедный Гойко, бедный брат. Сейчас его голос дрожит, как у великана, которого мучит маленькая-маленькая, но

невероятно сильная и безжалостная мышка. Он хотел убрать кроссовку, которую кто-то подобрал на лестнице и бросил в машину, увозящую девочку с оторванными ногами. Кто-то, кто, потеряв от ужаса голову, не заметил, какой чудовищной оказалась его любезность. Но не убрал, не посмел. Себина не спала, ее глаза в ночном свете казались стеклянными шариками, бриллиантами. И Гойко подумал: она, возможно, не ощущает своего тела и не знает пока, что у нее нет больше ног. Все остальное было в порядке, на лице — ни царапины. Поэтому он оставил кроссовку, чтобы обмануть ее. Разговаривал с ней, и она вроде бы слушала.

Спросила о маме, позвала ее.

Гойко сказал, что с ней все хорошо, ее положили в другое отделение.

Себина выслушала ложь, не захотела даже попить, ничего.

Ни разу не пошевелила руками. Кроссовка лежала рядом.

И сейчас я вспоминаю самолет, горящую надпись «EXIT», незнакомую женщину, которая показывала мне светящийся башмак...

Гойко сказал, что лампочки, наверное, испортились, заблокировались из-за взрыва, поэтому свет в резиновой подошве не гас.

Язык бледного пламени на железном столике. Себина могла смотреть на него. Гойко, оставив кроссовку на месте, загадал: если свет не погаснет, Себина тоже не умрет. Это была одна из его самых страшных ставок.

Себина утаскала на рассвете, кроссовка пережила ее на несколько часов.

— А потом я ушел.

Пошел воевать сначала на фронт Добрыни, потом в траншее Жуча. Он был поэтом, бродячим торговцем, радиолюбителем, гидом, балбесом, который в жизни ни в кого не стрелял, даже в голубей. Но научился сразу, потому что ненависти учатся за одну ночь.

Месяцами не вылезал из грязи, за спиной — боекомплект.

— Я мог бы воевать и с одним ножом или вообще голыми руками...

Замолкает. Однажды они сожгли целую деревню. Сербских крестьян, гражданское население, которое никому не сделало зла. Он не участвовал. Но никак не помог им. Сидел на холме и курил.

Пьетро слушает, не глядя больше на мальчишек с мячом, смотрит на героя той мерзкой войны, который вернулся разукрашенный медалями, как разряженный ради праздника осел.

— Скольких ты убил?

Гойко, улыбаясь, ерошит ему волосы, потому что сейчас Пьетро смотрит на него по-другому, блестящими испуганными глазами.

— Это ужасные вещи, о которых надо забыть...

— Расскажи что-нибудь...

Прошу его:

— Перестань, Пьетро, перестань, дуралей.

Гойко кивает в сторону ребят с мячом:

— Однажды мы с бойцами из отряда играли на поле... только вместо мяча у нас была голова, мы ее отрезали у четника и играли ею, пинали по зеленому полю с желтыми и голубыми цветочками... Вспотели, нам было весело, для нас это была просто игра, как будто так и должно быть, нам только не хотелось пачкаться кровью, поэтому мы подвернули штанины.

— Правда?

Гойко встает, бросает бутылку из-под пива в урну для пластиковых отходов.

— Правда. С того самого дня я не мог больше прикасаться к мячу, до вчерашнего дня, когда мы играли с тобой.

Мы уезжаем из Сараева

Мы уезжаем из Сараева. Гойко идет к машине, я иду сзади и смотрю на его спину. Спина — это та часть тебя, которую ты сам не можешь видеть, на нее всегда смотрят другие. На спину и плечи тяжелым грузом ложатся мысли, спиной ты поворачиваешься, когда решаешь уйти.

У Гойко одно плечо ниже другого, туда он принял удар, когда жизнь сделала крутой вираж. Прошлое замерло там, как сокол на плече у охотника.

Перед тем как взять Гойко за руку, смотрю на его ладонь, розовую, пухлую. Ладонь беззлобного человека, который когда-то кричал по радио, что никогда, ни по какой причине нельзя поддаваться ненависти, бедного дурачка, который в конце концов убил и начал подчиняться законам войны, отказавшись от своего внутреннего закона.

Спрашиваю, как он жил все эти годы. Как вернулся к обычной жизни, пройдя через наивысшее испытание человеческих сил. Каким она нашла его, эта жизнь, после того как он снял камуфляжный костюм, патронташ и смыл грязь с тела, зная, что никогда больше не станет прежним. Он говорит, что заперся в гостиничном номере на целую неделю: пил по-черному и засыпал, не выключая телевизора.

Только его стихи напоминали ему о нем прежнем, о его душе до встречи со злом.

Поэтому он ненавидит свои стихи. Поэтому больше он не написал ни строчки — потому что душа его в грязи, а поэт не может лгать себе самому. Босния считала его героем, а сам он видел, что потерял все, стал евнухом.

Беру его за руку, и он мне это позволяет, вкладывает свою ладонь в мою, как доверчивый ребенок. Немного идем так, держась за руки, как в старые добрые времена, когда люди, которых мы любили, были еще живы. Пьетро смотрит на нас и думает, наверное, что мы спятили. Перед тем как сесть в машину, Гойко спрашивает меня:

— Я тебе противен?

Отрицательно мотаю головой.

Он целует мне руку, потом возвращает мне ее «спасибо».

Дорога — не совсем автострада, но я думала, будет хуже. Едем наверх, в густую зелень леса. Солнце так палит, что хочется сделать остановку, освежиться в тени. На деревьях раны не видны. Здесь шли бои, в земле до сих пор лежат мины. И все-таки природа кажется нетронутой, эти заросли

навевают мысли только о грибах, ежевике, влажной земле под елями.

Пьетро сел впереди, ему нравится смотреть на дорогу, на машины, едущие навстречу. Я уступила ему свое место.

— Полежу, — сказала.

Но дело совсем не в усталости, настоящая причина в другом.

Это последняя поездка, которую совершил Диего, и я хочу подумать о нем в одиночестве, увидеть, как он спускается по крутым поворотам вместе со мной. Мы едем той же самой дорогой спокойным летним утром, как усталые туристы, путешествующие по стране, ищущие, где бы искупаться.

Мы едем на юг вдоль долины реки Неретвы.

Пьетро молчал довольно долго, внимательно смотря на дорогу. Он знает, что сидит рядом с бойцом, ветераном, и сейчас представляет себе призраков, выходящих из леса.

В ушах наушники iPod, а на коленях развернута карта Боснии и Герцеговины. Гойко ведет машину, рука высунута из окна, постоянно отпускает руль, чтобы взять немного чипсов с сыром у Пьетро из пачки или показать ему что-нибудь на карте.

— Что ты слушаешь?

Пьетро вытаскивает один наушник и вставляет его в ухо Гойко:

— Васко Росси.

Навстречу нам едет грузовик и едва не задевает нас, наполняя нашу машину вонью. Гойко будто не замечает, повернулся к Пьетро:

— А кто это?

Пьетро в ужасе:

— Ты не знаешь?

— Не знаю.

— Он поэт.

Гойко снимает наушник:

— Такое впечатление, что он сидит на толчке и тужится...

— Да он стадионы собирает!

Бывший боснийский поэт пожимает плечами:

— Иди в задницу, поэты не собирают стадионов!

— Сам иди в задницу — он собирает!

— По-твоему, что такое поэзия?

Пьетро смеется, тянет свое «ну...», поворачивается ко мне, спрашивает:

— Мы что, в школе?

Гойко настаивает:

— О чем говорит хорошая поэзия?

Пьетро мямлит, пытаясь выразить свои мысли:

— О чем-то, от чего тебе больно... хотя, если тебе это выскажут, станет приятно... почувствуешь голод... чего-то захочется...

Гойко вопит от радости:

— Молодец! — В упор спрашивает у него: — Захочется чего?

Смотрит на него, ожидая ответа; наверное, такие глаза у него были, когда он готовился убить кого-нибудь, нажать на спусковой крючок, на какое-то мгновение сосредоточиваясь в тишине...

— Ну... бутер или девушку.

Пьетро грубо смеется, желая побыстрее отделаться от этого разговора, который становился серьезным, как и лицо Гойко.

— Убери бутерброд и оставь девушку.

Пьетро кивает и, я уверена, краснеет. Гойко ждет еще немного, потом спускает курок.

— Любовный голод, — говорит, и теперь уже у него дрожит голос.

Пьетро кивает. Он знал ответ, но стеснялся меня.

— Хороший поэт морит тебя любовным голодом. — Гойко отпускает руль, чтобы ударить по животу Пьетро. — Вот здесь! Запомни это!

— Васко Росси морит любовным голодом.

Гойко кидается на руль, кусает его:

— Дрочит он, а не морит голодом, дрочит!

Я сержусь. Еще один грузовик чуть не сбил нас, дорога сузилась, идет вдоль скалы, обрывающейся в пропасть. Гойко советует мне успокоиться, потому что он отличный водитель, а по этим дорогам ездят только так, с фантазией. Отвечаю, что мне нет дела до боснийских фантазий, я не хочу упасть в одну из этих расщелин между горами. Мне страшно, а вдруг с Пьетро что-нибудь случится... глупый несчастный случай, как с Диего.

Гойко ищет мой взгляд в зеркале заднего вида, хлопает густыми ресницами:

— Однажды я уже довез вас целыми и невредимыми... расслабься.

Подмигивает мне, и сейчас мне кажется, что его злость так и осталась при нем. Обдает взглядом как грязью.

Неретва стала шире, открылась... будто это не река, а часть моря, большое хрустальное озеро. Мы останавливаемся. Снизу поднимается свежий прохладный воздух.

Мы держимся за парапет длинного железного моста, переброшенного над потоком. Пьетро фотографирует меня на сотовый, дважды просит передвинуться: сначала слишком много света, потом — реки не видно.

— Куда я должна встать?

Еще раз просит отойти назад на несколько шагов. И все равно недоволен.

Его отец, когда меня фотографировал, не просил стоять неподвижно, снимал спонтанно, я этого даже не замечала. Ненавидел, когда я пыталась позировать... его фотографии были пощечиной, сюрпризом. Я часто встречалась на его пленках. «Не оставлю тебя в покое, мне надо всегда возвращаться к тебе», — говорил он. Потом, оставшись одна, в те минуты, когда я себе казалась наиболее безобразной, погруженной в себя, я тысячу раз думала — вот сейчас, в этом убожестве, он сфотографировал бы меня и вернул бы мне мой облик на листке глянцевой бумаги, рассказав о моих мыслях. «Посмотри на себя, Джемма, зачем ты так терзаешься, какая ты глупая...»

Прогуливаемся вдоль реки. Пахнет жареным мясом. Несколько семей с детьми устроили на пикник, на оборудованной для барбекю площадке. Пьетро просит разрешения сфотографировать их компанию. Какая-то женщина предлагает ему кусок баранины, сначала он отказывается, помотав головой, потом все же берет:

— *Hvala!*

— *Dobar dan!*

Когда садимся в машину, Гойко интересуется, вкусное ли мясо, Пьетро, облизывая пальцы, отвечает — вкусное. Протягивает ему баранину, держа за кость:

— Хочешь попробовать?

Гойко откусывает слишком большой кусок, и Пьетро злится. Некоторое время они препираются, как двое ровесников, как двое голодных мальчишек, которым еще расти.

Потом Гойко громко пукает. Пьетро орет:

— Фу, противно!

Гойко невозмутимо отвечает:

— Небольшая лирическая композиция...

Пьетро смеется как сумасшедший, напрягается, пукает с отвратительным звуком, еще больше по-боснийски, чем Гойко.

— Послушай, какой сонет...

Гойко становится темно-лиловым от смеха.

— Белые стихи! — крикает он сквозь рыдания.

Кричу им, что они свиньи, я не могу с ними ехать.

Снова крутые повороты, посеребренные расщелины, словно седые бороды среди леса.

Теперь мой сын и мой друг снова разделили наушники iPod, и Гойко

поет припев песни итальянского поэта, собирающего стадионы.

Жить... жить... жить...

Высокие одинокие деревья похожи на кулисы, закрывающие небо на этой слишком узкой дороге, на которой встречные машины чуть не касаются друг друга и ты чудом остаешься жив.

Чья-то собака, натянутые веревки с бельем, грядки салата, деревенская мечеть. Самая обычная жизнь.

Здесь прошла война со своими орлами и тиграми, с бывшими фанатами белградской «Красной Звезды», скрывшими лица под капюшонами, словно палачи.

Они шли, сжигая деревни, убивая мужчин, насилая женщин. И только немногие оставшиеся в живых бежали по дорогам, ведущим в другую деревню, с которой произошло то же самое. Смерть продвигалась вперед, веяла всюду, как ветер с моря. Спрашивается, как могут они возделывать эту землю, выращивать помидоры, савойскую капусту, когда ночью удода, показавшись из леса, снова напоминают о крике душ. О мертвецах, погруженных на грузовики и сваленных в кучу, как мусор.

Гойко рассказывает, что делали оставшиеся в живых все эти годы. Ждали, когда их вызовут для опознания. Выстраивались в очереди перед столом, чтобы посмотреть на останки, сломанные очки, кроссовки «Adidas», куски джинсов «Rifle» или «Levi's», часы «Swatch».

— Потому что они умерли в наше время и носили те же марки, что и мы.

Пьетро перестал фотографировать.

Сколько времени потребуется, чтобы очистить землю, в которую радиоактивное излучение зла проникло столь глубоко?

Прошло немногим меньше шестнадцати лет — столько моему сыну, сидящему впереди меня, его юному затылку.

Его отец говорил, что затылок хранит запах рождения, ветра, принесшего семя. Как борозда на земле.

Останавливаемся в Мостаре. Пьетро хочет сфотографировать знаменитый мост. Гуляем по переулкам, где бульжники мостовой уложены прямо в глину. Кругом веселье, туристы в шлепанцах, маленькие магазинчики с безделушками.

Город и есть мост, который называли Старым, имея в виду старого друга, хребет из светлого камня, соединяющий две части города, христианскую и мусульманскую. «Старый» прожил почти пять веков, а уничтожили его за пять минут.

Пьетро не понимает, почему католики и мусульмане воевали друг

против друга.

— Они же вначале все вместе были против сербов...

Гойко объясняет ему, что ненависть быстро разрастается, как дырка в кармане.

— Под конец уже мусульмане воевали против мусульман.

Мы сели в ресторанчике перед мостом, заказали яйца вкрутую и салат из помидоров и огурцов.

Пьетро рассказывает о пейнтболе — военной игре, в которую он иногда играет с друзьями; они надевают шлемы, маски, защитные костюмы, только стреляют краской.

— Вы играете командами?

— Да, или все против всех.

— Как и мы в конце.

Пьетро смеется.

Восстановленный мост стал шедевром, лучшим образцом реконструированных памятников ЮНЕСКО: он выстроен точно так же, в единый пролет, использованы те же старые камни. Изменилось только его назначение.

Мосты соединяют шаги людей, их мысли, влюбленных, встречающихся посередине. А по новому мосту, кроме туристов, никто не ходит. Жители разделенного города остаются каждый на своей стороне. Мост похож на белый скелет, создающий иллюзию мира.

Муэдзин поет, и его жалобный голос достигает неба, где гоняются друг за другом маленькие темные птички. Гойко, оставив деньги на столе, встает.

— А сейчас с другой стороны начнут звонить колокола, они соревнуются, у кого получится громче.

Пьетро хочет посмотреть на мальчика, прыгающего с моста для туристов. Мальчишка даже чем-то похож на него, такой же худой, с густыми волосами. Забирается на перила, раскрывает руки, точно ангел. Сосредоточивается, немного играет на публику. Тогда его еще не было на свете, а если и был, то совсем маленький. Для него этот мост — способ заработать на жизнь. Бросается вниз, вытянув ноги вместе, совершает впечатляющий полет, с высоты почти тридцать метров, прежде чем войти в воды Неретвы. Мы переживаем мгновение пустоты, недвижимой и темной реки внизу. Потом показывается голова, мальчишка смотрит вверх, вытаскивает из воды руку и показывает «V», *victory*, победа. Хлопаем в ладоши вместе с остальными туристами. Его маленький товарищ обходит публику с блюдцем.

Пьетро хочет попробовать спрыгнуть, просит разрешения, говорит, он понял, как надо, начинает даже снимать обувь. Говорю ему:

— Прекрати, иди в машину. Только этого еще не хватало!

Солнце садится, и силуэты деревьев кажутся еще более печальными.

Может, была уже ночь, когда генуэзский парень проезжал здесь, ведя мотоцикл с выключенными фарами, ему это не составляло труда, он привык к темноте в Сараеве. Может, он срезал путь, поехав по лесным тропинкам. Может, Аска была с ним, показывала ему объездные дороги. И на мгновение они появляются передо мной: овечка прижалась к телу Диего, который без всякого проку сделал ее матерью.

Куда они ехали? Может, бежали, и все. Ничего не планируя, разве только во сне.

Может, рассчитывали заработать немного денег, играя на улицах. Да, они, наверное, так и жили бы, как беженцы, в метро, во всех туннелях мира. Аска пела бы одну из своих упоительных севдалинок о грусти и любви... выдувала бы через трубу свою боль боснийки прохожим, стоящим в очереди за билетом. А он аккомпанировал бы ей на гитаре, изредка фотографируя ее, чтобы рассказать что-нибудь о ней самой. Он бы понемногу вылечил ее своим мальчишеским дыханием.

Тот дом и та жизнь, в которые я втиснула его, не были его домом и его жизнью. Он попробовал, но не смог. Однажды он сказал мне: «Я, как собачка в витрине магазина, жду своего покупателя».

Она снова надела бы выцветшую майку с лицом Курта Кобейна... и они поехали бы на мотоцикле, останавливаясь на ночь в кемпингах, просто в поле или в переходе перед закрытым кинотеатром. Пара бродячих артистов, торгующих своим искусством, жонглеров, подбрасывающих в воздух кольца.

Таких часто встречаешь летом и останавливаешься поглазеть с мороженым в руках. Блуждающий взгляд задержался на тебе случайно, выбрав из толпы... одиночество в толпе, одна песня, одна ласка... Так они и жили бы, как хотели, пассивно, избавляясь от послевкусия ада, живя жизнью, углубленной в созерцание себя самой, спасаясь музыкой.

Ему бы понравилась такая жизнь, в вечных странствиях, где его единственным домом был бы объектив «Лейки».

В Амстердаме они остановились бы у друзей Аски, музыкантов. Жили бы на одной из речных барж, как мы в первое время. Да, он начал бы с реки.

Положили бы цветок под окном «Prins Hendrik Hotel» — отеля, откуда выбросился Чет Бейкер, обколовшись героином.

Папа как-то сказал: «Даже не подозревал, что у тебя столько сил...»

Я ответила, что у меня ребенок и выбора нет.

Но на самом деле было ощущение, что смерть Диего не украла у меня будущего. И даже сейчас, глядя на эту дорогу, я не испытываю настоящего волнения, только что-то противно сосет под ложечкой.

Вдвоем, без меня, они разъезжали на мотоцикле по мрачной лагуне земли, темной от крови, как море при забое тунца.

Я была китом, могучей спиной, куда он присел, как птица, в ожидании попутного ветра, который поможет ему продолжить путь. И прежде чем улететь, в качестве платы он принес в клюве рыбу, пойманную в море для меня.

Рыба сейчас дремлет, одна нога высунулась из окна, другая лежит на панели приборов. Гойко сказал:

— Не приставай к нему, как можно быть такой занудной мамашей!

Я спросила, долго еще ехать. Он ответил — еще немного.

Здесь Неретва спускается к морю, горы точно выжжены, растительность изменилась, густые пучки зелени напоминают средиземноморские кустарники, похожие на высокий мох: снопики дрока, кое-где дикая герань. Скалы настолько отполированы, что кажутся белыми.

Несколько крутых поворотов, и вот оно — море.

Такое же голубое и безграничное, как любое море, вода, по которой растекается взгляд, утонувшее небо. Море с высоты. Острова внизу похожи на порванное ожерелье из камней и фигур, которые разъединились, но так и не отделились по-настоящему от шеи земли. Море. Голубая кровь этих скал и лесов.

Пьетро сияет, хочет остановиться, пофотографировать. Мы выходим из машины на террасу бельведера.

Сильный соленый ветер треплет мои волосы, швыряет их мне в лицо, так что приходится прикрывать глаза. Идеально круглый мяч солнца, беловатый от дымки, чуть ниже нас, на небе: приближается вечер.

Парень, вероятно, тоже остановился здесь посмотреть на залив. Наконец-то слез с мотоцикла и прошелся не прячась, не петляя, не боясь упасть.

«С моря не стреляют», — подумал. Прижался к своей овечке с рыжими волосами.

«Все кончено, Аска, ты свободна».

— Давай быстрее, мам!

Пьетро торопится ехать, хочет искупаться, пока солнце совсем не зашло. Встал рядом, смотрит на меня, а я смотрю вниз.

Беспокоится, потому что узнает мой взгляд.

Сколько раз мы с ним стояли так, молча взирая на нашу жизнь! Первый раз ему было три года, он в парке слишком близко подошел к качелям, и доска ударила его по лбу. А когда я тащила его к фонтану, он плакал и брыкался. Чтобы он не вывернулся, я сжала ему горло, сильно, до боли. Когда он высвободился, кровь все еще лилась, растекаясь по мокрому лицу, как розоватый крем, и тогда он выкрикнул: «Ты плохая, не люблю тебя!»

Выпустив его, я сказала вдогонку: «Захочешь вернуться, сначала попроси прощения».

Он отошел чуть в сторону, недалеко от моей скамейки. Долго сидел там на траве, ковыряя землю носком башмака. Я делала вид, что читаю.

В конце концов я подошла к нему: «Давай быстрее, уже поздно». Он только того и ждал. Он чувствовал себя в тот момент самым одиноким на свете, но гордость не позволяла ему подойти. «Попроси прощения». — «Прости». Он был так одинок! Вот тогда мы впервые вместе посмотрели на мир, на то, что у нас отняли, и на то, что нам осталось.

Диего не сопровождал своего мужающего сына в его пути, не поднимался вместе с ним по лестнице, ведущей из детства во взрослый мир. Он взобрался на скалу со своим искусственным глазом. Что он хотел увидеть?

Его фотоаппарат, разбившийся, как и его голова, был пуст. Он больше не вставлял туда пленку, его это не интересовало. Ему достаточно было движения руки, знака. Последняя фотография должна была стать водой, текущей к истокам, он снял ее, пока летел в пропасть.

Городок внизу некрасивый, сплошной бетон и дорожные пробки. По морю между материком и полуостровом Пелешац тянутся красные буйки устричных хозяйств.

Солнце уже садится, мы едем по улице, которая то тянется вдоль берега, то ненадолго отступает от моря в деревья инжира и кустарники розмарина. Время от времени проезжаем какой-нибудь населенный пункт, низенькие рыбацкие домики, колокольни, розовые от соли, точно фары, магазинчики с резиновыми тапками для хождения по камням. Вынуждены сбавить скорость, потому что выстроилась целая очередь из машин, люди останавливаются, приветствуя друг друга. Сегодня суббота, завтра — выходной. Свадебный автомобиль с женихом, невестой и их шумной компанией едет за нами на другой конец полуострова, к пристани, откуда отправляются паромы на острова.

Последний паром на Корчулу только что отплыл, мы видим, как он

удаляется в вечернем море с его металлическим блеском.

Мы с Гойко остаемся на пирсе. На нем зеркальные очки, которые больше не нужны, но он не снимает их даже вечером; крепкие руки расставлены.

Видя, как паром уходит без нас, мы грустим, но недолго. Он увозит с собой груз... что-то уплывает, и мы ничего не можем сделать, только попрощаться издали. Может, он освобождает нас после стольких лет, этот паром, скрывшийся за горизонтом? Возвращает нам веселье от чего-то бессмысленного? Ошибки, например. Мы смеемся как два идиота. Гойко красноречиво жестикулирует, будто говоря: «Ну давай... давай вали в задницу, паром. Вали в задницу, жизнь».

Пьетро снял майку, ходит с полотенцем на бедрах, бросается в море, выходит. Песок на пляже около пирса белый и пахнет розмарином, жаль, что опускаются сумерки и вода погружается в тень.

Пьетро поймал краба и приносит его нам, говорит, что он большой и при желании его можно съесть, однако тут же возвращается и выпускает его в море.

Какой он худой, мой сын, а вечером его худоба особенно заметна.

Мы сидим на пляже и смотрим, как он ныряет, и на минуту кажется, что мы — семья. Потому что этот последний и неожиданный вечер переворачивает судьбы.

— Мы могли бы пожениться, — говорит Гойко. — Но ты никогда не хотела меня, — продолжает, так и не сняв очки.

Я смеюсь, толкаю его локтем:

— Ты счастлив со своей женой?

Кивает, у них растет замечательная дочка, есть небольшой ресторанчик у моря, и они организовали культурную ассоциацию, которая наполняет их жизнь смыслом.

— А ты?

Говорю ему, что у меня все хорошо с Джулиано.

— Я люблю его.

Но мне сложно произносить эти слова, застревающие в горле. Мне они кажутся пустыми, я плохо их чувствую, может, из-за того, что поездка длилась слишком долго, а может, потому, что я вернулась. Произношу «люблю», а сама чувствую себя рыбой, заглотившей крючок. Пьетро зовет нас в воду:

— Идите сюда, поплаваем!

Гойко внезапно вскакивает, как дрессированный медведь в цирке. Он вел машину, вспотел. А может, то, что он оказался сегодня рядом со мной, а

паром, который должен был отвезти его к жене и привычной жизни, ушел, вызвало у Гойко желание нырнуть в холодную воду, сбросить с себя оцепенение грустных воспоминаний.

Следом ныряю я.

Джулиано бы оторопел, ночной заплыв вообще не для меня. Я всего боюсь: морских ежей, черной воды, руки, которая может схватить меня снизу. Боюсь простудиться с мокрыми волосами.

Но это я в Риме боюсь — боюсь в той жизни, которая сейчас далеко от меня, как тот паром. Сегодня мне не страшно, сегодня я хочу воссоединиться с собой. Пьетро взбирается на плечи Гойко, прыгает, кричит, хлопаясь животом о воду. Потом забираюсь я, и он придерживает меня за белые хрупкие щиколотки. Проходим немного так, покачиваясь в темном море. Я уже старая, мне стукнуло пятьдесят, а я никогда еще так много не смеялась.

Небольшой ресторанчик, ряд светильников, подвешенных над верандой из бревен и тростника. Едим там морских ежей и устриц, сбрызгивая лимоном. И Пьетро тоже, хотя он никогда не ел сырых моллюсков, но сегодня он всего хочет попробовать, даже густого вина, темно-желтого, с настоящим вкусом винограда, растущего у моря. Потом небольшие порции салата в пиалах и козий сыр, посыпанный паприкой. У Пьетро горит во рту, он подходит за мороженым к холодильнику, который стоит рядом и тархтит, как трактор. Гойко передвигает бутылку, чтобы посмотреть на меня.

— Я старая, — говорю ему, — не приставай ко мне...

— Ты никогда не станешь старой, время лишь открывает красоту.

Бывший поэт выливает последнюю каплю в мой бокал, трясет пустой бутылкой и просит другую, на этот раз десертного вина, изюмного, которое делают на островах.

Оттуда мы, шатаясь в темноте, возвращаемся на пирс. Пьетро плетется за нами, как собака без поводка; он устал, но говорит, что хочет остаться еще, что мы должны поменять билет на самолет, что ему нравится море, он успел бы порыбачить, взять напрокат доску для виндсерфинга.

Пристраивается к рыбакам, которые сидят на скалах в темноте, — леса натянуты, опущены в море, вздымающие тяжелые волны. Это бурное море сегодня вечером напоминает лунный пейзаж, металлическую грязь.

Мы засыпаем прямо в машине — и в голову не пришло устроиться в гостинице. Пьетро растягивается на заднем сиденье и тут же засыпает, как в детстве; ноги торчат наружу, руки подложены под щеку, рот открыт, верхняя губа нависает над нижней.

Гойко говорит:

— Добрый чистый мальчик. — Провел по моим сухим от соли волосам. — Ты молодец...

— Я ничего не сделала, он по природе такой.

Доходим до самого конца пирса, где начинается море. Растягиваемся на камне, сохранившем тепло солнца, смотрим на небосвод, на звезды, гуляющие по светящемуся небу.

Паром ушел уже несколько часов назад, а мы остались, чтобы спокойно упиться этим небом. Гойко, брат мой, брат Диего, Гойко, хорват-католик, безумный святой Иосиф, названный отец Пьетро. Сегодня мы — безрассудные дети изюмного вина, горячие водоросли, привидения во плоти, видения из прошлого.

Но можно ли заняться любовью с погребенными жизнями, с растраченными надеждами? Чтобы заняться сейчас любовью, надо собраться с духом, а нам не хочется. Только не в двух шагах от чистого ребенка.

Мы засыпаем в машине на передних сиденьях, ноги высунуты наружу. Мой Гойко храпит с открытым ртом, я снимаю с него очки, которые он так и не снял, целую его красный потный лоб.

— Дорогой, — говорю, — дорогой. Дорогой, потому что жизнь отнимется у всех.

День похож на плывущие облака

День похож на плывущие облака. На пароме Пьетро сел отдельно, пристроился босиком на одной из скользких от морской воды лавок... Вижу его лицо, очки «Ray-Ban». Согнул ногу в колене, оперся рукой — непривычная для него поза человека, смотрящего вдаль.

Недавно построенные дома с красными крышами, пестрота и шум: автомобили, магазинчики для туристов, стойки со шлепанцами и купальниками, вывески баров, ресторанов; плакаты с огромными нарисованными креветками и другие, о сдаче комнат, с надписью «SOBE». Выходим в море, плывем вдоль берега, испещренного горными дорогами, и причаливаем на другой стороне острова.

Культурная ассоциация занимает большое здание в венецианском стиле. На вилле ощущается дух старой семейной усадьбы, светлые стены с облупленной в некоторых местах краской, явно наложенной на бледно-розовый, почти телесного цвета, фон. Легкие рамы, высокий стрельчатый вход и распахнутая дверь на втором этаже, ведущая на изогнутый балкон с кованым ограждением. Мы идем по песку, смешанному с галькой, по саду, где царит веселый хаос, повсюду — детские площадки, деревянные стенды с фотографиями и рисунками. Атмосфера сельского праздника. Несколько женщин согнулись над большим столом и втыкают иголки в колоссальные пальцы. Я подхожу, и они, улыбаясь, отодвигаются, чтобы я посмотрела на их нескончаемую вышивку.

Гойко представляет меня:

— Моя подруга Джемма из Рима, а это ее сын Пьетро.

Пьетро позволяет всем этим матерям себя целовать, пристаёт с расспросами, сколько времени они потратили, чтобы вышить этот огромный символ мира. Количество лилий не случайно, объясняет одна из девушек, цветков ровно столько, сколько погибло детей за время войны, поэтому полотно и получается таким большим.

Элегантная женщина, разговаривающая по мобильному телефону, направляется ко мне, на ней одежда из черного льна, большие солнечные очки. Закончив разговор, хлопает меня по плечу:

— Как поживаешь?

Это Ана, спрашивает, узнаю ли я ее, отвечаю, нет, ее трудно узнать, выглядит как настоящая актриса. Потом мы обнимаемся, я снова смотрю на нее и думаю: конечно узнаю, а как же.

Ее муж — стоматолог. Они работают вместе, она записывает пациентов на прием. Детей у них нет из-за лечения, которое ей пришлось пройти. «Лучи, — говорит, — только не солнечные». Смеется. Потому что у Аны появилась проблема «после», как и у многих других женщин.

Они с Гойко никогда не теряли друг друга из виду. Представляет мне других бывших сараевских жительниц — постаревшие лица моих одноклассников. Некоторых узнаю, тогда они были молодыми девушками из общей квартиры, которые перед войной ходили в черных мини-юбках, слушали группу «Р. Е. М.» и боснийский рок и обменивались парнями, желая приобщиться к Европе.

На столе стоят графины с домашними напитками. Мы пьем черничный морс, сидя в креслах-качалках, как две дачницы былых времен.

Ана рассказывает об ассоциации: женщины разных этнических групп после войны объединились, чтобы помогать другим женщинам. Летом они показывают фильмы, организуют фотовыставки, концерты, чтения. Зимой при ассоциации открыты обучающие курсы: компьютерные, языковые, есть танцевальная и музыкальная студии.

Показывает мне очень красивую девушку с длинными черными волосами и белой кожей. Ее зовут Весна.

— Однажды в передаче по телевизору она узнала своего отца среди «мясников» Сребреницы. С тех пор Весна замолчала, за шесть лет не произнесла ни слова. Ее мать, оставив мужа, привела свою немую девочку к нам. В тот день, когда она снова заговорила, мы все плакали, это случилось на берегу, и первое слово, которое она произнесла, было «sidro», в переводе «якорь», поэтому мы назвали нашу ассоциацию «Sidro».

У самого берега стоит дом, построенный из светлых блоков, с красными ставнями, плоской крышей, стоками для дождевой воды и верандой, вокруг которой расставлены низкие вазоны с геранями, искривленными ветром.

— Ну вот, здесь я живу.

Над каменной оградой — неоновая вывеска с надписью «RESTORAN», которая сейчас выключена. Мы заходим с заднего двора, через небольшую деревянную калитку, которую, кажется, никогда не закрывают. Идем по дорожке из бетонных плит. Под навесом с зеленой мягкой черепицей стоят маленький трехколесный велосипед и мопед, выцветший от солнца «пьяджо» с сиденьем, из которого торчат куски пенорезины. Рядом — банки консервов, ящики с водой и пивом и большая почерневшая металлическая бочка.

На бельевой веревке висят детский купальник и сдутый пляжный

матрасик. Еще несколько шагов: пустые цветочные горшки, вставленные друг в друга, гипсовая Белоснежка, раскрывающая нам объятия.

Пьетро спрашивает, где семь гномов.

Гойко отвечает, что его дочка не захотела гномов, она терпеть их не может и называет старыми детьми.

На веранде поставлено несколько железных столиков; босоногая девушка с двумя хвостиками, в рубашке из марлевки поверх купальника, крепит зажимы, чтобы скатерти не сдувало ветром.

— *Zdravo*, Гойко.

— *Zdravo*, Нина.

Целует, дергает ее за хвостик, просит принести нам чего-нибудь выпить.

Мы садимся на улице, под плетеный навес. Отсюда видно море — голубую полосу, исчезающую в ярком свете солнца. Легкий бриз дует с дюн в спину. Вернувшаяся с подносом девушка выставляет перед нами графин вина, вазочки с оливками, с зеленым сладким перцем, с семечками и банку кока-колы для Пьетро.

Гойко приносит на себе девочку, вцепившуюся в него, как осьминог.

Головой в светлых, почти белых, завитках она уткнулась в тело отца, и, кроме пары ног в махровых полосатых брючках, ничего нельзя увидеть.

— Это Себина.

Гойко не смотрит на меня, но и я не смотрю на него. Уставилась в стол, разглядываю муравья, ползущего по клеенке. Резкая боль, словно ударились коленкой об острый угол.

— Привет... Себина.

Прикасаюсь к ней, поглаживая ножку. Худенькую, слишком худенькую. Вспоминаю коренастые ноги, состоящие из одних мускулов.

Пьетро пробует немножко пощекотать ее, она отмахивается, отбрыкивается, но лица не показывает.

— Спала... — Гойко садится с дочерью на руках, объясняет, что поэтому она немножко не в настроении, наполняет мне стакан, наливает себе.

Мы выпиваем; девочка, лица которой не видно, разделяет нас.

— Красиво здесь.

— Просто.

Гойко рассказывает о меню ресторана, говорит, что по вечерам они жарят на гриле... он ловит рыбу; если Пьетро хочет, можно вечером отправиться за кальмарами. Кроме того, они сдают несколько комнат неприхотливым туристам.

Пока говорит, не перестает гладить дочь по голове. Мне трудно смотреть на эту тяжелую руку, с жадностью погружившуюся в светлые кудряшки, очень трудно...

На открытом окне с внутренней стороны колышется белая занавеска... она дышит, надуваясь, словно маленький парус.

Я слежу за этим белым дыханием, несущим покой и умиротворение, внушающим, что время прошло, расставило все по своим местам, принесло другие семена, другие волосы.

Изнутри доносится легкая летняя музыка.

Девочка, оторвав лицо от Гойко, смотрит на Пьетро.

Она совсем не похожа на Себину. В отличие от нее, очень красивая, на кукольном, слегка загорелом лице застыло удивление, прозрачные глаза, надутые губки. У Себины глаза были свинцового цвета, губы кривые, похожие на рыболовные крючки, и уши торчали из-под волос.

Пьетро высовывает язык, двигает бровями и ушами, как его научил дедушка Армандо.

Малышка смеется, у нее нет переднего зуба — выпал вчера вечером, — показывает нам дырку. Она не понимает по-итальянски, но чуть-чуть говорит по-английски. Объясняет, что не знает, где ее зуб, и от этого ей грустно. Пьетро говорит, что, если она хочет, они вместе могут поискать его.

— *We go and look for the tooth ...* [\[16\]](#)

Девочка соскальзывает с коленей отца, подает руку Пьетро, и они уходят. Я смотрю на них, на моего сына и эту вторую Себину, совсем непохожую на уроженку Сараева, скорее, напоминающую голландку или немку... маленькую иностранку.

Сколько лет было бы сегодня *Vijeli Viber*? Красовалась бы с олимпийской медалью на шее или стала бы заядлой курильщицей, как и ее братец?

Я должна была бы испытывать нежность к этому ребенку. Думала, что расчувствуюсь, но, наоборот, чувствую себя разбитой и даже злой. Может, вино ударило мне в голову, ожесточило сердце. Но у меня ощущение, что эта новая девочка, вторая Себина не станет символом возрождения. Это совсем другой ребенок и другая жизнь. Мне безразлична такая банальная, очень красивая девочка. Хочу вернуть ту несуразную и умную мордашку, ту нищую храбрость. Сегодня мне нравится только то, что я потеряла, чего больше никогда не увижу.

— Правда красивая?

Даже чересчур. Такая же пустая, как и вся жизнь «после».

Внутри дома стоит знакомый мне запах, какой бывает в простых домах на море... запах душицы, чистого белья, миндаля.

По стенам развешены детские рисунки с подписью внизу, «SEBINA», выведенной рукой, только что научившейся писать.

Касаюсь прохладной стены коридора, прохожу мимо стула с вышитой голубой накидкой на спинке.

И мне кажется, что Гойко подталкивает меня вперед...

Спотыкаюсь, не заметив невысокой ступеньки, но удерживаюсь на ногах, попадаю в небольшую гостиную: два кресла из облезлой кожи, подставка для газет... на стене старый портрет Тито.

— Единственное, что уцелело... — Смеется. — Все сгорело, а маршал устоял, поэтому я и привез его с собой.

Кажется, у него покраснели глаза, на нем мокрая рубашка, расстегнутая до самого пупа.

— Я должен сказать тебе кое-что...

За его спиной, на низком бамбуковом столике, стоит фотография: он в лодке с голым торсом; потом фотография, сделанная Диего: Мирна с Себиной. Я поворачиваюсь к стеклянной двери, отделяющей маленькую гостиную от следующей комнаты... смотрю на окно с колышущейся занавеской. Той, что я заметила еще с веранды, из светлой марли.

Гойко курит, затягивается, потом легонько стучит сигаретой о край пепельницы, которую держит в руках, смотрит на огонек.

Я чувствую что-то за своей спиной, сама не знаю что — какое-то тепло и напряжение одновременно, — опускаю голову.

Гойко продолжает крутить сигаретой в пепельнице.

— Что происходит?

И начинаю пятиться назад. Но он берет меня за плечи, крепко держит сзади, другой рукой душит за шею. Так, наверное, он держал охваченного ужасом врага, перед тем как перерезать ему горло.

Чувствую, как он дышит мне в ухо.

— Извини меня... хотел сразу рассказать.

Что ты должен был мне рассказать, идиот? Что ты должен был сказать такого, чего уже не сказала жизнь?

Прохожу в другую комнату. Пара веревочных сандалий валяется в стороне, я смотрю на голые ноги ждущей меня женщины.

В белой рубашке и джинсах, волосы закреплены в пучке карандашом. Намного выше, чем я помню ее. Но может, это я стала ниже? Она не накрашена, не постарела, просто с годами приобрела гармоничность, которой прежде не было.

— Привет, Джемма.

— Привет, Аска.

Поднимаю руку, и медленное тяжелое движение разрезает воздух, деля мир надвое. Подаю ей руку.

Пусть она ее держит, все равно я не знаю, что с ней делать. Протягиваю руку этой высокой женщине, рыжеволосой, зеленоглазой, красивой, как чуть-чуть постаревшая модель, которая, сбросив с себя налет юношеской дурости, удержала настоящую красоту... протягиваю ей руку, которая и не рука уже, а хвост зверя, угодившего в капкан, застывшего в ожидании смерти, настороженного, с широко открытыми глазами, и думаю о том, что это движение станет моим последним.

Хозяйка приглашает меня присесть.

Не слушаю ее, звук исчез, только колышется занавеска.

Аска открывает рот, у нее великолепные зубы, я едва касаюсь их взглядом, как и всей ее красоты.

Это уже не она, и следа не осталось от ее прежней неухоженности. Что я помню? Человека, которого больше нет. Крашеную, изуродованную косметикой девушку, которая когда-то играла на трубе и вызывающе смеялась.

Я миллион раз представляла ее мертвой.

Представляла ее и живой. Но не такой. Смутный образ страдающей, поверхностной женщины.

Значит, она — жена Гойко. Аска говорит мне, что они встретились после войны в Париже, в квартире их общих друзей, в одном из тех мест, где обычно собирались боснийские беженцы. Они помогли друг другу. Любовь пришла позже.

— Ты все еще слушаешь «Нирвану»?

— Иногда да.

— Курт Кобейн умер.

— Знаю, несколько лет назад.

— Застрелился. Нужно обладать большим мужеством, чтобы выстрелить в себя.

— Если ты обколотся, то не обязательно.

Диего тоже умер. Он тоже обколотся. Да уж, безумный волк умирает. А изворотливая овечка танцует и, танцуя, спасается.

Последний альбом «Нирваны» назывался «In Utero».^[17] Помню, я купила его. Жизнь смешна. Она опережает тебя. Издевается над тобой.

Занавеска колышется. Не слушаю ее, белая трещина ползет по мне. Чистая бескровная рана проходит через мое лицо.

Меня обманули, чтобы затащить в это путешествие... все — фотовыставка, прогулки по Сараеву, опоздание на паром — было обманом.

Она выглядит просто и вместе с тем элегантно, как все современные женщины.

Сейчас скажет мне, что она каждый день думает о своем сыне и имеет право обнять его... открыть ему правду.

И я не смогу отказать. Я ничего не смогу сделать, не зная законов этой страны, я далеко, в городке, даже названия которого не помню. Я села на паром, опьяненная ностальгией, ехала за незнакомцем, о котором ничего не знаю, за поэтом, ставшим солдатом, убийцей. Мне нужны были друзья и воспоминания. Мало было собственной жизни. Мне нужен был кто-то, кто заставил бы меня пережить страдания, свидетель, сам переживший их. Я приехала сюда сама, по собственному желанию.

Гойко улыбается ей, держа ее за руку. Рядом с ней он выглядит красивее, не таким неуклюжим, более чувственным, более спокойным.

Они не приехали ко мне в Италию. Они меня выманили сюда. Она сказала ему: «Я хочу своего мальчика, хочу снова увидеть его, увидеть сына человека, которого я любила и который умер. Я больше не могу терпеть, я долго об этом думала, но теперь хочу прижать его к себе, рассказать ему всю правду, и будь что будет».

Надо позвонить Джулиано, надо, чтобы он приехал, я должна защитить Пьетро. Нельзя раскисать.

— Ты не доверяешь мне?

— Чего ты хочешь?

— Увидеть его.

— Выгляни из окна — и увидишь.

— Я видела, как он говорил с Себиной... с сестрой.

— Молчи... молчи.

Она плачет, но я спокойно могла бы убить ее, потому что сейчас я кое-что поняла, разглядев грязную подноготную, чувствуя знакомый запах нищеты.

— Вам нужны деньги?

Открыв рот, яростно мотает головой. Похоже, впала в отчаяние.

— Не оскорбляй меня.

Занавеска колышется на окне. Только ящерица смотрит на нас, ее древнее прозрачное тело застыло на стене.

— Почему ты не умерла?

Смотрит на меня, не выказав никакого удивления:

— Не знаю.

Я встаю, одергиваю юбку. Где мой пиджак, мой мятый пиджак? Где моя сумка со всякой ерундой, паспортами, билетами на самолет, помадой, проникающей в мои морщины? Она спрашивает, не принести ли винограда, может, я хочу помыться, предлагает нам с Пьетро переночевать, поесть рыбы у моря, Гойко замечательно готовит на гриле.

Внезапно ощущаю невыразимую ненависть... дикую ненависть ко всем прошедшим годам. «Пошла в жопу, ты заела мою жизнь, тварь, отъела лучший кусок от меня. Увела отца Пьетро, он умер, а ты здесь, ты всегда была здесь». Хватаюсь за свою сумку, очки, свою маленькую старость. У меня наступила менопауза год назад, но мне это безразлично, зачем, спрашивается, был нужен этот мой цикл. Конец кровотечений означал конец досады на саму себя.

В последний раз я видела эту женщину во время войны, когда, лежа в больничной кровати, она считала марки. Первое время я боялась, как бы она не объявилась. Стоя на светофорах, раздавала деньги всем бродягам мира, всем беженцам с Востока. У меня это превратилось в рефлекс: поворачиваться в поисках сумки на сиденье. Все время платить. Я думала, что она погибла, осталась только на фотографии, прикрепленной к одной из плит на поле, усеянном могилами. А эта женщина, наоборот, цветет, на ней белая рубашка, она еще молода, у нее есть время родить себе еще детей.

— Пьетро итальянец, он мой сын. Я сейчас встану, возьму его за руку, и мы уедем. А ты даже не пробуй приблизиться ко мне... к нам...

Аска наклоняет голову. Смотрю на ее затылок, собранные волосы, несколько выбившихся прядей. Вижу что-то такое... какое-то пятно. Я хочу уйти, как в тот раз. Но не могу отвести взгляда от этого пятна... татуировки. Что-то вроде цветка, розоватого, сделанного непрофессиональной рукой.

Вспоминаю фотографию Диего, ту, что висела в глубине зала, над подставкой для зонтов. Та странная роза на странной стене. Сейчас я вижу, что это была за стена.

Аска прикрывает затылок рукой, чуть покачиваясь.

Пчела, влетев через окно, кружится вокруг нас, то подлетает ближе, то улетает.

Ее бы нужно отогнать, но мы не двигаемся.

Вот эта история, которую однажды я, вероятно, должна буду набраться храбрости и рассказать своему сыну как сказку.

Они вдвоем там, в гостинице у самого леса. Поднялись по лестнице, держась за руки. На Аске черное блестящее платье. Он попросил ее: «Не надевай своих колючих побрякушек, ты в них похожа на кактус», и она

послушалась. Пришла в платье, в котором выступает на концертах. Он смотрит на легкую черную ткань, касающуюся тела, пока они поднимаются по лестнице.

Олицетворение красоты здешних мест, медные густые волосы, зеленые глаза, точно нарисованные листья, открытые скулы, прямой, немного приплюснутый нос... такая же белая арабка, как и сам город, настолько необычный, что напоминает не то Стамбул, не то горное селение. В профиль похожа на козу из Кашмира.

Диего не знает, получится ли у них что-нибудь.

Он нервничает, но внешне спокоен, ему нравится эта страстная провинциальная девушка, немного помешанная, с горячим желанием кем-нибудь стать, Дженис Джоплин к примеру. Чем-то напоминает его самого... хорошо знакомое ему чувство, мурашки по телу... «Лейка», купленная на рынке у спекулянтов... он ведь тоже когда-то был мальчишкой, чувствовал себя Робертом Капой.

Она пробудила в нем нежность, когда он взглянул на ее размалеванное лицо, на колготки с постмодернистскими дырами, на булавки в ушах. Ему не нравятся панки, но к ней он почувствовал нежность. Он приглядывался к ней, видел, как она ела сладости, облизывала пальцы, доев все до последней крошки, видел, как она смеялась. Они разговаривали — она далеко не глупа, в ее голове полно разной дряни, но мозги светлые, точно заряженная батарейка, что-то в ней есть такое, чего в нем уже нет.

В комнате Аска смотрит на кровать и смеется. Плюхается на нее с разведенными в стороны руками, дышит полной грудью. Знает, что он любит ее, наглая, увлеченная игрой. Диего более напряжен в отличие от нее, говорит, начинает с обуви, снимает сапоги, не ложится сразу, а садится на край кровати. Все еще не верит, что она пришла, что эта история развивается дальше.

В последние дни они стали иначе смотреть друг на друга, между ними появилось что-то вроде флирта. Теперь, когда они оказались в комнате, где, кроме кровати, можно сказать, ничего нет, они немного стесняются. Аска садится, скрестив ноги, как йог, у нее с собой труба, и она начинает играть «My fanny Valentine». Он слушает ее, думает, сколько же воздуху могут вместить твои легкие, девочка? Говорит:

— Тебя ждет большое будущее.

Она перестает играть, убирает трубу, облизывает губы:

— Мне хотелось бы разделить его с тобой.

Он улыбается:

— Перестань, не надо так шутить.

— А я и не шучу, сегодня ночью мы могли бы представить, что у нас есть общее будущее.

В этой девчонке столько же нахальства, сколько воздуха в легких, он смотрит на нее: не забывай о своем месте.

Но у нее никогда не было своего места, она всегда шла наперекор всему. Поэтому она сейчас и здесь.

Они ложатся рядом, разговорились. Он показывает ей, как устроена фотокамера, как настроить вспышку. Вытягивает руку, фотографируя их лица, утопающие в подушках. Аска, как обезьяна, поднимает вверх ноги, собираясь поиграть с ногами Диего. Последние дни показались ей особенно мрачными, унылыми. Она принимала участие в демонстрации, на лбу до сих пор остался символ мира — знак, похожий на отпечаток птичьей лапки, заключенной в круг, который Хайра, подруга, нарисовала ей кисточкой. Кричит, что этой ночью ей ужасно хочется развлечься. Диего уступает, поднимает свои длинные ноги, сгибает, их ступни соединяются. Они толкаются, лежа на кровати, потом опускают ноги. Он заглядывает ей в глаза, смотрит на губы, прислушивается, как дышит грудь.

Она фантастически красива вблизи, фантастически молода. Прежде чем поцеловать ее, улыбается, потом долго не отрывает губ. Рот Аски манит свежестью, как родник. Он слышит, как изменилось ее дыхание, ощущает вкус этого первого поцелуя, теперь он взял на себя инициативу, это одновременно и оглушает его, и наполняет стыдом.

Неловко себя чувствуя, он отрывается от ее губ, в нем нет ее циничности. Среди них двоих он — старше, и это его поймали в ловушку. Он бы хотел по-отечески дать ей несколько советов, как старший брат, как учитель в своей фотостудии. А вместо этого собирается сейчас заняться с ней любовью, девушка сама, по собственной воле предложила в аренду свое тело. И вот сложилась такая странная, эротичная ситуация, которая возбуждает и одновременно как-то унижает его.

Он вложил слишком много страсти в тот поцелуй, слишком много тоски. Глядя на нее, гладит ее по голове, вздыхая, думает о чем-то.

Маленькая сараевская плутовка шепчет:

— Я не нравлюсь тебе?

— Да нет, нравишься, и ты это знаешь. И может, я бы хотел для себя другой жизни, хотел бы закинуть рюкзак за спину и сбежать, как в юности. Стиснуть тело в темноте, принимая случайный дар за судьбу.

Диего попробовал бы, но сегодня он устал от банальной жизни, от безрезультатных стараний.

Он смотрит в темное ночное окно, думает обо мне, о нашем договоре.

Задается вопросом, как мы смогли так далеко зайти, отступить от своих принципов, соскользнуть в безумие, застывшее в себе самом, дальновидное.

— Ну что, начнем наконец делать этого ребенка?

Аска подтрунивает над ним сейчас, сняв платье. На ней колготки в полоску и черный бюстгальтер, плотный, как маленький корсет. Его глаза задерживаются на ее белом животе, напоминающем скалы, которые он видел у берегов Далмации.

Ее имя безрассудной овечки, из рассказа, который он никогда не читал... В шутку она подражает овце: бе-е, бе-е, Диего отвечает: бе-е.

— Закурим?

Курят в тишине. Намокшая бумага переходит из одних губ в другие, дым, проникая внутрь, смягчает. Она дотрагивается до его лица, бороды, которая у него плохо растет, редкая и колючая щетина, как плохо политый сад. Говорит:

— Надо побриться, сам знаю.

Отвечает ему:

— А мне нравится.

Проводит по бороде рукой, точно крохотными граблями.

Смотрит на ее белый высокий лоб. Живой портрет Мадонны, которую он видел в церкви, будучи мальчишкой, и наркоманки с площади Корветто, похожей на Мадонну. Он не знает, как рождается вкус к женщине, если она напоминает тебе кого-то, самую красивую мать.

Сейчас ему вспоминаются все те дурацкие свечи, которые мать просила его поставить за отца перед той Мадонной, слишком красивой и слишком мертвой, чтобы поднять на нее глаза.

Аска сосет мочку его уха, ему смешно. Он не умеет вести себя с женщинами, так никогда и не научился. Знает только, как жить со мной, знает, что надо засунуть кулак мне под мышку, потому что я люблю так засыпать.

Она говорит:

— Твоя жена смотрит на меня, как крестьянка, выбирающая корову для отела.

Он взглянул на нее:

— Только я не бык.

Нелегко быть с влюбленной девчонкой, парящей в мечтах. Он посоветовал ей не разбрасываться, сосредоточиться на музыке, на своем будущем, не заикливаться на тех ее легендарных психах, музыкантах-наркоманах. Однажды он фотографировал ее в пустой клетке зоопарка.

Внезапно нашла тоска, ненасытный голод. Он перестал фотографировать, сказал ей:

— Выходи из клетки, поживее.

— Я люблю свою жену.

Она засмеялась:

— Тебя будто приговорили, такой ты печальный.

У этой девушки в глазах уместается вся Босния с ее грустью, безумным юмором и даже шумом иных горных рек, которые бьются о каменистое дно как пощечины Бога.

Косяк кончился, оставив во рту сильный привкус; Диего улыбается, встает, пьет воду из-под крана. Думает обо мне, как я одиноко бреду по этим темным улицам. Идет по моим следам, дышит мне в спину. Хочет положить руку мне на плечо. Хотел бы быть в укороченных узких брюках-тореро и держать в руках зеленый стульчик из своего детства. Сесть посреди улицы и сказать: «Я здесь, ты хочешь меня?»

Ну что, ты ее трахнул?

Нет, у нас не вышло.

Ну и хорошо.

Я не бык.

Я знаю.

Бык — это ты, я лишь пыль у твоих ног.

С улицы доносится грохот, будто валяются ящики. С лестницы доносится аромат, в кухне уже что-то жарят на завтрак. Она говорит: «Сходи вниз, попроси пончиков, хочу есть».

Диего спускается по лестнице босиком, перепрыгивает через ступеньки, рубашка расстегнута, по груди — мурашки. Немного рассеян из-за выкуренной папироски... на душе легко и спокойно. Чувствует все свое тело, как давно уже не чувствовал. Всего два лестничных пролета — горсть мгновений.

Не успевает сразу заметить, что происходит в столовой: чашки все на полу, столы опрокинуты... в темноте передвигаются тени, пинают все подряд, орут. С первого взгляда все становится ясно. Входная дверь открыта... С улицы доносятся еще крики, глухая автоматная очередь, настолько близко, что кажется, его заметили, стреляют в него. Внезапная тишина, потом снова крики, снова выстрелы... закудахтали испуганные куры, опять шум, будто падают и раскатываются консервные банки.

Диего стоит в тени, он спустился, привлеченный ароматом, чтобы взять пончиков, собирался заняться любовью. То, что он видит в темноте, плохо, слишком трудно доходит до его расслабленного сознания. Он не

понимает, что происходит, думает, забрались воры. Делает два шага в направлении кухни. Винтовка приставлена к животу хозяйки гостиницы, лужа горячего масла, продолжающего шипеть, как кислота, растекается по черному полу. Теперь он разглядел маскировочные костюмы, капюшоны. «Война, война пришла сюда». Именно эта мысль стала его последней самостоятельной мыслью.

Точно плотину прорвало: вода, тяжелая, как металл, затопляет все. Потом его будто переключивает, срабатывает инстинкт, и, если бы в тот момент у него спросили, как его зовут и почему он находится здесь, он не смог бы ответить. Возвращается туда, откуда пришел, не поворачиваясь, спотыкаясь на ступеньках. Глаза врезаются в темноту, как прибор ночного видения. Держится за стену, поднимаясь, как краб, выползший на сушу. Прячется в первую попавшуюся нишу... клеенчатая шторка, как в ванной, отгораживает кладовку с метлами.

На какое-то мгновение кажется, что эта клеенка спасла ему жизнь, — он увидел первого убитого. На лестнице лицом вниз лежит мужчина, старик в трикотажных штанах... выстреливший ему в затылок парень, опустив капюшон, ел еще горячие пончики... Старик, подняв руки, молил: «Сыночек, сынок».

Кладовка со швабрами и метлами расположена на лестничной площадке, всего несколько ступенек отделяет ее от коридора. Сквозь щель между стеной и клеенкой Диего видит ту приоткрытую дверь. Несколько шагов, и он добежал бы до Аски, но он не может двигаться, мост сломан, эти ступеньки как прорванная плотина, тяжелый поток воды, отбрасывающий его назад.

Аска все еще ждет пончиков, кажется, она ничего не слышала: Диего видит, как она выглядывает. Надела платье... черное блестящее концертное платье. Ему не видно ее целиком, только ноги, кусок ткани. Диего хочет крикнуть, чтобы она закрыла дверь, спряталась, бежала через окно в лес. Открывает рот, пытаясь заговорить, а вместо этого сглатывает соленые слюны, голос пропал. Голосовые связки, как стальная проволока, как натянутые струны. Это инстинкт самосохранения... инстинкт, заставляющий молчать, даже не дышать. Потому что в это время мимо проходит черная орда, поднимаясь вместе с запахом пончиков, кипящего масла, разлитого по полу. Тяжелые, с толстой подошвой, вроде горнолыжных, ботинки на шнурках громяют вверх по ступенькам, подминая их под себя. Чья-то рука задевает шторку, где он прячется, вдавливаясь в клеенку.

Все происходит слишком быстро, вряд ли можно рассказать, как все

было. В памяти останутся лишь фрагменты, осколки образов, которые никогда больше не исчезнут, прилипнув к нему, как кожа. Страх действует словно анестезия — замораживает, расходясь по телу.

Он наблюдает за тем, что происходит, через щелку, зазор между шторкой и стеной. Видит мужчин, которые в коридоре делятся на группы, видит, как они стучат в двери... слышит выстрелы, падают стекла, отваливаются куски стен. Сейчас дошли и до Аски. Ему видны только ноги в полосатых колготках. Он слышит, как она кричит.

Аска впервые увидела волков, она пятится к окну. Спрашивает себя, как они здесь оказались, может, вышли из леса... похожи на смерть в балаклавах, закрывающих пол-лица. Говорят на том же языке, что и она, просят показать документы. Заполняют комнату телами, отяжелевшими от двойных патронташей, перекрещенных на груди. Один из них пинает единственный стул, который тут есть, садится на стол, широко расставив ноги; Аска решила, что командир — он, на его груди бляха с черепом. Он зажигает сигарету, курит, не разжимая рта, смотрит на Аску. Но Аска — овечка-бунтарка, и страх делает ее агрессивной. Она кричит им, чтобы убирались отсюда. Спрашивает, кто они такие, почему у них закрыты лица. Говорит, что вызовет полицию.

Командир поднимает балаклаву, открывая молодое квадратное лицо. Светлые стеклянные глаза. Поворачивается к толстяку, стоящему рядом, чтобы вместе посмеяться.

Диего видны только шаги, ботинки, над которыми заканчиваются маскировочные брюки... он видит, как все летит на пол: ящик, стул, на котором висел его пиджак. Они бьют девушку; Диего слышит, как она кричит, защищаясь. Сейчас только жалобно стонет. Упала на пол, он видит соскользнувшую руку, ботинок, с силой прижавший эту руку к полу. Слышит голос, приказывающий ей подняться.

Диего должен выйти, должен защитить ее, должен сказать: «Я итальянский фотограф, она моя девушка, оставьте ее в покое». Может, достаточно будет напугать их журналистским удостоверением, которое осталось в кармане пиджака. Нужно только добраться до того пиджака. Представляет, как он выходит, берет Аску за руку, размахивая пропуском журналиста, как крестом.

Ее спрашивают, что она делает в этой гостинице, забрали документы, обозвали мусульманской шлюхой.

«Вставай, мусульманская шлюха».

Аска поднимается. Рука болит, будто ее проткнули гвоздями, не может ее сжать. Уже поняла, что никакой полиции нет и никакие законы больше

не действуют, что это и есть война. Только теперь осознает, что происходит снаружи... выстрелы с улицы, шум из других комнат, крики... понимает, что в коридоре тоже выключен свет, скорее всего, перерезаны провода. Слышит жалобы других людей, попавших в ловушку, как и она: сонных, их застали врасплох, вытащив из нормальной жизни окраинного района. Она не знает, бандитская ли это вылазка, или уже захвачен весь город. Это как если гаснет электричество: у всех так же или только у тебя? Что сейчас с ее подругой Хайрой, бабушкой и братишкой? Ощущает, как ее восприятие расширяется, растягивается, расходится вдаль на километры, как у животных... сейчас она должна воспринять весь мир, чтобы не чувствовать себя отделенной от него в этой комнате... в этом кошмаре, грязном и непонятном. Чувствует запах пончиков, смешанный с человеческим запахом. От них воняет землей, потом, алкоголем. Они, наверное, тоже боятся. Нервничают, ходят туда-сюда, открывают двери пинками... Аска слышит женские крики, похожие на хриплое мяуканье. Возможно, это студентка из Зеницы, которая недавно шутила, разговаривала с кем-то в коридоре, они приехали на поезде принять участие в демонстрации. В коридоре что-то происходит, кого-то тащат за волосы. Аска не задает себе никаких вопросов, картинки пролетают как будто из другого мира. Она знает, что не закричит. Она свободная девушка, выросшая в свободном городе. Все еще думает, что с ними надо поговорить и тогда они уймутся. Они ведь все такие же молодые, как и она, приблизительно ее возраста.

Спрашивает себя, куда делся Диего, может, его задержали. Ждет, когда он появится. Он иностранный фотограф, а эти гады боятся международной прессы.

Командир держит в руках какой-то лист, кажется карту города, смотрит на нее, переговариваясь о чем-то с толстяком. Переводит взгляд на Аску, просит поиграть на трубе. Аска пробует, она не чувствует пальцев, и в груди больше нет воздуха, но она вдвует, сколько есть, в латунный клюв.

Диего слышит звук трубы, представляет себе надувающиеся, как у рыбы, щеки Аски.

Она приготовилась сыграть что-нибудь веселое, небольшую симфонию, полную резких, высоких нот, как в старых немых фильмах. Она стоит перед волком, словно овечка из рассказа Андрича... та овечка тоже борется далеко от стада. Пока еще надеюсь, что ей достаточно будет сыграть, чтобы удержать на расстоянии волка. Хотя уже знает, что так хорошо у нее не получится.

Она видит свое будущее, каким она его себе всегда представляла... Сцену, наполненную клубами света и дыма, парящими, как на концерте

«Нирваны».

Итальянский фотограф похож на Курта Кобейна, мысленно рисует себе его шею... самое приятное воспоминание, которое возникает у нее: недавний поцелуй, его лицо, так близко от нее, его улыбка. Он провел ей по губам большим пальцем после поцелуя, словно хотел их обозначить. Может, тоже почувствовал влечение к ней.

Командир велит убрать трубу: уши режет. Это правда, у овечки не осталось дыхания, один визг. Весь воздух перетек в страх. Командир приказывает ей раздеться.

Диего припал к щели. Видит, что упала труба. Видит Аску, прыгающую на одной ноге в полосатых колготках. Она споткнулась, и он видит, как ее поднимают.

На кровати лежит автомат Калашникова или базука, кто его знает. Он спрашивает себя, что это за комната, не обманывают ли его глаза? Ей приставили автомат к груди, выстрелили в стену, чтобы стала более сговорчивой; она замерла, глядя на них. Она хотела бы послушно раздеться... но сейчас не в силах понять, что с ее руками, ладонями. Они стали похожи на весла гниющей лодки. Она должна добраться до крючков, ткань прилипла к телу от пота, который течет повсюду, застилает взгляд. Две руки, протянувшись, рвут на ней лифчик. Из-под разорванной ткани вылез сосок, и Аска не понимает, он действительно ее или какой-то другой женщины — матери, подруги.

Понимает, что спасения не будет, смерть пришла за ней. Стоит под дулами автоматов, направленных на нее. У нее не возникает желания сопротивляться, она хочет жить. Она все осознаёт, хотя и не может двигаться, не подняла даже руки, чтобы защититься. Чувствует, что это все уже происходило, это не случайность, для них это не впервые. Не возбуждены, никакого волнения, привычные движения. Оскорбляют, бьют по лицу без особого пыла, будто устали.

Точно для них это что-то вроде постоянно повторяющегося ритуала, сатанинская трапеза, надоевшая дьявольская пища.

В деревне, когда она была маленькая, Аска видела кастратора — человека, приходившего холостить быков. Небольшого роста, в жилете, как у врача, с собой он всегда носил складной маленький стул и чемоданчик. Возился под быком, увечил его... измученное животное издавало дикое мычание. Кастратор никогда не менялся в лице. В конце дня забирал деньги и уходил все с тем же грустным выражением лица, потным и грязным затылком, и у него на губах оставались следы жареных бычьих яиц, которыми его угощали деревенские женщины.

У этих парней та же жестокая сдержанность, та же печальная неотвратимость в движениях. Где они натренировались? На чьих телах?

Она чувствует влагу, стекающую по ногам, мечтает оказаться на полу и превратиться в лужу вместе с мочой. Она хочет именно этого: выйти отсюда, стать жидкой, утечь под кровать, просочиться в деревянный пол. Совсем недавно она была свободной девушкой. У нее на лбу нарисован пацифик — символ мира; один из мужчин плюнул ей на этот символ, и плевков стек на глаза. Она спрашивает себя, куда делся, почему закончился мир. Совсем недавно она считалась самой смелой девушкой среди всех... сейчас от нее осталась только дыра, кратер, в котором, кроме страха, ничего нет. Неужели все, что сейчас происходит, происходит именно с ней? У паники кислый вкус желудочного сока. Как будто все внутренние органы кто-то подталкивает вверх к горлу, строя преграду. Внизу она уже не чувствует ничего, будто ей ввели поясничную анестезию... Руки, хватающие ее, пальцы, вдавленные в мясо, — кажется, все это происходит не с ней, с кем-то другим.

Ее опрокинули на кровать, где она совсем недавно в шутку боролась с ногами Диего. Патронташи валяются на нее вместе с запахом железа и смерти.

Диего не слышит больше, чтобы Аска играла на трубе. Он прижался к стене между метлами... одна, самая жесткая, из сорго, оцарапала ему щеку. Запах плесени, старой грязной соломы. Он видит, как Аска падает, с трудом передвигаясь в спущенных колготках, как в мешке. Он должен выйти из своей норы со швабрами, наброситься на эти рожи в маскировочных костюмах, сорвать капюшоны с их голов. Но знает, что не выйдет. Может, он вообще не выйдет живым из этой ночи, но совершенно очевидно, что он не сможет вытащить себя из этой дыры в стене. Спрашивает себя, так ли выглядит его смерть, его гроб? Расстреляют ли его прямо через шторку, как в фильмах?

Он с детства привык прятаться.

Когда отец бил мать, он убегал, нырял в любую щель и тихо сидел там, сжавшись в комок, закрыв уши коленками. Так он чувствовал себя спокойно. Писал в штаны, не замечая этого. Смотрел на маленькие желтые лужи на полу. Уходил в себя, думал о чем-то хорошем. Выходил из своего укрытия только тогда, когда все вставало на свои места, когда мать опять взбивала яйца на кухне. Улыбался, давая понять, что ей нечего стыдиться и мучиться, потому что он ничего не видел, только что-то хорошее.

Теперь что-то хорошее — это губы Аски, которые он целовал не так давно, свежие, как родник. Оторвался от них из-за стыда, увидев кусочек

белоснежного тела, груди, как белые булочки, и почувствовал себя как в детстве: когда ему снился приятный сон, он с головой накрывался одеялом, чтобы сон не исчез.

Ему видно ботинок на кровати и откинутую, точно крыло курицы, белую ногу. Представляет себе фотографию. Рывки белой ноги и черный ботинок. Овечка и волк. Теперь он знает, что не может выйти, потому что стал свидетелем. Живым его уже никто не выпустит.

Сердце стучит, будто кулак, колотящий в дверь, которую никто не открывает. В дверь мужества, которая сегодня перед ним захлопнулась.

С кровати ее стаскивают на пол. Диего видит тело, которое волокут, как тачку, еще отступает назад, в нишу, где жизнь захлопнула свой капкан. Вначале ему казалось, что эта шторка спасет его, теперь он понимает, что лучше было сразу сдохнуть на лестнице. Он закрыл глаза, слышит повторяющиеся удары... тачка, которой бьют о стену.

Аска вспоминает мать: в последний раз, когда она видела ее живой, мама тушила голубцы. Аска вспоминает запах, который стоял в кухне. Брат смотрел MTV, она задержалась поужинать с ними за маленьким столиком перед телевизором... им было хорошо вместе. С тех пор как Аска ушла из дому, мать стала более нервной, несдержанной. В тот день она, кажется, успокоилась. Оставив немного денег, Аска обняла ее сзади за талию.

Аска чувствует запах той нежности. Чтобы не умереть, она выбралась из своего тела. Слышит далекий шум, где-то стучатся детские воспоминания. Вот мост, который она переходила, когда шла в музыкальную школу. Плуг, бороздящий землю, лезвия, сдирающие дерн. Она знает, что поле — ее тело, а шум — от головы, бьющейся о стену, в которую ее толкают.

Когда она заявила домой разодетая, как панк, отец перестал разговаривать с ней. Она начала работать, чтобы ни от кого не зависеть. А потом ей выпала удача — сдать в аренду живот в обмен на гору немецких марок. Труба валяется на полу. Спрашивает себя, где та редкая борода, где печальные глаза молодого мужа... может, смотрят на нее.

Много лет назад Диего был наркоманом. К нему возвращаются страшные сцены: тела на асфальте, пена изо рта. Однажды с ним тоже такое случилось, и он чудом выжил благодаря тому, что врачи приехали вовремя, поставили укол прямо в сердце. Прижался к метлам. Ему кажется, он все еще лежит на том тротуаре у вокзала Бриньоле.

Вдалеке дергается белая нога.

Аска распростерта на полу между кроватью и окном. Она не лишилась даже чувств, ей не выпало такого счастья. Все время была в сознании, зло

стекало в нее без всяких скидок. Он и пальцем не пошевелил, чтобы встать на ее защиту. Не имело смысла подставлять себя под пулю, чтобы ему выстрелили в голову, в рот. Он еще сильнее прижался к пыльным швабрам, чтобы не видеть, зажал руками уши, чтобы не слышать криков.

Светало, когда волки ушли, убрались с патронташами назад в горы на своих джипах, последние выстрелы прозвучали на заре.

Диего видел, как тени проходили вереницей... Аска еще могла ходить, ее провели мимо него, подталкивая вниз по лестнице. Ему показалось, что она снова была в бархатном платье, с трубой. Может, все, что он видел, ему приснилось?

Диего выждал еще несколько минут, до наступления мертвой тяжелой тишины, чтобы она поглотила все крики, все зло, которое только что свершилось, вырвавшись из-под земли. Он ощущает насилие в собственных костях, в анальном отверстии, в селезенке. Все у него внутри сместилось, удары плоти отдаются в мозгу.

Он ничего не сделал, палец о палец не ударил. Когда Аска прошла мимо него, ее тело показалось ему окаменевшей лавой.

Выходит из своего укрытия, из-за шторки, укрывшей, но не отгородившей его от зла. Его не убили, но он и не совсем жив. Ноги не гнутся, глаза хотели бы выпасть, как камни. Скользят по изображениям, которые не запечатлеваются, проваливаясь в желудок, как в водосток. Он заглядывает в ту перевернутую вверх дном комнату, заглатывает запах, оставшийся там, — настоящее пекло органических и никотиновых испарений. Простыни со следами ботинок, опрокинутый стул, комья грязи. Он берет свой пиджак, фотоаппарат и уходит.

Слышит пение. Это Анела внизу, хозяйка гостиницы для студентов и коммивояжеров, превратившейся в бордель для людоедов. Женщина расставила столы и теперь, нагнувшись, собирает осколки чашек с пола. Она не хочет выбрасывать их, протирает о передник и выставляет в ряд на прилавок, как археологические находки.

Диего, точно помешанный, присутствует при сборе черепков; женщина, баюкая свое безумие, умиротворенно поет, словно крестьянка, подбирающая колосья.

Спрашивает ее, где теперь искать девушек, куда их повезли.

Женщина пожимает плечами, она не знает. Ей самой мужа хоронить, того мертвого старика, что лежит на лестнице. Анела надевает косынку, и они вместе выходят во двор. Все курицы дохлые, их тушки валяются врассыпную на лужайке, в них стреляли ради шутки, испытывая новое оружие. Диего, застыв, смотрит, как ветер шевелит перья.

Побрел, спотыкаясь, в чернильно-фиолетовом свете морского дна. Зашел в первое попавшееся по пути открытое помещение, не понимая, то ли это кинотеатр, то ли церковь. Увидел лишь темные лавки, лег на одну и заснул. Ему снится какой-то сон. Снится, как героин поднимается по венам и наступает эйфория. Снится та верхняя точка, из которой кровь разливается по всему телу, нервы становятся послушными нитями... шипы выходят, кожа раскрывается, расширяясь мягкими чешуйками пор... и теплое море заливают каналы. Улетучиться как дым — вот оно, что-то хорошее.

Аску везли некоторое время на грузовичке, потом ее высадили. Она не знала, что это было за место, похоже на старое заводское здание. В городке, где она жила, дети дразнили ее *Mrkva*, Морковка, из-за цвета волос. Родиться с таким цветом — уже судьба, ты как треснувшая тыква, привлекающая в поле птиц.

Она дотрагивается до ног, чтобы унять дрожь, но мышцы шкворчат, точно колбаски на сковородке.

Она не чувствует боли, какая-то жидкость стекает откуда-то с головы на шею, за шиворот. Ей хотелось бы видеть лучше, чем она видит, но веки похожи на двух мышей, шевелящихся в мышеловке.

Другие женщины стонут, она — нет. Ее заставляют идти, толкая прикладами автоматов. Она видит фабричный корпус, серебристые станки.

Их закрывают в длинной комнате, с огромными окнами в ряд. Обессиленные, они соскальзывают на пол, засыпают, сжавшись в комок, сидя на корточках, на собственных лапах, как курицы.

Аска спрашивает себя, где большой мир. В какой стороне музыкальное училище, кафана, куда она заходила позавтракать. На следующий день, когда уводят первую женщину, она встает, надеясь, что позовут и ее. Она хочет кричать, заявить о том, что сделали с ней. Хочет поговорить с военным, встретившим их, тем, в безукоризненной форме, по приказу которого им принесли галеты и суп.

Когда спустя несколько часов женщина возвращается, у нее течет носом кровь, туфли скользят, как если бы они были смазаны оливковым маслом. Ни у кого не хватает смелости подойти, спросить, что там за дверью. Если вначале они были все вместе, как отара овец в темноте, в последующие дни они мало-помалу разъединяются. Ищут углы, чтобы спрятаться в этой гигантской комнате. Но нет такого места, где можно было бы укрыться, для этого надо выйти, просочившись сквозь стену, а чтобы сделать это, нужно не иметь тела.

У Аски есть труба. Она прижимает ее к груди, к сердцу. Играет.

Вкладывает силы, которых нет. Хочет утешить женщин. Хочет выбраться отсюда.

Ее просят прекратить. Кидают чем-то.

Военные сваливают у стены коричневую кучу одеял. В глубине общей камеры есть туалет, Аска ждет своей очереди, чтобы умыться. Вода — это все, чего она хочет. Ее охватывает глупый ребячий восторг, как когда она купалась в реке с друзьями, прыгала в ледяных лужах, глядела сквозь зелень струи на свою белую прозрачную кожу.

Из щелей сверху просачивается свет, тонкие лучики, в которых пляшут пылинки. Изнутри не слышно никакого шума машин, города. Она разговаривает с женщинами, среди них есть сельские жительницы, но в основном образованные горожанки, закончившие институты. Никто из них не представляет себе, что такое возможно, что они в самом деле попали в лагерь для пленных.

Аска сейчас по очереди с другими женщинами готовит на кухне. Когда она играет на трубе, мужчины отпускают ей комплименты, они счастливы оттого, что появилась музыка, хоть какая-то радость в этой унылой комнате испуганных овец, начинающих уже вонять.

Ночью за ними приходят. Аска прячется под одеялом. Уводят по две-три женщины одновременно. Когда они возвращаются, никто не смотрит на них. Все уже поняли. Надо тут же обо всем забыть. Их приводят на рассвете. Они не хотят, чтобы на них смотрели. Прихрамывая, бредут на толчок. Уводят и ее, она выделяется своими волосами — красную рыбку легко выловить. В темноте глаза разглядывают ее, она слышит смех.

Аска стойко переносит все. Потом уводят и самую маленькую, девочку лет двенадцати. И девочка не возвращается.

Аска продолжает играть, она убеждена, что в музыке спасение. Она больше не спрашивает себя, где ее жизнь, где молодой итальянец, где кафана, куда она заходила поболтать с друзьями, играла джаз. Ее губы высохли, покрылись соляной коркой. Она спрашивает себя, где девочка, которая, когда мужчины в капюшонах выбрали ее, вскочив, пошла за ними с той же готовностью, с какой в школе выходила к доске, когда ее вызывали учителя.

Иногда ей приказывают играть голой. Тогда она вдует в трубу весь свой страх. Парень, казавшийся самым приличным, с родимым пятном под глазом, наполняет ее рот, точно ночной горшок, тушит о ее затылок окурки, как будто это пол в баре.

Приходят за ней еще и еще.

Она понимает, почему маленькая девочка не выдержала. Тело.

В тело Аски словно ввели анестезию. Глухая боль отдается где-то в другом месте. Кажется, проходит через другое тело, рядом. Как молния, которая бьет в землю, а до тебя доходит только разряд.

Проблемы наступают позже, в часы, следующие за насилием. Когда замечаешь, что не можешь больше возвратиться в свое тело.

С тех пор как маленькая девочка не вернулась, для Аски существует только один свет, исчезающий, как будто закрывается заслонка в печке, где она пряталась в детстве. Прекрасное место — тебя там никто никогда не найдет, — но и страшное одновременно: она боялась, что не сможет выбраться оттуда, а мать, не заметив ее внутри, затопит печь. Смотрит на огонь, взбирающийся по ее коже, как по фитилю, проникающий внутрь.

Музыкальные ноты мелькают перед ней, низвергаются с неба, пока ее насилуют... как волосы, падающие с расчески.

Аска не слышит больше их голосов, слова все время одни и те же. «Мусульманская шлюха, турецкая сука, позвони Изетбеговичу, позови своего президента, спроси его где...» — смеются, отпускают шуточки.

Почему они все время называют ее мусульманской шлюхой? Она уже несколько лет не заходила в мечеть. Она девушка современная, трубачка, изучала сольфеджио, композицию, говорит на итальянском, английском, немецком, принимала противозачаточные таблетки.

Они все прозаичны, и все прозаично. Нарастание насилия всегда более или менее одинаковое. Есть такие, кто делает это быстро, один новенький парнишка, скорее всего, не хочет насиловать, даже смотреть на нее не может, но боится других. Потому что они должны держаться вместе, в одном и том же хлеву, на одной и той же овце. Есть пьяные вдрызг, и есть несколько таких, которые, была бы их воля, убили бы ее, и все, свернули бы шею. Но кажется, им дан четкий приказ.

Одна из женщин видела девочку, вернее, оболочку, оставшуюся от нее. Она слышала, как кричал командир. Был в ярости, бранил своих слишком распутившихся подчиненных. Потом простил их, велел выбросить оболочку в реку.

Ночью Аске сняты длинные носы из сероватого латекса, какие они делали в школе во время уроков труда, — мальчишки надевали их на Новый год. Носы отделяются от нитки, полетав недолго, как летучие мыши, опускаются на плечи мужчинам, окутывают их, точно пальто или шинели. Эти бледные мужчины, возможно, уже мертвы. Может, они и есть смерть. Кроме тех пальто да еще длинных черных носков до колен и блестящих туфель, на них ничего нет. Встает заря, леденящий свет дуэли. Все мужчины — судьи, которые встали, обнявшись, в круг, точно летучие

мышь. Она — в центре, как на новогоднем вечере, когда мальчишки в карнавальных костюмах, с носами, водили хоровод вокруг выбранной девочки, крича: «Следующая станция, следующая станция...»

Аска знает, какая будет следующая станция. Она пытается повеситься, но у нее ничего не выходит, потому что вместо веревки только порванные колготки.

На трубе она больше не играет. Парень, любитель делать комплименты, с голубыми, блестящими, как стекло, глазами, попользовался инструментом в ее теле.

Теперь она может умереть, как та девочка.

Тело. Тело как мешок, вывернутый наизнанку для просушки, чтобы сделать из него дорожную сумку. Тело — это длинная цепь страдающих тел. Она спрашивает себя, куда делись голубцы, которые готовила мать, и очки брата.

Потом наконец ее оставляют в покое, больше не вызывают. Она тихо перемещается по кухне.

Диего так и не смог. Всегда мог, но с той ночи уже не мог найти что-то хорошее. Он вернулся в Италию. Искал в каждом стекле, до которого дотрагивался. Однажды несколько часов фотографировал банку тунца... видел рыбу, пропитанную маслом, ее розовое мясо. Думал о том, как жила эта большая рыба прежде. Возвращаясь домой из аэропорта тем вечером, заехал на морской вокзал в Остии. Тряхнул стариной, достал прежнее зелье, зная, чьи глаза искать. Вколол себе героин стоя, опершись спиной о выцветшую от морской соли рекламу «Campari».

Вернулся в тот ад. Иногда работники Красного Креста ездят с проверками по лагерям, тогда тюремщики приводят все в порядок, пряча женщин, которым хуже всех досталось. Телеоператоры снимают человеческий скот, такой же истощенный, как в концлагерях Второй мировой. Теперь Диего знает, что она там. Ему удалось проникнуть в лагерь. Он подружился с одним из надзирателей, парнем с родимым пятном под глазом. У него с собой поляроид. Отличная была идея вернуться в Сараево с кучей массивных квадратных коробок. Он вез их для детей, те обожают наблюдать, как блестящий язык вылезает из щели, точно изо рта. Даже и представить себе не мог, что они так сильно понравятся четникам из лагеря. Все теперь хотели поляроидную карточку. Позируют в своих мундирах, с поднятыми балаклавами, черными длинными бородами. Рассматривают мгновенно вылезавшие фотографии, пишут что-то внизу, на белой полосе: имя, несколько слов для девушек или матерей. Диего теперь так же быстро делает снимки и «Лейкой». Четники стали доверяться

ему, позируя, рассказывают, как тяжело жить в горах. Они тщеславны, им это важно. Им нравится объектив, нравится, что на них смотрят. А Диего смотрит на них. Командир тоже позирует, крупный мужчина с приятным лицом и голубыми, цвета моря, глазами. Он фотографируется один и в окружении своих ребят с автоматами. Интересуется, достаточно ли света. Диего тянет время, выставляя нужную выдержку. Командир, чтобы выглядеть лучше на фотографии, вытягивает шею, потому что единственный его недостаток — коротковатая шея. Все ведут себя послушно, встают, куда он скажет, с ножами, с одиночеством убийц. Диего фотографирует дьяволов, шутит с ними, смеется. Их лица остаются на пленке.

Его приглашают на ужин. Женщины двигаются вокруг стола как медузы, подают суп и гуляш из баранины. Он замечает ее, узнав по волосам. Не оборачивается, склонившись над тарелкой. Остается только ощущение вращательного движения — это она мотает головой, как заблудившаяся планета.

После ужина командир выдвигает ящик, достает оттуда немножко хорошего порошка, они вместе нюхают.

Командиру нравится его поляроид, ультрасовременный, цветной. Диего снимает и часы с запястья — хронограф, показывающий время в любом часовом поясе. Он кладет это все на стол командира с голубыми, цвета моря, глазами. И просит об услуге, об обмене: Морковку, пленницу с рыжими волосами. Они знают ее, еще бы им не знать! Молодой генуэзец кивает на их смешки и жесты. Открывает рюкзак, вытаскивает десять тысяч марок в оберточной бумаге, кладет их рядом с фотоаппаратом поляроид и часами. Улыбается.

Ее выводят на улицу, заводят в ту комнату. Обмен произойдет там. Аска в болтающейся на ней куртке. Диего, подняв глаза, кивает: да, она.

Аска не сразу узнает его, глаза сдавили мышцы. На секунду проносится мысль, что это новый палач. Он ведь тоже изменился, его козлиной бородки больше нет, вместо нее теперь длинные колючие нити, похожие на обгоревший куст.

Они выходят из лагеря как ни в чем не бывало. Пересекают серебристую площадку, выходят за ворота. У нее не хватает сил ровно сидеть на мотоцикле, по дороге она несколько раз теряет сознание, даже ветер не может привести ее в чувство.

Врач-мусульманин — человек невысокого роста, с мертвенно-бледным лицом, в странном, смешном пиджаке, с коротковатыми рукавами, как у ребенка, выросшего из своей одежды. Лысая голова избороджена венами,

которые, когда он говорит, раздуваются и кажутся пленеными змеями. Кивает, тянет вниз манжеты рубашки. У Аски несколько сросшихся трещин, продырявлено среднее ухо. Что касается всего остального — внутренних повреждений нет, селезенка тоже на месте. Она сильная женщина. Доктор опускает глаза, разрывы зарастут со временем, как после родов.

Не хочет брать деньги, отодвигает руку Диего, опуская голову. Капли пота блестят на его темном черепе, разрисованном толстыми венами. Говорит, Бог не должен прощать никого. Ему стыдно, что он принадлежит к человеческой расе. Когда сообщает, что Аска беременна, Диего не понимает, и ему надо повторить.

В кармане у него фото пленка, нащупывает ее рукой. Сдавливает вспотевшей ладонью.

Диего ничего не знает о женщинах, которых использовали как траншеи, засовывая в них винтовки. Доктор знает. Это и есть война — бросать в землю злое семя.

Аска на пятом месяце беременности, аборт делать нельзя.

Врач-мусульманин говорит, Бог не простит и детей.

Это старый мусульманин, на его пиджак пришит полумесяц со звездой. Он лечит овечку. Иногда разворачивает маленький коврик, который у него с собой, и молится, сгибаясь до самого пола. Кажется, желает, чтобы Бог его поглотил.

Диего смотрит на это распластавшееся старое тело и спрашивает себя, а где его вера. Ему тоже хотелось бы иметь подобное утешение.

Скручивает косяк. Задумывается над легендой об Ироде, она особенно нравилась детям, учившим катехизис, и ему тоже, потому что наводила ужас. Он видел, как раздуваются вены на лысой голове врача. Сейчас он мысленно представляет, как они сползают с черепа, точно изгибающиеся змеи, поднимаются в детскую колыбель, привлеченные запахом молока, обволакивают шею младенца и душат его, потом не спеша возвращаются на голову доктора, сытые и молчаливые.

Аска лежит, не двигаясь, в кровати, иногда чувствуя на себе руки, дезинфицирующие раны, лечащие ее. Далекое руки кажутся бабочками на гнилом плоде. Ее тело перестало принадлежать ей, стало чужим, дремлет вместе с ней, вот и все.

Тело как планета, блуждающая в космосе, проваливается из одной пустоты в другую. Тело как забытое ведро, в которое собирается ржавая дождевая вода, стекая с крыши. Тело как черная дыра, в которую попадает ракета, шаттл или спутник, входящий через вагину, а выходящий через

голову, оставляя за собой пламенный шлейф вечного огня. Тело как множество точек, стянутых воедино клеток, борющихся друг против друга.

Доктор вкальвает ей лекарства, успокаивая, облегчая боль, но они ей не нужны, она все равно ничего не чувствует. И ей неинтересно, зачем ее держат здесь, почему не дают подохнуть спокойно, как какому-нибудь дикому зверю в логове из листьев.

Чувство такое, будто ее живот освобожден от бремени и в то же время находится в ожидании. Боль — это мембрана, которая давит, как плацента.

Диего варит бульон. Рот Аски точно открытый ящик, клюв мертвой плоти... бульон течет по подбородку, как вода в фонтане.

Диего играет на гитаре, а свет исчезает в ночи. Может, музыка принесет ей успокоение.

Тело Аски чуть шевелится, изредка вздрагивает, чуть-чуть, как листва, перед тем как облететь с дерева.

Быть живым — это мука. Лучше самому мучиться от боли, чем находиться рядом с ней. Свеча на полу освещает призраков, перемещающиеся тени. Он пальцем не пошевелил ради ее защиты, сделал шаг назад, чтобы только не видеть, зажал уши, чтобы не слышать криков.

Сейчас он не может оторваться от этого тела. Медленно моргает в темноте. Черное тело в кровати похоже на гору Игман ночью. Разорванная кожа Аски, немея, восстанавливается. Заживая, стягивается. Края плоти соединяются.

Ужасно начинать чувствовать свое пробуждающееся тело, когда оно возрождается, как все в природе, как рассвет, как трава. Мыши покинули ее глаза, опухоль начинает спадать, черные синяки постепенно желтеют. Аска видит джинсы Диего, чувствует его дыхание.

Пьет свою первую чашку бульона. Диего приподнимает, поддерживает ее за голову, она не может смотреть ему в глаза, не хочет. Ей стыдно за себя, за то, что с ней сделали. Ее глаза всегда опущены.

Вместо губ — корка; Диего ждет, когда корка сойдет. Смотрит на рыжий чуб, выглядывающий из-под кокона простыни. Ждет того дня, когда она спросит: «Где ты прятался?»

У Диего есть отснятая пленка. Палачи в кармане.

Он знает, что зло собирается вместе, сбивается в кучу, оно трусливо и не выносит одиночества. Хочет, чтобы на него смотрели. Он тоже смотрел. Тоже насиловал.

На затылке Аски остался кратер от затушенных сигарет. Это глаз ее мучителя, смотрящий на нее, — подарок, который обязательно исчезнет. Потому что, к счастью, коже присуща способность к регенерации.

Она не поняла, что беременна, потому что кровяные выделения были у нее часто. Теперь она хочет сделать аборт, это единственное ее желание: извергнуть слизь дьяволов.

Врач-мусульманин сказал: «Бог и детей не простит».

Она выплюнет его, так начертано. Такова воля судьбы. Это прописано в венах старого врача и на скрижалях тела. В древнем, как Коран, законе.

Перед мечетями она останавливается, подходит к умывальням, моет руки, затылок, с той черной пуговицей. Той дырой. Вспоминает слова имама, которые слышала, когда в детстве ходила в маленькую мечеть с родителями и братом.

«Настанет Судный день, когда погребенная заживо сама расскажет, почему ей выпала столь ужасная судьба».

Сейчас трубачка-панк, разуверившаяся в земных законах, цепляется за небо, населенное пророками. Просит Бога умертвить дьявольскую слизь. На открытых участках она замедляет шаг. В надежде, что один из снайперов выстрелит ей в живот, что сам четник освободит ее от грязной крови.

Диего принес ей новую одежду: турецкий казакин кремового цвета, который она застегнула на все крючки. И теперь похожа на девственницу.

Он тоже боится. Обычно мужчины не знают, что происходит в теле женщины. А он знает все, он провел много времени в центрах лечения бесплодия. Он точно знает, как происходит оплодотворение, наблюдал за процессом в микроскоп. Видел, как сперматозоид скользит в яйцеклетку, в пузырь, который, сложившись, заглатывает его, точно медуза. Видел деление клетки — две половинки сердца, две косточки мушмулы.

Он смотрит на отдыхающую Аску. Слышит шум умножения, происходящего в ее теле. Как далеко это от холодной чистоты стекла... Он думает о том завитке, о яйцеклетке, пронзенной тысячами черных копий. Видит завиток, отделенный от скалы, колышущийся в морской глубине.

Видит зачатие в темноте. Насекомых друг на друге, в одной и той же дыре.

Смотрит на могильную плиту тела, которое, умирая, расцветает.

Ему бы забыться в немой неотвратимости боли Аски, думая, как она и мусульманский врач, что формирующееся существо не заслуживает внутриутробных вод жизни.

Он фотографировал лужи, не зная точно зачем, — возможно, потому, что он родился в городе моря и дождя, ямок, которые то наполняются, то осушаются. Его всегда притягивали эти канавки, где вода дремлет, мрачная и блестящая, вобрав в себя дух света со всеми его оттенками. Вздываясь

изнутри, как жидкое сердце. Он склонился, замороженный глазами, смотрящими на него, и сам не мог от них оторваться. Не то чтобы колодцы, скорее, неглубокие отверстия. Планеты земли, прохудившиеся воды. Он учился на лужах. Они стали для него школьной доской, ночным небом, пропитанным многовековым свечением.

Он никогда не считал себя волшебником, он лишь фотографировал маленькие городские болотца. Мальчишка, он не верит в глубину, ему всегда нравилось чувствовать себя немножко дурачком.

Сегодня дождливая ночь, грохот гаубиц смешивается с рокотом грома.

Выглянув из окна, он видит, что ночь прошла, дождя больше нет и на небе появились две радуги. Он никогда не видел две радуги сразу. Одна, прямо перед глазами, в двух шагах отсюда, источник света, раскрашенный красками, проходит через небо безукоризненно ровной аркой... другая — поменьше, не такая интенсивная... меньшая радуга, как и он. Ее цвета размыты, и она — бледное отражение первой.

Маленькая радуга, которая вот-вот исчезнет, взволновала его.

Он думает о ребенке. О том, что мы не смогли завести его наилучшим способом, сильно любя друг друга. Думает о ребенке в животе у Аски, который попал туда наихудшим способом. Думает, жизнь полна цинизма. Сейчас два несчастья сблизилась. И понимает, что это единственный возможный план.

Он не случайно вошел в ту комнату. Знает, что его поймали. Выудили, как рыбу, тунца из банки.

Он раздосадован, но это не важно. Он помнит маленькую блеклую радугу. Зеркало правды, в котором отразился Бог.

Парень не уверен, а вдруг безумный ужас поселился в податливой структуре мира? И вдруг это безумие и есть ребенок, вошедший через черные двери? Он тоже боится, что у ребенка окажется три головы, пять хвостов и злое сердце. Он тоже боится, что зло не может породить ничего, кроме зла. Но он готов рискнуть.

Может, ребенок станет вознаграждением.

Он отдаст ей условленную сумму, даже вдвое больше той. Скажет жене, что ребенок от него. И Аска снова начнет заниматься музыкой.

Аска чувствует себя лучше. Как-то утром она сама села в кровати. Он принес ей персики от папы Армандо, которые я привезла из Рима. Откусывает, и сок течет по подбородку. У персика вкус настолько нежный и неожиданный, что становится плохо. Воспоминания прошлого, которые ей больше не нужны.

Он говорит ей: «Ты должна вернуться к музыке, к пению». Сколько

мужества она могла бы вложить в свой новый голос! Соединить крики таких же, как она, женщин со скотобойни. Девочки, которая так и не вернулась. Сплести из них белую нить, которая отделила бы тьму от света.

Ее теперешняя жизнь — как навоз в стойле, так тиха, что она забывает о другой жизни внутри ее. Она не хочет уезжать из своего города. Раньше она только и думала, чтобы уехать, а теперь хочет остаться. Ей нравится находиться в плену у улиц, нравятся люди, глядящие в лицо своей обезумевшей судьбе.

Еще один образ из Корана, Шайтан, проклятый Богом за то, что не пожелал преклонить колен перед человеком, сделанным из грязи.

Однажды она сидела на скамейке. Нервный телеоператор крутился среди развалин, пока она дремала, разомлев на солнышке. Не замечала даже, как ей подставляют микрофон к самому рту.

Журналист спросил: «Какие надежды она питает относительно будущего своего и своей страны?»

Аска поинтересовалась, настоящий ли у него микрофон, работает?

Журналист удивлен, конечно работает.

У Аски нет никаких надежд, ее тело как змеиное гнездо, и сейчас она чувствует, как гады извиваются внутри.

Она думает о работающем микрофоне, который ни на что не годен, поскольку никто не услышит ее голоса.

Единственное, что приходит ей в голову, — это бляение заблудившейся овцы.

Бе-е, бе-е.

Диего не уверен, действительно ли отчаяние, соединяющее их, и есть любовь. Еще будучи ребенком, он мог выбрать для себя другой путь. «Есть только одна дорога, — думает, — та, по которой мы идем». Человеческая жизнь как тряпка, которая протирает всегда одну и ту же поверхность.

Он берет ее за руку. Сейчас, по прошествии времени, он может дотронуться до нее.

Он не смотрит на ее живот, не осмеливается. Смотрит на затылок. У него с собой чернила и иголки. Вечером, спустя несколько дней, он втыкает ей под кожу иголку. Она сама попросила его об этом, ее раздражает вид неровного рубца, жерла, плохо сросшейся ямы от сигарет на затылке.

Рука парня дрожит, он боится сделать ей больно. Аска сидит не шелохнувшись. Какую боль может причинить такая маленькая иголочка? Ее телу не привыкать к пыткам. Болезненные уколы, проникающие под кожу, почти доставляют удовольствие. У нее камень висит на шее, который каждую ночь валит ее с ног. На четвереньки, в той комнате.

Диего — мастер на все руки, он справляется. Сначала рисует ручкой рисунок, потом обводит его иголкой. Точечка за точечкой. В генуэзском порту не было ни одного грузчика без татуировки, обучиться не составило труда.

Татуировки — новые знаки, выбранные лично тобой. Поставь что-нибудь между своей кожей и судьбой. Каплю мужества.

Аска выбрала розу по его совету. На этом сморщенном шраме лепестки будут смотреться как настоящие. Кошмар, погребенный под цветком.

После того как отпадут корочки и роза проявится, Аска коснется ее. Впервые она трогает свой затылок. Ей не видно. Тогда Диего, подняв волосы, фотографирует ее с близкого расстояния.

Относит распечатать снимок в фотомастерскую, которая до сих пор работает. Когда он дарит ей карточку, она произносит: «Цветок как на могиле». Ну что ж, уже кое-что.

Роза из Сараева.

Они сидят в баре без дверей, снаружи стреляют, турецкие пиалы дрожат, дрожит кофейная гуща, которая могла бы поведать о будущем.

Он весь грязный, военный фоторепортер, наконец-то стал тем, кем всегда хотел быть. Говорит ей: «Подумай об этом, не упускай удачу. Потерпи еще немного, представь, что сделаешь аборт через несколько месяцев. Не обязательно даже смотреть на ребенка».

Она вертит головой туда-сюда, водя глазами по грязным столам, по людям, ждущим перерыва в бомбежке, чтобы уйти. Ей отвратительна мысль о том, что она должна выносить это существо, родить от палачей, продлить их жизнь на земле. Ей кажется дикостью, что насилие может принести деньги.

Этот ребенок заранее обречен злу. Он не стоит хорошего слова.

Диего сидит, подперев ладонью подбородок, смотрит на нее. Вспоминает, как впервые услышал ее игру. Целую войну назад, целую жизнь.

Она отвечает, что согласна поддержать его в стойле еще несколько месяцев. Он прав, дело выгодное. Тем более уже начато, грех бросать.

Но когда ребенок зашевелился, Аска задрожала. Отводит руки от тела, кричит. Ей снится, что она рождает детей, насилующих ее.

Снится, что она играет, истекая слезами вместе со своей трубой. Волосы и те плачут.

Диего хотел бы рассказать мне правду, но уже поздно. Хотел бы сесть со мной на тот зеленый стульчик, пощекотать меня, вместе упасть. Но он

молча смотрит на меня сзади. Прикрывает рукой тишину. Правда бережно хранится в складках войны. В катушке пленки, жгущей руки в кармане.

Он из тех, кто никогда не может держать язык за зубами. У него нет тайн, нет загадочности. Он весь как на ладони. И вот теперь появился этот дурацкий секрет. Не может признаться мне, что ребенок — сын нечисти — вышел из ада.

Ребенок из-за грязной стены. Не хочет пугать меня. Не хочет, чтобы у ребенка была такая судьба.

В умывальне перед мечетью закончилась вода. Аска омывается снегом, обжигающим кожу. Этими омовениями ей все равно никогда не очиститься. Она хочет разорвать свое тело. Грязь так глубоко въелась!

Преклоняясь к земле, чувствует свой живот, беса внутри. Молится, чтобы удушить его. Когда она умирала, он зацепился внутри ее, поэтому она ненавидит и будет ненавидеть его вечно. Диего подарил ей длинную дубленку на темном меху, и ей нравится, что в этой одежде она похожа на волка. Не отпускает ее, постоянно ходит по пятам. Иногда она оборачивается, прогоняет его, иногда позволяет обнять ее у ночного огня.

Когда начинаются схватки, потеет не она, а он. Она не хочет, чтобы ее трогали, хрипит, прислоняется к стене, упираясь в нее головой. Снова чувствует схватки. Роды похожи на изнасилование, матку словно режет плуг.

Как-то раз мать рассказывала ей о родах, выбрала сильное сравнение — хищник, рвущий плоть изнутри. Хищник умирает, когда ребенок, уступая жизни, проскальзывает в родовой канал. И в конце, на предпоследней стадии изгнания плода, придавливает боль всем своим весом. Так что с тобой потом остается только этот тяжелый груз, который и есть груз будущей ответственности.

Мать говорила, что в родах изначально заложен урок.

Аска спрашивает себя, какой урок может быть в изнасиловании?

Вспоминает поля, где бегала маленькой и ездила на велосипеде в школу. А весной они покрывались желтыми и фиолетовыми цветочками.

Вспоминает малышку. Когда четники уводили ее, девочка, опустив голову, послушно шла за ними.

Она спрашивает себя, почему Бог не остановил хотя бы тот момент, почему Он не спас ее. Хотя бы ее. Она и в самом деле была слишком мала. Одну-единственную из всех поруганных женщин.

Хватило бы, чтобы маленькая девственница осталась нетронутой. Дверь открывается в ослепительный свет, и девочка уходит, спокойная, смущенно улыбаясь. Аске кажется, что родить ей помогает эта малышка.

Кидает мяч в стену и считает. Когда мяч падает на землю, ребенок уже родился. Аска сразу почувствовала себя лучше. Отворачивает голову. Так она никогда не узнает, на кого из дьяволов похож ребенок: может, на того с голубыми глазами, или того с мясистым носом, или того с родимым пятном под глазом.

Когда сатанинская слизь выходит, младенец появляется на свет в совершенстве своей плоти, Диего тоже не сразу смотрит на него. Косится на веревку пуповины, серую, точно корабельный трос.

Он отдалился от жизни за последние месяцы. Сейчас она кажется ему недостижимой. Глядя овечку, шепчет ей: «Родился, все кончено».

Диего смотрит на истошно кричащего младенца. На его красное тощее тельце. Он не похож на черта, похож на еще сырого цыпленка, которого только что насадили на вертел. Возможно, его сердце окажется злым, как у его отца, кто знает? Его плач точно одинокое блеяние ягненка в кустах.

Аска все слышит. Вспоминает маленькую девочку, ее певучий, мягкий голос.

Думает, какая несправедливость, что малышка исчезла с земли, возвратившись на небо съезжившейся кожурой. А вместо нее родился ребенок четников. Сегодня ночью дьявол откупорит бутылку шампанского.

Диего спрашивает ее: «Не хочешь узнать, какой он?»

Она отвечает: «Я знаю, как его зачинали. Унеси его».

Прежде чем уйти, я смотрю на нее. Делаю шаг к каталке. Если бы я спросила, она рассказала бы мне правду. Ей нечего терять. Сказала бы: «Слушай, мы с фотографом никогда не занимались любовью. Этот цыпленок — сын Святого Духа этой войны, слизь Сатаны». Но я не подхожу к ней. Ничего не хочу знать. Ребенок останется непорочным.

Как радуга на том низком небе.

Аска опустела. У нее обвисла кожа на животе, в груди набухают молочные каналы. Между ногами все еще остается ощущение перерезанной веревки, отделяющее ее от плода насилия. Теперь в ней никто не живет, и она снова стала собой.

В руках держит деньги, пересчитывая их в кровати. Можно попробовать выбраться, спрятавшись ночью в багажнике машины. Но она знает, что не сделает ничего подобного. Только благодаря ребенку она еще жива, теперь ей это известно. Она поняла, что на самом деле, несмотря на ненависть к нему, хотела его спасти. Наконец-то она призналась в этом самой себе. Свистит, делая вид, что играет на трубе, двигает пальцами в воздухе, закрыв глаза.

Сейчас она знает, что возможен и обратный путь, что дьявол может

превратиться в ангела. Вот в чем, наверное, заключался урок.

Диего даже не замечает, что мы добрались до аэропорта. Что-то мелькает перед ним, в сетчатке затуманенных глаз.

Не садится в самолет. Разворачивается и возвращается к самому себе.

Аска на этот раз и в самом деле не понимает, почему фотограф все еще здесь. Может, пришел за последом?

Диего селится рядом с ней, играет на гитаре, ходит за едой на рынок Маркале. Пока однажды она не скажет ему, что поправилась, что действительно постарается возвратиться к жизни. Благодаря деньгам откроет музыкальную школу.

На острове Корчула они проводят вместе последнюю ночь. Он забирается на ту скалу. Увидел что-то, что можно было бы сфотографировать. Ребенка, хватающего рыб руками, того же Анте. Героин, проникающий в кровь, как что-то хорошее, что-то красивое. Если чья-нибудь рука прервала бы его полет, чей-то голос спросил, как прошла жизнь, он улыбнулся бы, соединив пальцы в ок, достойно.

Садится на свой деревянный гроб. Вытягивает ноги, глядя на меня. У него в кармане все еще лежит та пленка. На ней лица дьяволов, один из которых убил голубого ребенка, другой — отец Пьетро. Сумасшедший молодой фотограф так никогда и не сделал своего сенсационного сообщения. Таскает засвеченную пленку с собой. Удаляя Пьетро из истории, дает ему шанс на жизнь.

Иду по песку

Иду по песку, чувствую, как он клубится у меня под ногами. Я вышла из комнаты, поднявшись, точно робот. Аска уже не плакала, говорила, глядя на белую занавеску, которая вздувалась на окне. Ее рассказ казался мне похожим на печальную песню, на севдалинку. Давние зверства из ее жизни превратились в ничто, разлетелись пеплом. Остался только запах ее дома, ее маленького островка безмятежности.

Ее позвала дочь, и она резко повернула голову. Правое ухо у нее так и не слышит с тех пор. Внутри постоянно звенит, будто плещется море. Улыбнувшись, она произнесла: «Это ухо Истории».

Я иду. Мне хотелось бы споткнуться и упасть, но я не падаю. Хотелось бы растянуться на песке, обнять его и поблагодарить все и вся: спешащего муравья, нескончаемый маршрут каждой жизни.

Ослепленная ярким светом, различаю тело сына, который прыгает, борясь с волнами. Ребенок борется с подростком, просит: «Оставь меня поиграть еще денек».

Выходит из моря, бросается на песок, потом снова бежит навстречу волнам.

— Ну как? — кричу я ему.

— Лучше, чем на Сардинии.

Спрашивает, не могу ли я снять его на мобильный, он хочет показать это бирюзовое море своим друзьям. «Они сдохнут от зависти», — говорит.

Позирует, подбоченясь, улыбается, сморщив нос и спрятав глаза под очки от ослепительного солнца.

Захожу в воду по колена, чтобы сфотографировать его во время прыжка. Тело в воздухе, пенистые брызги моря.

Плюхается на дно у самого берега, вся голова в песке, завитки волос как у греческой статуи. Поворачивается ко мне, говорит:

— Мам, я ногу поранил. У тебя нет пластыря?

Роюсь в сумке, шарю в ней как сумасшедшая, на ветру волосы лезут в глаза. Открываю кошелек, косметичку, ищу лейкопластырь, который всегда ношу с собой, среди бумаг.

Пьетро вечно сдирает кожу, и я беру его по старой привычке, такой же старой, как привычка считать друг друга матерью и сыном, как наши совместные прогулки.

Пьетро ждет, ищет глазами вместе со мной, наблюдая за моими

беспорядочными движениями. Нахожу пластырь, а кажется, будто нашла что-то необыкновенное. Он тоже улыбается:

— Есть?

— Да, есть.

Протягивает мне ногу, всю в песке. Ударился о скалу, кусочек ногтя отломился у самого основания, течет кровь.

— Сполосни ногу.

Не хочет вставать, ему больно.

Я наклоняюсь, беру ногу. Высасываю кровь вместе с песком. Вытираю стопу подолом юбки.

Пластырь плохо приклеивается, потому что палец все еще влажный, а я никак не могу найти очки. Пьетро не жалуется, даже говорит спасибо.

Кто ты? Сколько раз я задавала себе этот вопрос. Сколько раз подозрительно вглядывалась в тебя. Смеешься, как смеялся Диего, как смеются все мальчишки. Ты и сумасшедший, и умный одновременно, и наивный, и опасный. Вероятность появления такого, как ты, — одна к миллиону. Мальчишка из две тысячи восьмого года, рожденный в конце декабря девяносто второго в Сараеве. Один из первых детей массовых насилий на этнической почве.

Переводит дух.

Лежит на боку, не двигаясь, как лодка, которую вытащили на берег; костлявая задница в плавках-шортах австралийского серфингиста. Поворачивается, я смотрю на его сломанный зуб. Слишком худые щеки. Он глубоко дышит.

На сколько частей разделено тело? Складка, где прикреплено ухо. Линия руки. Глаз, ресницы. Кость коленного сустава. Волоски на коже как выцветшая трава.

Смотрю на части тела моего сына. Может, я всегда это знала, вот в чем правда. И никогда не хотела ничего знать. «Ты свободен, — должна бы я ему сказать, — он тебе не отец». Ты сын кучки демонов, опьяненных ненавистью.

Прыгая на одной ноге, он опирается о меня.

— Слушай, я не смогу тебя держать...

— Сможешь, сможешь.

Что-то знакомое, рыбная лавка, которая, по-моему, осталась той же, со шторкой из пластиковых язычков, чтобы не залетала мошкара. Куст дикой герани, огромный, как дерево.

Пьетро сказал: «Хочу сходить туда. Хочу посмотреть на то место, где умер папа». Неожиданно он назвал Диего папой, и все мне показалось

таким абсурдным!

Следую за этой ложью. Пьетро молча забирается наверх.

Аска показала мне ту большую скалу, похожую на голову динозавра с открытым ртом: ее не сложно было заметить, она такая одна.

Диего пролез в этот рот.

Аска сказала: «Он уже готов был вернуться к тебе».

Потом он полез наверх.

Выбрал правильный свет, незадолго до заката. Свет своих самых лучших снимков.

Пьетро оглядывается вокруг. Он проворнее меня, уже стоит на вершине.

— Осторожней!

Я боюсь, очень боюсь.

— Здесь нет ничего! — кричит.

Когда я добираюсь до него, он тихо повторяет:

— Здесь ничего нет, ма...

А чего он ждал? Часовни? Могильной плиты? Фотоаппарата, высеченного в скале?

Я старая и вспотевшая, а он молодой, как одна из этих летающих здесь чаек. Мы садимся на камни, смотрим на море, кажущееся необозримым, бескрайним. Пьетро обнимает меня, кладет руку мне на плечо. Возможно, впервые защищает меня. Потом всовывает мне что-то в руку обычным своим грубым неумелым движением. У меня дрожит подбородок.

— Упаковка ужасная, — говорит.

Открываю затертый бумажный сверток, который он держал в кармане бог знает сколько времени, с того вечера у фонтана. Там брошь, серебряная роза филигранной работы. С витрины магазинчика на рынке Башчаршия...

— Тебе нравится?

— Да.

— Я знал, что она тебе понравится.

Покопавшись в чахлам кустарнике, возвращается с палочкой, которую разламывает пополам о коленку. Сделав из половинок крест, пробует закрепить его с помощью нескольких травинок, но он не держится. Тогда достает из кармана бандану и перевязывает вместе огрызки палки. Втыкает получившийся крест в землю:

— Сколько он здесь простоит?

Под таким ветром...

Пьетро дает мне свой мобильник и просит снять его рядом с крестом.

Мы поговорили еще немного.

— Чем мне заняться, когда я вырасту, ма?

— А сам ты чего хочешь?

— Не знаю.

— Тебе же нравится играть, может, станешь музыкантом...

Говорит, что ему хотелось бы открыть сеть семизвездных гостиниц по всему миру. И спроектировать самый большой в мире номер съют, с полем для гольфа внутри, включающим восемнадцать лунок.

Потом смотрит на меня:

— Я знаю, зачем папа поднялся сюда. — Протягивает руку, показывая на море. — Потому что отсюда видна Италия. — Улыбается. — Он скучал без нас, мам...

Аска осталась под навесом, у нее не хватило смелости подойти к нам. Она вымыла волосы и сушила их на дворе. Я видела, что она все время была в движении: накрывала на стол, наклонялась подобрать игрушку дочери. Ничем не отличается от меня, обычная женщина.

Сейчас смотрит на нас, пока мы подходим.

В деревнях многие женщины избавились от таких детей, матери помогали дочерям убивать их. Простые женщины превращались в отчаянных убийц. Аска обращалась в центр помощи изнасилованным на войне женщинам, но только когда родилась их дочь, когда ее тело открылось во второй раз и они с Гойко долго плакали, держась за руки, только тогда она почувствовала, что ненависть отделилась от нее, как ненужная плацента.

Лицо Аски опущено, рукой она поправляет влажные волосы.

Приближаясь к ней, вижу, как она повторяет это движение снова и снова, морщит лицо, открывает и закрывает рот.

Пьетро устоял в мобильный, я легонько толкаю его:

— Это Аска, жена Гойко.

Пьетро поднимает глаза цвета индиго. Улыбается, протягивает руку:

— Привет, Пьетро.

Аска застыла, держа его руку в своей. Не в силах выпустить ее.

Тогда Пьетро подходит к ней еще ближе. Целует Аске щеки: сначала одну, потом другую. И она раскрывает ему свои объятия.

Я вижу нашу судьбу, которая замыкается.

Аска поворачивается, говорит, что идет за бокалами.

Я застаю ее на кухне, она прислонилась спиной к стене. Беззвучно плачет. При виде меня улыбается.

Прижимает ладонь к лицу, прикрыв рот и нос, дышит в нее.

Подходит Гойко, накрывает ее своим шумным телом.

Они долго были просто друзьями, прежде чем пожениться.

Вместе ходили в кино, потом болтали в баре, делясь впечатлениями о просмотренном фильме и обсуждая всякие глупости. Ни о чем другом не говорили, это было нетрудно, они и так всё знали. Молчание говорило за них, залечивая раны.

С моря дует ветер. Гойко готовит еду на гриле, хлопоча вокруг горящих углей. Мы едим рыбу, поджаренную вместе с чешуей, которая отпадает, как кожура, оставляя белое и ароматное мясо, нежное на вкус. Сегодня вечером мы едим море.

Пьетро спрашивает у меня разрешения тоже выпить немножко вина, и Гойко наливает ему бокал, прежде чем я успеваю открыть рот. Пьетро смеется, говорит:

— Я отсюда больше никуда не уеду.

Аска смотрит на него. Она ела медленно, как горничная, как монашка. Не переставала смотреть на Пьетро, даже если редко поднимала глаза, уткнувшись взглядом в бокалы, тарелки, в свою жизнь. Кажется, боялась растревожить мою.

Может, ей стало стыдно. Годами ее преследовал позор, и, вероятно, это была его последняя вспышка. Казалась, она чувствует себя не в своей тарелке, как непрощенный гость, как воровка.

Легкая боль сопровождает этот приятный вечер, но я ничего не могу изменить. Она живет внутри каждого из нас. Бороться, чтобы проиграть, — свойство глупых задиристых душ.

Ветер дует на угли, вроде бы гасит их, но они все еще теплятся. Пьетро играет с Себиной, они пишут слова на бумажных салфетках, катают шарики из хлеба.

Гойко, вступая в игру, спрашивает:

— Какое самое красивое слово на свете?

Себина отвечает:

— Море.

Пьетро колеблется между «свободой» и «теннисом».

Небо усыпано звездами. Обыкновенными звездами, маленькими и большими. Заставляющими нас покоряться судьбе.

Глаза у Гойко как у побежденного воина. Глаза пьяного поэта. Глядя на Пьетро, он говорит:

— По-моему, самое красивое слово на свете, — «спасибо». — Поднимает бокал, чокается с бутылкой, потом тянется к небу, выбирает звезду и говорит: — Спасибо.

Зло умерло сегодня ночью.

Мы прощаемся на пирсе, точно друзья, которые еще встретятся, в шлепанцах, с рюкзаками, как туристы. Кругом двигаются люди. Кто бы мог себе представить историю, подобную нашей, воплощенную в обычных людях, расстающихся на рассвете. Море молчит, еще немного наслаждаясь ночью.

Гойко отвозит нас обратно, расстояние кажется теперь невероятно коротким. В аэропорту Сараева пьем кофе, сидим, положив локти на железную барную стойку; рядом курят.

— Какие у тебя планы?

— Через две недели в Сараеве начинается кинофестиваль, в этом году приезжает Кевин Спейси... скорей всего, буду сопровождать Кевина Спейси, покажу ему места боевых действий, устрою ему *the war tour*.

Смеется, потом грустнеет. Как и Пьетро.

Надо идти, потому что объявляют рейс, потому что нам было грустно и весело уже очень много раз. Толкаю слегка кулаком в плечо моего Гойко, он нагнул голову, как животное, как кабан.

Здесь не плачут, таков уговор. Чувствую его жесткую бороду.

Мы как море с приливами и отливами. Увидимся ли еще когда-нибудь?

В последний раз вдыхаю запах нашей Боснии, нашей любви.

В самолете Пьетро говорит, что взлет — самая каверзная часть полета, самая опасная, двигатели работают на всю мощь. Нервничает. Вынув жвачку изо рта, приклеил ее под столик, все как всегда.

На мне солнцезащитные очки, мои черные фары. Молча киваю ему. Думаю: «Успокойся, сынок. Ты не умолкаешь ни на секунду, никогда не сидишь на одном месте. Сколько же энергии в твоём теле?»

Игман сверху кажется небольшой горкой, выгнутой, точно кошачья спина. Домики тоже маленькие, как в игре «Монополия».

Чувствую себя гипсовым гномом, похищенным из английского сада и совершившим кругосветное путешествие. Да-да, куклой, которую трясли больше, чем нужно.

Спустя несколько минут Пьетро уже дремлет, прислонившись к иллюминатору, поставив согнутую ногу на сиденье. Заснули его мысли, его ребяческий маразм. Облака проплывают, пронизанные лучами закатного солнца.

Я смотрю на крыло самолета, которое как будто не двигается. Вспоминаю отца. Вполне возможно, Диего все рассказал ему тогда, в гараже на море... может, Армандо всегда знал. Но глаза хранили секрет. Он умер два года назад. Я везла его на прием к врачу, проверить работу кардиостимулятора. Остановившись во втором ряду, вышла купить что-то в

супермаркете, как всегда на лету. Оставила ему ключи от машины: «Если кто-нибудь начнет сигналить — отъедешь». Когда я вернулась с пакетами, все клаксоны гудели как сумасшедшие. Папа неподвижно сидел на своем месте, голова свесилась на грудь. Как будто спал. Я уронила пакеты на землю, не чувствуя рук. Люди продолжали орать, что я не так поставила машину. Я не могла никуда отъехать, нужно было дожидаться приезда полиции. Шел дождь, я сидела за запотевшими стеклами рядом с телом отца, в этом нетерпеливом городе.

Морской римский воздух. Огромная освещенная крыша аэропорта, самолеты, готовые к взлету. Широкие счастливые шаги Пьетро. Он вернулся в город, где вырос, по которому разъезжает на скутере.

Смотрит на меня:

— Что с тобой?

— Устала, голова болит.

— Папа прав, ты должна есть папайю.

Сошли на землю, автобус везет нас к выходу в город, Пьетро включает мобильный, читает эсэмэски. Бросив взгляд на экран, вижу пупок Динки с пирсингом.

Джулиано ждет нас вместе с водителями, держащими таблички. Едва завидев, рванулся навстречу. Прижимает к себе Пьетро, принюхивается к нему:

— Привет, Пьетро.

— Привет, папа.

Со мной ведет себя сдержанно, как отец когда-то, целует, почти не глядя. Следит за мной, забирая вещи. Опасается моего настроения.

— Все хорошо?

— Все хорошо.

Он торопится, сейчас, когда мы вернулись, торопится. Быстрее уехать из аэропорта — места, которое нас отдаляет друг от друга.

— Чем занимался? Ел в ресторанах по вечерам?

— Ты вернулась не в настроении?

Улыбаюсь, мы остались прежними.

В первый раз, когда он приехал за мной в штатском, пригласив на ужин, у нас закончился бензин на кольцевой дороге. Было ужасно холодно, мимо проезжали только грузовики. «Извини, пожалуйста, я привык к служебным машинам». Мы пошли пешком, прижимаясь к дорожному ограждению, свет фар бил нам в глаза. Джулиано развел руками: «Буду твоим щитом». Потом я обнаружила, что, кроме работы, у него ничего не было, его квартира напоминала служебную, а может, такой и была на самом

деле. Помню целые коробки ложек и вилок, так и не разложенных. Помыв, я сложила их в ящик. Мы всегда выглядели немного смешно вместе, наверное, в этом весь секрет нашей жизни. Ведь жизнь — это когда одна дыра накладывается на другую. Станным образом заполняя ее.

В машине Пьетро без конца рассказывает обо всем, что видел. Вспоминает даты, имена. Повторяет слова Гойко: «Европа ничего не сделала... Караджича арестовали только сейчас, потому что они договорились...»

Он сидит сзади, но постоянно просовывает голову к нам. Хлопает по плечу Джулиано. Показывает ему фотографии на телефоне. Ту, на скале, пропускает. Ощущаю в себе то же умиротворение, что и у креста.

Джулиано поворачивает ключ в замке, открывая квартиру, зажигает свет, и возвращаются книги, диван.

Пьетро смотрит теннис по телевизору, я, сняв косметику с лица, выбрасываю комок грязной ваты в корзину. Выключаю свет, проверяю газ. В холодильнике ничего нет, только то, что оставила я, — увядший салат, пара йогуртов.

Я стою на балконе, держась за перила. Джулиано подходит ко мне, кладет свою руку на мою. Мы смотрим на бар внизу, мальчишек рядом с малолитражками.

— Что ты делал сегодня?

— С раннего утра разгонял стихийный рынок поддельных товаров из Восточной Европы.

Этим летом у него такая работа. Работа, приводящая его в уныние. Мир, берущий отпечатки пальцев у румынских детей, ставящий на учет маленькие создания, нравится ему все меньше и меньше.

Рассказываю все. Джулиано слушает, по-военному скрестив руки на груди. У него перехватывает горло. Сам тащит меня к Пьетро. Хочет увидеть его. Увидеть, как он дышит.

Дверь закрыта, на ручке висит табличка «DO NOT DISTURB», украденная из гостиницы. Все равно входим. Четник спит в раздвижной «икеевской» кровати, выдвинутой до самого конца, гитара валяется на полу, рядом брошены джинсы и мобильный телефон. Джулиано склоняется над ним, нюхая его затылок. Как пес, как родной отец. Поднимает гитару, прислоняет ее к стене. Мобильный ставит на зарядку, складывает джинсы. Крутится по комнате... как и я. Круги нашей повседневности.

БЛАГОДАРНОСТИ

Благодарю Ренату Колорни, зоркого стража моей работы. Благодарю Антонио Франкини, молчаливого вдохновителя. Джулию Икино — за ее страсть к чтению. Мойру Мадзантини, потому что она всегда рядом. Глорию Пиччони, которая в жизни прошла много дорог. Марио Бочча — его фотографии помогли мне увидеть. Спасибо Асе за ее душу.

notes

1

Иво Андрич (1892–1975) — югославский прозаик и поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе. — *Здесь и далее прим. переводчиков.*

2

«I Wanna Marry You» («Я хочу жениться на тебе») — композиция из альбома американского рок-музыканта Брюса Спрингстина «The River» («Река») 1980 года.

*Ты никогда не улыбаешься, девочка, ты никогда не говоришь...
Должно быть, жизнь одинока, если работаешь... Я хочу жениться на тебе... Я хочу жениться на тебе... (англ.)*

3

Не беспокойтесь, все в порядке (*англ.*).

4

Это я виноват, девушка очень хорошая, очень много хорошая... В самом деле (*искаж. англ.*).

5

Сказать, что я сделаю так, чтобы твои мечты сбылись, было бы неправдой... Но может быть, дорогая, я помогу им воплощаться... *(англ.)*

6

«*Фильм*» (или «Фильм по Сэмюэлю Беккету», 1965), — короткометражный фильм режиссера Алана Шнайдера, стилизован под немой кинематограф начала века. *Бастер Китон* (1895–1966) — американский комедийный актер и режиссер, один из величайших комиков немого кино, «человек, который никогда не улыбался».

7

«Теряю веру» (англ.) — основной сингл альбома «Out of time» («Слишком поздно»), выпущенного в 1991 году. ...*Вот я в уголке... а вот я в лучах прожектора...* (англ.)

8

Хочется бежать... хочется снести стены, которые держат меня внутри (англ.). Композиция «Where the Streets Have No Name» («Там, где улицы безымянны») из альбома ирландской рок-группы «U2» «The Joshua Tree» (Дерево Джошуа») 1987 года.

9

Снова пришла весна... Юность в цвету... Ни о чем не думай... *(англ.)*

10

Насладись Сараевым... *(англ.)*

11

«У каждого голодное сердце...» (англ.)

12

Рожденный в Сараеве (*англ.*).

13

«Я хочу жениться на тебе» *(англ.)*.

«О дорогая, есть счастье, а есть печаль...» (англ.)

15

«Не беспокоить» (*англ.*).

16

Пойдем поищем зуб... *(англ.)*

17

«В утробе» (англ.).

Военный тур (*англ.*).

Table of Contents

Маргарет Мадзантини	
Рожденный дважды	
Аннотация	
Маргарет Мадзантини	
Рожденный дважды	
Путь к надежде	
Нас познакомил Гойко	
Я окунулась в привычную жизнь	
Ждем в вестибюле	
Что я помню о том дне	
Церковь в центре города	
В Дубровнике солнце плескалось	
События развивались молниеносно	
Мы летим бизнес-классом	
Пьетро ворочается в постели	
Хозяйка гостиницы	
За иллюминатором чистое небо	
Витамины, фонарики, батарейки	
После дождя на асфальт выползают улитки	
Пьетро стоит перед зеркалом	
Дверь открылась бесшумно	
Позвонили папе	
Собранные сумки лежат на кровати	
Мы уезжаем из Сараева	
День похож на плывущие облака	
Иду по песку	
БЛАГОДАРНОСТИ	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18